



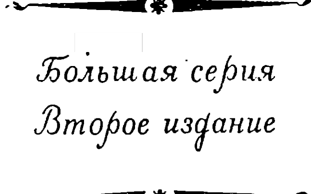
ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ

Советский писатель



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ



Большая серия

Второе издание

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Вступительная статья Б. И. Соловьева
Составление, подготовка текста и примечания В. П. Ланиной

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ • 1979

Р 2
С 50

Ярослав Смеляков (1913—1972) — выдающийся советский поэт, лауреат Государственной премии СССР. Уже в ранних его произведениях «Баллада о числах» (1931), «Работа и любовь» (1932) проявились лучшие черты его дарования: искренность гражданского пафоса, жизнеутверждающая страстность, суровая сдержанность стиха.

Высокохудожественное отображение волнующих страниц отечественной истории, глубокий интерес к теме труда, смелая постановка нравственных проблем придают поэтическому наследию Ярослава Смелякова непреходящую ценность.

В настоящее издание включены наиболее значительные стихотворения и поэмы, созданные Я. Смеляковым на протяжении всей его творческой деятельности, а также избранные переводы из поэтов братских республик и зарубежных авторов.

С $\frac{70402—222}{083(02)—79}$ 440—80. 4702010200



ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ [1]

Крупный советский поэт Ярослав Смеляков (1913—1972), чье творчество составляет значительную и самобытную главу в истории советской поэзии (да и не только в истории), родился в семье железнодорожного рабочего, детство провел в деревне, рано приобщился к фабричному труду.

Юный Смеляков, с упоением дышавший атмосферой начала нашей первой пятилетки, из полиграфической школы перешел на самостоятельную работу, в цех машинного набора, пахнущий свинцом и типографской краской. Тогда же он увлекся и стихами: одно не отделялось от другого. Многие годы спустя поэт вспоминал: «Я рад, что обе мои основные профессии родственны, и до сих пор люблю их и горжусь ими обеими». [2]

Знаменательно, что Смелякову самому довелось набирать свои стихи, опубликованные в настоящем «толстом» журнале «Октябрь», а вскоре, в 1932 году, — и первую свою книгу стихов «Работа и любовь», вышедшую в ГИХЛ'е, самом солидном издательстве художественной литературы. Да, родство двух «основных профессий» поэта оказалось необычайно плодотворным и знаменательным, а творчество его навсегда осталось верным пафосу повседневного, самого обыденного, а вместе с тем и героического труда.

Многие годы спустя, выпуская собрание своих произведений в издательстве «Молодая гвардия» (1963), поэт распределил их по десятилетиям своей творческой работы, теснейшим образом связанной с исторической жизнью страны. Вот почему и мы во многом будем

---

[1] Статья Б. И. Соловьева печатается посмертно. — *Ред.*

[2] Я. Смеляков, Автобиография. — В кн.: «Советские писатели. Автобиографии», т. 4, М., 1972, с. 564. Перепечатана в наст. изд., с. 52—56 В дальнейшем цитируется без указания на источник.

придерживаться намеченных самим Смеляковым дат и ступеней его творческого развития.

Обратимся к начальному периоду.

1

Молодому поэту подлинное мастерство далеко не сразу далось в руки. Нередко оно подменялось то слишком упрощенным и прямолинейным решением захватившей автора темы, словно игнорирующим всю сложность, а подчас противоречивость реальной действительности, то ученически экспериментальной «пробой пера», испытываемого в самых многообразных почерках и направлениях. Но уже тогда его стихи, пусть порою неумелые и наивные, отвечали повсеместному и всеобщему стремлению молодой советской литературы самым непосредственным образом вторгаться горячим, искренним словом в дела строительства, вмешиваться в него на конкретных его участках и тем самым участвовать в преображении всей страны (вспомним «Время, вперед!» В. Катаева, «Соть» Л. Леонова, «Трагедийную ночь» А. Безыменского и многие другие произведения той поры).

Яснее всего представление о том, с чего начинал и какие влияния испытывал молодой поэт, прежде чем выработать свой самостоятельный творческий почерк и свое особое понимание пути и назначения искусства, могут дать его ранние стихи, составившие раздел «Начало» в издании 1934 года.

Молодой поэт на первых порах поддавался самым многообразным влияниям, нередко соблазнялся словом броским, резко звучащим, импрессионистически неожиданным.

Так, в своих ранних стихах он поведал читателю, что привез с собой из дальней дороги

...голубые от заката,
невероятные леса... —

и теперь весь захвачен

...листопадом,
переломившейся водой,
уральским пригородом,
градом,
подрагиваньем всех сердец,
степями,
стеклами,
морозом...

(*«Ну, как мне, девочка, о том...»*)

Здесь явственно заметно стремление поэта в обычном увидеть невероятное, его увлеченность подчеркнутой звукописью стиха, игрой фонетических поворотов слова («пригородом, градом, подрагиваньем»), т. е. всем тем, от чего он впоследствии решительно откажется.

Характерен для «начала» Я. Смелякова и «Рассказ о том, как одна старуха умирала в доме № 31 по Молчановке». Здесь уже и в самом названии ощущается иное — некая чудинка, подчеркнутый натурализм, вызывающий в памяти «Столбцы» Н. Заболоцкого:

Ты глядишь в окно. И еле
принимаешь этот мир.
Техник тащится с портфелем,
спит усталый командир.
Мальчик бегает за кошкой.
И, не принимая мер,
над разваренной картошкой
дремлет милиционер...

В сознании «героини» стихотворения мир предстает как несобранный, рассыпанный на куски, абсурдный, и с этим ничего не может поделать — при всей своей склонности к порядку — даже милиционер, дремлющий «над разваренной картошкой».

Конечно, все эти поиски и пробы самых многообразных форм, стилей, возможностей носили еще ученически несамостоятельный характер, но, думается, на них следовало остановить внимание хотя бы потому, чтобы отчетливей уяснить, с какою решительностью поэт впоследствии преодолевал чуждые ему влияния, отстаивая и вырабатывая свой неповторимо своеобразный творческий почерк.

Но среди ранних стихов Я. Смелякова мы находим и те, что свидетельствуют о первых уже основательных его открытиях и отзовутся во всем его дальнейшем творчестве, цельном и внутренне едином в своем развитии.

Одним из них представляется стихотворение «Смерть бригадира», повествующее о человеке, которому многим и многим были обязаны его ученики, в том числе и молодой поэт, видевший в нем своего воспитателя и наставника.

Охваченный скорбным чувством, сознанием большой утраты, поэт, может быть, впервые так глубоко задумался о смерти и бессмертии и осознал, что даже с уходом из жизни главное у человека

остается на земле — если он достойно прожил свою жизнь и одарил людей своей любовью и своим опытом:

Нет, ты не умер. Ты живешь,
товарищ бригадир.
Твоя работа и любовь
остались позади.
Но мы их дальше понесем,
товарищ бригадир.

Эти слова, прозвучавшие в стихотворении «Смерть бригадира», оказались такими знаменательными для молодого поэта, что именно они стали названием его первой книги стихов. Многие годы спустя, когда настало время подвести итоги творческой работы за целые десятилетия, он так же назвал свою итоговую книгу, подтвердив тем самым единство и цельность своих исканий.

Преодолевая поверхностную оптимистичность своего «начала», молодой поэт явно ощущал потребность в более многообразном воспроизведении действительности во всей ее сложности. Так, в стихотворении «Весна в милиции» автор подсказывает своему читателю, что и борясь с ожесточенным врагом, не следует забывать о богатстве и красоте окружающего мира. Но на первых порах стремление передать в стихах все многообразие реальной жизни высказано еще слишком «спрямленно» и декларативно, без подлинного проникновения в материал современности, что вскоре станет очевидным и самому поэту.

Его стихотворение «Точка зрения» сразу привлекло внимание, заставило и читателей и критиков заговорять о поэте, вызвало большие и с тех пор никогда не угасавшие ожидания, — хотя само оно является еще в достаточной мере наивным и несовершенным.

Воспроизводимое в стихотворении столкновение двух точек зрения — молодого работника нефтелавки со старым и опытным в своем деле художником-пейзажистом — является своеобразной эстетической декларацией молодого поэта.

Юноша настойчиво требует введения в пейзаж сугубо современных черт, наглядно зримых примет индустриального строительства. Не найдя их в создаваемом на его глазах пейзаже, он запальчиво спрашивает у художника, что может сказать его картина сегодняшнему зрителю:

...про года, про весны пятилетки,
про необычайную работу,
про мою веселую страну?..

Очевидно, что молодой работник нефтелавки рассуждает о живописи явно упрощенно и недостаточно основательно, но читателям тех лет запомнились не столько эти наивные рассуждения, сколько конечный вывод поэта, обращенный прежде всего к самому себе и послуживший ему своего рода творческой программой на годы и годы:

Я хочу, чтобы в моей работе
сочеталась бы горячка парня
с мастерством художника, который
все-таки умеет рисовать.

Эти стихи, сразу привлекшие внимание широкого читателя, не остались одною лишь декларацией. Нет, все очевидней становилось, что творчество поэта с годами все более отвечало той требовательности и взыскательности к себе, какая была заявлена уже в стихотворении «Точка зрения». Не случайно, конечно, в его книге «Работа и любовь» (1961, 1963) раздел «Тридцатые годы» открывается стихотворением «Точка зрения».

Явно не удовлетворенный первыми своими начинаниями, хотя бы они и встречались весьма одобрительно во многих аудиториях, поэт не без горечи признавался в своих стихах:

Никаких таких произведений
я пока еще не написал.
(«Я не знаю, много или мало. . .»)

Требовательно относясь к своим стихам, автор не видел среди них отличающихся значительностью материала и самостоятельностью решения затронутой темы, и это не могло его не тревожить: ведь «ехидные потомки» этого не простят, они пройдут мимо самых благих его намерений и предъявят большие требования к тому, что сделано, — не иначе. Настойчиво и нетерпеливо поэт обращается к себе самому с жесткими и трудными вопросами:

Что я им отвечу, сочинивший
несколько посредственных стихов?
Чем я им отвечу, износивший
ящики дубовых сапогов?

И сама эта суровая требовательность являлась постоянным стимулом и неизменным залогом дальнейшего творческого роста, укрепления зрелости и мастерства; этому немало способствовала и та школа литературной учебы, которую упорно проходил молодой поэт.

В те годы Ярослава Смелякова упоминали в критике зачастую вместе с Борисом Корниловым и Павлом Васильевым. Их имена в то время звучали — каждое по-своему — в одном ряду, как некая «новая волна» современной поэзии. В их творчестве действительно можно найти нечто общее: широту восприятия, сочетающуюся с пристальным и обостренным вниманием ко всем подробностям реальной жизни, страстным упоением полнотой бытия, безудержным размахом страстей, сказывающимся во всем характере стиха, в его особой напряженности.

И все же если говорить об испытываемых молодым поэтом влияниях, то прежде всего необходимо говорить о Маяковском, как таком учителе и том наставнике, заветам и традициям которого Смеляков никогда не изменял.

Нельзя сказать, чтобы молодой Смеляков стремился перенять поэтику Маяковского; его строка, лишенная резких перебоев ритма, разговорно-ораторской интонации, крайнего по своим возможностям гиперболизма, да и самой «ступеньки», по которой словно бы шагает стих Маяковского к своему читателю, внешне более традиционная, верна поэзии Маяковского в главном, основном, решающем — широте замысла, глубине гражданского пафоса, жизнеутверждающей страстности, не знающей границ и пределов и отзывающейся на те злободневные события, от которых зависит наше будущее. Все это оказалось необычайно близким и дорогим молодому поэту, отозвалось в его лирике; вот почему он и вспоминал впоследствии:

Счастлив я, что его застал
и, стихи заучив до корки,
на его вечерах стоял,
шею вытянув, на галерке.

(«Маяковский»)

Именно, и прежде всего, у Маяковского учился Смеляков отстаивать и углублять крайне характерную особенность своей лирики, приметливой ко всему обычному и повседневному, но только в нем и через него приоткрывающей необычайное, устремленное к будущему и приближающее его. «По-маяковски» поэт утверждал в себе начало, слитое со всем миром, видел в своей поэзии средство и орудие его преобразования, осуществляемого в самой будничной деятельности наших людей. Эту слитность он воспринимал как нечто неотъемлемое, органически ему присущее; вот почему все окружающее становилось как бы продолжением его собственного существа:

Если я заболею,
к врачам обращаться не стану.
Обращаюсь к друзьям
(не сочтите, что это в бреду):
постелите мне степь,
занавесьте мне окна туманом,
в изголовье поставьте
ночную звезду.

(«Если я заболею. . .»)

И эта масштабность, отвечающая размаху и масштабности восприятий Маяковского, но совершенно самобытная, крайне характерна для Смелякова.

А если когда-то Маяковский, безоглядно нарушая все мыслимые грани и пределы личного существования, восклицал:

Любить —
это с простынь,
бессонницей рваных,
срываться,
ревнуя к Копернику,
его,
а не мужа Марьи Иванны,
считая
своим
соперником, —

то, хотя и совсем по-иному, в ином лирическом ключе, но так же масштабно и дерзко звучит стихотворение Я. Смелякова «Хорошая девочка Лида». Его героиня не просто идет на занятия в школу, нет, — «по миру шагает она». А юноша, пылко увлекшийся ею, всему миру готов признаться в сжигающей его страсти:

Преграды влюбленному нету:
смущенье и робость — вранье!
На всех перекрестках планеты
напишет он имя ее.

Позднее поэт испытает и значительное влияние Блока, по-своему переосмыслит символическую структуру и типологию его стиха.

Несомненно, немалое влияние оказал на молодого поэта и Василий Казин, стихи которого, по словам Смелякова, «сызмала были близки и дороги» его поколению, и «мы, тогдашние московские

мальчишки», читали их вслух «с удовольствием и даже лихостью». «Все было крайне симпатично в этом новом поэте; и его, если можно так сказать, своеобычная простота, и его пристрастие к плотникам, каменщикам, водопроводчикам, среди которых он, наверное, жил, раз так изнутри знал их труд, их быт».[1]

Все это по-своему отозвалось в творчестве Смелякова, в его «разговоре о главном» (как впоследствии назовет он одну из своих книг), в его высоком уважении к трудовым людям самых обычных профессий, среди которых он видел и самого себя, а потому, как и его старший собрат по перу, говорил о них с такой же любовью и увлеченностью, как о самых близких и родных.

2

В 1948 году, после длительного перерыва, выходит новая книга Ярослава Смелякова «Кремлевские ели», которую поэт (как мы читаем в его автобиографических заметках) считал — и вполне справедливо — одной из наиболее заметных в своем творчестве.

Открывается она обширным разделом «Сороковые годы», вобравшим в себя все значительное, что было создано поэтом за целое десятилетие и что составило новую главу в его творческом развитии (дополнительно новые произведения того же десятилетия включены в книгу «Стихи», опубликованную два года спустя).

Первое среди них, стихотворение «Кремлевские ели», не случайно дало название всей книге — оно носит программный характер, определяющий направленность книги, ее романтический пафос, а вместе с тем ее строгий и точно выверенный слог и склад.

К тому времени поэт полностью утвердил присущие именно его творчеству основы и особенности стиха, уже чуждые какой бы то ни было разбросанности, произвольности, подражательству или чистому экспериментаторству (как нередко бывало в тридцатых годах), стремлению поразить читателя каким-нибудь броским и неожиданным эффектом. Нет, это стих строгий, сдержанный, сосредоточенный на неуклонном и решительном развитии захватившей поэта темы. И в его повествовании о вечнозеленых деревьях, обрамляющих кремлевские стены и готовых выдержать самые суровые испытания, заключаются размышления о тех испытаниях, какие выпали на долю советских

---

[1] Я. Смеляков, Василий Казин. — В кн.: Избранные произведения в 2-х тт., т. 2, М., 1970, с. 392—393.

людей, и о собственной поэзии, готовой выдержать самую строгую проверку временем, возросшую и окрепшую в его суровом «климате».

С особой ясностью и очевидностью мы видим, почему именно ели наводят автора на мысли о мужестве, стойкости, упорстве, то есть тех качествах, без каких поэт не мыслит ничего подлинно прекрасного:

Нам сродни
их простое убранство,
молчаливая
их красота,
и суровых ветвей
постоянство,
и сибирских стволов
прямота.

Именно эти приметы сдержанности и красоты особенно дороги и близки поэту; и, кажется, чуждая парадности и броскости лирика Я. Смелякова стремилась в то время к такой же строгости, такому же «простому убранству», не признающему пышного красноречия и излишних украшений.

Пусть кому-то может показаться, что автор отстаивает в книге «Кремлевские ели» слишком суровую и строгую школу — не только стиха, а и самой жизни, но поэт уверен: именно эта школа отвечает духу современности, тех испытаний, какие выпали на долю наших людей, да и на его собственную, тех трудностей и опасностей, в преодолении которых человек крепнет и закаляется.

В стихотворении «Мое поколение» поэт даже несколько заостряет и гиперболизирует черты той мужественности, суровости и жесткости, без каких он не мыслил возможности подлинно значительных свершений и в строительстве новой жизни, и в творчестве. От лица своего поколения он заявляет:

Я строил окопы и доты,
железо и камень тесал,
и сам я от этой работы
железным и каменным стал.

Это стихотворение отвечало духу той трудовой сосредоточенности и жесткой дисциплинированности, которые исключали праздничную «разминку» — до нее еще очень далеко! Это сказалось и на самом характере стиха, на его тональности, близкой языку устава или при-

каза, на его сосредоточенности, особой дисциплинированности, словно отвечающей отблеску взятой на излом железной полосы.

Такая суровость, сдержанность, требовательность характерна для многих его произведений, созданных в сороковые годы. Она ощущалась автором не только как определенная черта своего личного творчества, но и как примета времени. Резко и решительно противопоставляя

> голос свирели
> и трубный глас, —
> *(«Два певца»)*

поэт просит лишь об одном:

> Дай мне отвагу,
> трубу,
> поход,
> песней победной
> наполни рот.

Но в книге Я. Смелякова открывается и несколько иное, на наш взгляд — более широкое понимание существа и возможностей современной лирики, не такое «спрямленное» и резко очерченное. Оказывается, что «голос свирели» в его поэзии вовсе не противоречит ее «трубному гласу» и, напротив, входит как одна из крайне примечательных и самых необходимых нот в оркестровое звучание его творчества. И будь иначе — оно многое утратило бы в своем богатстве и многообразии.

Именно к таким произведениям относятся стихотворения «Аленушка» и «Милые красавицы России», где так проникновенно, с такой полнотой и увлеченностью сумел поэт сказать о самых обыкновенных русских девушках и так убедительно передать охватывающее его чувство благоговения и восторга перед ними.

Вот именно такими произведениями, насыщенными всею полнотой чувств и переживаний поэта, и открывается новая страница его творчества.

Особого нашего внимания заслуживает то, что в таких стихотворениях, как «Кремлевские ели», «Портрет», «Аленушка», «Хлебное зерно», «Там, где звезды светятся в тумане. . .», реальная и конкретная образность, не утрачивая всей ощутимости, становится предельно обобщенной, далеко выходящей за грани обозначенного предмета, — что и придает ей подлинно философский смысл, определяет символическое звучание стиха.

Об этом свидетельствует и стихотворение «Рабочий». Поэт наделяет своего героя, да и не его одного, а миллионы и миллионы его соратников и собратьев, необычайным и неотъемлемым богатством:

От прадеда,
хоть прадед нищим был,
он золотое сердце
получил.

...Еще он взял
в наследство у отца
погасший горн
и молот кузнеца.

Здесь каждый образ, не порывая с реально-зримой конкретностью, опираясь на нее, вместе с тем обретает и глубоко символический смысл, звучание высокой оды.

С особенной зоркостью Смеляков стремится различить те повседневные подробности и приметы, какие выводят к самым большим событиям современности, соответствуют ее пафосу и романтике:

Сносились мужские ботинки,
армейское вышло белье,
но красное пламя косынки
всегда освещало ее.

(«Портрет»)

Такова одна из самых приметных черт лирики Я. Смелякова, с годами становившаяся все явственнее и углубленней.

3

К стихотворениям пятидесятых годов относится стихотворение «Книжка ударника». Сколько нестареющих воспоминаний давних уже лет вспыхивает перед поэтом, когда, перебирая письменный стол, он находит ее среди старых бумаг:

Вечером в комнате
снова встают предо мной
стройка Челябинска,
Бобрики и Днепрострой...

...Все те станки,
на которых работать пришлось,
домны и клубы,
что мне возводить довелось.

Так о многом и многом сказала поэту случайно найденная старая «Книжка ударника», знаменовавшая в его сознании единение строгой деловитости и окрыленной романтики. Это единство определяет главное содержание книги «Разговор о главном» (1959). Сам Смеляков определил ее в автобиографических заметках как одну из наиболее значительных в своем творчестве.

А главное, — утверждал он, в этой книге — пафос труда, творчества, рабочей хватки, той рабочей судьбы, выше которой поэт не видел и не признавал никакой другой, — что отзывалось на самом характере и структуре стиха, на том «внутреннем жесте», каким поэт словно бы сопровождает свой «разговор о главном».

Поэт ведет его деловито и немногословно, с ходу отметая все лишнее или необязательное, могущее обождать своей очереди, — и в этой краткости, деловитости, в готовности сразу, без каких-либо околичностей, приступить к тому главному, ради чего и затеян разговор, — особая убедительность поэта, и не только самой его речи, но и ее интонации, всей манеры держаться, присущей тому увлеченному и захваченному своим делом человеку, которому просто некогда болтать лишнее и отвлекаться на пустяки. Поневоле поверишь ему, если нашел в нем своего собеседника и единомышленника, тем более такого, который основательно задумался о твоей жизни и твоей профессии, взял на себя ответственность за твою судьбу.

Он шел к читателю напрямик — если считал это необходимым, утверждал свой замысел открыто, без стеснения, не опасаясь показаться слишком решительным и даже назидательным:

Мне хотелось бы очень —
заявляю, любя,
чтобы люди рабочим
называли тебя.

(«Разговор о главном»)

Чувство наслаждения творческим трудом, хотя бы самым повседневным и обыкновенным с виду, неотъемлемо от лирики Смелякова, по-своему одухотворяет ее, придает ей особую значительность.

Вот и в стихотворении «Первая смена» поэт увлеченно повествует о самом обычном и, казалось бы, заурядном зрелище:

Каждый день неизменно
мимо наших ворот
утром первая смена
на работу идет.

Поэт загляделся на рабочих этой смены, заполнивших весь тротуар и всю мостовую, таких неисчислимо многообразных по своему облику, но в чем-то главном и основном единых и родственных друг другу. И словно бы само собой и непроизвольно напрашивается то обобщение, какое могло бы показаться излишне восторженным, если бы не было оправдано и обусловлено всем предшествующим.

Я люблю эти лица,
этот русский народ.

Мне бы стать помоложе
да вернуть комсомол —
в эту смену я тоже,
только б в эту пошел, —

мечтает поэт, и трудно не разделить этого страстного стремления, которое и читателя словно бы вовлекает в тот поток утренней смены, где столько многообразных и обаятельных лиц. Среди них, как и в ранние годы, поэт не может не различить и свою Музу.

Труд для поэта — это самое основное и вместе с тем и самое прекрасное, что есть в жизни: одно неотделимо от другого; вот почему для него и красота — это не нечто редкое и необыкновенное, а то, что можно увидеть везде и повседневно, — лишь бы суметь разглядеть ее пристальным и проницательным взглядом под самыми скрытными и неприметными покровами.

Подчеркивая большое, а во многом и решающее значение личного и активного участия в тех делах и событиях современности, о каких взялся писать поэт, Я. Смеляков не без гордости утверждал в автобиографических заметках: «Стихотворения о комсомольцах, отправившихся на стройку Братской электростанции, родились на свет только потому, что я ездил туда с первыми добровольцами Москвы, в первом эшелоне. . .»

Очутившись в «Комсомольском вагоне» (так называется одно из его стихотворений), уходящем на сегодняшнюю стройку, поэт внима-

тельно всматривается в лица своих соседей, которых, наверно, ожидают

> взрывчатка, кайло и лопата,
> бульдозер, пила и топор.

Для многих из них все это окажется трудным и непривычным. Но автор, словно делегированный из давнего уже прошлого, «из песен тридцатого года», подмечает не только отличие нынешних молодых от прежних («почище одеты», «ученее нас»), но и то, что единит с ними — и что оказывается важнее всего:

> Не то чтобы разницы нету,
> но в самом большом мы сродни,
> и главные наши приметы
> у двух поколений одни.

Вот почему он чувствует себя не только знакомцем, но настоящим другом этих ребят — посланцев

> ...того же райкома,
> который меня принимал.

И поэт не без гордости подчеркивает свое родство и единство с ними.

Но не только грандиозные и поражающие воображение своим размахом, сложными и как бы воздушными конструкциями индустриальные стройки привлекают внимание поэта, — свое очарование он находит и в обычной спичечной фабрике. И здесь, утверждает он, заключена особая и неповторимая красота:

> эта фабрика схожа
> со шкатулкой резной.
>
> И похоже, что кто-то,
> теша сердце свое,
> чистотой и работой
> всю наполнил ее.
>
> *(«Спичечный коробок»)*

И как это характерно для него: запечатлеть красоту труда не только в его грандиозном размахе и поражающих воображение свершениях, но и в самых простых и неприметных делах:

Не поденная масса,
не отходник, не гость —
цех рабочего класса,
пролетарская кость.

Поэт находил и видел прекрасное в самой жизни, обыденной и повседневной, но не нуждающейся ни в каких приукрашиваниях и чуждой им. Этим и определяется полемический задор многих его стихов, страстно опровергающих любые попытки и стремления подменить реальную действительность — во всей ее истинности и доподлинности — приглаженным ее отображением, чуждым подлинной правде, а стало быть и настоящему искусству.

Так, в стихотворении «Уголь» он азартно и непримиримо выступает против «безыменной халтуры», против дешевых поделок, на которых

...конфетной сусальной улыбкой
улыбался пасхальный шахтер.

«...Нисколько она не такая, горняков и шахтеров земля», — утверждает поэт. Над нею — дымный ветер и «огни терриконов ночных».

И суровей она, и сильнее,
чем подделка дешевая та, —

пишет он с гордостью за людей, осуществляющих трудную и большую работу. Недаром, хоть и не сразу, но «всесоюзная гордая слава» приходит в их дома. Тем же, кто украшает лица шахтеров «конфетной сусальной улыбкой», он, доведя до предела саркастическую едкость своего стиха, советует дописать

...в уголке
херувимчика иль ангелочка
с обязательством, что ли, в руке...

Выступая против пошлости и дешевки, поэт законно гордится тем, что его собственная лирика

...дешевою эстрадой
ни разу в жизни не была
(«Ландыши»)

и шла к читателю и слушателю

без непотребного кокетства
и потребительских похвал,

(«Ландыши»)

широко и вольно дышала «гражданским воздухом».

...Мне были как раз по нутру
на фоне тайги и метели
два слова: «Даешь Ангару!» —

пишет он в стихотворении «Даешь!». И пусть иные собратья поэта не особенно жалуют этот «пронзительный клич». Он рад тому, что в этом далеком пути ему слышится это «словечко гражданской войны», а если кому-то оно и не по нраву, то поэт разъясняет — и не без запальчивости:

Ну что ж, что оно грубовато, —
мы в грубое время живем.

И чувствуется по всему: это «воскресшее слово», сошедшее с плаката в стихи поэта, дороже ему многих других, может быть гораздо более изощренных и изящных, но в меньшей мере, по его мнению, отвечающих духу своего времени.

Как видим, утверждая пафос и романтику великих творческих преобразований, Я. Смеляков вместе с тем по временам слишком решительно подчеркивал суровость, резкость, даже «грубость» эпохи.

Что ж, можно и поспорить с поэтом (впоследствии, судя по всему, он спорил и с самим собой), верно ли определять именно таким образом, то есть несколько односторонне, наше время — время огромных перемен и великих свершений. Но очевидно одно: поэт готов подчеркнуть излишнюю резкость и даже «грубость», лишь бы только ни в чем не допустить ненавистного ему «приукрашения» нашей действительности, прекрасной в его глазах и без всяких прикрас.

Некогда поэт (так же, как и многие его сверстники и единомышленники) излишне настороженно относился к началам и интересам сугубо личным, частным, «камерным» (не противостоят ли они общественным, прогрессивным, граждански-активным, согласуются ли с ними?!). Но со временем и сам он со всею бесспорностью и очевидностью ощутил некую односторонность и явную предвзятость в таком однолинейном и «спрямленном» восприятии внутренней жизни

советского человека. Такая переоценка оказалась весьма плодотворной и нашла свое отражение в поэме «Строгая любовь» (1953—1955), составившей новую и знаменательную главу в творчестве Ярослава Смелякова.

4

Поэма «Строгая любовь» посвящена тому юному поколению (к нему принадлежал и сам поэт), какое в годы первой пятилетки жило суровой и трудной, а вместе с тем и необычайно богатой жизнью.

Это поколение предстает в поэме в существенных чертах, глубоких внутренних «разрезах» и вместе с тем явных противоречиях: в своем творческом энтузиазме, непреклонной преданности высокому делу — и со своими уже очевидными для нас слабостями и просчетами, а то и крайней наивностью в решении многих насущных и жизненно важных вопросов.

В поэме дается как бы двойное освещение жизненным обстоятельствам и повседневным событиям давней уже юности, представленным в ней во всей их характерности и доподлинности, а вместе с тем они возникают перед нами и в ином, ретроспективном свете, словно бы рвущемся на страницы поэмы из далекого будущего, еще неведомого ее героям, и как бы преображающем их, обнажающем их внутренний мир в его противоречивом движении и развитии.

Крайне знаменательно, что, утверждая в своей поэме героизм и творческую романтику молодежи тех трудных годов, поэт углубленно изучает и ее внутренний мир, отмечая при этом не только высокий духовный накал и бескорыстное служение делу революции, но и наивность и предвзятость, в особенности — в осмыслении потребностей, интересов, возможностей развития личной жизни каждого. Отсюда их догматическая ограниченность, а порою и аскетическое ханжество, явно не выдерживающие столкновения с реальной действительностью, суровая предубежденность против всего, что выходит за рамки строительной площадки или заседания комсомольского актива.

Среди героев поэмы мы видим и самого ее автора, их сверстника, соратника, который живет с ними одной и той же общей жизнью, охвачен тем же высоким энтузиазмом, но так же, как и они, не свободен от предрассудков.

Поэт с гордостью вспоминает о юности своего поколения, сделавшего так много для преображения экономически отсталой страны; ведь недаром же, подчеркивает он,

...комсомольцы
на нынешних стройках
сейчас
песни поют
и читают романы о нас.

Казалось бы, крайне скудно и бедно жила молодежь того времени, но тогда это никого не огорчало — ведь тем, что

...мы бедны
и без всяких затей одеты,
мы не только не смущены,
а не знаем совсем об этом.

Именно такими и в таких неказистых одеждах и заношенных обутках предстают перед нами герои поэмы, увлеченные и захваченные пафосом переделки своей страны и словно не замечающие, да и не желающие замечать (как решительно подчеркивает поэт) ничего, что связано с личной жизнью и бытовыми неудобствами: разве они заслуживают внимания, если дело касается преображения мира?!

Герои поэмы, энтузиасты и передовики тогдашних строек, предстают один за другим во всей своей жизненности, характерности, непроизвольности и естественности своих примет и привычек. И комсомольская активистка Лизка, возникающая перед нами с набитым деловыми бумагами портфелем и в блеске своей сказочной (хоть и подозрительной в глазах окружающих ее ребят!) красоты; и охваченная пылкой жизнью и щеголяющая муфтой из собачьего меха Зинка, над которой в жестокий мороз вьется пар, «как над маленькой кипятилкой»; и Яшка, возникающий в некоем романтическом ореоле и «черном, как буря» бушлате, напоминающем о деяниях и подвигах революционных матросов времен гражданской войны. Конечно, у окружающих ребят Яшка вызывал «почтенье и зависть», они видели в нем некое воплощение самых верных и возвышенных черт вожака молодежи, а потому с особым вниманием прислушивались к его советам и указаниям.

А Яшка с особой пристрастностью и непримиримостью выступал против всего того, в чем усматривал хоть малейший намек на мещанство и отступничество от наших высоких идеалов, — тут он был беспощаден. Но поэт вспоминает о юности своих сверстников и современников не только с гордостью и торжеством, а и с умудренной

улыбкой; слишком многое в ее взглядах представляется ему ныне упрощенным, явно незрелым, не выдержавшим испытания временем.

Исполненные суровой и неукоснительной требовательности к себе, они с особенной непримиримостью и ожесточенностью относились ко всему, в чем находили отпечаток слабости, изнеженности, мещанских замашек, хотя подчас толковали о них с излишней запальчивостью, как это и замечает поэт не без смущенной улыбки:

Мы заблуждались, юный брат,
в своем наивном аскетизме,
и вскоре наш неверный взгляд
был опровергнут ходом жизни.

Именно эта мысль стала одним из стержневых начал поэмы, определила характер лежащих в ее основе конфликтов.

Сама красота ставилась под сомнение юными и суровыми героями поэмы: не таятся ли в ней какие-то пока неведомые опасности?

Знакомя нас с одной из героинь своей поэмы — Лизкой, автор не может умолчать о том, что, подвластная названным предубеждениям, она, дабы не слишком-то выделяться среди своих сверстниц, обкарнала, «тяготясь красотой досадной», великолепные волны своих волос, и

...взяла себе, как протест,
вместе с кожанкою короткой
громкий голос, широкий жест
и решительную походку.

Но, продолжает автор, словно глядя на свою героиню уже из того будущего, когда отпали многие наивно-ригористические взгляды и беспощадно суровые предубеждения его сверстников:

...наивная хитрость та
помогала, по счастью, мало:
русской девушки красота
всё блистательно затмевала.

Силу и величие этой красоты почувствовал на себе и один из героев поэмы, беспощадный в своих неуклонно-прямолинейных убеждениях и суждениях Яшка, с прокурорской строгостью взиравший на все то, в чем он подозревал нечто недостойное комсомольских активистов. Дело дошло до того, что

...в обнаженной липовой аллее
(актив Москвы, шуми и протестуй!),
идя на всё и все-таки робея,
он ей нанес свой первый поцелуй...

Одновременно он «нанес» и удар по всем своим прежним представлениям об отношениях между юношами и девчонками, дотоле исчерпывающихся строительными площадками и шумными собраниями. В связи с этим автор поясняет, дабы быть понятым до конца читателями иных времен и поколений:

Мы никого тогда не целовали,
и нас никто не смел поцеловать.

Герои поэмы живут настолько скудно, что даже такой обиходный предмет женского туалета, как Зинкина муфта,

...странно выглядел тогда
под небом пасмурной заставы,
средь сжатых лозунгов труда
и твердой четкости устава.

Вероятно, он вызвал бы немало нареканий и насмешек в адрес Зинки — но одно смягчало их:

...примирял аскетов всех,
смирял ревнителей народа
собачьей муфты пестрый мех,
ее плебейская порода.

Но, может быть, Зинке простили бы даже и муфту, если бы из нее не выпал случайно клубок ниток с вязаньем.

Автор не без скрытой улыбки поясняет, что даже такое безобидное и незамысловатое занятие, как рукоделие, казалось в то время юным и суровым героям поэмы чем-то предосудительным и явно мещанским.

...Зинка, Зинка! Как же ты,
каким путем, скажи на милость,
с индустриальной высоты
до рукоделья докатилась?

Недаром комсомольский вожак Яшка пронзил ее презрительным взглядом:

Наверно, так, сужая взгляд
при дымных факелах Конвента,
глядел мучительно Марат
на роялистского агента.

Но безвинная жертва их излишней придирчивости и аскетической суровости,

...даже в этот горький час
она раскаивалась мало:
как будто что-то лучше нас
сквозь все условности видала.

Поглощенная заботой о своем старом и много пережившем отце, она понимала и чувствовала кое-что гораздо глубже и основательней, чем ее заносчивые и самонадеянные судьи, от которых (не забудем это отметить) не отделяет себя и автор поэмы.

Чтоб окончательно разоблачить «мещанские» замашки и увлечения Зинки, явно, как им кажется, чуждые большому революционному делу, трое ребят (среди которых поэт тоже видит и самого себя, каким он, возможно, был когда-то) вторгаются в Зинкину квартиру. Но вместо обывательских манишек и мещанских котелков, какие ожидали здесь увидеть, ошеломленные ребята заметили на фотографиях нечто совсем иное — лица слесарей и портных, тех рабочих,

...что ради своей земли
шили, сеяли и тесали,
всё хотели и всё могли,
всё без устали создавали.

На одной из фотографий особо привлек их внимание

...примечательный в самом деле
шрамом, врубленным поперек,
человек в боевой шинели.

Он стоял, как приказ, прямой...
Ах, как гордо она надета,
та буденовка со звездой,
освещающей полпланеты!

А на отцовской руке примостилась девчонка — та самая, которую они пришли «обличать»!

Так самозванные и самоуверенные прокуроры и обличители «мещанства» получили наглядный и суровый урок подлинной человечности, неотъемлемой от высокого служения народному делу. Оказалось, что жизнь

...право, куда сложней,
чем до этого нам казалось.

Со всей очевидностью они убедились, насколько несостоятельны иные их суждения о нашей действительности, с ходу опрокидывающей их ханжеские и предвзятые измышления. Она настойчиво переучивала и перевоспитывала их, заставляла подниматься на новую нравственную ступень, учила пониманию сложности человеческих чувств и отношений, подлинному гуманизму, не только не противостоящему высоким устремлениям нашей эпохи, но придающему им особую полноту и многогранность.

Саркастические умы,
все отчаянные ребята,
перед нею притихли мы,
словно в чем-нибудь виноваты...

Повзрослением и созреванием еще недавно слишком наивных и заносчивых ребят, осознавших свою виновность — не только перед Зинкой, но и перед самой жизнью, их переходом к какому-то новому этапу своей жизни — да и не только своей — закономерно завершается повесть в стихах «Строгая любовь».

Поэма привлекает и остротой реальных конфликтов, и точностью примет, бытовых и деловых, и психологической углубленностью и жизненностью выведенных в ней характеров.

Да, многое из сказанного словно бы впервые автор постигает по ходу своей поэмы, а вместе с ним и мы, его читатели.

«Строгая любовь», созданная в середине пятидесятых годов и ставшая одним из значительных произведений советской поэзии, подлинно реалистически и психологически-проникновенно запечатлевшим отображенное в ней время, характернейшие черты и особенности ее героев, и поныне воспринимается во всей своей значительности и самобытности. Не случайно так благодарно была она встречена чита-

телями и критикой, а сам поэт говорил в автобиографии: «Из крупных вещей вполне удалась мне только повесть в стихах „Строгая любовь“».

За этой поэмой последовали книга «День России» (1967), отдельное издание «комсомольской поэмы» «Молодые люди» (1968) и книга «Декабрь» (1970). Они словно бы подхватили и развили найденное и воссозданное в «Строгой любви», ответили ее особо углубленному, гуманистическому началу, многосторонности охвата общественной и личной жизни наших людей, уже лишенного какой бы то ни было предвзятости и той заданности, как бывало раньше. Именно потому они составили новую главу творчества Я. Смелякова, закономерно явились высшим его этапом.

5

Само весомое и знаменательное название книги «День России» (в которую входит и одноименный цикл, удостоенный Государственной премии СССР) говорит о многом. Это широкое и гордое название полностью оправдано, ибо отвечает размаху авторских замыслов, охватывающих и историю, и современность, и судьбы нашей страны; отвечает и той зрелости государственной мысли, какая сродни лучшим традициям русской поэзии, а вместе с тем отличается и высокой степенью поэтического мастерства.

Во вступительном стихотворении поэт представляет «День России» как книгу

...многих судеб
и одной — моей — судьбы.

Здесь действительно личная, неповторимая судьба поэта сочетается со множеством судеб тех людей, которые проходят по страницам его лирики какою-то особо внушительной и, хочется сказать, хозяйской походкой и представляют народ — в его цельности и единстве.

Стремление вести с сегодняшним читателем «разговор о главном» (так называется одна из книг Я. Смелякова) не только в сугубо злободневном, но и в историческом смысле этих слов — вот что определяет характер и масштабность этой и других, последовавших за ней книг Смелякова.

Если кругозор поэта в молодости определялся, как правило, непосредственными наблюдениями и переживаниями, связанными с его поколением, певцом которого он являлся, то в последних своих кни-

гах он, не нарушая чувства единства с этим поколением (о чем свидетельствует его «комсомольская поэма» и обширная книга стихов «Товарищ комсомол»), далеко выходит за эти пределы. Смеляков уже не мыслит своего творчества вне широких исторических перспектив.

Эта тяга к истории, стремление осмыслить свое время в его неразрывном единстве даже с самым отдаленным прошлым и одновременно в движении к будущему, определяет ныне мировосприятие множества людей, самых различных по своему складу и жизненному опыту:

Как словно нас нужда толкает
или обязанность зовет, —
пора, наверное, такая,
такой уж, видимо, народ.

(*«Мемуары»*)

И сам поэт видел в себе активного участника этого большого движения: не случайно на первых страницах его книги «День России» преобладают исторические темы и мотивы.

...Современники, и тени
в тиши беседуют со мной.
Острее стало ощущенье
шагов Истории самой.

(*«История»*)

Пафосом новых его стихов и является утверждение единства каждого из нас со своей страной, а стало быть, и связи поколений, личной причастности к ее истории и ее настоящему:

Как словно я мальчонка в шубке
и за тебя, родная Русь,
как бы за бабушкину юбку,
спеша и падая, держусь.

(*«История»*)

Ныне для Я. Смелякова история России — это словно хорошо обжитый дом, где все сызмала знают друг друга, где все знакомо, все дорого, и любые ее времена и пространства по-своему близки, вызывают страстный и сердечный отклик. Вот почему он так свободно перемещается в них — то уходя на века назад, то пересекая огромные просторы сегодняшней Сибири.

Люди прошлого возникают здесь во всей своей не подвластной времени жизненной неповторимости, словно поэт одним неуловимым жестом сметает пыль и тлен, и оживает перед нами протопоп Аввакум — яростный, неукротимый, причинивший в свое время много забот и хлопот своим притеснителям и гонителям и никогда не сдававшийся ни на угрозы, ни на посулы, — а разве такая твердость, решительность, мужественность не достойны уважения?

Ведь он оставил русской речи
и прямоту и срамоту,
язык мятежного предтечи,
светившийся, как угль во рту.

(«Один день»)

Перед нами воскресает образ мятежного протопопа, одного из племени тех бунтарей старых времен, которые по-своему — яростно, непримиримо и беззаветно — боролись с насилием, произволом, жестокостью и именно в этой борьбе обретали вдохновенное слово.

С особою душевностью и проникновенностью Смеляков вспоминает о тех событиях истории, которые знаменуют начало нашей эры. Но и здесь он подчеркивает приметы самые обыденные, чтобы с тем большей очевидностью и отчетливостью проступили сквозь них героические и нетленные.

Историю, упорно подчеркивает поэт, творят самые рядовые и обыкновенные люди. Одна из важнейших и характернейших черт творчества Ярослава Смелякова и определяется тем, что поэт раскрывал героические качества наших людей — не как исключительные, а как массовые и широко распространенные.

Его герои, чьи повседневные дела и небывалые подвиги входят в историю и преобразуют ее, то пребывают в безвестности, то — на волне исторических событий — поднимаются на такие вершины, где их видно отовсюду. Но при этом они не меняются в своем существе, а просто в решающий момент обнаруживают дотоле никому (и им самим) не ведомые свойства.

Неизменное родство обыденного и героического, исторического и повседневного становится пафосом творчества Смелякова, его постоянно отстаиваемым убеждением. Так, стихотворение «Давних дней героини», вошедшее затем в поэму «Молодые люди», — одно из наиболее характерных в книге «День России», — открывается вопросом, казалось бы неожиданным даже для самого поэта и словно бы заставшим его врасплох:

Где вы ходите ныне?
Потерялся ваш след,
давних дней героини,
слава старых газет.

Но разве за славой они гнались и о славе думали, совершая свой подвиг? Нет,

Сделав главное дело,
дочки нашей земли
из высоких пределов
незаметно сошли.

Они возвратились на свои полустанки и в сельсоветы и по-прежнему служат стране. Поэт знает, что и ныне на этих полустанках и в сельсоветах героинь не меньше, чем в былые годы, — а если мы о них не знаем или не слышим, то это вопрос обстоятельств, а подчас и случая. Но разве от этого в чем-то меняется их драгоценная суть, их героические качества?

«Комиссары», «Рязанские Мараты», «Давних дней героини» — все они, совершившие предназначенный им подвиг и словно бы растворившиеся во взрастившей и воспитавшей их среде, решительной и мужественной походкой входят в стихи Я. Смелякова, располагаются в них непринужденно, по-хозяйски. Поэт принимает их как верных друзей и надежных соратников, на которых можно положиться всегда и во всем. Они делали свое дело скромно и величаво, не щадя сил и крови, не помышляя о славе, не стремясь запечатлеть свое имя на скрижалях истории, но именно они перевернули ее самые большие и героические страницы.

Истинно человеческое достоинство, чуждое суетливости, тщеславию, показному блеску, а вместе с тем и готовность на любые испытания и любой труд, как бы он ни был подчас суров и тяжел, — вот что прежде всего дорого поэту в людях, прославлены они или же никому не известны. Вот что делает их значительными и прекрасными в его глазах.

Что же роднит и объединяет их всех — настоящих людей, прославлены они или осуществляют самую скромную, рядовую, неприметную работу?

На этот вопрос отвечает сам поэт.

Если он говорит о великих основоположниках марксизма-ленинизма, то скажет просто и гордо:

Маркс и Энгельс дело знали,
Ленин дело понимал.
(«Стихи, написанные 1 Мая»)

А если речь заходит об испанском коммунисте, после многих лет заключения ставшем поэтом, Я. Смеляков словно бы мельком заметит, что у того «только дело на уме».

Если поэт заговорит об одном из рядовых советских тружеников, то подчеркнет, что он работает «для житейской пользы дела». Таким образом, всех дорогих Смелякову героев объединяет и роднит «дело». Дело это так значительно и всеобъемлюще, что оно оказывается несовместимым с узко-утилитарной ограниченностью, неотъемлемым от высоких нравственных устоев наших людей, выводящим их на тот широкий простор, где неприметно, но и неизбежно становится неотъемлемой частицей преображения всего мира, способствует воплощению самых больших замыслов и дерзаний наших великих учителей.

Готовность найти и подметить в человеке — самом обычном и рядовом, с виду мало чем примечательном — черты и качества, достойные пристального внимания и высокого уважения, определила и характер такого стихотворения Я. Смелякова, как «Сосед». Представляя нам своего героя, весьма вольготно и совершенно непринужденно расположившегося на страницах его книги, поэт дружески говорит ему:

Здравствуй, давний мой приятель,
гражданин преклонных лет,
неприметный обыватель,
поселковый мой сосед.

Жизнь этого героя — если уместно здесь такое определение — представлена в ее самых обыденных проявлениях, начиная от забот о рябине, о грядках, ухоженных его руками. Любуясь ими, поэт одобрительно замечает:

Это всё весьма умело,
не спеша поставил ты
для житейской пользы дела
и еще для красоты.

И до чего жалким и никчемным выглядит рядом с этим деловитым «обывателем» иной верхогляд, требующий «перестроиться» и готовый предать при этом забвению и запустению ту самую землю,

которая «шевелится» под неустанными и добрыми руками героя стихотворения. Поэт между тем настойчиво напоминает и о том, что вся судьба этого «обывателя» не так-то бедна и обыденна, как это подчас представляется иному равнодушному наблюдателю. Не случайно же этот «сосед» вернулся после войны с боевой и, надо полагать, вполне заслуженной медалью:

И она весьма охотно,
сохраняя бравый вид,
вместе с грамотой почетной
в дальнем ящике лежит.

И медаль эта, и эта почетная грамота заслужены не зря. И многое могли бы рассказать о деловых достоинствах и будничном героизме их обладателя.

Здесь полемическая страстность поэта словно бы взламывает строфу, начатую непритязательно шутливой нотой, адресованной «соседу»:

Персонаж для щелкоперов,
Мосэстрады анекдот, —

но внезапно обретавшую широкое и приподнятое звучание. В нем слышится вся полнота гражданских чувств и философских раздумий поэта:

...жизни главная опора,
человечества оплот.

Как резко сталкиваются здесь эти две интонации, две взаимоисключающие оценки.

Вот каков

мой приятель, обыватель,
непременный гражданин, —

с гордостью представляет нам поэт своего «соседа».

Почетна маленькая роль! .. —

(«Камерная полемика»)

не устает внушать Я. Смеляков своему читателю. Такова одна из основ его творчества, определяющая характер, направленность, да и полемичность многих его стихов.

А если поэт перед чем-нибудь и преклоняется, то именно перед рабочими руками, которым все подвластно, и перед всем, ими созданным. В них он видит «жизни главную опору», — что с особенной остротой раскрылось в одном из примечательнейших его стихотворений «Николай Солдатенков».

Обращаясь к своему герою, автор пишет:

...ах, когда ты, друг любезный
(за охулку не взыщи),
кипятил тот лом железный,
как хозяечка борщи,

как хозяюшка России,
на глаза набрав платок,
чтобы очи ей не выел
тот блестящий кипяток, —

я глядел с любовной верой,
а совсем не напоказ,
как Успенский пред Венерой, —
прочитай его рассказ.

Все это — вместе с воспоминаниями о рассказе Успенского «Выпрямила» (ибо и здесь речь идет о внутреннем «выпрямлении» людей), вместе с удивительным по сердечности и полноте образом «хозяюшки России» — тем полнее захватывает читателя, что не со стороны и не с кондачка говорит поэт, а потому, что вместе со своим героем стоял рядом на той же работе и съел с ним не один пуд соли. Как же не поверить поэту, когда он сквозь не очень-то привлекательные черты своего напарника — «тощего безобразника» — разглядел и иные, гораздо более глубокие и коренные, далеко не всегда заметные, но живые и доподлинные.

Поэт не без гордости подчеркивает здесь, что и сам он являлся в свое время деятельным участником этой напряженной и вдохновенной работы. Именно поэтому он сумел достойно оценить труд своего напарника и завоевать ответное его уважение:

Надо думать, очевидно,
выпивоха и нахал,
ты меня тайком, солидно
за работу уважал...

И, судя по всему, эта оценка была для него дороже многих восторженных похвал, адресованных его стихам и поэмам.

Размышляя о судьбах своей родины, о значении событий, открывших новую страницу ее истории, поэт утверждает:

За подвиги свои и прегрешенья,
за всё, что сделал, в сущности, народ,
без отговорок наше поколенье
лишь на себя ответственность берет.

(«Мне говорят и шепотом и громко. . .»)

О том, с какою увлеченностью и азартностью отстаивал Смеляков в самые зрелые свои годы верность юношеским дерзаниям и стремлениям своего поколения, свидетельствует и его «комсомольская поэма» «Молодые люди», удостоенная премии ЦК ВЛКСМ, — живое и художественно полнокровное свидетельство деяний и свершений нашей комсомольской молодежи.

Посвященная пятидесятилетию Ленинского комсомола, эта поэма в жанровом отношении может рассматриваться и как цикл автобиографических стихотворений, объединенных образом рассказчика, его личной судьбой, в которой прозревается и судьба его поколения, его стремлением осмыслить самые повседневные и с виду мало чем примечательные факты текущей жизни, в том числе и своей, как знаменательные и исторически значительные.

Именно это подчеркивает «Летописец Пимен» — так называется стихотворение, открывающее — и совсем не случайно — поэму «Молодые люди». Поэт (конечно, не без улыбки) претендует здесь на звание нового Пимена — Пимена времен комсомола, но тут же подчеркивает то, что существеннейшим образом отличает его от Пимена былых времен: он видит в себе не только летописца, но и активного участника описываемых им событий.

И сам на утреннем помосте,
с руки не вытерев чернил,
под гул гудков, с веселой злостью
добротно стены становил.

Нынешний Пимен, облаченный в изношенную спецовку, только что отбросивший лопату или мастерок, по виду да и по характеру мало чем напоминает прежнего и всем нам знакомого. Но внутрен-

не роднит и объединяет их чувство истории, стремление, ни в чем не отступая от истины, поведать о ней потомкам:

Истории — не прекословь,
не правь исчезнувшие даты... —
(«Молодые люди»)

таков принцип, ставший главной жизненной и творческой установкой автора.

События, свидетелем или участником которых ему довелось быть, Я. Смеляков сопоставляет со всей историей нашей страны, с ее наиболее значительными страницами. Вспоминая давнюю Рязань, где обрабатывал «заметки страшные селькоров» для «Деревенской газеты», он со всею остротой заново переживает героические и трагические события тех дней, когда

в село отряды уходили
без барабанов в этот год.

А потом

Под солнцем, смутным и невнятным,
они из схваток боевых
везли на розвальнях обратно
тела товарищей своих...
(«Молодые люди»)

За все, что стало неоценимым достоянием народа, за все его свершения и завоевания наши отцы и старшие братья платили «предельной мерой». И поэтому рассказ о такой скромной работе, как правка газетных заметок селькоров Рязанской губернии, вырастает до тех пределов, за которыми открываются судьбы народа и главы истории — во всей их горечи и всем их величии, — и страницы автобиографии, не утрачивая своей особости и неповторимости, становятся вместе с тем и страницей истории.

Активное восприятие жизни, действенное отношение к ней, непосредственное участие в ее созидании и преображении глубочайшим образом отозвалось в стихах Смелякова, иначе, признается он,

...я поэтом бы не был
или где-то в начале заглох и иссяк.
(«По поводу получения премии Ленинского комсомола»)

Определяя главный смысл и основную направленность своего творчества, поэт не без гордости утверждает, что он

...на главной магистрали
с понятьем собственным служил.

Он нес на ней «увлекательно и честно» свою службу и

...скромно делал подвиг свой
не возле шаткой карусели,
а на дороге боевой.
(«Что делать? Я не гениален...»)

С теми же, кто крутится возле «шаткой карусели», словно забывая о «главной магистрали», поэт вел во многих своих стихах пылкий и ожесточенный спор.

В них, как и в «Разговоре о главном», Я. Смеляков продолжал отстаивать свое понимание пути и назначения искусства. На новом этапе эта полемика обрела несколько иную тональность и направленность: если раньше она была заострена против таких явлений, как украшательство, лакировка, идиллическая умиротворенность (вспомним стихотворение «Уголь»), то теперь она направлена прежде всего против увлечения литературной модой, погони за успехом, крайне одностороннего понимания новаторства и самодовлеющего формотворчества, против слишком торопливого отказа от недавних верований и убеждений (на живом деле доказавших свою прочность и незыблемость).

Отстаивая высокое назначение искусства, Я. Смеляков в полемически заостренном «Разговоре о поэзии» темпераментно возражает своему оппоненту, пренебрежительно называющему его стихотворения гражданскими поделками, «загубившими» его дарование. Поэт согласен с тем, что «в альбомах у девиц, средь милой дребедени и мороки, в сообществе интимнейших страниц» его «навряд ли попадутся строки». Но затем его голос набирает силу, уже чуждую какому бы то ни было наигрышу и сарказму:

Я не могу писать по пустякам,
как словно бы мальчишка желторотый, —
иная есть нелегкая работа,
иное назначение стихам.

«Ремесленник журнальный и газетный» (как скромно представляет он себя) не ищет салонной популярности, — нет, его влекут

великие и малые событья
чужих земель и собственной земли.

И пусть далеко не все создания его музы «удачны и заметны» (как взыскательно замечает он), но в главном и основном они отвечают своему призванию и назначению:

Мне в общей жизни, в общем, повезло,
я знал ее и крупно и подробно.
И рад тому, что это ремесло
созданию истории подобно.

Отстаивая свою преданность издавна сложившимся взглядам, убеждениям, пристрастиям, поэт не без запальчивости утверждал в стихотворении, многозначительно названном «Постоянство»:

Средь новых звезд на небосводе
и празднoблещущих утех
я, без сомненья, старомоден
и постоянен, как на грех.

Но поэт и не собирается каяться, напротив, он заявляет:

...мне и не к чему меняться,
не обязательно с утра
по телефону ухмыляться
над тем, что сделано вчера...

...я утверждать не побоюсь,
что в самом главном повторяюсь
и — бог поможет — повторюсь.

Да, в утверждении основ своего творчества и своих позиций поэт неизменно сохранял присущее ему постоянство.

Но было бы явно ошибочно заключить, что такая верность поэта себе хоть в какой бы то ни было мере ограничивала возможности его развития и совершенствования.

Внимательно и пытливо всматривается он в издавна знакомые черты своего современника — и находит в его внутреннем мире нечто представлявшееся ему ранее не столь уж значительным, а теперь кажущееся крайне важным, он ищет и находит новые ответы на во-

просы, казалось бы давно уже решенные, нередко вступая в спор с самим собой, каким был когда-то.

Да, поэт изменился во многом, и в свое время такие перемены ему самому показались бы почти невероятными.

О том, как с годами изменялась сфера переживаний и восприятий поэта, обретая высокий гуманистический характер, свидетельствует сравнение двух близких по теме, но резко расходящихся и в конечных выводах, и в самом звучании произведений Смелякова — «Элегического стихотворения», созданного в зрелые годы, и раннего стихотворения «Ты всё молодишься...».

С каким-то удивительным тактом, сердечно, даже возвышенно поэт рассказал о любви и встрече через многие и многие годы с тою, чьи некогда любимые и полузабытые черты воскресли перед ним и вызвали целую бурю давних воспоминаний:

...к вам идя сквозь шум базарный,
как на угасшую зарю,
я наклоняюсь благодарно
и ничего не говорю,

лишь с наслаждением и мукой,
забыв печали и дела,
целую старческую руку,
что белой ручкою была.

(«Элегическое стихотворение»)

Все стихотворение проникнуто высокой одухотворенностью. В нем чувствуется не только рука зрелого мастера, но и житейский опыт человека умудренного, много повидавшего на своем веку, давно отказавшегося от ходячих оценок и предвзятых решений трудных житейских вопросов, сохранившего высокую человечность.

В своей элегии, лишенной какой бы то ни было навязчивости и назидательности, поэт учит постигать богатство внутренней жизни во всей ее непосредственности, трепетности, сложности, учит бережному и необычайно чуткому отношению к красоте.

Насколько же отлично «Элегическое стихотворение» от другого, раннего и почти однотемного стихотворения «Ты всё молодишься...». В юношеском стихотворении, где, возможно, речь идет о той же самой, немолодой, на взгляд юного поэта, героине, с которой его связывают какие-то особые отношения, позволяющие ему проникнуть в область ее самых больших и сложных переживаний, он обращается к ней с упреком, излишне суровым и не слишком тактичным:

Ты всё еще жаждешь обманом
себе и другим доказать,
что юности легким туманом
ничуть не устала дышать.

Причина же этой суровости в том, что, по убеждению юного поэта,

...правдою, трудной и черствой,
у нас полагается жить.

Если здесь и высказана правда (вернее, какая-то ее доля), то поистине только та, какую и сам поэт назвал «черствой», ибо укорять и отчитывать женщину за то, что она не так молода, как хотелось бы, напоминать о ее «закате» явно бестактно.

Сравнение этих двух стихотворений — лишнее свидетельство того, насколько изменилось восприятие Смеляковым человека, как углубилось с годами его психологическое мастерство: то, что раньше послужило всего лишь поводом для язвительных замечаний и слишком суровых попреков, — стало вдохновляющим началом проникновенной элегии.

Поэт с новых позиций, словно под влиянием некоего теплого течения, пересматривал многое в своем собственном творчестве, и, чтобы с особенной наглядностью убедиться в этом, можно сопоставить написанные в разное время стихотворения, обращенные к памяти Натальи Николаевны Пушкиной.

Первое из них, «Натали», еще отвечает духу сурового осуждения и беспощадного ригоризма; при самом ее имени поэтом овладевает безудержный гнев, и он готов посмертно пригвоздить вдову Пушкина к позорному столбу.

Но пройдут годы, и в книге «День России» появится иное по духу стихотворение, само название которого — «Извинение перед Натали» — уже показывает, насколько изменилось отношение поэта к жене и вдове Пушкина. Об этом нужно напомнить потому, что, читая именно такие стихи, относящиеся к позднему и наиболее зрелому периоду, с особенной наглядностью можно уяснить, в чем менялась лирика Я. Смелякова и как поэт, верный самому себе, вместе с тем все глубже постигал реальное существо человеческих отношений, все решительнее отбрасывал то, что граничило с предвзятостью или заданностью.

Поэт стремился проникнуть теперь в те области личной жизни человека, мимо которых раньше он принципиально проходил, что и отозвалось на внутреннем обогащении и «утеплении» его творчества.

Об этом свидетельствует и такое стихотворение, как «Манон

Леско», едва ли возможное в ранней лирике Смелякова, относящейся к тому времени, когда

Издавались книги про литье,
книги об уральском чугуне,
а любовь и вестники ее
оставались как-то в стороне.
(«Манон Леско»)

Ныне же оказалось, что сугубо личные и даже «интимные» чувства (каких еще недавно чурался поэт!) не только не противоречат «социальной красоте», но чем-то существенным и необходимым дополняют ее.

Спором с самим собой, с тем, каким некогда был и сам, и каких вкусов и взглядов придерживался, открывается и стихотворение «Роза Таджикистана»:

В юности необычной,
вовсе не ради позы,
с грубостью ироничной
я относился к розам, —

признается поэт, объясняя, что

В залах тогдашних съездов,
в том правовом порядке,
были совсем не к месту
эти аристократки.

Ныне же, опьяненный их благоуханием, охваченный их красотой, он не без смущения и лукавства выражает надежду на то, что ему простят

тихое нарушенье
принципов и традиций
грозного поколенья.

Так по-разному в разных стихотворениях проявляется та углубленная психологическая чуткость, та проникновенность, какая дает возможность воссоздать многогранный внутренний мир нашего современника во всей его доподлинности и непосредственности, не «выпрямляя» его загодя и не предъявляя к нему заранее сконструированных и почти обязательных требований и условий.

В стихотворении «Попытка завещания» тончайший лиризм, глубина горестных раздумий о конце жизни, ожидающем каждого из нас, психологическая прозорливость и захватывающая естественность и непосредственность образного воплощения замысла, передающего неповторимую сложность переживаний нашего современника, слагаются в картину редкостной художественной завершенности.

Здесь и сама печаль овеяна дыханием жизни и словно бы окружена светоносным и трепещущим ореолом, какой встает издали над каждым виднеющимся во мгле людским селением, тесным сплетением улиц, домов, площадей. В завершающих стихотворение строках:

Пусть этот отблеск жизни милой,
пускай щемящий проблеск тот
пройдет, мерцая, над могилой
и где-то дальше пропадет... —

с особенной глубиной и захватывающей сердечностью передана связь личного нашего существования со всей окружающей нас жизнью — даже в самых обычных и повседневных ее проявлениях, на которые мы порой и внимания-то никакого не обращаем. Но вот приходит час, когда невозможно, да и нет силы с ними расстаться — так они, оказывается, прекрасны и дороги нам. Все это передано в «Попытке завещания» со всею сложностью и трепетностью большого и непосредственного чувства, и, кажется, в этой «попытке» поэт завещает возлюбленной не свое личное достояние, а весь мир — во всей его светоносной и бессмертной красоте.

Элегические стансы — трудно иным образом определить жанр стихотворения «Бывать на кладбище столичном...» — отмечены тою же суровой простотой и значительностью раздумий. В них поэт, как ему и привычно, от самых заурядных наблюдений неизбежно и внутренне оправданно переходит к большим обобщениям, когда разговор о смысле жизни и назначении человека идет там,

где всё исчерпано до дна,
нет ни величия, ни страха,
а лишь естественность одна.

Диапазон его наиболее поздней и зрелой лирики удивительно широк, в ней слышны все «регистры» — от сниженно-бытового и сугубо разговорного до торжественно-патетического, захватывающего безудержно хлынувшими волнами высокой романтики. Таково стихотворение, посвященное Рихарду Зорге. Его начало носит нарочито

разговорный, несколько сниженный по своей тональности и изображаемым подробностям характер:

Почти перед восходом солнца,
весь ритуал обговоря,
тебя повесили японцы
как раз Седьмого ноября.

Но с тем большей силой — по контрасту — звучат заключительные строки стихотворения:

...час спустя над миллионной
военно-праздничной Москвой
склонились красные знамена,
благословляя подвиг твой.

И трубы сводного оркестра
от Главной площади земли
до той могилы неизвестной,
грозя и плача, дотекли.

Здесь от почти хроникальной передачи событий, сопутствовавших гибели Зорге, поэт внезапно переходит к такой высокой патетике, которая захватывает и застигает нас врасплох своею неожиданностью, возвышенностью, страстной силой, героической романтикой, пронизывающей всю жизнь Зорге. И взрыв этого романтического начала тем больше потрясает нас, чем меньше мы к нему подготовлены.

К какому жанру можно отнести стихотворение, посвященное Рихарду Зорге?

Думается, если прислушаться к его патетической интонации, его возвышенному слогу, к завершающим его торжественным мотивам, то ближе всего оказывается оно к жанру оды, — но оды необычайной, удивительно современной, предельно насыщенной, страстно напряженной и словно бы напоенной слезами.

Да, это — ода, как и многие другие стихотворения Смелякова, — но разве мы не ощущаем, какое новое звучание придал поэт этому традиционному и, казалось бы, уже отжившему жанру, какие новые и неожиданные возможности открыл в нем? А если кому-либо покажется, что такой жанр, как ода, безнадежно устарел, то Я. Смеляков, не вступая в излишние споры, создаст стихотворение, которое назовет «Одой русскому человеку», и начнет его традиционно одическим «о»!

О, этот русский непрестанный,
приехавший издалека,
среди чинар Таджикистана,
в погранохране и в Цека.

В своей оде поэт напоминает и о том, что сделано для нас и нашего блага целыми поколениями русских людей:

...здесь, в больших могилах,
на склонах гор, чужих и милых,
сыны российские лежат.

И хоть сказано это несколько старомодно, одическим языком («сыны российские»), но этот язык, пройдя сквозь горнило современности, обрел ее дыхание, ее пылкость, и поэт сумел придать старому слогу новое звучание, изначальную свежесть и молодость, а тем самым оживить и как бы воскресить его, — и такою живой водой насыщены и напоены многие страницы лирики Я. Смелякова.

А как значительно и внутренне весомо стихотворение о старике, который идет нам навстречу, «стуча сердито палкой»; это тоже своего рода стансы, пронизанные раздумьями о встрече разных поколений, о судьбе и характере непреклонного в своей требовательности и неуступчивости старика, о высоких нравственных ценностях, созданных его временем, о преемственности и благодарной памяти, которую заслужило его поколение.

Спервоначалу и доныне,
как солнце зимнее в окне,
должны быть все-таки святыни
в любой значительной стране.

Приостановится движенье
и просто худо будет нам,
когда исчезнет уваженье
к таким, как эти, старикам.

(«Не семеня и не вразвалку...»)

Таким героям смеляковской лирики, как я думаю, суждена большая и долгая жизнь в сердцах наших читателей. И разве не очевидно, каким совершенно новым смыслом и звучанием наполняется старый одический жанр в таких стихотворениях, как «Не семеня и не вразвалку...», «Сосед», «Николай Солдатенков», «Косоворотка» и многих других. Начавшись подчас с бытового и мало чем приме-

чательного сюжета (где-то на грани случайной, а то и небрежной зарисовки), они неожиданно, а вместе с тем закономерно, подчиняясь не сразу обнаружившейся дисциплине и внутренней необходимости, внезапно повертываются новой, ослепительно блеснувшей гранью, и тогда заурядная и вроде бы ничем не примечательная картина становится захватывающей и прекрасной. Видно по всему — к одическому жанру поэта влечет стремление даже и в самом простом и обыкновенном найти нечто необычайное, прекрасное, героическое, исторически непреходящее.

Нельзя не заметить, что такие традиционные и, казалось бы, устаревшие жанры, как элегия, ода, баллада, стансы, эпитафия (и даже автоэпитафия — «Попытка завещания»), закономерно входили в лирику Смелякова, завоевывая все более прочные позиции, обретая в ней новаторское звучание, расширяя ее пределы, существенно обогащая ее.

Смеляков, особенно в последние годы своей жизни, видел в себе неотъемлемую частицу своего поколения, он ощущал себя и участником современного литературного процесса, и наследником заветов и традиций прошлого. Об этом с особой определенностью говорит стихотворение «Декабрь». Его поэзия неотделима и от традиций, рожденных уже в наше время, ставших великим достоянием советской поэзии, неотъемлемых от ее истории и ее завоеваний. В его стихах слышатся отзвуки «Двенадцати» Блока и «Левого марша» Маяковского, «Синих гусар» Асеева и «Перекопа» Тихонова, «Гренады» Светлова и «Современников» Саянова, «Курсантской венгерки» Луговского и «Продолжения жизни» Корнилова.

Для Смелякова смысл новаторской творческой деятельности — в развитии традиций, в их продолжении, обогащении, а никак не в отбрасывании.

Его слог чужд броской эффектности и показного блеска; он отвечает духу обиходной речи домашних и однокашников, понимающих друг друга с полуслова — порой и не слишком изящного, а то и грубоватого. Все здесь отвечает сосредоточенности, особой взыскательности и деловитости натуры автора, требовательного к окружающим, а потому непокладистого и подчас даже добродушно-ворчливого, с досадой отмахивающегося от всего показного, самонадеянно-ограниченного, не связанного с настоящим делом или глубоким переживанием.

Если поэт и стремится задеть и захватить своего читателя, то вовсе не изысканностью слога, но самою сутью замысла, неразрывно связанного с тем или иным жизненно важным вопросом. Автор словно бы состоит в кровном и неразрывном родстве со своими чи-

тателями — героями его книг, что определяет и самый характер его творчества. Если у одного из его героев «только дело на уме», то нет сомнений — поэт придерживается тех же взглядов! Если в речи его читателей господствует «естественность одна», то и поэт не отбрасывает даже тех оборотов речи, понятий, слов, какие, казалось бы, уже отжили, эстетически скомпрометированы, стерлись от слишком частого или недостаточно бережного употребления. Даже им Смеляков умеет придать изначальную свежесть. В «Надписи» на книге «История России» Соловьева он замечает:

История не терпит суесловья,
трудна ее народная стезя.

«Стезя» — мы и слово такое запамятовали, сдали в архив, а оно воскресло, стало органически необходимым в стихах Смелякова, посвященных истории.

Следуя за своими героями, поэт не избегает подчас оборотов языка самых «просторечных», сниженно-бытовых. Так, в стихотворении о стариках он пишет:

Их пиджаки сидят свободно,
им ни к чему в пижоны лезть.
(«Не семеня и не вразвалку. . .»)

Поэт широко открывает перед такими оборотами корешки своих книг: входите, не стесняйтесь, будьте как дома, — и в его стихах они звучат полновластно и непринужденно, со всею своей характерностью и выразительностью.

В духе и тоне такого же сугубо бытового, непритязательного, дружески грубоватого разговора начинается и стихотворение «Николай Солдатенков». Но ошибся бы тот, кто в этой непринужденности не подметил бы особой и продуманной манеры, не различил высокого мастерства, виртуозности художника, который, даже подходя к тому краю, с которого так легко соскользнуть в грубость, безвкусицу, натурализм, сумеет вовремя — одним почти неуловимым поворотом фразы — уйти от него и неожиданно для читателей возвести свое повествование на такую высоту, где все пронизано берущим за сердце лиризмом. В этом — одна из примечательных черт Я. Смелякова.

Правда, порою здесь эта кажущаяся небрежность стиха становится небрежностью самой настоящей — тут есть некая грань, которую поэт незаметно для себя подчас переступает; тогда возникают такие строки:

Как мне ни грустно и ни тяжко,
но я, однако, не совру,
что не дворянка, а дворняжка
мне по душе и ко двору...

(«Кто — ресторацией Дмитраки...»)

Очевидно, что подобные каламбуры и остроты рассчитаны на слишком уж невзыскательный вкус.

А оказавшись «В болгарском городке» (так называется одно из зарубежных стихотворений), поэт «убежденно убежал» из интуристских ресторанов, поскольку

Там всё приборы да проборы,
манишек блеск и скатертей —
всё это мне никак не впору,
не по симпатии моей.

Что ж, вполне возможно и такое отношение к «интуристским ресторанам». Поэту, как признается он, уютнее в заводской столовой, где, «как в царстве малом и родном», он отлично проводит время «за плохо прибранным столом».

Сюда заходят, как в свой родной дом, многие рабочие, составляющие словно бы одну семью, в которой далеко не чужим видит себя и сам поэт, — и все же чувствуется некоторое излишество в столь резком противопоставлении блеска скатертей (от которого сейчас отказалась бы редкая хозяйка!) «плохо прибранному» столу — как надежной защите от всякого рода мещанства и излишней парадности. Нет, между ними проходят теперь иные грани и рубежи, и, думается, поэту в чем-то изменило присущее ему острое чувство времени. Как видим — это подчас бывало и с ним.

Поэт полагает, что наш язык

... пахнущий прелой овчиной
и дедовским острым кваском,
писался и черной лучиной,
и белым лебяжьим пером.

(«Русский язык»)

И, кажется, иные строки самого Смелякова действительно отзывают «овчиной» — суровым бытом, изображенным во всей его неприбранности, а то и неприглядности. И вдруг все это удивительно преображается, словно от прикосновения «лебяжьего пера», — и материал обыденной повседневности словно бы поднимается на крыльях вы-

сокой романтики. Вслед за своим любимым художником Нико Пиросмани — да и другими близкими себе мастерами, — поэт зачастую разрабатывал и самую грубую по своим показателям «фактуру», добиваясь того, чтобы она вдруг заиграла и засветилась удивительными красками, захватывающим лиризмом. В этом он и находил особое призвание и назначение своей лирики.

В стихах о родной речи сама музыка русского слова передается со свойственным ему особым строем и ладом, издавна захватившим и покорившим поэта:

> У бедной твоей колыбели,
> еще еле слышно сперва,
> рязанские женщины пели,
> роняя, как жемчуг, слова.
>
> *(«Русский язык»)*

В этих стихах поэт словно бы стремился подхватить и сохранить музыку древних песен, дивных и полнозвучных, и здесь эпитет «рязанские» перекликается своим звучанием с глаголом «роняя», создает общее с ним и неуловимо гармоническое сочетание, а женщины — они также, по закону фонетического соответствия, вызывают образ жемчужины во всей его магической прелести, — и так язык, чуждый искусственности, преднамеренности, нарочитому подбору аллитераций, обретает неуловимую и таинственную власть над нами, воспринимается во всей своей свежести и первозданности — в том едва различимом сиянии, какое словно бы пронизывает лучшие стихи Я. Смелякова.

Вовлекая в них глыбы материала, казалось бы сырого, необработанного и неприглядного, а подчас и серого, поэт умеет одним внезапным поворотом на свет придать ему жемчужный оттенок, обнаружить со всею очевидностью и несомненностью его драгоценную суть, мимо которой многие подчас проходят равнодушно и незаинтересованно. Так, он неожиданно для своего читателя открыл, что значит жизнь и труд того поселкового соседа («персонаж для щелкоперов»!), под руками которого «не пропадает, а шевелится земля», — и одно это, казалось бы, такое простое и незамысловатое слово «шевелится» обретает здесь такую животворность и незаменимость, что является поистине драгоценным, придает непреложную внутреннюю убедительность и сердечность всему стихотворению.

А как «шевелится земля» — родная почва русской речи — под пером самого поэта! С какою упрямой настойчивостью поднимаются ее саженцы, какой свежестью и новизной веет от них, хотя бы поэт

обращался к самым стертым словам! А вот оказывается — им нет «ни века, ни износа», они словно бы молодеют под руками поэта, встают в его стихах одно к одному, в полный рост во всей своей прелести, свежести, первозданности.

Да и сам поэт самобытен и оригинален без каких бы то ни было претензий на оригинальность; в его стихах господствует — так же, как и у его героев, — «естественность одна», а вместе с тем мы сразу узнаем в его стихах специфически смеляковскую интонацию, неторопливо-деловую походку, самый жест — жест человека, досадливо отмахивающегося от всякого рода «ерунды», словно от назойливо наползающей мошкары, — с тем чтобы подхватить «разговор о главном», вернуться к нему, осветить его и опытом большой истории нашей страны, и своим личным, неповторимо-индивидуальным опытом, своей особой памятью, хранящей те ценности, какими располагает именно и только этот поэт — и никто другой.

Особо следует подчеркнуть возросшее с годами стремление поэта видеть жизненные явления и психологические процессы в их доподлинности, сложности, противоречивости, не подвластной заранее установленным представлениям о должном и недолжном в искусстве, а потому каждый раз и в каждом случае требующее от художника острой прозорливости и исследовательской пытливости, без которой можно упустить нечто самое важное и покатиться по колее общих мест и отживших понятий.

Так, обращаясь в стихотворении «Мальчишки» к юным собеседникам — соратникам — с добротою, но при этом и «раздраженно», поэт подмечает у них весьма разноречивые качества, стремления, черты:

Непониманье и прозренье,
и правота и звук пустой.

Эта внутренняя противоречивость своих собеседников и оппонентов порождает у поэта особое отношение к ним, такое же сложное, а в чем-то и противоречивое; он стремится постичь этих мальчишек — сквозь всю их смущенность и браваду — и говорит с ними предельно открыто и без обиняков, чтобы вызвать в ответ такую же откровенность и прямоту:

...мне, как дядьке иль отцу,
и ублажать их не пристало,
и унижать их не к лицу.

Он говорит с ними прямо, и не только любовно, но и требовательно, ибо знает: когда придет время, жизнь спросит с них не менее тре-

бовательно и не даст никакой поблажки; значит, только такой разговор — предельно откровенный — и следует вести с ними, никакой другой!

В таких же чертах — подчас крайне сложных, противоречивых, словно бы взаимоисключающих — предстает и жизнь тех «рязанских Маратов», которые боролись «с беспощадностью предельной»

в краю ячеек и молелен,
средь бескорыстья и растрат...

А о тех из них, кого уже нет в живых — умерли ли они своей смертью или погибли от руки кулаков, — поэт скажет:

...гул забвения и славы
над вашим кладбищем плывет.

Стремление позднего Смелякова изобразить захватившее его явление во всей сложности, противоречивости, неподвластности однолинейным и заранее заготовленным суждениям и решениям, несомненно, сказывается и на внутренне сложных и противоречивых чертах его рисунка.

Бросается в глаза широта переживаний и восприятий поэта, открытых навстречу «всем впечатленьям бытия» — от повседневных и неприметных занятий соседа и вплоть до тех событий, от которых зависят судьбы мира и пути истории. Все слагается в глазах поэта в нечто единое и масштабное, определяющее внутреннюю цельность его творчества.

Знаменательно и весьма характерно для него признание:

Многообразно и в охоту
нам предлагает жизнь сама
душе и мускулам работу —
работу сердца и ума.

...Пусть постоянный жемчуг пота
увенчивает плоть мою, —
я признаю одну работу,
ее — и только — признаю.

(«Работа»)

Поэт подчеркивает здесь, так же как и во многих предшествующих стихах, жизненно важное значение и внутреннюю красоту не

только необычайной, выдающейся работы, но самого обыденного и обыкновенного труда.

«На главной магистрали» — именно так можно было бы определить пафос и направленность всего творчества Я. Смелякова, неуклонную гражданственность, масштабность и психологическую проникновенность его лирики, — одно от другого неотделимо.

Примечательно творчество Я. Смелякова и еще одним — тою широтою дыхания, какая заметна даже и в самом названии книги «День России». В этой широте — верность самой жизни, миру переживаний и восприятий нашего человека, живущего всеми интересами и свершениями своего народа.

Конечно, пафос гражданственности, чувство историзма, государственный размах раздумий, стремлений, интересов — все это присуще, если говорить о современной поэзии в целом, не одному Я. Смелякову, а и многим его собратьям по перу, но в его творчестве все это отмечено особой печатью, особым складом характера, тем неповторимым жизненным опытом, каким обладал именно этот поэт; все связывает его судьбу с судьбами всей страны, с ее великим историческим опытом, непосредственно переживаемым поэтом и как свой, сугубо личный. Вот что придает необычайную широту и неповторимое своеобразие лирике Я. Смелякова, с присущим ему особым жестом, особой, совершенно естественной интонацией, особым складом мысли и речи.

В ней многое звучит по-новому, а вместе с тем поэт верен себе. С годами он не столько менялся, сколько все углубленней и основательней вел свой «разговор о главном». Вот почему и «муза дальних странствий» — неизменная спутница поэта — с годами

не расшатала постоянство,
а лишь упрочила его.

(«Постоянство»)

В этой прочности, неизменности, в постоянстве поэта, только крепнувшем с годами, есть нечто надежное, основательное, вызывающее доверие и уважение читателя и критика, — даже того, кому не все придется по душе в его творчестве, далеко не всегда отличающемся изяществом слога и изысканностью речи. Но и сквозь непринужденные и такие с виду непритязательные строки оно светится удивительной чистотой, неиссякаемой любовью к людям, восхищением их делами и подвигами, подчас самыми обыденными и неприметными, острой и неизбывной жаждой обнаружить добро и благо в их натурах и деяниях.

Придавая особый смысл тем заветам, которым остались неизменно верны его современники и соратники, поэт скажет:

Предполагать мы можем смело,
как говорят, сомнений нет:
она ничуть не послабела —
вода в колодцах наших лет.

(«Немало раз уже, сдается. . .»)

Да, она навсегда сохранила в них свою свежесть, новизну, живительную силу. Последние книги поэта с особою убедительностью и неоспоримостью свидетельствуют о том, что жизнь и творчество Я. Смелякова до конца его дней были пронизаны духом молодости, мужества, новаторских открытий.

Б. Соловьев

АВТОБИОГРАФИЯ [1]

Родился я в 1913 году [2] и начал писать, или, вернее, сочинять стихи, как и очень многие люди, в самом раннем детстве. До сих пор остались в памяти какие-то наивные рифмованные строчки, сложенные в маленькой зимней деревне, и полудетские школьные стихотворения, написанные в ту пору, когда я учился в московской семилетке. Но более осознанная, всепоглощающая любовь к поэзии пришла позже.

В 1930 году биржа труда подростков — была тогда такая биржа — дала мне направление в полиграфическую фабрично-заводскую школу имени Ильича. В стенах этой школы, помещавшейся в Сокольниках, все мы с упоением дышали комсомольской атмосферой начала пятилеток. Верстатки и реалы, субботники, митинги, лыжные вылазки, стенные газеты, агитбригада — вот что целиком наполняло нашу жизнь. Поместив два или три стихотворения в цеховой стенгазете, прочитав стихотворение на митинге, я стал поэтом, известным всей нашей школе. С особенным наслаждением вспоминается агитбригада, для которой мной было написано несколько обозрений. Собственно, я их писал не один. Писали мы тогда, так же как и учились, так же как и жили, коллективно, сообща. Мне же всегда целиком принадлежали тексты ведущего: была в те годы на заводских подмостках такая непременная фигура, читавшая с пафосом стихотворный текст.

В то славное время я еще успевал ездить в другой конец города на занятия литературного кружка при «Комсомольской правде». Мы, юные поэты, тогда не столько писали сами, сколько читали и слушали, восторгались и отвергали. Не было ни одного афишного вечера поэзии, куда бы мы не доставали билетов. Какими-то неведомыми

---

[1] Печ. по изд.: «Советские писатели. Автобиографии», т. 4, М., 1972, с. 563—567.

[2] Ярослав Васильевич Смеляков родился 26 декабря 1912 (8 января 1913) года в городе Луцке. — *Ред.*

путями мы проникали и на поэтические вечера в Дом печати и Дом ученых. Есенина в Москве я не застал в живых, а вот Маяковского слушал несколько раз. Впрочем, на эту тему у меня есть специальные стихи.

Так и шла жизнь: цех машинного набора, пахнущий свинцом и типографской краской, и советская поэзия. Я рад, что обе мои основные профессии родственны, и до сих пор люблю их и горжусь ими обеими.

Друг моей юности, впоследствии известный журналист Всеволод Иорданский (ныне покойный) как-то уговорил меня, и я, слабо сопротивляясь, понес одно из стихотворений в молодежный журнал «Рост». Редакция этого журнала помещалась под одной крышей и на одном этаже с журналом «Октябрь». Мы перепутали двери и попали в кабинет, где сидел один из наших кумиров — если можно назвать кумиром этого милейшего и обаятельнейшего человека — Михаил Светлов. Неловко сунув ему стихотворение, мы, конечно, немедленно заявили, что его написал наш товарищ. К нашему восторгу и удивлению, Светлов принял это стихотворение для «Октября» и только, очевидно в порядке назидательности, велел переделать две последние строчки. Несколько дней я ходил в абсолютном трансе, не веря случившемуся: ведь не раз по ночам мне виделся один и тот же счастливый сон — мое стихотворение напечатано в газете. Две эти последние строчки я никак не мог переделать и, несмотря на свою влюбленность в литературу, решился на хитрость: будь что будет! Я опять пришел к Светлову и принес ему прежний листок. Конечно же, он забыл о своем замечании и, доброжелательно улыбаясь, сказал: «Ну, теперь все в порядке».

В эти дни группу машинных наборщиков досрочно выпустили из школы и послали на самостоятельную работу. Меня направили в 14-ю типографию, где как раз и печатался «Октябрь». Я был прямо-таки ошеломлен, когда на второй или третий день мастер дал мне, совершенно случайно, набирать страницы «Октября», среди которых было и мое стихотворение. Кстати, позднее в этой же типографии я целиком набрал свою книжку стихов «Работа и любовь» (1932).

В то время при нескольких московских журналах и газетах были литературные объединения начинающих писателей. Одно из крупнейших объединений такого порядка действовало при журнале «Огонек». Журнал редактировал Михаил Кольцов, а его заместителем был писатель Ефим Зозуля, который неизменно председательствовал на наших занятиях, проходивших раз в декаду и называвшихся поэтому декадниками «Огонька». В большой комнате, уставленной диванами и стульями, собиралось по тридцать — сорок человек с заво-

дов и фабрик, из армии, из фабзавучей. Редакция журнала не только направляла ход наших литературных споров, не только кормила нас бутербродами и поила чаем, но и широко, из номера в номер, печатала наши стихотворения, очерки и рассказы. Около двух лет, проведенных под гостеприимной кровлей редакции в составе ее тогдашнего литактива, дали нам, паренькам и девушкам, захваченным бурным литературным процессом, очень много. Впоследствии некоторые как-то незаметно отошли от литературы. Другие погибли на войне. Но несколько участников этого объединения занимают сейчас довольно видное место в советской поэзии. Это Сергей Михалков, Лев Ошанин, Сергей Васильев, Маргарита Алигер, Александр Коваленков, Сергей Поделков.

Однажды в редакции «Нового мира» мне сказали, что меня хочет видеть Эдуард Багрицкий. Он вел в журнале отдел поэзии, но принимал авторов дома: врачи не разрешали ему выходить на улицу. Седой и мудрый в свои без малого сорок лет, Эдуард Георгиевич как-то исподволь учил меня и других молодых поэтов, вечно толпившихся в его комнатушке и жадно слушавших своего любимого поэта: он был действительно любимым поэтом молодежи того времени.

Должен сказать, что писать автобиографию — дело нелегкое. Моя жизнь и моя литературная работа связана с десятками и сотнями людей и без них не мыслится. Но если я хоть бегло упомяну каждого, то получится целая повесть о времени и людях. Вероятно, когда-нибудь такая повесть будет написана, а пока следует ограничиться краткими сведениями о своем творческом пути.

Вслед за маленькой книжкой, вышедшей в библиотечке «Огонька» в 1932 году, ГИХЛ издал в том же году книгу моих стихотворений «Работа и любовь» под редакцией Василия Казина. Через два года меня приняли в Союз писателей. С тех пор прошло много лет, и я выпустил много книг, из которых самыми значительными считаю «Кремлевские ели» (1948) и «Разговор о главном» (1959). Крупных вещей у меня маловато. Пожалуй, вполне удалась только повесть в стихах «Строгая любовь», написанная в начале 50-х годов.

Несколько лет я работал в редакциях газет, был репортером, заведующим отделом и секретарем редакции. Я писал хроникерские заметки и фельетоны, передовые статьи и подписи под карикатурами.

Мне приходилось и приходится сейчас заниматься с молодыми поэтами и редактировать их первые подборки стихов, первые книжки. Помня о том, как много помогли мне в развитии литературного вкуса, в ощущении точности слова старшие поэты, я — в меру своих сил — стараюсь помогать талантливой молодежи и чувствую нема-

лое удовлетворение, встречая всё новые имена в журналах и на обложках первых сборников, таких же тоненьких, какими начинали поэты моего поколения.

Тема молодежи, тема рабочего класса до сих пор остается главной, преобладающей темой моей литературной работы. Мои стихи совершенно не годятся для литературных салонов и не рассчитаны на любителей изысканных пустяков, потому что я нарочито отвергаю ложные поэтические красивости и стремлюсь к точности, к строгому лаконизму. Но мои читатели — люди такого рода, каждый из которых в моем понимании стоит десяти. Однажды в День поэзии, по традиции стоя за прилавком книжного магазина, я надписывал свои книги, приобретенные читателями. У каждого спрашивал: кто он, где работает? С радостью и гордостью я слышал такие ответы: завод «Красный пролетарий», Второй часовой завод, стройуправление, воинская часть, рабочий, техник, инженер, доктор, студент. Что и говорить, приятно вызвать интерес такого читателя. Приятно знать, что хоть отчасти удовлетворил этот интерес. Но и необходимо ощущать, что сделано еще маловато, что тебя ожидает большая работа.

Если в детстве я сочинял стихи, то теперь никогда и нисколько не сочиняю, а пишу их, работаю над ними. За каждым из моих стихотворений стоит тот или иной человек, то или иное событие, участником которого я был. Сама жизнь наполнена большой и малой поэзией, и назначение поэта заключается в том, чтобы увидеть эту поэзию жизни и талантливо и достоверно занести ее на свои страницы.

Когда в моих книгах появились стихи, посвященные Узбекистану, то это означало, что я ездил по этой республике. Стихотворения о комсомольцах, отправившихся на стройку Братской электростанции, родились на свет только потому, что я ездил туда с первыми добровольцами Москвы, в первом эшелоне. Мне пришлось много путешествовать по стране, видеть немало трогательного, прекрасного, грандиозного. Каждая из этих поездок обогащала меня как человека и как поэта. Вот и сейчас, вернувшись из Северной Осетии, где я впервые увидал прославленный Терек и пахнущее серой Садонское ущелье, я уже собираюсь в дорогу, чтобы узнать новые края и написать новые стихотворения.

Эти биографические заметки я написал десять лет назад. Много раз меня просили продолжить их, но все как-то не поднималась рука. Правда, в конце 1970 года[1] я напечатал в «Литературной га-

[1] «Литературная газета», 4 ноября 1970 г.

зете» статью биографического порядка «Дорогая школа», этим дело и ограничилось.

Попытаюсь рассказать о дальнейших событиях своей литературной жизни в нескольких словах.

За эти десять лет у меня вышло в свет несколько сборников. Самый заметный из них — «День России». Он был широко обсужден в нашей прессе и удостоен Государственной премии СССР в 1967 юбилейном году. Издательство «Советский писатель» выпустило его в свет дважды общим тиражом 200 000 экземпляров. Из статей, в которых он разбирается и оценивается, запомнились больше остальных статьи Виктора Перцова, Павла Антокольского, Марка Соболя, Валерия Дементьева, Михаила Синельникова.

Вообще я никак не могу пожаловаться на внимание критики: оно было широким и постоянным. Появились даже книги, специально посвященные моей литературной деятельности. Их написали Валентина Ланина, Валерий Дементьев и Станислав Рассадин.

В дни сомнений и неуверенности, которые — увы! — случаются, я люблю просматривать газетные вырезки с этими статьями или перечитывать письма читателей. На душе светлеет, и появляется энергичное желание продолжать свою работу в том направлении, которое было найдено однажды и навсегда.

В 1968 году за поэму «Молодые люди» и комсомольские стихи я получил премию ВЛКСМ.

После этого вышли книга новых стихотворений «Декабрь» в издательстве «Советский писатель» и «Связной Ленина» в издательстве «Молодая гвардия».

Наиболее полно моя работа представлена в двухтомнике, выпущенном «Художественной литературой» в конце 1970 года.

За эти годы продолжал много и, на мой взгляд, плодотворно ездить по нашей стране и другим странам. Стихи на заграничные темы собраны в разделе «Муза дальних странствий» книги «Декабрь». Они же вошли и в двухтомник.

Сейчас работаю над новой книгой стихотворений «Маленькие портреты» и над книгой литературных воспоминаний, статей и заметок. [1]

Февраль 1971

---

[1] Ярослав Васильевич Смеляков умер 27 ноября 1972 г. — *Ред.*

СТИХОТВОРЕНИЯ

1. БАЛЛАДА О ЧИСЛАХ

Хлопок по Турксибу везет паровоз;
под Витебском вызрел короткий овес;
турбины гордятся числом киловатт.

И домна, накормленная рудой,
по плану удваивает удой.

Архангельский лес,
и донецкий уголь,
и кеты плеск,
и вес белуги —
всё собрано в числа, вжато в бумагу.

Статистик сидит, вычисляя отвагу.
И сердце, и мысли, и пахнущий пот
в таблицы и числа переведет.

И лягут таблицы пшеницей и лугом,
границы пропаханы сакковским плугом.
Дороги таблиц кряхтят под стадами,
числа растут молодыми садами,
числа растут дорогою щетиной,
по зарослям цифр пробегает пушнина.

По карте земли, по дорогам и тропам
числа идут боевым агитпропом.

(1931)

2. СЛЕПЦЫ ПОЮТ БЫТ

В городе тихо. Ветер
уснул на заборах заставы.
Короткий московский вечер
задуматься нас заставил.
Я вижу, у окон раскрытых
сидят, окруженные бытом,
ударники наших заводов
и тихие счетоводы.
Одни читают газеты,
другие ломают печенье,
третьи на дворик глазеют,
глазами ища развлечений.

Развлеченье приходит. Протянутой рукой
оно держится за поводыря.
Так, обещание песни даря,
во двор входит слепой.
Он останавливается. Слушатели вдруг
бросят глаза, как стаканчики ртути.
Поводырь глазами очерчивает круг,
плюется и ручку холодную крутит.
Сначала спокойно она говорит
и тенором сочным, и резкой цыганкой.
Качается, пляшет и плачет навзрыд
шарманка, шарманка, шар-ман-ка.
Тогда, догоняя начало музыки
(слушатель требует: «Слышишь, пой!»),
голосом чахлым, несмазанным, узким
песню заудывает слепой:

«На далекой-далекой окраине,
где разбросаны клочья луж,
в небогатом домике крайнем
жил с женой и дитем злодей-муж.
Они жили давно очень весело,
а потом он запьянствовал вдруг.
Темной скукою занавесилась
их радость — плохой он супруг.
Вот жена ему разонравилась,
вот ребенок ему надоел.

От жены с дитем он избавиться,
он избавиться захотел.
Раз гулял он зелеными рощами,
и придумал он так порешить,
и придумал он нехорошее:
он решил их обоих убить.
Он решил их разрезать на части, и
никого уж ему и не жаль.
Вот купил он на рынке у частника
острый ножик, ужасный кинжал.
Вот тогда в выходной, дело летнее,
он жену пригласил погулять,
и дочку, дите трехлетнее,
он тоже решил с собой взять.
Вот пошли они на поляну втроем.
Злодей-муж очень сильно хватил, —
он жену свою и дите свое
острым ножиком тут же убил.
Он их там закопал с злостным умыслом,
он обоих тогда закопал,
а на утро другое одумался
и в милицию побежал.
Так и так, мол, там я зарезал их,
потому что я счастья не знал,
и жену и дочь любимых моих
на полянке одной закопал.
Побежали скорей и разрыли их,
всех зарезанных, и к тому ж
привезли в город обоих их,
и рыдал уж тогда злодей-муж.
Но слезам его не поверили все,
о злодействе его все узнали.
Он сначала в тюрьму кирпичную сел,
а потом его расстреляли.
Вот и песне конец. Песня верная,
песня эта про горестный факт,
а заборы и домик, наверное,
всё стоят, как и раньше, так».

Слепой закрывает глотку. Кепка
рот раскрывает и ждет, не дыша.

Сыплются деньги, и со второго этажа,
как слеза, слетает серебряная монетка.
Уходит слепой и шарманка-инвалид,
получивший напрасную пенсию.
А мы остаемся. Я вижу: вредны,
страшны и опасны безглазые песни.
Я вижу: там, где окно косое,
ударник сидит, на себя непохожий,
сидит ударник и смотрит с тоскою
на деревянный, как песня, ножик.
Неправда! Я выйду на двор, как слепец,
я голос расправлю, простой и широкий,
и я начинаю. Коль петь, так петь
так, чтоб зарезать слепые строки.

Товарищи, слушайте! Я здоров,
и к черту, пожалте, кофейные гущи!
Я песней мечтаю убить того,
который был предыдущий.
Песня — неправда. Товарищ ударник,
песня пролезла на дармовщину.
Плюнь этой песне в безглазую харю
по следующим причинам.
Я утверждаю: засижена плесенью,
песня со страхом смотрит в лицо нам.
Она не права, эта вредная песня.
Песня дореволюционная.
Кто этот муж? Про кого поет
этот слепец, незавидный и ветхий?
Товарищи, вспомните. Быстро идет
третий, решающий год пятилетки.
И этот старик в нем безбилетный
в вагоне поет про такие истории.
Небо цветет, и зеленым летом
пьяницы лечатся в санатории.
Он не расстрелян, песни герой,
он будет исправлен упорным трудом,
для него ворота раскроет
бетонный исправтруддом.
А что о полянке, на которой он
закопал убитых жену и девицу, —

так полянки нету. Она давно
запахана под пшеницу.
Засмейся над песней. И слушай мою.
Она не пропета, в боях не пробита.
Она молодая. Я песню пою
о нашем, о новом быте.

Засалились жены наши у плит,
сгорбились у корыта.

Товарищ, выйди встречать новый быт,
идущий на смену старому быту!

И крепостью нового быта стоит
фабрика-кухня, железом покрыта.

Товарищ, иди и встречай новый быт,
идущий на смену старому быту!

Там, может, под музыку будут бить
тесто, пролезшее через сита.

Товарищ, иди и встречай новый быт,
идущий на смену старому быту!

Мы будем коммунами жить да быть,
и это близко, замками не скрыто.

Товарищ, иди и встречай новый быт,
идущий на смену старому быту!

Быт молод. Он в яслях пока, он кричит.
Он против примуса, против корыта.
Он мал, но он вырастет, новый быт,
идущий на смену старому быту.

⟨1931⟩

3. НАД МОСКВОЙ ЛЕТЯТ ДИРИЖАБЛИ

Они иссушены, твои последние лета.
Висит портрет, стоит постель и греется плита.
Ты утром ходишь на базар,
и через час — с удачей:

картошка, помидор пожар
и гривенник сдачи.
И смотрит скушная заря
на скромный твой улов.
Так жизнь разменяна зазря
на мелочь медяков.

Я (хочешь?) песней оплету
твои лета на склоне.
Она стоит, глаза в плиту,
в глазах цветут талоны.
А суп поет — ему не верь:
супы не знают жалости. . .
Он звонит, он стучится в дверь.
Ты говоришь: «Пожалуйста!»
Он прямиком к плите идет,
и на твои вопросы
он говорит: «Наоборот,
я сборщик разных взносов».
Он голосом играл и плыл, —
не сборщик — балалайка:
«Ведь вы культурная, ведь вы —
домашняя хозяйка».
Сорвал на миг и, дребезжа:
«Гоните рубль на дирижабль!»

И от плиты — зеленый пар,
рычит на гостя самовар.

Но гость не смущается.
Длинно-длинно
он с ней говорит. Он ей много сказал.
От синего жара, от резкого дыма
хозяйка чуть-чуть прикрывает глаза.
Тогда над плитою, над чайников писком,
над жиром, который «опять вздорожал»,
вырос сверкающий, словно миска,
круто заваренный дирижабль.
Он наливается кровью, он пухнет,
свежий, как солнце, большой, как весна.

И вот уже кубатура кухни
для тела такого смешна и тесна.
Он подымается постепенно,
и высоту забирает руль.
Он прет в потолок, он ломает стены
и — в небо.
Вдогонку цилиндры кастрюль.
За ними чайник, потом пеленки,
потом керосинка, стара и крива.
Да что керосинка. За ним вдогонку
плита летит и роняет дрова.
Блестит дирижабль. Белобрысый. Новый.
Он пулей летит. И скрывается он...

И вот хозяйка сидит в столовой
и ест (предположим) куриный бульон.
Бульон, который она взяла
за очень низкую плату,
который варился в громадных котлах
девушками в халатах.
А перед хозяйкой цветы горят,
как лучшие в мире горелки,
а сбоку хозяйки — как звезды, блестят
ошпаренные тарелки.

Она пошире откроет глаза,
и сборщик увидит украдкой:
от глаз по морщине сползает слеза,
медленная, как трактор.
Тогда хозяйка как можно проще,
голосом резким, спеша и дрожа,
волнуясь, скажет: «Товарищ сборщик,
это прекрасно, когда дирижабль!»
И от большой, от развернутой жалости
дрогнут короткие кончики губ:
«Товарищ сборщик!
Возьмите, пожалуйста,
первым рублем мой последний рубль».

1931

4. ДОЖДЬ

Дождь падал с размаху и бился снизу
в безглазые лица московских подошв.
И рвался из труб, бросался с карниза
веселый и крепкий веснушчатый дождь.
Дождь рвался на крышах. Широкая ярость
бросала на землю холодные тонны,
аж гнулись осенние желтые клены,
аж желтые листья легли на бульварах,
аж рвались сквозь тучи белесые молнии!

(А только не страшно. Они как домашние,
они мне мигали, они мне напомнили
мою же застежку на синей рубашке.)

Дождь рвался, грозил, разрывался. И плеск
аж морем шумел, аж захватывал дых!

И третий вбежал под железный навес
и стал, близоруко взглянув на других.

Второй волновался, свистел и дрожал,
бледнел, как грозящие извещения.

А первый (усатый бухгалтер) сказал:
«А дождь зарядил. Настоящий. Осенний!»

И дождь согласился, и рвался, и лил,
и мостовая — в предсмертной пене.

Второй прислушался и возразил:
«А дождь молодой. Настоящий. Весенний!»

Запахло весною. Да так это внятно,
что прямо бери ее в чуткие руки.
Так быстро, что в грязном,
охрипшем парадном
выросли робкие незабудки.
А третий сказал: «Из колхоза про то ж
подшефные пишут: «Дождя, мол, ждем».
Я рад, что ответ мой придет, как дождь,
я горд, что ответ мой придет с дождем.

Но только... не слишком ли дождь зарядил,
не очень ли рано, не очень ли поздно?
А дождь ничего. Настоящий. Колхозный!»

И дождь как из лейки лил.
Дождь пьяным шатался. Парнишкой скакал,
и в землю врывался, и бил напролом...

И первый (очкастый бухгалтер) сказал:
«Там, в комнате длинной, за крепким столом,
высокие гости сидят и скучают
и треплют по щечке безбрового сына.
Жена завилась, и жена развлекает
гостей разговорами про ангину.
Я должен прийти. Я желаю занять
место хозяина, прочное, нужное.
Я должен прийти, чтоб гостей развлекать
своим разговором и ужином.
Меня задержало собранье на службе,
калоши намокли от этих стихий.
Вода помешала, она против дружбы...»

Второй перебил: «Пустяки!
Товарищи! Мне восемнадцать лет,
и в жилах гулящая кровь.
И это любовь. То есть да. То есть нет.
То есть, конечно, любовь.
Такая любовь, что без дрожи, без риска
отдался и стал бы ее, а не свой.
Смотрите, товарищи, вот записка!
Здесь каждая буква пропахла весной.
Здесь каждое слово как выстрел. И жжет,
и рвется. Да вы понимаете разве?
Любимая пишет. Любимая ждет
у памятника Тимирязева.
Любимая. Вечер. И чертов дождь.
Да я б через дождь, через воду, я б мимо...
Но только... Любимая, ты не ждешь,
ты теплую книжку читаешь, любимая.
Ты дома. И лампочка над тобой,
и старая мама с тобой говорит.

Так пусть эта лампочка перегорит,
как перегорает любовь.
О, если б, товарищи, поняли вы:
стихия воды — и стихия любви.
Я знаю, вы против обеих стихий».

И третий сказал: «Пустяки!»
И третий сказал: «Он повыше всех,
в нем каждая буква по плану.
Он твердые ноги расставил. Стеклянный.
Стучащий. Машинный. Цех.
Там гранки закованы в белые латы,
там тихо качаются рыжие лампы,
там девушки в синих, как небо, халатах,
кончая работу, стоят над котлами.
Мне каждая строчка до буквы знакома.
Всё это мое. Я прекрасно запомнил,
что в клубе на сцене докладчик райкома,
что сторож сидит в опустевшем завкоме,
что дождь переполнил пузатые бочки
и портит квадратные красные доски,
что табельщик дарит огонь папиросы
спешащим в цеха настоящим рабочим.
Я знаю, что вычищен, помню, что ждет
руки мои молчаливый станок,
что сторож короткую кнопку нажмет —
и вылетит бодрый белесый звонок.
И прямо за свистом, за градом звонка,
за смехом веселым и юным
выходит бригада. И держит в руках
масленок дрожащие луны.
Подходит бригада к плечистым станкам
(а сколько учета, а сколько почета!),
подходит и держит в горячих руках
название хозрасчетной.
А я не приду? Испугался? Вода?
Прогул намечается в третьей смене?
Неправда, товарищи, ерунда!
Пусть дождь молодой,
пусть простой,
пусть весенний.

Я прямо сквозь дождь, хоть спецовка намокла,
я прямо сквозь воду, хоть нету калош».

Дождь бился в рябые серьезные стекла,
веселый и звонкий, занозистый дождь.

Дождь прыгает с неба. И прыгает с края
домов. И бросается в лица подошв.
И — самое главное — он не нейтрален,
высокий и твердый, веснушчатый дождь.

1931

5. ПОСЕВНАЯ НОЧЬ В ТИПОГРАФИИ

Директор сказал: «Дело требует, двигай!
Нам дан заказ — посевная книга.
А дело важное — знаешь сам,
а срок — тридцать четыре часа».

Инструктор сказал: «Наступает весна
под галочьи крики, под всплески весла,
под ласки черемухи, зуд мандолины,
под искренность ветра,
под ветреность ливней.
Земля обварилась, набухла, вспотела, —
ну, словом, у нас посевное дело.
А дело важное — знаешь сам,
а срок — двадцать четыре часа».

Я бригадир. Я сказал: «Бригада!
Нам это заданье не тяжесть — награда.
К станкам становись, чтобы время летело.
У нас идет посевное дело.
А дело важное, ясно без слов,
а срок — семь с половиной часов...
Мне говорить о севе не надо:
вместе в клубе слыхали доклад и
вместе на этом докладе не спали
и резолюцию принимали...
А после такого, ребята, доклада
работать для сева по-новому надо.

У книжки тираж — три тысячи триста.
А это читатели-трактористы...»

И встала бригада, пять человек,
чтоб время летело упрямо, как бег,
чтоб время летело (не зря летело).
У нас идет посевное дело,
по цеху идет посевное дело,
и этому севу наш долг помочь.

Над цехом повисла громадная ночь,
над цехом, гремя, скрежеща и стеная,
громадой повисла ночь посевная.
А сверху —
трансмиссий надорванный свист.
Наборщику кажется — он тракторист,
и ветер весенний — в широкие спины,
и трактором рвутся к победе машины.
Чтоб выполнить план,
чтобы славить страну,
взрывая цементную целину,
чтоб утром в печатный:
«Набор готов!
На книгу потрачено семь часов!»

1931

6. СТРАХ

Мальчишкой я был
незаметен и рус
и с детства привык
молчать.
Паршивая, бледная кличка
«Трус»
лежит на моих
плечах.

А плечи мои —
это детские плечи
класса, который
стоял у станков;

детства, которое
глохло, калечилось
десять,
двенадцать,
пятнадцать часов;
детства,
которому говорили:
«Парень, ты мал,
худосочен, плох.
Бойся!
Читай, несмышленыш,
Библию.
Бойся!
Сидит в облаков изобилии
страшный, как штык,
всекарающий бог.
Бойся!
Сияет матерь пречистая,
она не пропустит
грехи твои даром.
Бойся!
По крышам идут трубочисты.
Бойся!
Стоят на углах жандармы.
Бойся!»
И он врывался, страх.
Вы тоже такое помните.
И как это страшно —
сидеть впотьмах
в наполненной вечером
комнате.

Он раньше врывался,
раскрашенный страх,
истертою бабой-ягой:
он путался сукой
в моих ногах,
махал костяной
ногой.

Он раньше бродил,
неизвестный страх,

рядом с каждым
конем,
когда я в ночном
сидел у костра
в обнимку с худым
огнем.

И так через все
молодые года
я твердо пронес,
как груз,
я быстро пронес,
как заслуженный дар,
бездарную кличку
«Трус».

И так сквозь мой рост,
совсем молодой,
сквозь радость,
сквозь полночь,
сквозь мрак
я быстро пронес
непонятный,
немой,
почти первобытный
страх.

А только теперь
молодеет страна
с каждым идущим
днем.
Она наливается соком.
Она
нужнейшим горит
огнем.

Никто еще так
не решался петь.
Никто еще так
не жил.

Недаром гуляет
горячая нефть
по нефтепроводам жил.

Недаром враги
за кордоном двойным
скушны и как будто
тихи.
Они, ожидая
начала войны,
прилаживают штыки.

Их песни уже
до начала допеты,
до гнусной
передовой.
Петитом и корпусом
в их газетах
набран
собачий вой.

Ну что же — а мне
восемнадцать лет.
Я буду в военной
спецовке
идти и держать
в молодой руке
начищенную винтовку.

Ну что ж — я отдам
неумелый страх
за то, чтобы твердо
и ловко
держать в молодых,
как винтовка, руках
молоденькую винтовку.

Я выбросил в небо
неграмотный страх,
который мне в верности
клялся.
Я встану,
сжимая

в надежных руках
бесстрашие
нашего
класса.

1932

7. СМЕРТЬ БРИГАДИРА

Вчера работал бригадир,
склонившись над станком.
Сегодня он лежит в гробу,
обитом кумачом.

А зубы сжаты. И глаза
закрыты навсегда.
И не раскроет их никто.
Нигде. И никогда.

И тяжело тебе лежать
в последней из квартир,
и нелегко тебе молчать,
товарищ бригадир.

Твой цех в молчанье понесет
тебя по мостовой.
В зеленый день в последний раз
пойдем мы за тобой.

Но это завтра. А пока,
молчанью вопреки,
от гула, сжатого в винтах,
качаются станки.

За типографии окном
шумит вечерний мир,
гудит и ходит без тебя,
товарищ бригадир.

Врывайся с маху в эту жизнь,
до полночи броди!
А ты не слышишь. Ты лежишь,
товарищ бригадир.

Недаром заходил в завком
сегодня плановик.
И станет за твоим станком
упрямый ученик.

Он перекрутит все винты,
все гайки развернет.
Но я ручаюсь, что станок
по-прежнему пойдет.

Ты жизнь свою не потерял,
гуляя и трубя.
Страна, машина и реал
запомнили тебя.

И ты недаром сорок лет
в цехах страны провел,
и ты недаром научил
работать комсомол.

Двенадцать парней. Молодежь.
Победа впереди.
Нет, ты не умер. Ты живешь,
товарищ бригадир.

Твоя работа и любовь
остались позади.
Но мы их дальше понесем,
товарищ бригадир.

Мы именем твоим свою
бригаду назовем.
Мы радостным путем побед
по всей земле пройдем.

Когда же подойдут года,
мы встретим смерть свою
под красным знаменем труда —
в цехах или в бою.

Но смотрят гордо города,
но вечер тих и рус.

И разве это смерть, когда
работает Союз?

Который — бой,
который — гром
за настоящий мир.
В котором мы с тобой живем,
товарищ бригадир.

1932

8. ВОР

Бывают такие бессонные ночи:
лежишь на кровати — скрипит кровать,
и ветер, конечно не много, не очень,
но всё же пытается помешать.

И дождик, невзрачный, унылый и кроткий,
падает на перезревшие ветки,
и за фанерною перегородкой
вздыхает беременная соседка.

В такую-то полночь (верьте не верьте),
потупив явно стыдливый взор
и отстранив назойливый ветер,
в форточку лезет застенчивый вор.

Мне неудобно, мне даже стыдно.
Что он возьмет — черновики?
Где ж это, братцы читатели, видно,
чтоб похитители крали стихи?

Ему же надо большие узлы,
шубы, костюмы, салфетки и шторы.
Нет у меня ничего и, увы,
будет, наверно, не скоро.

Думаю я: ну ладно, что ж,
трудно бедняге — привычка.

В правой руке — настоящий нож,
в левой руке — отмычка.

Лезет в окно, а оно гремит
джаз-бандом на вечеринке.
Фонарь зажигает — фонарь не горит
(наверно, купил на рынке).

На стул натолкнулся, порвал штаны.
Конечно, ему незнакомо...
Зажег я свет и сказал: «Гражданин,
садитесь, будьте как дома.
Уж вы извините, что я не одет,
вы ведь не предупредили,
вы ж за последние двадцать лет
даже не заходили.
Быть может, не нравится вам разговор,
но я не о вашей вине ведь.
Оно, конечно, вы опытный вор,
вам это дело виднее.
Но вам неудобно на улице — дождь,
еще, чего доброго, схватите грипп».

И вор соглашается: «Нет, отчего ж,
давайте поговорим».

Потом я мочалил над примусом спички
(«Не разжигается, стерва!»),
а вор в это время своею отмычкой
пытался открыть консервы.

И только когда колбаса подгорела
и чайник устал нагибаться,
я бухнул: «Мне кажется, устарела
ваша квалификация.
Мне кажется (в этом уверен я),
что за столом не мы,
не просто два человека сидят,
а старый и новый мир.
Один этот — новый и нужный нам,
растущий из года в год.

Один этот — наш — выдвигает план
и выполняет его.
Один этот, — я даже захлебнулся
и ложечкой помахал, —
один этот бьется горячим пульсом
в каждой строке стиха.
В одном этом мы вырастаем и любим,
в одном этом парни отвагой горят.
Один этот вас называет «люмпен»
и добавляет «пролетариат».
И вы, представитель другого мира,
попавший к строителям невзначай,
сидите в чужой коммунальной квартире
и пьете взращенный ударником чай,
едите из этих веселых тарелок,
готовых над вами смеяться.
Она действительно устарела,
ваша квалификация.
Вы мимо труда,
пятилетки мимо
ходите мокрою ночью,
и это когда нам необходимы
профессор и чернорабочий.
Ах, в чью стенгазету,
зачем и кому
вам написать, неодетому:
«Товарищ завком, оглянись, ау!
Охрана труда, где ты?»
И знаете что? Я придумал исход:
идите, пожалуй, хоть к нам на завод.
У вас накопилась какая-то ловкость,
научитесь быстро. И скоро
вы будете в новой просторной спецовке
стоять над гудящим мотором.
Вам в руки дадут профсоюзный билет,
вам премией будет рубашка,
и мы напечатаем ваш портрет
в нашей многотиражке.
Вы нам поможете, мы проведем
пятилетку в четыре года.
Вы в комнату эту войдете и днем
и даже с парадного входа»,

Рассвет начинается. Лампа горит.
По небу плывут облака.
А вор улыбается и говорит:
«Спасибо, товарищ. Пока».

1932

9. ЛЮБОВЬ

Последние звезды бродят
над опустевшим сквером.
Веселые пешеходы
стучатся в чужие двери.

А в цехе над пятилеткой
склонилась ночная смена, —
к нам в окна влетает запах
отряхивающейся сирени.

А в Бауманском районе
под ржавым железом крыши,
за смутным окном, закрытым
на восемь крючков и задвижек,
за плотной и пыльной шторой
на монументальной кровати
любимая спит. И губы
беспомощно шевелятся.

А рядом храпит мужчина,
наполненный сытой кровью.
Из губ его вылетает
хрустящий дымок здоровья.

Он здесь полновластный хозяин.
Он знает дела и деньги.
Это его кушетка
присела на четвереньки.

Он сам вечерами любит
смотреть на стенные портреты,
и зеркало это привыкло
к хозяйскому туалету.

Из этого в пианино
натянутого пространства
он сам иногда извлекает
воинственные романсы.

И женщину эту, что рядом
лежит, полыхая зноем,
он спас от голодной смерти
и сделал своею женою.

Он спеленал ее ноги
юбками и чулками.
Она не умеет двигать
шелковыми руками.

Она до его прихода
читает, скучает, плачет.
Он водит ее в рестораны
и на футбольные матчи.

А женщина спит, и губы
подрагивают бестолково,
из шороха и движенья
едва прорастает слово,

которым меня крестили
в патриархальную осень,
которое я таскаю
уже девятнадцать весен.

Я слышу. Моя бригада
склонилась над пятилеткой,
и между станками бродит
волнующий луч рассвета.
Я знаю, что молодая,
не обгоняя меня,
страна моя вырастает,
делами своими звеня.

Я слышу, не отставая
от темпа и от весны,
растет, поднимается, бьется
наличный состав страны.

И я прикрываю глаза — и
за полосой зари
я вижу, как новый город
зеленым огнем горит.

Я вижу — сквозь две пятилетки,
сквозь голубоватый дым —
на беговой дорожке
мы рядом с тобой стоим.

Лежит у меня в ладони
твоя золотая рука,
отвыкшая от перчаток,
привыкшая к турникам.

И, перегоняя ветер
и потушив дрожь,
ты в праздничной эстафете
победную ленточку рвешь.

Я вижу еще, как в брызгах,
сверкающих на руке,
мы, ветру бросая вызов,
проносимся по реке.

И сердце толкается грубо,
и, сжав подругу мою,
ее невозможные губы
под звездами узнаю...

И сердце толкается грубо.
На монументальной кровати
любимая спит. И губы
доверчиво шевелятся.

А в цехе над пятилеткой
склонилась ночная смена —
нам ноздри щекочет запах
отряхивающейся сирени.

И чтобы скорее стало
то, что почти что рядом, —

над пятилеткой стала
моя молодая бригада.

И чтобы любовь не отстала
от роста Страны Советов,
я стал над свинцом реала,
я делаю стенгазету.

Я делаюсь бригадиром
и утром, сломав колено,
стреляю в районном тире
в районного Чемберлена.

Я набираю и слышу
в качанье истертых станков,
как с каждой минутой ближе
твоя и моя любовь.

1932

10. ВЕСНА В МИЛИЦИИ

Я шел не просто —
я свистел.
И думалось о том,
что вот природа не у дел
и мокнет под дождем,
что птички песенки поют,
и речка глубока,
и флегматичные плывут
по небу облака,
и слышно, подрастает как,
шурша листвою, лес.

И под полою нес кулак
откопанный обрез,
набитый смертью.

Птичий свист
по всем кустам летел.
И на «фордзоне» тракторист
четыре дня сидел
и резал землю.

(Двадцать лет,
девчонка у ворот.)
Но заседает сельсовет
две ночи напролет.

Перебирая имена,
охрипнув, окосев,
они орут про семена,
и про весенний сев,
и про разбавленный удой,
и про свою беду.

А я тропинкою кривой
задумчиво иду.
Иду
и думаю,
что вот
природа не у дел,
что теплый ветер у ворот
немножко похудел
и расстоянье велико
от ветра и весны
до практики большевиков,
до помыслов страны.
И что товарищам порой
на звезды наплевать.
И должен все-таки герой
уметь согласовать
весну расчерченных работ
с дыханьем ветерка,
любовью у сырых ворот,
и смертью кулака,
и лесом в золотом огне.

А через две версты
стоит милиция.
В окне
милиции цветы
весенние.
И за столом
милиции допрос
того, кто вместе с кулаком
глухую злобу нес,

того, кто портит и вредит,
того, кто старый враг.
И раскулаченный сидит
в милиции кулак,
и искренне желает нам
с весною околеть.

А у начальника — весна
в стакане на столе.

И сразу понимаю я,
что этот человек
умеет планы выполнять,
валяться на траве,
ночами за столом не спать,
часами говорить.
Умеет звезды понимать
и девушек любить.
Я веселею.
Я бреду
дорожкою кривой
и сочиняю на ходу
рассказы про него.
И принимаю целиком
дыхание весны —
борьбу с раскосым кулаком
и первые цветы.

И радуюсь, когда слова,
когда моя строка
и зеленеют, как трава,
и душат кулака.

1932

11. ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Вечерело. Пахло огурцами.
Светлый пар до неба подымался,
как дымок от новой папиросы,
как твои забытые глаза.

И, обрызганный огнем заката,
пожилой и вежливый художник,
вдохновляясь, путаясь, немея,
на холсте закат изображал.

Он хватал зеленое пространство
и вооруженною рукою
укрощал. И заставлял спокойно
умирать на плоскости холста.

(Ты ловила бабочек. В коробке
их пронзали тонкие булавки.
Бабочки дрожали.
Им хотелось
так же, как закату,
улететь.)

Но художник понимал, как надо
обращаться с хаосом природы.
И, уменьшенный в своих масштабах,
шел закат по плоскости холста.

Только птицы на холсте висели,
потеряв инерцию движенья.
Только запах масла и бензина
заменял все запахи земли.

И бродил по первому пейзажу
(а художник ничего не видел),
палочкой ореховой играя,
молодой веселый человек.

После дня работы в нефтелавке
и тяжелой хватки керосина
он ходил и освещался солнцем,
сам не понимая для чего.
Он любил и понимал рабсту.

(По утрам, спецовку надевая,
мы летим.
И, будто на свиданье,
нам немножко страшно опоздать.)

И за это теплое уменье
он четыре раза премирован,
и фамилия его простая
на Доске почета.

И весной
он бродил по свежему пейзажу,
палочкой ореховой играя,
и увидел, как седой художник
в запахах весны не понимал.

И тогда хозяйскою походкой
он вмешался в тонкое общенье
старых кадров с новою природой
и сказал прекрасные слова:

«Гражданин!
Я вовсе не согласен
с вашим толкованием пейзажа.
Я работаю. И я обязан
против этого протестовать.

Вы увидели зеленый кустик,
вы увидели кусок водички,
кувырканье птичек на просторе,
голубой летающий дымок...

И, седые брови опустивши,
вы не увидали человека,
вы забыли о перспективе
и о том, что новая страна
изменяет тихие пейзажи,
заседает в комнатах Госплана,
осушает чахлые болота
и готовит к севу семена.
Если посмотреть вперед, то видно,
как проходит здесь мелиоратор,
как ночами люди вырубают
дерево и как корчуют пни.

Если посмотреть вперед, то видно,
как по насыпи проходит поезд,
раздувая легкие.

И песни
молодые грузчики поют.

Если посмотреть вперед, то видно,
как мучительно меняет шкуру,
как становится необходимым
вышеупомянутый пейзаж.

Через два или четыре года
вы увидите всё это сами,
и картина ваша запылится
и завянет на чужой стене.

От стакана чая оторвавшись,
вовсе безразличными глазами
на нее посмотрит безразлично
пожилой случайный человек.

Что она ему сказать сумеет
про года, про весны пятилетки,
про необычайную работу,
про мою веселую страну?»

И стоял покинутый художник,
ничего почти не понимая.
И закат, уменьшенный в размерах,
проходил по линии холста.

Я хочу, чтобы в моей работе
сочеталась бы горячка парня
с мастерством художника, который
все-таки умеет рисовать.

1932

12. РАССКАЗ О ТОМ, КАК ОДНА СТАРУХА УМИРАЛА В ДОМЕ № 31 ПО МОЛЧАНОВКЕ

В переулке доживая
дни, ты думаешь о том,
как бы туча дождевая
не ударила дождем.

Как бы лампу не задуло.
Лучше двери на засов,
чтобы смерть не заглянула
до двенадцати часов.

Смерть стоит
на поворотах.
Дождь приходит за тобой.
Дождь качается в воротах
и летит над головой.

Я уйду.
А то мне страшно.
Звери дохнут,
птицы мрут.
День сегодняшний вчерашним,
вероятно, назовут.

Птичка вежливо присела.
Девка вымыла лицо.
Девка тапочки надела
и выходит на крыльцо.

Перед ней гуляет старый
беспартийный инвалид.
При содействии гитары
он о страсти говорит:
мол, дозвольте
к вам несмело
обратиться. Потому
девка кофточку надела,
с девки кофточку сниму.
И она уйдет под звезды
за мечтателем,
за ним,
недостаточно серьезным
и сравнительно седым.

Ты глядишь в окно. И еле
принимаешь этот мир.
Техник тащится с портфелем,
спит усталый командир.

Мальчик бегает за кошкой.
И, не принимая мер,
над разваренной картошкой
дремлет милиционер.
Ветер дует от Ростова.
Дни над городом идут...

Листья падают —
и снова
неожиданно растут.

Что ты скажешь, умирая,
и кого ты позовешь?
Будет дождь в начале мая,
в середине мая дождь.

Будто смерть,
подходит дрема.

Первосортного литья
голубые ядра грома
над республикой летят.

Смерть.
В глазах твоих раскосых
желтые тела собак,
птицы,
девочка,
колеса,
дым,
весна.
И папироса
у шарманщика в зубах.
И рука твоя темнеет.
И ужасен синий лик.
Жизнь окончена.
Над нею
управдом и гробовщик.

А у нас иные виды
и другой порядок дней —

у меня,
у инвалида
и у девочки моей.

Мы несем любовь и злобу,
строим, ладим и идем.
Выйдет срок —
и от хворобы
на цветах и на сугробах,
на строительстве умрем.

И холодной песни вместо
перед нами проплывут
тихие шаги оркестра
имени ОГПУ.

Загремят о счастье трубы.
Критик речь произнесет.
У девчонки дрогнут губы,
но девчонка не умрет.

И останутся в поверьях
люди славы и труда,
понимавшие деревья,
строившие города,
поднимавшие железо,
лес
и звезды топоров
против черного обреза
нерасстрелянных врагов.

И другие,
сдвинув брови,
продолжают строить дом.
Мы спокойно, как герои,
как товарищи, уйдем.

Мальчики стоят за нами,
юноши идут вперед.
Нами сотканное знамя
у распахнутых ворот.

Только мы пока живые
и работаем пока.
И над нами дождевые
пролетают облака.

И над крышами Арбата,
над могилою твоей
перманентные квадраты
снега,
града
и дождей.

1933

13. ОСЕНЬ

Уже замерзают лужи.
Уже из бидонов молочниц
в кастрюли и кринки
льется
хрустящее молоко.

Уже замерзают зори.
Уже на покатых крышах
лежит настоящий,
нежный
ноябрьский холодок.

Ты спишь, моя дорогая.
И книжка про радиатор,
про смазку и про дороги
валяется на ковре.

Ты спишь, поджимая губы.
Какие большие ресницы!
Какое большое солнце
барахтается в окне!

Мне грустно, что я не помню,
как ты иногда смеешься,
что я никогда не слышал,
не видел,
не знал тебя.

А может быть, мы встречались
в каком-нибудь переулке,
тряслись на одном трамвае,
сидели в одном кино.

И ты на меня смотрела
сиреневыми глазами.
И я тебя не заметил,
не вспомнил, не угадал.

Я всё понимаю.
Просто
меня увлекает зависть.
Герой мой,
он очень счастлив.
Ему девятнадцать лет.

Он думает и смеется,
работает и гуляет,
целует своих девчонок
почти что у всех ворот.

Сейчас он стоит и свищет
какую-то глупую песню.
И звезды стоят,
как будто
прикреплены к нему.

Ты спишь, моя дорогая,
работаешь в институте,
глотаешь горячий завтрак.
Ну как я тебя найду?

Мне выпало счастье — шляться
по следу моих героев,
устраивать им свиданья,
раскрашивать небеса.

Они приезжают в город
с подругами и вещами.
Толкаются на перронах,
тупеют в очередях,
робеют перед машиной.

Но я их беру в работу
и длинными вечерами
учу понимать страну.

Мне некогда. Я замучен
нагрузками и работой,
я только случайно вспомнил
про то, что забыл тебя.

Не надо,
не обижайся.
Уже замерзают зори.
Я лучше возьму папиросу,
а ты просыпайся.
Пора!

1933

14

Ну, как мне, девочка, о том
грустить, что ты ушла,
когда
стоит по-старому мой дом,
по-прежнему течет вода,
по вечерам скрипит калитка,
сидит у керосинки мать...

За этот год
я научился
огонь и воду понимать.
Я ездил и привез с собою
на скором поезде в Москву
большие облака,
дороги,
озера,
желтую траву,
мосты,
улыбки провожатых,
седую бурю,
паруса

и голубые от заката,
невероятные леса.

И вот сейчас захвачен я
и окружен железом,
пеньем,
движеньем летнего дождя,
товарных транспортов
движеньем,
круговоротом,
суетой,
снегами,
ветром,
листопадом,
переломившейся водой,
уральским пригородом,
градом,
подрагиваньем всех сердец,
степями,
стеклами,
морозом,
сухим песком
и, наконец,
тяжелым дымом паровозов.

Мне очень весело теперь
бродить и думать на просторе.
Возьму пиджак,
открою дверь —
и вижу Северное море.

И в том,
как мальчик на дворе
свистит,
я сразу отличаю
осенний ветер в сентябре
от ветра в середине мая.

Так здравствуй,
мой железный быт,
литой,

проверенный
и звонкий.

Пусть море в чайнике кипит
и Баскунчак лежит в солонке.

1933

15

Я не знаю, много или мало
мне еще положено прожить,
засыпать под ветхим одеялом,
ненадежных девочек любить.

Опустив веснушчатые руки,
наблюдать, как падает звезда,
и глазами, желтыми от скуки,
провожать глухие поезда.

Тишина. Преобладают тени.
Падают на землю небеса.
Никаких таких произведений
я пока еще не написал.

Только мне невероятно мало —
открывая старые пути,
по пустым селениям журналов
грустным и задумчивым пройти.

Я стою.
Опущены постромки,
незаметно заметает след.
Принесут ехидные потомки
белые полотнища анкет.

Что я им отвечу, сочинивший
несколько посредственных стихов?
Чем я им отвечу, износивший
ящики дубовых сапогов?

Не был я ведущим или модным,
без меня дискуссия идет.
Михаил Семенович Голодный
против сложной рифмы восстает.

Супротив кого ты восставала
и кому ходила вопреки,
песнь моя?
От Юга до Урала
подымают головы враги.

Враг идет, зеленый и небритый,
на весну и на моих друзей.

Бей его штыком и динамитом,
словом золотым.
И недобитых —
словом перекошенным добей.

Я хочу усталыми руками
трогать свой незавершенный мир
полновесно (каменщики — камень),
улыбаясь — как литейщик пламя,
или как рассаду — бригадир.

И для этого — идти по лету,
по цветам, по первому песку,
позабыв фамилии поэтов,
потеряв московскую тоску.

И прийти туда, где мимо леса
пролетает звучная вода,
где почти железные черкесы
землю изучают по складам.

Там сидят, не ведая хворобы,
распивая круглые чаи,
рыжие от счастья землеробы,
сверстники тяжелые мои.

И, сухие плечи подымая,
открывая новые края,

там стоит посередине мая
женщина последняя моя.

Затянуться резаной махоркой,
чтобы дым, ленивый и кривой,
голубой и, вероятно, горький,
тихо пролетел над головой.

И сказать товарищам:
«Спасибо
за огонь, за неуютный кров,
за уроки ненависти. Ибо
я познал строение миров.

Я увидел каменные печи
и ушел, запомнив навсегда,
как поет почти по-человечьи
в чайниках сидящая вода».

И уйти под ветром, по знакомым
перекресткам, разбивая лед.

Баба, возвращаясь из райкома,
песенки нескладные поет.

Так меня носила и качала
тишина.
И в этой тишине
песни непонятное начало
глухо подымается во мне.

1933

16. ЛЮБКА

Посредине лета
высыхают губы.
Отойдем в сторонку,
сядем на диван.
Вспомним, погорюем,
сядем, моя Люба.
Сядем посмеемся,
Любка Фейгельман!

Гражданин Вертинский
вертится. Спокойно
девочки танцуют
английский фокстрот.
Я не понимаю,
что это такое,
как это такое
за сердце берет?

Я хочу смеяться
над его искусством,
я могу заплакать
над его тоской.
Ты мне не расскажешь,
отчего нам грустно,
почему нам, Любка,
весело с тобой?

Только мне обидно
за своих поэтов.
Я своих поэтов
знаю наизусть.
Как же это вышло,
что июньским летом
слушают ребята
импортную грусть?

Вспомним, дорогая,
осень или зиму,
синие вагоны,
ветер в сентябре,
как мы целовались,
проезжая мимо,
что мы говорили
на твоем дворе.

Затоскуем, вспомним
пушкинские травы,
дачную платформу,
пятизвездный лед,
как мы целовались
у твоей заставы,

рядом с телеграфом,
около ворот.

Как я от райкома
ехал к лесорубам.
И на третьей полке,
занавесив свет:
«Здравствуй, моя Любка»,
«До свиданья, Люба!» —
подпевал ночами
пасмурный сосед.

И в кафе на Трубной
золотые трубы, —
только мы входили, —
обращались к нам:
«Здравствуйте,
пожалуйста,
заходите, Люба!
Оставайтесь с нами,
Любка Фейгельман!»

Или ты забыла
кресло бельэтажа,
оперу «Русалка»,
пьесу «Ревизор»,
гладкие дорожки
сада «Эрмитажа»,
долгий несерьезный
тихий разговор?

Ночи до рассвета,
до моих трамваев.
Что это случилось?
Как это поймешь?
Почему сегодня
ты стоишь другая?
Почему с другими
ходишь и поешь?

Мне передавали,
что ты загуляла —

лаковые туфли,
брошка, перманент.
Что с тобой гуляет
розовый, бывалый,
двадцатитрехлетний
транспортный студент.

Я еще не видел,
чтоб ты так ходила —
в кенгуровой шляпе,
в кофте голубой.
Чтоб ты провалилась,
если всё забыла,
если ты смеешься
нынче надо мной!

Вспомни, как с тобою
выбрали обои,
меховую шубу,
кожаный диван.
До свиданья, Люба!
До свиданья, что ли?
Всё ты потопила,
Любка Фейгельман.

Я уеду лучше,
поступлю учиться,
выправлю костюмы,
буду кофий пить.
На другой девчонке
я могу жениться,
только ту девчонку
так мне не любить.

Только с той девчонкой
я не буду прежним.
Отошли вагоны,
отцвела трава.
Что ж ты обманула
все мои надежды,
что ж ты осмеяла
лучшие слова?

Стираная юбка,
глаженая юбка,
шелковая юбка
нас ввела в обман.

До свиданья, Любка,
до свиданья, Любка!
Слышишь?
До свиданья,
Любка Фейгельман!

(1934)

17. ПРО ТОВАРИЩА

1

Как бывало — с полуслова,
с полуголоса поймешь.

2

Мимо города Тамбова,
мимо города другого
от товарища Боброва
с поручением идешь.

Мы с тобой друзьями были
восемь месяцев назад,
до рассвета говорили,
улыбались невпопад.
А теперь
гремят колеса,
конь мотает головой.

Мой товарищ с папиросой
возвращается домой.
Мост качается.
И снова
по бревенчатым мостам,
по дорогам,

по ковровым,
отцветающим
и снова
зацветающим цветам.

Он идет неколебимо
и смеется сам с собой,
мимо дома,
мимо дыма
над кирпичною трубой.
Над мальчишками летает
настоящий самолет.
Мой товарищ объясняет,
что летает, как летает,
и по-прежнему идет.
Через реки,
через горы...

Пожелавшим говорить
подмигнет
и с разговором
разрешает прикурить.
И, вдыхая ветер падкий,
через северную рожь
мимо жнейки,
мимо жатки,
мимо женщины идешь.
Посреди шершавой мяты,
посреди полдневных снов,
мимо будки,
мимо хаты,
мимо мокрого халата
и развешанных штанов.

Он идет, шутя беспечно.
Встретится ветеринар.
Для колхозника сердечно
раскрывает портсигар.
Мимо едут на подводах,
сбоку кирпичи везут.
Цилиндрическую воду
к рукомойникам несут.

Дожидаясь у колодца,
судомойка подмигнет.
Мой товарищ спотыкнется,
покраснеет, улыбнется,
не ответит.

И пойдет,
вспоминая про подругу,
через полдень,
через день,
мимо проса,
мимо луга —
по растянутому кругу
черноземных деревень.
Мимо окон окосевших
он упрямо держит путь.
Мимо девочки, присевшей
на минутку отдохнуть.
Мимо разных публикаций,
мимо тына,
мимо тени,
мимо запаха акаций
и обломанной сирени.

Он идет,
высокий, грузный,
и глядит в жилые стекла,
мимо репы и капусты,
сбоку клевера и свеклы,
мимо дуба,
мимо клена.
И шуршат у каблуков
горсти белых
и зеленых,
красных,
черных,
наклоненных,
желтых,
голубых,
каленых
перевернутых цветов.

Так, включившийся в движенье,
некрасивый и рябой,
ты проходишь с наслажденьем
мир,
во всех его явленьях
понимаемый тобой.

3

Ты идешь, не зная скуки,
под тобой скрипит трава.
Над тобой худые руки
простирают дерева.
Ты идешь, как победитель,
вдоль овса и ячменя,
мой ровесник и учитель,
забывающий меня.
По тропинке,
по ухабам,
мимо яров,
сбоку ям.

Соловьи поют.
И бабы
подпевают соловьям.

4

Снова речка,
снова версты,
конь с резиновой губой.
Только небо, только звезды
над тяжелой головой.
Ты идешь
и напеваешь
про сады и про луну.
Ты поешь и вспоминаешь
Аграфену Ильину.

Не она ль в селе Завьялы,
от предчувствия бледна,
тихо ставни открывала
и сидела у окна?

Не она ль, витую косу
распуская для красы,
сторожила у откоса
золотую папиросу
и колючие усы?

Тихое перемещенье
звезд от дома до реки.
Груню в легкое смущенье
приводили светляки.
Ей и спится и не спится.
«Неужели ты отвык?
Не просохли половицы,
не стоптался половик.
Неужели позабудешь,
как дышала чесноком?
Нешто голову остудишь
полотняным рушником?
Ты войди ко мне, как раньше,
дергая больным плечом,
громыхая сапогами
и брезентовым плащом.
Для тебя постель стелила,
приготовила кровать.
Вымойся. Скажи, что видел.
Оставайся ночевать.

Где ж ты ходишь, беспокойный?
С кем гуторишь?
Что поешь?»

5

Мимо озера большого
ты по августу идешь.
Как с тобой в одной бригаде
мы ходили, славя труд,
как в Тамбове на параде
отделенные идут.
Ты идешь.
И ты не слышишь,
как проходят впереди,

как на ясенях, на крышах
начинаются дожди.

Ты не думаешь, не знаешь,
что, заслышавши тебя,
два врага одновременно
подымают два ружья.
Что один из них степенно
наблюдает свет звезды,
а другой из них считает
увезенные пуды.
Что другой оглох от страха,
ты не понял.
На тебя
двое сволочей с размаху
подымают два ружья.
Ты уже не видишь света,
ты уже не слышишь слов...

Два удара.
Два букета
незавязанных цветов.
Два железных поцелуя,
две последние черты.
Упадешь ты, негодуя,
в придорожные цветы.
Упадешь,
костистый, белый,
руку грузную подмяв,
дел последних не доделав,
слов прощальных не сказав.
Дернувшись,
принявши пули,
ты, как буря, упадешь.

Все устали, все уснули,
слушая сухую рожь.

Слышен запах крови сладкий.
Смерть.
Заря.

И, наконец,
под одним из них вприсядку
пляшет рыжий жеребец.

6

Дождь стоит у переправы,
затянувшийся, косой.

Утро.
Областные травы
пересыпаны росой.

Утро.
Бьется теплый аист
у поверженной земли.
Над тобою, задыхаясь,
прошумели журавли.
Прыгает железный ворон
и косится на тебя,
да проходит эскадрилья,
нагибаясь и гудя.

Ты лежишь, откинув руку,
посреди цветов,
пока
около тебя не станет
колесо грузовика.
Ты лежишь в гробу дубовом,
неподвижен и угрюм.

Не к лицу тебе, товарищ,
сшитый плотником костюм.
Рядом с гробом девка бьется
непокрытой головой.

Опустив глаза, клянемся
выдержать тяжелый бой.

Мы подымемся и выйдем
и проходим темноту.

Опустив глаза, мы видим
нашу честную мечту.

От совхоза и завода,
под звездою и дождем.

Стань, земля!

Под непогодой
мы по осени идем.

(1934)

18. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДИМИТРОВА ПОСЛЕ ЛЕЙПЦИГСКОГО ПРОЦЕССА

Так мне кажется —
сердце тише,
придавив
неокрепший лед,
над высокой
немецкой крышей
подымается
самолет.

Восемь парней,
глазам не веря,
зубы сжав,
говорят:
«Пока!»

Из окна кабинета
Геринг
злобно смотрит
на облака.

. . .Между зимними облаками
он летит,
величав и прост,
над заводом
и над лесами,
у еще
непогасших звезд.

Он летит,
приминая тучи,
он крыло над Москвой
простер.
И ребята с улыбкой лучшей
слышат тихий его мотор.

Вечер. Ночь.
Через ветер черный
прямо в руки мои
идет
трехмоторный,
пятимоторный
потрясающий самолет.

Тяжело
подымая брови,
улыбаясь
моей стране,
прямо с неба
идут герои,
похудевшие в тишине.

И под небом
Москвы отверстым,
на тебя
устремивши взгляд,
краснопресненские
оркестры
задыхаются
и молчат.

Мы встречаем тебя
снегами,
мы приносим тебе
цветы.
Мы гордимся тобой,
и нами,
вероятно,
гордишься ты.

Снег летит
под больные ноги,

Стань прямей,
посмотри кругом —
мы тебе отдаем
дороги
и сады свои
отдаем.

Стали химики
и хлеборобы.
Что сказать,
если вы дошли
через тюрем
глухую злобу
до прекрасной
Большой земли?

Что сказать мне
к такому часу,
чем похвастать?
Прости меня,
если нету в моих
запасах
слов,
достойных такого дня.

Если я,
рассуждая здраво,
мир почувствовал
в тишине.
Это счастье мое.
И, право,
счастья этого хватит мне.

1934

19. ПРОЩАНЬЕ

Надо тише.
Вино допито.
Бьют часы.
Через два часа
мы уедем.

Стучат копыта.
Парни трогают пояса.

Рассветает.
Идет по кругу
ветер прямо через сады.
Я за яблочный ветер с юга
подымаю стакан воды.

Пододвинь-ка поближе чайник.
Я и чаю, и пиву рад.
Ну, товарищи,
на прощанье,
за разлуку, как говорят!

Пусть худые дела и свары
не коснутся твоей руки.
За работу твою. Амбары.
И отбойные молотки.

Я стою среди вас нездешний
и не в силах про вас забыть.
За бухгалтера?
Мне, конечно,
за бухгалтера надо пить.

Только где ты, улыбка девья?
Спи, Наташа.
Здесь люди пьют
за деревья.
Пускай деревья,
чуть подрагивая, растут.

Пусть поется песня простая
про железо в твоей печи.
Это каменщики, играя,
ставят легкие кирпичи.

Это кровельщики слезают
с крыши, темные от жары.
Это плотники подымают
годовалые топоры.

И стоят посреди заката,
крыты грохотом, как грома,
невысокие, но богато
окантованные дома.

А у двери, как победитель,
зубы сжав, ко всему готов,
в полосатых штанах строитель
первых в области городов.

Перед ним пролетают птахи,
отражаясь в его очках.
Он стоит в голубой рубахе,
в горпарткомовских сапогах.

Он стоит. Потолки готовы.
Окна сбиты. Белить пора.
Я бы выпил за Иванова,
тихорецкого маляра.

Верно, можно сказать и лучше:
вставить лозунг, крикнуть: «Вперед!»
Сбоку почты большая туча,
как большая беда, идет.

Мы уедем.
Сквозь полдень пылкий,
через осень и снегопад.
Посмотри —
на моей бутылке
звезды утренние стоят.

Пусть тебя не коснется лихо.
До свиданья!
Глазом косым
я смотрю на часы.
И тихо
останавливаются часы.

Всё стоит. Все сидят, как боги,
и сомненье их не берет.
Ветер стал посреди дороги
и не хочет идти вперед.

Тихо скрипнув, замолкли ставни.
Лошадь стала. Сучок упал.
Ну а поезд?
Он и подавно,
не вздохнув и не дрогнув, встал.

Это действует черная сила.
Дым стоит.
Чуть правей моста
птица дернулась
и застыла,
крылья желтые распластав.

И октябрьские, едва ли
не достигнув моей земли,
как воронежский поезд, стали
и не двигаются дожди.

Так запомню я день вчерашний.
Сердце стало. Молчит земля.
Что я сделал?!
Вставай. Мне страшно.
Подымайтесь, мои друзья!

Поезд двинется.
Тихо, криво
поезд тронется.
Через час
поезд тронется.
Выпьем пива,
выпьем пива в последний раз.

Выбегают к составу дети.
Через тонкий осенний лед
поезд тронется.
На рассвете
поезд двинется и пойдет.

Прогремит он неколебимо,
спотыкаясь.
Вздымая прах.
Оставляя букеты дыма
на девичьих худых руках.

Простучит.
Задыхаясь. Воя.
Расшатавшийся. Кривой.
Между звездами и землею,
между осенью и зимой,
между Горловкой и Москвой.

Прогремит.
Как я рад увидеть
реки, мост.
По хребтам мостов
он стучит.
Предлагаю выпить
за движение поездов.

За окраску вагонов спальных,
против нажитого угла.
За дожди в сентябре.
За дальний,
неизвестный полет щегла.

Я глядел на тебя часами,
я вот пью за твои глаза,
за дорогу с горы,
за сани,
за колеса и тормоза.

Пусть быки опускают выи,
вместо низкого потолка
пусть над нами идут большие
украинские облака.

Как собаки, за нами версты
пусть бегут.
Разбивая чад,
надо мной боевые звезды
подымаются и стучат.

Поворачиваются колеса.
Ходят воды.
Идет отряд.
Пляшет девочка.

Папиросы
зажигаются и горят.

Да огонь, подымаясь, печи
раскаляет.
Идут года.
До свиданья!
До новой встречи
на строительстве.
Навсегда.

1934

20. СЛАВА

Он стоит под апрельским ветром,
мой высокий московский дом.
Тихо.
Тысячи километров
начинаются за окном.

Приминая песок и травы,
через села и города
продвигается наша слава,
нерушимая никогда.

Вот на севере пламенеет.
Вот проходит без лишних слов.
Гитлер кашляет и бледнеет
От тяжелых ее шагов.

Слева вишни стоят.
А справа
льды проходят у берегов.
Подымается наша слава
выше перистых облаков.

Продвигается наша слава
через северные снега.
Не кончается наша слава
пулей вылезшего врага.

По утрам, нарушая дрему,
раздвигаются берега.
Ледяные аэродромы,
гололедица и пурга.

Вечерами сквозь ветер сладкий
дышат стужами города.
Облицованные палатки,
замерзающая вода
да собаки, с тоски худые.

Как ты сумрачна и темна!

Не над нами ли ледяные
руки подняла тишина?
И не нами ли бревна вбиты,
и не мы ли стоим сейчас,
как пред совестью, перед Шмидтом,
выполняя его приказ?

И не мы ли — опять — залетный
слышим дым?
Небеса поют.
Наши летчики самолеты
над холодной водой ведут.

Наши летчики через беды
проходили. И до земли
всех челюскинцев — как победу —
победители донесли.

Вот стоят, отвечая сразу
всем.
Красивы и высоки,
кочегары и водолазы,
машинисты и моряки.

Нашим юношам стужи снятся,
Ледоколы, снега...

Ты спишь.
Мы ушли.

Мы придем смеяться
над тобой, снеговая тишь.

Мы дойдем до тебя
и — злую —
скрутим, свяжем, пройдем по дну,
покорившие ледяную,
ледовитую тишину.

Так как это пока начало,
так как, образно говоря:
море Белое нас качало —
мы качаем теперь моря.

1934

Гаснут звезды.
Молчанье.
Низом
ходит стужа,
стоит плетень.
Всё.
По-моему, словом Лиза
начинается светлый день.
Наша улица загудела.
Это значит —
она идет.
Кофта белая,
пояс белый.
Остановится! Повернет?

Нет, ей некогда.
Не затем ли
я лишился привычных слов,
чтоб страдали и пели земли
от неслышных ее шагов.
Чтобы дверь испытала муку,
постовые лишились сна,
оттого что, откинув руку,
через площадь идет она.

Застонали в чехлах гобои,
заворочались молотки.
Небо синее — в голубое
превращается от тоски.

Вот проходит.
У поворота
начинают сиять цветы.
Прямо в ноги ей самолеты
опускаются с высоты.
А подушка у изголовья
чуть примята —
скрипит кровать.
Что мне делать
с такой любовью?
Я боюсь ее рифмовать.

1934

22. ГОРОД МОСКВА

Город мой весенний,
звонкотрубый,
вижу я, как через дальний гуд,
в тишине, гнилые скаля зубы,
по мостам опричники идут.

Слышно мне,
как воск от света тает,
брага плещется на дне ковша.
Как, оставив землю, отлетает
длинная боярская душа.

Так стоит он —
темный город выжиг,
и плывет по небу пустырей
скорбный храп задрипанных ярыжек,
сытый гул церквушек и церквей.

И холопы думают сурово
грозные, жестокие слова.
Но въезжает клетка Пугачева,
разинская меркнет голова.

И стоит опять под зимним небом,
жрет без просыпу
и спит без снов
город ханжества, тоски, молебнов,
старых девок, царских кабаков...

А с иконы бог,
усталый, кроткий,
смотрит на разбитые мечты,
на тряпье и стужу,
на чахотку,
на хребты и руки нищеты.

И, прельстившись мукой человечьей,
услыхав стенанья и хулу,
он благословляет
снег и вечер,
потное ярмо и кабалу.

Но встает —
опять, еще и снова,
оплатив давнишние счета,
город мой — помолодевший, новый,
город мой — звучащая мечта.

И шумит крылами ветер горький,
северный,
идущий от морей.
Над заводом АМО,
над Трехгоркой
и над типографией моей.

И, улыбкой освещая лица,
радостные, знающие труд,
в шубах, в шапках, в жарких рукавицах,
по вечерним улицам столицы
верные хозяева идут.

Город мой, вещающий ученый,
на пороге солнечных времен,
опоясан тополем и кленом,
белыми снегами озарен,

Каменный, железный и стеклянный,
над тобой созвездия горят.
Про тебя за синим океаном
старики и дети говорят.

1934

23

Вот женщина,
которая, в то время
как я забыл про горести свои,
легко несет недюжинное бремя
моей печали и моей любви.

Играет ветер кофтой золотистой.
Но как она степенна и стройна,
какою целомудренной и чистой
мне кажется теперь моя жена!

Рукой небрежной волосы отбросив,
не опуская ясные глаза,
она идет по улице,
как осень,
как летняя внезапная гроза.

Как стыдно мне,
что, живший долго рядом,
в сумятице своих негромких дел
я заспанным, нелюбопытным взглядом
еще тогда ее не разглядел!

Прости меня за жалкие упреки,
за вспышки безрассудного огня,
за эти непридуманные строки,
далекая красавица моя.

Между 1935 и 1937

24. Я ВСПОМИНАЮ...

Я вспоминаю в государстве льдов,
в далеком царстве вечной мерзлоты,
как вспоминают первую любовь,
родной земли весенние цветы.

Я вижу в тишине, издалека,
вечерние созвездья табака,
черемухи воздушное теченье.
Я вижу город — улицы бегут,
и ветви счастья с ветками сирени
на перекрестках бабы продают.

А мы с тобой всегда цветы любили.
Еще весной, волнуясь и спеша,
подснежники под снегом находили
и ландыши сбирали, не дыша.

Мы шли и шли по перекатам белым,
средь колокольчиков, цветов степных,
и вся округа, всё окрест звенело,
когда усталый ветерок, в несмелом
своем кружении, касался их.

А мы вдвоем, смешные человечки,
всё шли и шли: блаженные, без слов,
по полю, розоватому от гречки
и красному от розовых цветов.

А мы всё шли, сплетая васильки,
не зная жалоб,
позабыв печали,
и круглые холодные венки
обветренные головы венчали.

Передо мною, как в старинной сказке,
коса речная и твоя коса,
анютины бестрепетные глазки
и женщины прозрачные глаза.

Широким взмахом лето устилало
тот путь, которым вместе мы прошли.
И долго ты передо мной стояла,
облокотившись благостно, устало, —
в пыльце цветочной, в земляной пыли.

Между 1935 и 1937

25. МАЙСКИЙ ВЕЧЕР

Солнечный свет. Перекличка птичья.
Черемуха — вот она, невдалеке.
Сирень у дороги. Сирень в петличке.
Ветки сирени в твоей руке.

Чего ж, сероглазая, ты смеешься?
Неужто опять над любовью моей?
То глянешь украдкой. То отвернешься.
То щуришься из-под широких бровей.

И кажется: вот еще два мгновенья,
и я в этой нежности растворюсь, —
стану закатом или сиренью,
а может, и в облако превращусь.

Но только, наверное, будет скушно
не строить, не радоваться, не любить —
расти на поляне иль равнодушно,
меняя свои очертания, плыть.

Не лучше ль под нашими небесами
жить и работать для счастья людей,
строить дворцы, управлять облаками,
стать командиром грозы и дождей?

Не веселее ли, в самом деле,
взрастить возле северных городов
такие сады, чтобы птицы пели
на тонких ветвях про нашу любовь?

Чтоб люди, устав от железа и пыли,
с букетами, с венчиками в глазах,
как пьяные между кустов ходили
и спали на полевых цветах.

1937

26

Вечерами, листву колыша,
я следил у истоков реки,
как один за другим, неслышно,
зажигаются светляки.

Горожанин в пыли дорожной,
отрешившись от всяких дел,
я, не двигаясь, осторожно,
как на счастье, на них глядел.

Куст светил, и пенек светился,
в отдаленье мерцал листок.
Ночью сказочным становился
редкий вырубленный лесок.

У меня на руке дымится
то ли капля холодной воды,
то ли синенькая крупица,
улетевшая от звезды.

И стою я, врагов прощая,
оттого лишь, что тот огонь
так таинственно освещает
человеческую ладонь.

Но недолго он пламенеет,
этот узенький самоцвет:
всё печальнее, всё бледнее,
всё тревожнее слабый свет.

Он теперь уже светит глухо,
он совсем уже не горит.
То ли куколка, то ли муха
на ладони моей лежит...

Нет, не в шутку и не напрасно
я, целуя твои глаза,
всё тревожусь —
как бы не сгасла,
не померкла твоя краса.

1937 (?)

27. МАМА

Добра моя мать. Добра, сердечна.
Приди к ней — увенчанный и увечный —
делиться удачей, печаль скрывать —
чайник согреет, обед поставит,
выслушает, ночевать оставит:
сама — на сундук, а гостям — кровать.

Старенькая. Ведь видала виды,
знала обманы, хулу, обиды.
Но не пошло ей ученье впрок.
Окна погасли. Фонарь погашен.
Только до позднего в комнате нашей
теплится радостный огонек.

Это она над письмом склонилась.
Не позабыла, не поленилась —
пишет ответы во все края:
кого — пожалеет, кого — поздравит,
кого — подбодрит, а кого — поправит.
Совесть людская. Мама моя.

Долго сидит она над тетрадкой,
отодвигая седую прядку
(дельная — рано ей на покой),
глаз утомленных не закрывая,
ближних и дальних обогревая
своею лучистою добротой.

Всех бы приветила, всех сдружила,
всех бы знакомых пережемила.
Всех бы людей за столом собрать,
а самой оказаться — как будто! — лишней,
сесть в уголок и оттуда неслышно
за шумным праздником наблюдать.

Мне бы с тобою всё время ладить,
все бы морщины твои разгладить.
Может, затем и стихи пишу,
что, сознавая мужскую силу,
так, как у сердца меня носила,
в сердце своем я тебя ношу.

1938

28. УЧЕНИК ДЖАМБУЛА

Среди писателей Москвы сутулых
сидел свободно, как в степи сидят,
сын Казахстана, ученик Джамбула,
плечистый, пламенный, широкоскулый,
коричневый от солнца азиат.

Глядеть нам на него — не наглядеться.
Так только может мужество на детство —
глаза в глаза — с надеждою глядеть.
А он смотрел с любовью, виновато —
так смотрит мальчик на старшо́го брата,
успевшего в разлуке поседеть.

Как не запеть?
И в маленькой гостиной,
среди цветов и мебели старинной,
запела тонким голоском струна.
И, вторя ей, звучит запев акына,
как строки думы, как напев былины,
как медленно шумящая волна.

И вдруг томленье переходит в бурю.
Певец сидит, косые очи щуря,
рукою темною по струнам бьет.

Что может быть на свете вдохновенней,
чем возрожденного народа гений,
освобожденной музыки полет?

Струна замолкла, и строка уснула,
сидит устало ученик Джамбула,
свой инструмент к колену прислоня.
Лишь крупный рот от радости смеется
лишь сердце переполненное бьется,
и лишь глаза исполнены огня.

1938

29. ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Валентиной
Климовичи дочку назвали.
Это имя мне дорого —
символ любви.
Валентина Аркадьевна.
Валенька.
Валя.
Как поют,
как сияют
твои соловьи!

Три весны
прошумели над нами,
как птицы,
три зимы
намели-накрутили снегов.
Не забыта она
и не может забыться:
всё мне видится,
помнится,
слышится,
снится,
всё зовет,
всё ведет,
всё тоскует — любовь.

Если б эту тоску
я отдал океану —

он бы волны катал,
глубиною гудел,
он стонал бы и мучился
как окаянный,
а к утру,
что усталый старик,
поседел.

Если б с лесом,
шумящим в полдневном веселье,
я бы смог поделиться
печалью своей —
корни б сжались, как пальцы,
стволы заскрипели
и осыпались
черные листья с ветвей.

Если б звонкую силу,
что даже поныне
мне любовь
вдохновенно и щедро дает,
я занес бы
в бесплодную сушу пустыни
или вынес
на мертвенный царственный лед —
расцвели бы деревья,
светясь на просторе,
и во имя моей,
Валентина,
любви
рокотало бы
теплое синее море,
пели в рощах вечерних
одни соловьи.

Как ты можешь теперь
оставаться спокойной,
между делом смеяться,
притворно зевать
и в ответ
на мучительный выкрик,

достойно
опуская большие ресницы,
скучать?

Как ты можешь казаться
чужой,
равнодушной?
Неужели
забавою было твоей
всё, что жгло мое сердце,
коверкало душу,
всё, что стало
счастливою мукой моей?
Как-никак —
а тебя развенчать не посмею.
Что ни что —
а тебя позабыть не смогу.
Я себя не жалел,
а тебя пожалею.
Я себя не сберег,
а тебя сберегу.

1938

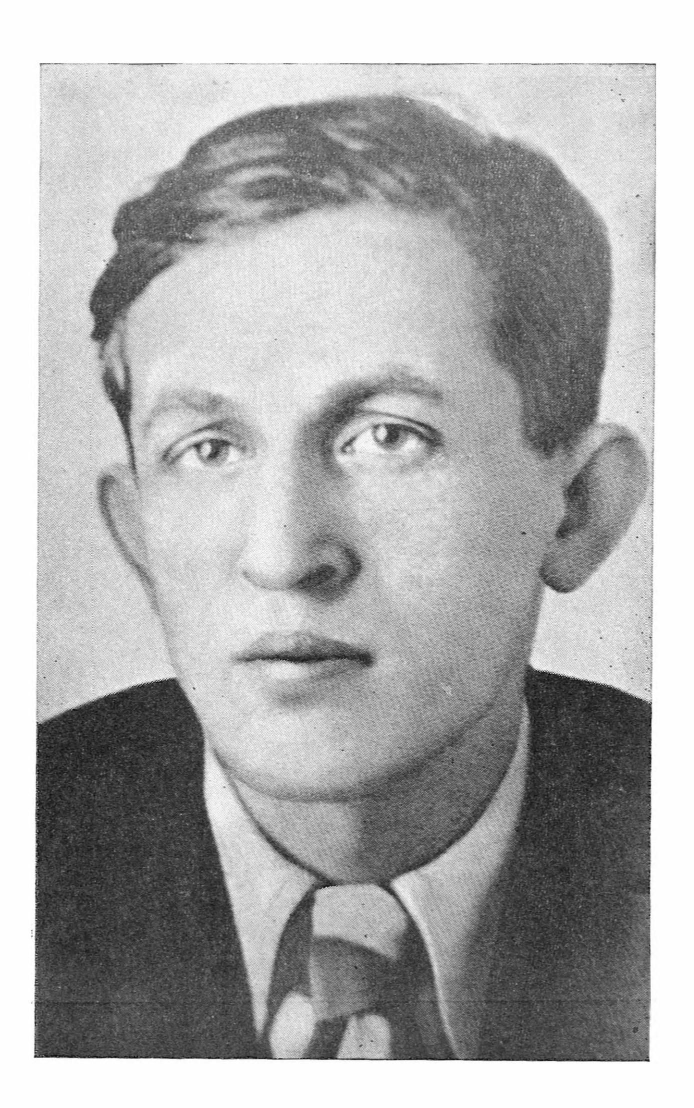
30. ДАВНЫМ-ДАВНО

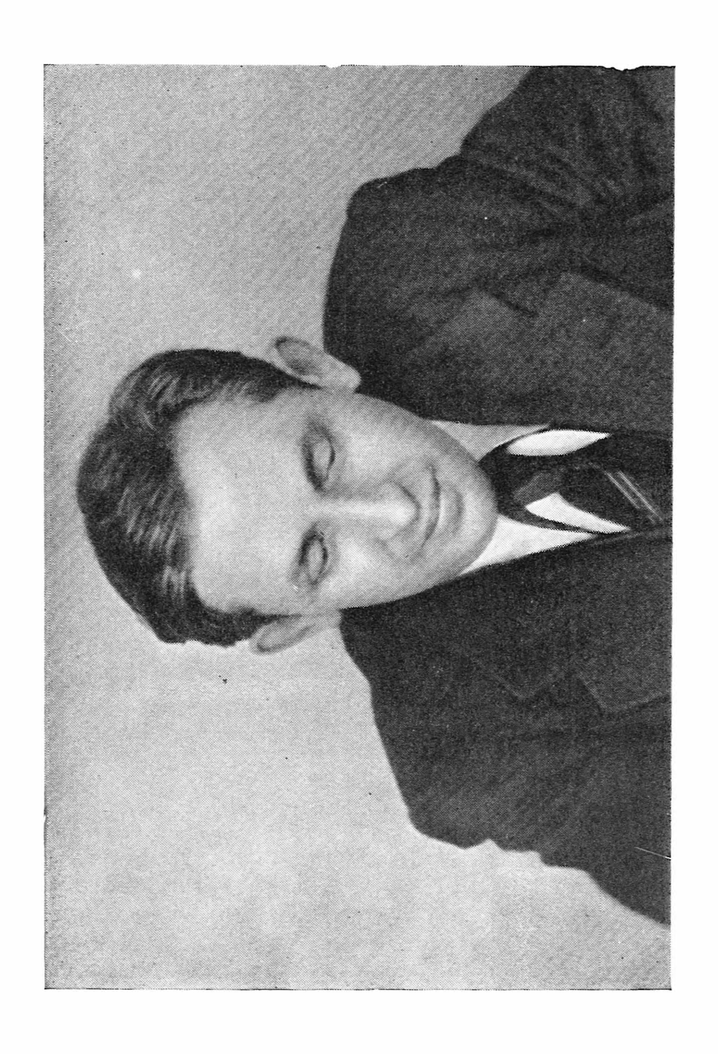
Давным-давно, еще до появленья,
я знал тебя, любил тебя и ждал.
Я выдумал тебя, мое стремленье,
моя печаль, мой верный идеал.

И ты пришла, заслышав ожиданье,
узнав, что я заранее влюблен,
как детские идут воспоминанья
из глубины покинутых времен.

Уверясь в том, что это образ мой,
что создан он мучительной тоскою,
я любовался вовсе не тобою,
а вымысла бездушною игрой.

Благодарю за смелое ученье,
за весь твой смысл, за всё —





за то, что ты
была не только рабским воплощеньем,
не только точной копией мечты:

исполнена таких духовных сил,
так далека от всякого притворства,
как наглый блеск созвездий бутафорских
далек от жизни истинных светил;

настолько чистой и такой сердечной,
что я теперь стою перед тобой,
навеки покоренный человечной,
стремительной и нежной красотой.

Пускай меня мечтатель не осудит:
я радуюсь сегодня за двоих
тому, что жизнь всегда была и будет
намного выше вымыслов моих.

1938 (?)

31

Я сам люблю дорожную тревогу —
Звонки, свисток и предотъездный гам.
Я сам влюблен в железную дорогу —
В движение вагона по путям.

Я сам люблю состав почтовый, дальний,
Вокзальный свет, молчание друзей,
Прощальный взгляд и поцелуй прощальный,
Прощальный вечер юности моей...

Но поезд тронулся. Неумолимо
Чудесное вращение колес.
Уже в пути, уже застлало дымом
Сиянье милых материнских слез.

И я иду к товарищам вагонным
Включиться в их нестройный хоровод,
Глядеть в окно, зевать, но неуклонно,
Неутомимо двигаться вперед.

(1939)

32

Я посвятил всего себя искусству
на перекрестках не кричать о чувствах —
а всей душою родину любить.
И научился в ровном постоянстве,
как много прежде в упоенье странствий,
свое простое счастье находить.
Так на реке, под крышей ледяною,
укрытая замерзшею волною,
журчит в пути прозрачная волна.
И так же снег, сверкающий и льдистый,
в тиши зимы своим дыханьем чистым
отогревает хлеба семена.

1939

33

Е. Ф.

У мертвых рук, над мертвой кровью друга,
над смертным сном, у зимнего окна
ты плакала, ты плакала, подруга,
над гробом мужа плакала супруга,
над гробом мужа плакала жена.

Но столько было гордости и силы
и столько билось горечи у рта,
что сердце у меня остановила
и раскроила душу немота.
И с этих пор — куда б я ни кидался,
среди лесов, под небом голубым,
в морозных тучах — я не расставался
с твоей судьбой и с образом твоим.

Как позабыть мне облик величавый!
Он жив. Он движется в душе моей.
И резкий шаг, и взгляд ее лукавый,
и прямота серебряных бровей.

Как оценить неоценимый опыт,
приобретенный женщиной такой

в застенках Польши, в камерах Европы,
на дымных сопках Дальнего Востока —
с оружьем революции, жестоко
зажатым обмороженной рукой.

Прошли года. Глазам своим не веря,
не думая, не зная, что сказать,
всю глубину смятения измерив,
я вновь стою перед знакомой дверью,
забыв о всем, не в силах постучать.

Я вновь пришел. И слушаю, счастливый,
как за дверьми, по-старому легки,
по-прежнему поспешно, торопливо
стучат ко мне навстречу каблуки.

В свой смертный день, забыв наветы злые,
от забытья, от сна за полчаса
я вспомню, вспомню волосы седые
и хитрые мальчишечьи глаза.

1939

34. ПАВИЛЬОН ГРУЗИИ

Кто — во что,
а я совсем влюблен
в Грузии чудесный павильон.

Он звучит в моей душе,
как пенье,
на него глаза мои глядят.
Табачком обсыпавши колени,
по-хозяйски на его ступенях
туляки с узбеками сидят.

Я пройду меж них —
и стану выше,
позабуду мелочи обид.
В сером камне водоем журчит,
струйка ветра занавес колышет,
голову поднимешь —

вместо крыши
небо необманное стоит.

И пошла показывать земля
горькие корзины миндаля,
ведра меда,
бушели пшеницы,
древесину,
виноград,
руно,
белый шелк
и красное вино.

Всё влечет,
всё радует равно —
яблоко и шумное зерно.
Всё — для нас,
всему не надивиться.

Цвет и запах —
всё запоминай.
В хрупких чашках
медленно дымится
Грузии благоуханный чай.

Жителю окраин городских
издавна знакомы и привычны
вина виноградарей твоих,
низенькие столики шашлычных.

Я давно, не тратя лишних слов,
пью твой чай и твой табак курю,
апельсины из твоих садов
северным красавицам дарю.

Но теперь хожу я сам не свой:
я никак не мог предполагать,
что случится в парке под Москвой
мне стоять наедине с тобой
и твоей прохладою дышать.

1939

35. МИЧУРИНСКИЙ САД

Оценив строителей старанье,
оглядев все дальние углы,
я услышал ровное жужжанье,
тонкое гудение пчелы.

За пчелой пришел я в это царство
посмотреть внимательно, как тут,
возле гряд целебного лекарства,
тоненькие яблони растут.

Как стоит, не слыша пташек певчих,
в старомодном длинном сюртуке,
каменный великий человечек
с яблоком, прикованным к руке.

Он молчит, воитель и ваятель,
сморщенных не опуская век,
царь садов, самой земли приятель,
седенький сутулый человек.

Если это нужным он сочтет,
яблоня, хрипя и унижаясь,
у сапог властителя валяясь,
по земле, как нищенка, ползет.

И в его неоспоримой власти
сделать так, мудруя в черенках,
что стоишь ты, позабыв напасти,
захмелев от утреннего счастья
и цветов в зеленых волосах.

Снял он с ветки вяжущую грушу,
на две половинки разделил
и ее таинственную душу
в золотое яблоко вложил.

Я слежу, томительно и длинно,
как на солнце светится пыльца
и стучат, сливаясь воедино,
их миндалевидные сердца.

Рассыпая маленькие зерна,
по колено в северных снегах,
ковыляет деревце покорно
на кривых беспомощных ногах.

Я молчу, волнуясь в отдаленье,
я бы отдал лучшие слова,
чтоб достигнуть твоего уменья,
твоего, учитель, мастерства.

Я бы сделал горбуна красивым,
слабовольным силу бы привил,
дал бы храбрым нежность, а трусливых —
храбрыми сердцами наделил.

А себе одно б оставил свойство:
жизнь прожить, как ты прожил ее,
творческое слыша беспокойство,
вечное волнение свое.

1939

36. БЫК

У меня такое ощущенье,
что, зайдя под этот темный кров,
я услышал шум возникновенья,
тайный шум рождения миров.

Сладкий сумрак заполняет зданье.
Нам пришлось бы двигаться впотьмах,
если бы не легкое сиянье
звездочек на каменистых лбах.

В испареньях розового цвета,
в облаках парного молока
светится, как новая планета,
медленное тулово быка.

1939

37. ВОЗВРАЩЕННАЯ РОДИНА

17 сентября 1939 года части Красной Армии вошли в город Луцк...

Я родился в уездном городке
и до сих пор с любовью вспоминаю
убогий домик, выстроенный с краю
проулка, выходившего к реке.

Мне голос детства памятен и слышен.
Хранятся смутно в памяти моей
гуденье липы и цветенье вишен,
торговцев крик и ржанье лошадей.

Мне помнятся вечерние затоны,
вельможные брюхатые паны,
сияющие крылья фаэтонов
и офицеров красные штаны.

Здесь я и рос. Под этим утлым кровом
я, спотыкаясь, начинал ходить,
здесь услыхал — впервые в жизни! — слово,
и здесь я научился говорить.

Так мог ли я, изъездивший полсвета,
за воду ту, что он давал мне пить,
за горький хлеб, за легкий лепет лета,
за первый день — хотя бы лишь за это —
тот городок уездный не любить?

Нет, я не знал беспечного покоя:
мне снилась ночью нищая страна,
бетонною, враждебною чертою,
прямым штыком и пулей разрывною
от сердца моего отделена.

Я думал о товарищах своих,
оставшихся влачить существованье
в местечках страха, в городках стенанья,
в домах тоски на улицах кривых.

Я вспоминал о детях воеводства,
где на полях один пырей возрос,
где хлеба — впроголодь, а горя — вдосталь
и вдоволь, вволю материнских слез.

Так как же мне, советскому поэту,
не славить вас, бойцы моей земли,
за жизни шум — хотя бы лишь за это! —
хотя б за то, что в желтых тучах света
в мой городок вы с песнею вошли?

1939

38. Я ПОМНЮ ВАС

Я помню вас
однажды
на эстраде,
когда,
раскрыв громоподобный рот,
вы шли к потомкам,
оставляя сзади
и льстящийся
и тявкающий сброд.

Толпа орет и стонет,
в равной мере
от радости и злости трепеща,
не покоряясь,
веруя,
не веря,
рукоприкладствуя,
рукоплеща.

Вы вызвали
и вы же прекратите
немолкнущий тысячегорлый рев
ладонью той,
которой укротитель
пугает шавок
и смиряет львов.

Толпа молчит,
одной рукою сжата,
в одно сливая
тысячу сердец,
покуда воду пьет
ее глашатай,
ее мучитель
и ее певец.

Не в тот ли раз,
грубя и балагуря,
наперекор заклятой старине,
вы,
словно исцеляющая буря,
безжалостно
шагали по стране.

Не в тот ли день,
не с этих ли подмосток
вы и вошли
в грядущие века,
как близкий к близким,
запросто и просто,
надув ветрами парус пиджака.

...Отгрохотали
яростные строки.
Ушел народ,
толкуя о стихах.
Измученный,
огромный,
одинокий,
с погасшей папиросою в зубах,
он встал,
ногами попирая славу,
как в воду — руку опустив в карман,
не человек —
отклокотавший лавой,
помалу
остывающий вулкан.

В таком пальто,
что памятнику впору,
шагая так,
что до сих пор гудёт,
по темному пустому коридору
он, ни о чем не думая, идет.

Раскрыта дверь.
Теперь, не уставая,
идти вперед, не видя ничего,
не замечая улицы,
не зная,
как далеко от дома твоего,
не помышляя даже о покое,
пока идут,
раздельные сперва,
не иссякая,
мерной чередою,
жестокие и нежные слова.

И нету счастья лучше,
может статься,
под гул стихов,
на зимней мостовой
до утренних трамваев оставаться
наедине
с молчащею Москвой.

Он вдаль идет,
объятый зимней тишью,
тьму рассекая глыбою плеча,
предсмертные свои четверостишья,
как заповедь,
сквозь зубы бормоча.

...Не те глаза,
что, беспокойно шаря,
глядели Лувр,
смотрели на Бродвей, —
туманные пустые полушарья
из-под остывших гипсовых бровей.

Не мирный взмах
ладони пятипалой,
не злой удар
литого кулака —
в большом гробу
спокойно и устало
лежит его рабочая рука.

Не пыль шагов
клубится по дороге,
не трус и плут
сторонятся его —
весь шар земли
измерившие ноги
уперлись в стенку гроба своего.

Не до утра
с товарищами споря,
не с ними сидя
ночи напролет, —
его друзья,
глотая слезы горя,
огромный гроб выносят из ворот.

Таких, как он,
не замуруешь в склепе.
И, знать, ему
не скоро до конца,
раз каждый день
его горячий пепел
всё жарче жжет
свободные сердца.

1940

39. НА ВОКЗАЛЕ

Шумел снежок над позднею Москвой,
гудел народ, прощаясь на вокзале,
в тот час, когда в одежде боевой
мои друзья на север уезжали.

И было видно всем издалека,
как непривычно на плечах сидели
тулупчики, примятые слегка,
и длинные армейские шинели.

Но было видно каждому из нас
по сдержанным попыткам веселиться,
по лицам их, — запомним эти лица! —
по глубине глядящих прямо глаз,

да, было ясно всем стоящим тут,
что эти люди, выйдя из вагона,
неотвратимо, прямо, непреклонно
походкою истории пойдут.

Как хочется, как долго можно жить,
как ветер жизни тянет и тревожит!
Как снег валится!
Но никто не сможет,
ничто не сможет их остановить.

Ни тонкий свист смертельного снаряда,
ни злобный гул далеких батарей,
ни самая тяжелая преграда —
молчанье жен и слезы матерей.

Что ж делать, мать?
У нас давно ведется,
что вдаль глядят любимые сыны,
когда сердец невидимо коснется
рука патриотической войны.

В расстегнутом тулупчике примятом
твой младший сын, упрямо стиснув рот,
с путевкой своего военкомата,
как с пропуском, в бессмертие идет.

1940

Луну закрыли горестные тучи.
Без остановки лает пулемет.
На белый снег,
на этот снег скрипучий
сейчас красноармеец упадет.

Второй стоит.
Но, на обход надеясь,
оскалив волчью розовую пасть,
его в затылок бьет белогвардеец.
Нет, я не дам товарищу упасть.

Нет, я не дам.
Забыв о расстоянье,
кричу в упор, хоть это крик пустой,
всей кровью жизни,
всем своим дыханьем:
«Стой, время, стой!»

Я так кричу, объятый вдохновеньем,
что эхо возвращается с высот
и время неохотно, с удивленьем,
тысячелетний тормозит полет.

И сразу же, послушные приказу,
звезда не блещет, птица не летит,
и ветер жизни остановлен сразу,
и ветер смерти рядом с ним стоит.

И вот уже, по манию, заснули
орудия, заставы и войска.
Недвижно стынет разрывная пуля,
не долетев до близкого виска.

Тогда герои памятником встанут,
забронзовеют брови их и рты,
и каменными постепенно станут
товарищей знакомые черты.

Один стоит,
зажатый смертным кругом
(рука разбита, окровавлен рот),
штыком и грудью защищая друга,
всей силой шага двигаясь вперед.

Лежит другой,
не покорясь зловещей
своей кончине в логове врагов,
пытаясь приподняться, хоть и хлещет
из круглой раны бронзовая кровь...

Пусть служит им покамест пьедесталом
не дивный мрамор давней старины —
всё это поле,
выложенное талым,
примятым снегом пасмурной страны.

Когда ж домой воротятся солдаты,
и на земле восторжествует труд,
и поле битвы станет полем жатвы,
и слезы горя матери утрут, —

пусть женщины, печальны и просты,
к ним, накануне праздников, приносят
шумящие пшеничные колосья
и красные июльские цветы.

1940

41. ИЗ ДНЕВНИКА

Вчера
возле стадиона «Динамо»,
соскочив на ходу с трамвая
и пробираясь по снежному насту
к одноэтажному домику своего друга,
я вдруг увидал под фонарем, у пригорка,
двух мирно беседующих подростков,

Один на своих деревянных лыжах
стоял, отирая со лба рукою
пот здорового человека,
и внимательно слушал,
не нарушая,
однако, правильности дыханья,
то, что говорил ему мальчик
с грубою деревянной ногою.

Вот и всё.
Я прошел мимо них неслышно,
не замедляя прямого шага,
не заглянув им в лицо,
не зная
того, о чем они говорили,
и только потом уже остановился,
почувствовав — этого я не забуду.

О, если б со мною была в тот вечер
волшебная палочка — я б, наверно,
нашел, как вмешаться и что исправить.
Но, как нарочно, я, представьте,
забыл ее дома, среди скопленья
папиросных коробок и фотографий.

Я вынужден был осознать бессилье
и пройти мимо мальчиков
с тем безразличьем,
с каким осыпало февральское небо
того и другого, одною мерой,
белыми звездочками снежинок;
с той равнозначностью,
с тем бесстыдством,
с какими дерево — страшно подумать! —
пошло одному на длинные лыжи
и другому — на новую эту ногу.

1940

42

Ты всё молодишься. Всё хочешь
забыть, что к закату идешь:
где надо смеяться — хохочешь,
где можно заплакать — поешь.

Ты всё еще жаждешь обманом
себе и другим доказать,
что юности легким туманом
ничуть не устала дышать.

Найдешь ли свое избавленье,
уйдешь ли от боли своей
в давно надоевшем круженье,
в свечении праздных огней?

Ты мечешься, душу скрывая
и горькие мысли тая,
но я-то доподлинно знаю,
в чем кроется сущность твоя.

Но я-то отчетливо вижу,
что смысл недомолвок твоих
куда человечней и ближе
актерских повадок пустых.

Но я-то давно вдохновеньем
считать без упрека готов
морщинки твои — дуновенье
сошедших со сцены годов.

Пора уже маску позерства
на честную позу сменить.
Затем что довольно притворства
и правдою, трудной и черствой,
у нас полагается жить.

Глаза, устремленные жадно.
Часов механический бой.
То время шумит беспощадно
над бедной твоей головой.

1940

43. ДОРОГА НА ЯЛТУ

Померк за спиною вагонный пейзаж.
В сиянье лучей золотящих
заправлен автобус,
запрятан багаж
в пыльный багажный ящик.

Пошире теперь раскрывай глаза.
Здесь всё для тебя:
от земли до небес.
Справа — почти одни чудеса,
слева — никак не меньше чудес.

Ручьи,
виноградники,
петли дороги,
увитые снегом крутые отроги,
пустынные склоны,
отлогие скаты —
всё без исключения,
честное слово! —
частью — до отвращения лилово,
а частью — так себе, лиловато.

За поворотом — другой поворот.
Стоят деревья различных пород.
А мы вот — неутомимо,
сначала под солнцем,
потом в полумгле —
летим по кремнистой крымской земле,
стремнин и строений мимо.

И, как завершенье, внизу, в глубине,
под звездным небом апреля,
по берегу моря —
вечерних огней
рассыпанное ожерелье.

Никак не пойму, хоть велик интерес,
сущность явления:

вроде
звезды на землю сошли с небес,
а может —
огни в небеса уходят.

Меж дивных красот — оглушенный — качу,
да быстро приелась фантазия:
хочу от искусства, от жизни хочу
побольше разнообразия.

А впрочем — и так хорошо в Крыму:
апрельская ночь в голубом дыму,
гора — в ледяной короне.
Таким величием он велик,
что я бы совсем перед ним поник,
да выручила ирония.

1940

44. КРЫМСКИЕ КРАСКИ

Красочна крымская красота.
В мире палитры богаче нету.
Такие встречаются здесь цвета,
что и названья не знаешь цвету.

Тихо скатясь с горы крутой,
день проплывет, освещая кущи:
красный,
оранжевый,
золотой,
синенький,
синеватый,
синющий.

У городских простояв крылец,
скроется вновь за грядою горной:
темнеющий,
темный,
и под конец —
абсолютно черный.

Но, в окруженье тюльпанов да роз,
я не покрылся забвенья ряской:
светлую дымку твоих волос
Крым никакой не закрасит краской.

Ночью — во сне, а днем — наяву,
вдруг расшумевшись и вдруг затихая,
тебя вспоминаю, тебя зову,
тебе пишу, о тебе вздыхаю.

Средь этаких круч я стал смелей,
я шире стал на таком просторе.
У ног моих
цвета любви моей —
плещет, ревет, замирает море.

1940

45. ГЛИЦИНИЯ

Я знал — деревья разные есть:
одно — согнется дугою;
не обхватить,
не встряхнуть,
не влезть —
растет до небес другое.

Я видел берез золотую вязь,
на кедры глядел — толково!
Но что б такое? Да отродясь
не видывал я такого.

Не кверху,
а вдоль по стене идет
кривая серая линия,
нету на ней ни листочка —
вот
это и есть глициния.

Жмется к теплу,
ползет по стенам,
юлит возле самой двери —

так вот подлец бочком, постепенно,
к нам влезает в доверие.

Горы зовут за собою, ввысь:
«Стань, дорогой наш, выше».
А эта точится, как грязная мысль,
как подленькая мыслишка.

Когда отсюда уеду в Москву,
натянет она на себя листву,
цветочки навесит — рисуйте!
Но мне ее удалось разгадать,
я-то успел ее увидать
во всей обнаженной сути.

Я здесь гость.
А в таком положении,
пожалуй, ругаться не полагается.
Но очень противно, когда растение
и вдруг — ни с того ни с сего —
пресмыкается.

1940

46. БЕССТЫДНИЦА

Иное дерево схоже с мечтой,
иное — так себе, серое,
а это — черт его знает что,
но только никак не дерево.

Представьте себе:
обнаглев от жары,
раскинув веточки квелые,
растет оно безо всякой коры —
ну совершенно голое.

Прозванья так, зазря, не дадут.
Надев пиджачки да кители,
его бесстыдницей зовут
приличные местные жители.

Такое прозвище — острый нож,
вся жизнь с таким обрыднется.
Лишь я не имею претензий: что ж,
бесстыдница — так бесстыдница.

Стою перед ней с папиросой во рту.
Советов слушать не хочет,
а можно б занять — прикрыть наготу —
у фиги один листочек.

1940

47. НОЧНОЙ ШТОРМ

Когда пароход начинает качать —
из-за домов, из мрака
выходит на берег поскучать
знакомая мне собака.

Где волны грозятся с земли стереть,
клубится пучина злая,
нечего, кажется, ей стеречь,
не на кого лаять.

Высокий вал,
пространство размерив,
растет,
в полете силу развив,
и вспять уходит, об каменный берег
морду свою разбив.

Уходит вал. Приходит другой, —
сидит собака — ни в зуб ногой.
Все люди ушли, однако
упорно сидит собака.

Закрыты подъезды. Выключен свет.
Лишь поздний пройдет гуляка.
Давно уже время домой.
Ан нет —
всё так же сидит собака.

Всё так же глядит на ревущий вал.
И я сознаться не трушу,
что в этой собаке предполагал
родственную мне душу.

Так, как ее, с недавней поры,
гудя, рокоча, звеня,
море вытаскивает из конуры
и тащит к себе меня.

Разве я знал, что брызги твои,
что черная эта вода
крепче вина, солоней любви,
сильней моего труда?

Темным-темно,
ревет, грубя.
Я здесь давно.
Я слышу тебя.

Пусть все уйдут,
пробив отбой.
Я здесь. Я тут.
Я рядом с тобой.

Меня одного тут тоска зажала.
Стою один —
ни огней,
ни звезд.
И даже собака, поджавши хвост,
стыдливой трусцою домой сбежала.

Так те, что твой обожают покой,
твое под солнцем мерцанье,
спокойно уедут.
И даже рукой
забудут махнуть на прощанье.

А полюбившие берег седой
и мерное волн рокотанье
водопроводной пресной водой
смоют воспоминанья.

Куда мне умчаться, себя кляня,
как мне о черной забыть волне,
если оно ворвалось в меня,
если клокочет оно во мне?

Куда ни направлю отсюда шаг,
в какую ни кинет меня полосу —
шум его унесу в ушах
и цвет его в глазах унесу.

Волна за волною ревет, крутясь,
а я один — уже столько лет! —
стою, устало облокотясь
на этот каменный парапет.

Будто от тела руку свою,
себя от него оторвать не могу.
Как одержимый, стою и стою
на залитом пеною берегу...

1940

48. КАТЮША

Прощайте, милая Катюша.
Мне грустно, если между дел
я вашу радостную душу
рукой нечаянно задел.

Ужасна легкая победа.
Нет, право, лучше скучным быть,
чем остряком и сердцеедом
и обольстителем прослыть.

Я сам учился в этой школе.
Сам курсы девичьи прошел:
«Я к вам пишу — чего же боле? ..»
«Не отпирайтесь. Я прочел...»

И мне в скитаньях и походах
пришлось лукавить и хитрить,
и мне случалось мимоходом
случайных девочек любить.

Но как он страшен, посвист старый,
как от мечтаний далека
ухмылка наглая гусара,
гусара наглая рука.

Как беспощадно пробужденье,
когда она молчит,
когда,
ломая пальчики,
в смятенье,
бежит — неведомо куда:
к опушке, в тонкие березы,
в овраг — без голоса рыдать.

Не просто было эти слезы
дешевым пивом запивать.
Их и сейчас еще немало,
хотя и близок их конец, —
мужчин красивых и бывалых,
хозяев маленьких сердец.

У них уже вошло в привычку
влюбляться в женщину шутя:
под стук колес,
под вспышку спички,
под шум осеннего дождя.

Они идут, вздыхая гадко,
походкой любящих отцов.
Бегите, Катя, без оглядки
от этих дивных подлецов.

Прощайте, милая Катюша.
Благодарю вас за привет,
за музыку, что я не слушал,
за то, что вам семнадцать лет;

за то, что город ваш просторный,
в котором я в апреле жил,
перед отъездом, на платформе,
я, как мальчишка, полюбил.

1940

49. СТАРАЯ КВАРТИРА

Как знакома мне старая эта квартира!
Полумрак коридора, как прежде, слепит,
как всегда, повторяя движение мира,
на пустом подоконнике глобус скрипит.

Та же сырость в углу. Так же тянет от окон.
Так же папа газету сейчас развернет.
И по радио голос певицы далекой
ту же русскую песню спокойно поет.

Только нету того, что единственно надо,
что, казалось, навеки связало двоих:
одного твоего утомленного взгляда,
невеселых, рассеянных реплик твоих.

Нету прежних заминок, неловкости прежней,
ощущенья, что сердце летит под откос,
нету только твоих, нарочито небрежно
перехваченных ленточкой светлых волос.

Я не буду, как в прежние годы, метаться,
возле окон чужих до рассвета ходить;
мне бы только в берлоге своей отлежаться,
только имя твое навсегда позабыть.

Но и в полночь я жду твоего появленья,
но и ночью, на острых своих каблуках,
ты бесшумно проходишь, мое сновиденье,
по колени в неведомых желтых цветах.

Мне туда бы податься из маленьких комнат,
где целителен воздух в просторах полей,
где никто мне о жизни твоей не напомнит
и ничто не напомнит о жизни твоей.

Я иду по осенней дороге, прохожий.
Дует ветер, глухую печаль шевеля.
И на памятный глобус до боли похожа
вся летящая в тучах родная земля.

1940

50. ОЩУЩЕНИЕ СЧАСТЬЯ

Верь мне, дорогая моя.
Я эти слова говорю с трудом,
но они пройдут по всем городам
и войдут, как странники, в каждый дом.

Я вырвался наконец из угла
и всем хочу рассказать про это:
ни звезд, ни гудков —
за окном легла
майская ночь накануне рассвета.

Столько в ней силы и чистоты,
так бьют в лицо предрассветные стрелы —
будто мы вместе одни, будто ты
прямо в сердце мое посмотрела.

Отсюда, с высот пяти этажей,
с вершины любви, где сердце тонет,
весь мир — без крови, без рубежей —
мне виден, как на моей ладони.

Гор — не измерить и рек — не счесть,
и всё в моей человечьей власти.
Наверное, это как раз и есть,
что называется — полное счастье.

Вот гляди: я поднялся, стал,
подошел к столу — и, как ни странно,
этот старенький письменный стол
заиграл звучнее органа.

Вот я руку сейчас подниму
(мне это не трудно — так, пустяки) —
и один за другим, по одному
на деревьях распустятся лепестки.

Только слово скажу одно —
и, заслышав его, издалека,
бесшумно, за звеном звено,
на землю опустятся облака.

И мы тогда с тобою вдвоем,
полны ощущенья чистейшего света,
за руки взявшись, меж них пройдем,
будто две странствующие кометы.

Двадцать семь лет неудач — пустяки,
если мир — в честь любви — украсили флаги,
и я, побледнев, пишу стихи
о тебе
на листьях нотной бумаги.

1940

51

Если я заболею,
к врачам обращаться не стану.
Обращаюсь к друзьям
(не сочтите, что это в бреду):
постелите мне степь,
занавесьте мне окна туманом,
в изголовье поставьте
ночную звезду.

Я ходил напролом.
Я не слыл недотрогой.
Если ранят меня
в справедливых боях,
забинтуйте мне голову
горной дорогой
и укройте меня
одеялом в осенних цветах.

Порошков или капель — не надо.
Пусть в стакане сияют лучи.
Жаркий ветер пустынь,
серебро водопада —
вот чем стоит лечить.

От морей и от гор
так и веет веками,
как посмотришь — почувствуешь:
вечно живем.

Не облатками белыми
путь мой усеян, а облаками.
Не больничным от вас ухожу коридором,
а Млечным Путем.

1940

52. 1 ЯНВАРЯ 1941 ГОДА

Так повелось, что в серебре метели,
в глухой тиши декабрьских вечеров,
оставив лес, идут степенно ели
к далеким окнам шумных городов.

И, веселясь, торгуют горожане
для украшенья жительниц лесных
базарных нитей тонкое сиянье
и грубый блеск игрушек расписных.

Откроем дверь: пусть в комнаты сегодня
в своих расшитых валенках войдет,
осыпан хвоей елки новогодней,
звеня шарами, сорок первый год.

Мы все готовы к долгожданной встрече:
в торжественной минутной тишине
покоем дышат пламенные печи,
в ладонях елок пламенеют свечи,
и пляшет пламень в искристом вине.

В преддверье сорок первого, вначале
мы оценить прошедшее должны.
Мои товарищи сороковой встречали
не за столом, не в освещенном зале —
в жестоком дыме северной войны.

Стихали орудийные раскаты,
и слушал затемненный Ленинград,
как чокались гранаты о гранату,
штыки о штык, приклады о приклад.

Мы не забудем и не забывали,
что батальоны наши наступали,
неудержимо двигаясь вперед,
как наступает легкий час рассвета,
как после вьюги наступает лето,
как наступает сорок первый год.

Прославлен день тот самым громким словом,
когда, разбив тюремные оковы,
к нам сыновья Прибалтики пришли.
Мы рядом шли на празднестве осеннем,
и я увидел в этом единенье
прообраз единения земли.

Еще за то добром помянем старый,
что он засыпал длинные амбары
шумящим хлебом осени своей
и отковал своей рукою спорой
для красной авиации — моторы,
орудия — для красных батарей.

Мы ждем гостей — пожалуйте учиться!
Но если ночью воющая птица
с подарком прилетит пороховым —
сотрем врага. И это так же верно,
как то, что мы вступили в сорок первый
и предыдущий был сороковым.

1940, 1941

53. КЛАССИЧЕСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Как моряки встречаются на суше,
когда-нибудь, в пустынной полумгле,
над облаком столкнутся наши души,
и вспомним мы о жизни на Земле.

Разбередя тоску воспоминаний,
потупимся, чтоб медленно прошли
в предутреннем слабеющем тумане
забытые видения Земли.

Не сладкий звон бесплотных райских птиц —
меня стремглав Земли настигнет пенье:
скрип всех дверей, скрипенье всех ступенек,
поскрипыванье старых половиц.

Мне снова жизнь сквозь облако забрезжит,
и я пойму всей сущностью своей
гуденье лип, гул проводов и скрежет
булыжником мощенных площадей.

Вот так я жил — как штормовое море,
ликуя, сокрушаясь и круша,
озоном счастья и предгрозьем горя
с великим равнозначием дыша.

Из этого постылого покоя,
одну минуту жизни посуля,
меня потянет черною рукою
к себе назад всесильная Земля.

Тогда, обет бессмертия наруша,
я ринусь вниз, на родину свою,
и грешную томящуюся душу
об острые каменья разобью.

1940 или 1941

54. ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА ЛИДА

Вдоль маленьких домиков белых
акация душно цветет.
Хорошая девочка Лида
на улице Южной живет.

Ее золотые косицы
затянуты, будто жгуты.
По платью, по синему ситцу,
как в поле, мелькают цветы.

И вовсе, представьте, неплохо,
что рыжий пройдоха апрель
бесшумной пыльцою веснушек
засыпал ей утром постель.

Не зря с одобреньем веселым
соседи глядят из окна,
когда на занятия в школу
с портфелем проходит она.

В оконном стекле отражаясь,
по миру идет не спеша
хорошая девочка Лида.
Да чем же
она
хороша?

Спросите об этом мальчишку,
что в доме напротив живет.
Он с именем этим ложится
и с именем этим встает.

Недаром на каменных плитах,
где милый ботинок ступал,
«Хорошая девочка Лида», —
в отчаянье он написал.

Не может людей не растрогать
мальчишки упрямого пыл.
Так Пушкин влюблялся, должно быть,
так Гейне, наверно, любил.

Он вырастет, станет известным,
покинет пенаты свои.
Окажется улица тесной
для этой огромной любви.

Преграды влюбленному нету:
смущенье и робость — вранье!
На всех перекрестках планеты
напишет он имя ее.

На полюсе Южном — огнями,
пшеницей — в кубанских степях,
на русских полянах — цветами
и пеной морской — на морях.

Он в небо залезет ночное,
все пальцы себе обожжет,
но вскоре над тихой Землею
созвездие Лиды взойдет.

Пусть будут ночами светиться
над снами твоими, Москва,
на синих небесных страницах
красивые эти слова.

1940 или 1941

55. РЖАВЫЕ ГРАНАТЫ

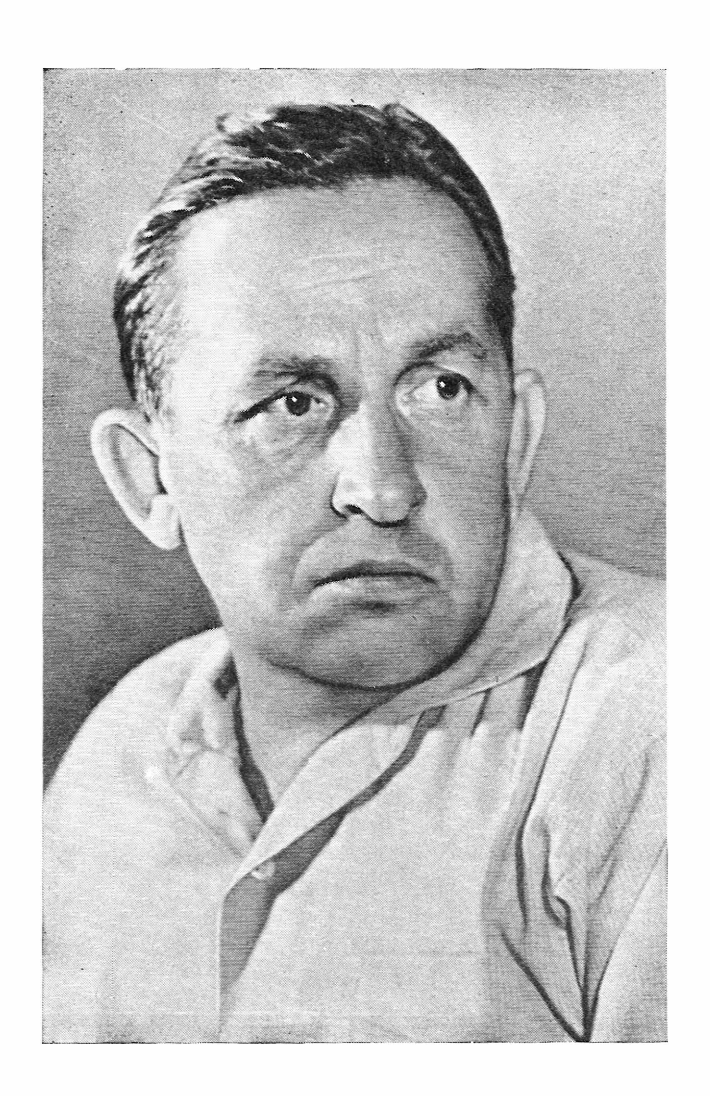
Мы не однажды ночевали в школах,
оружие пристроив в головах,
средь белых стен, ободранных и голых,
на подметенных наскоро полах.

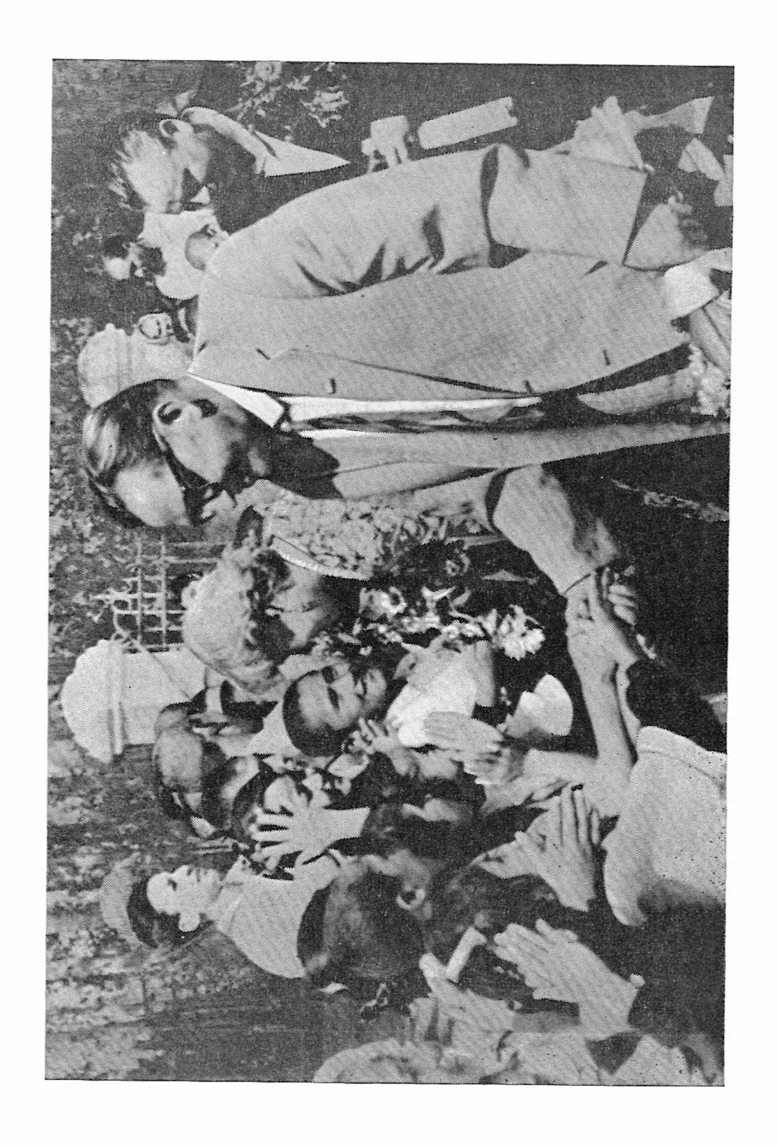
И снилось нам, что в школах может сниться:
черемуха, жужжанье майских пчел,
глаза и косы первой ученицы,
мел и чернила,
глобус и футбол.

Мы поднимались сразу на рассвете,
сняв гимнастерки, мылись у реки.
И шли вперед, спокойные, как дети,
всезнающие, словно старики.

Мы шли вперед —
возмездье и расплата,
оставив в классе около стены
страницу «Правды» мятую, гранату,
размотанный кровавый бинт солдата —
наглядные пособия войны.

1941





56. ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПЕЙЗАЖ

Над терриконом шахты темно-серым
дождь моросит который день подряд.
Как на вулкане, изверженья серы
вьющимися струйками дымят.

Нет синевы, и нет ветвей зеленых.
Сурово блещет небо надо мной,
с него сошли созвездия влюбленных
и разместились в лавах под землей.

Меж тесной грязи рельсы молча лезут,
клубится пар, несется сильный ток.
Здесь торжествуют уголь и железо,
диктаторствуют бур и молоток.

Здесь жизнь и время меряют на тонны.
Здесь лозунги орут и говорят.
Весь день стучат товарные вагоны
и паровозы свищут и трубят.

И на стене, двухцветная, сырая,
огромная, как милая земля,
в дыму сражений, — карта фронтовая
и черный график черного угля.

Край шумных рощ и праздничного пенья,
мы научились все-таки с тобой
жить в эти дни, отвергнув украшенья,
как голой сутью, голой красотой.

1944

57. ЗАРИСОВКА

Этот клуб не топился
еще с довоенных времен:
лед сверкает на стенах,
в кассе белый сугроб наметен.

Но, не падая духом,
обмотавшись зеленым кашне,
словно птенчик в скворешне,
воркует кассирша в окне.

И директорша клуба,
как бог посредине планет,
сжавши синие губы,
включает рубильником свет.

На промерзшей эстраде,
застегнут, румян и плечист,
с выраженьем бесстрастья
недвижно сидит баянист.

У него на коленях
сундук с сыромятным ремнем.
Все шахтерские танцы
по порядку разложены в нем.

И, как добрый хозяин,
он их выпускает в народ:
вслед за вальсом прелестным
идет нагловатый фокстрот.

1944

58. ДОЧЬ НАЧАЛЬНИКА ШАХТЫ

Дочь начальника шахты
в коричневом теплом платке —
на санях невесомых,
и вожжи в широкой руке.

А глаза у нее —
верьте мне — золоты и черны,
словно черное золото,
уголь Советской страны.

Я бы эти глаза
до тех пор бы хотел целовать,
чтобы золоту — черным
и черному — золотом стать.

На щеке ее родинка —
знак подмосковной весны,
словно пятнышко Родины,
будто отметка страны.

Поглядела и скрылась,
побыла полминуты — и нет.
Только снег заметает
полозьев струящийся след.

Только я одиноко
в снегу по колено стою,
увидав свою радость,
утративши радость свою.

1944

59. СУДЬЯ

Упал на пашне у высотки
суровый мальчик из Москвы,
и тихо сдвинулась пилотка
с пробитой пулей головы.

Не глядя на беззвездный купол
и чуя веянье конца,
он пашню бережно ощупал
руками быстрыми слепца.

И, уходя в страну иную
от мест родных невдалеке,
он землю теплую, сырую
зажал в коснеющей руке.

Горсть отвоеванной России
он захотел на память взять,
и не сумели мы, живые,
те пальцы мертвые разжать.

Мы так его похоронили —
в его военной красоте —
в большой торжественной могиле
на взятой утром высоте.

И если, правда, будет время,
когда людей на Страшный суд
из всех земель, с грехами всеми
трикратно трубы призовут, —

предстанет за столом судейским
не бог с туманной бородой,
а паренек красноармейский
пред потрясенною толпой,

держа в своей ладони правой,
помятой немцами в бою,
не символы небесной славы,
а землю русскую, свою.

Он всё увидит, этот мальчик,
и ни йоты не простит,
но лесть — от правды,
боль — от фальши
и гнев — от злобы отличит.

Он всё узнает оком зорким,
с пятном кровавым на груди,
судья в истлевшей гимнастерке,
сидящий молча впереди.

И будет самой высшей мерой,
какою мерить нас могли,
в ладони юношеской серой
та горсть тяжелая земли.

⟨1945⟩

60. ПАРЕНЕК

Рос мальчишка, от других отмечен
только тем, что волосы мальца
вились так, как вьются в тихий вечер
ласточки у старого крыльца.

Рос парнишка, видный да кудрявый,
окруженный ветками берез,

всей деревни молодость и слава —
золотая ярмарка волос.

Девушки на улице смеются,
увидав любимца своего,
что вокруг него подруги вьются,
вьются, словно волосы его.

Ах, такие волосы густые,
что невольно тянется рука
накрутить на пальчики пустые
золотые кольца паренька.

За спиной деревня остается, —
юноша уходит на войну.
Вьется волос, длинный волос вьется,
как дорога в дальнюю страну.

Паренька соседки вспоминают
в день, когда, рожденная из тьмы,
вдоль деревни вьюга навевает
белые морозные холмы.

С орденом кремлевским воротился
юноша из армии домой.
Знать, напрасно черный ворон вился
над его кудрявой головой.

Обнимает мать большого сына,
и невеста смотрит на него...
Ты развейся, женская кручина,
завивайтесь, волосы его!

1945

61. ПИСЬМО ИЗ БЕРЛИНА

Лейтенант
по почте полевой
отослал письмо свое
домой.

Ничего торжественного
нет:
школьный почерк,
воинский привет.

Вложено для мамы
в письмецо
там запечатленное
лицо.

А под ним,
как славы письмена,
высшие
блистают ордена.

Расцвела
и растерялась мать...
Дети наши,
как вас называть?

Это вы,
подъявши правый меч,
в городах
поверженной земли
не забыли
русской школы речь,
детские улыбки
сберегли.

1945

62

У насыпи братской могилы
я тихо, как память, стою,
в негнущихся пальцах сжимая
гражданскую шапку свою.

Под темными лапами елей,
в глубокой земле, как во сне,
вы молча и верно несете
сверхсрочную службу стране.

Всей верой своей человечьей,
и мыслью, и сердцем своим
мы верим погибшим солдатам,
и мертвые верят живым.

Так вечная слава убитым
и вечная слава живым!
Склонившись, как над колыбелью,
мы в ваши могилы глядим.

И мертвых нетленные очи,
победные очи солдат,
как звезды сквозь облако ночи,
на нас, не мерцая, глядят.

1945

63. ЗЕМЛЯ

Тихо прожил я жизнь человечью:
ни бурана, ни шторма не знал,
по волнам океана не плавал,
в облаках и во сне не летал.

Но зато, словно юность вторую,
полюбил я в просторном краю
эту черную землю сырую,
эту милую землю мою.

Для нее ничего не жалея,
я лишался покоя и сна,
стали руки большие темнее,
но зато посветлела она.

Чтоб ее не кручинились кручи
и глядела она веселей,
я возил ее в тачке скрипучей,
так, как женщины возят детей.

Я себя признаю виноватым,
но прощенья не требую в том,
что ее подымал я лопатой
и валил на колени кайлом.

Ведь и сам я, от счастья бледнея,
зажимая гранату свою,
в полный рост поднимался над нею
и, простреленный, падал в бою.

Ты дала мне вершину и бездну,
подарила свою широту.
Стал я сильным, как терн, и железным —
даже окиси привкус во рту.

Даже жесткие эти морщины,
что на лбу и по щёкам прошли,
как отцовские руки у сына,
по наследству я взял у земли.

Человек с голубыми глазами,
не стыжусь и не радуюсь я,
что осталась земля под ногтями
и под сердцем осталась земля.

Ты мне небом и волнами стала,
колыбель и последний приют...
Видно, значишь ты в жизни немало,
если жизнь за тебя отдают.

1945

64. КРЕМЛЕВСКИЕ ЕЛИ

Это кто-то придумал
счастливо,
что на Красную площадь
привез
не плакучее
празднество ивы
и не легкую сказку
берез.

Пусть кремлевские
темные ели
тихо-тихо
стоят на заре,

островерхие
дети метели —
наша память
о том январе.

Нам сродни
их простое убранство,
молчаливая
их красота,
и суровых ветвей
постоянство,
и сибирских стволов
прямота.

1945

65. ПОРТРЕТ

Сносились мужские ботинки,
армейское вышло белье,
но красное пламя косынки
всегда освещало ее.

Любила она, как отвагу,
как средство от всех неудач,
кусочек октябрьского флага —
осеннего вихря кумач.

В нем было бессмертное что-то:
останется угол платка,
как красный колпак санкюлота
и черный венок моряка.

Когда в тишину кабинетов
ее увлекали дела —
сама революция это
по каменным лестницам шла.

Такие на резких плакатах
печатались в наши года
прямые черты делегаток,
молчащие лица труда.

1945

66

Вот опять ты мне вспомнилась, мама,
и глаза твои, полные слез,
и знакомая с детства панама
на венке поредевших волос.

Оттеняет терпенье и ласку,
потемневшая в битвах Москвы,
материнского воинства каска —
украшенье седой головы.

Все стволы, что по русским стреляли,
все осколки чужих батарей
неизменно в тебя попадали,
застревали в одежде твоей.

Ты заштопала их, моя мама,
но они всё равно мне видны,
эти грубые длинные шрамы —
беспощадные метки войны...

Дай же, милая, я поцелую,
от волненья дыша горячо,
эту бедную прядку седую
и задетое пулей плечо.

В дни, когда из окошек вагонных
мы глотали движения дым
и считали свои перегоны
по дорогам к окопам своим, —

как скульптуры из ветра и стали,
на откосах железных путей
днем и ночью бессменно стояли
батальоны седых матерей.

Я не знаю, отличья какие,
не умею я вас разделять:
ты одна у меня, как Россия,
милосердная русская мать.

Это слово протяжно и кратко
произносят на весях родных
и младенцы в некрепких кроватках,
и солдаты в могилах своих.

Больше нет и не надо разлуки,
и держу я в ладони своей
эти милые трудные руки,
словно руки России моей.

1945

67. МИЛЫЕ КРАСАВИЦЫ РОССИИ

В буре электрического света
умирает юная Джульетта.

Праздничные ярусы и ложи
голосок Офелии тревожит.

В золотых и темно-синих блестках
Золушка танцует на подмостках.

Наши сестры в полутемном зале,
мы о вас еще не написали.

В блиндажах подземных, а не в сказке
наши жены примеряли каски.

Не в садах Перро, а на Урале
вы золою землю удобряли.

На носилках длинных под навесом
умирали русские принцессы.

Возле, в государственной печали,
тихо пулеметчики стояли.

Сняли вы бушлаты и шинели,
старенькие туфельки надели.

Мы еще оденем вас шелками,
плечи вам согреем соболями.

Мы построим вам дворцы большие,
милые красавицы России.

Мы о вас напишем сочиненья,
полные любви и удивленья.

1945 (?)

68. МАНОН ЛЕСКО

Много лет и много дней назад
жил в зеленой Франции аббат.

Он великим сердцеведом был.
Слушая, как пели соловьи,
он, смеясь и плача, сочинил
золотую книгу о любви.

Если вьюга заметает путь,
хорошо у печки почитать.
Ты меня просила где-нибудь
эту книгу старую достать.

Но тогда была наводнена
не такими книжками страна.

Издавались книги про литье,
книги об уральском чугуне,
а любовь и вестники ее
оставались как-то в стороне.

В лавке букиниста-москвича
все-таки попался мне аббат,
между штабелями кирпича,
рельсами и трубами зажат.

С той поры, куда мы ни пойдем,
оглянуться стоило назад —
в одеянье стареньком своем
всюду нам сопутствовал аббат.

Не забыл я милостей твоих,
и берет не позабыл я твой,
созданный из линий снеговых,
связанный из пряжи снеговой.

...Это было десять лет назад.
По широким улицам Москвы
десять лет кружился снегопад
над зеленым празднеством листвы.

Десять раз по десять лет пройдет.
Снова вьюга заметет страну.
Звездной ночью юноша придет
к твоему замерзшему окну.

Изморозью тонкою обвит,
до утра он ходит под окном.
Как русалка, девушка лежит
на диване кожаном твоем.

Зазвенит, заплещет телефон,
в утреннем ныряя серебре.
И услышит новая Манон
голос кавалера де Грие.

Женская смеется голова,
принимая счастие и пыл...
Эти сумасшедшие слова
я тебе когда-то говорил.

И опять сквозь русский снегопад
горько улыбается аббат.

1945 (?)

69. ТРЯСОГУЗКА

Это все-таки было
утром жизни моей —
ты ведь кофту носила,
пояс-хвостик на ней.

За прекрасную блузку,
веселясь и грозя,
все тебя трясогузкой
называли друзья.

Жизнь почти отшумела.
Серебрятся виски.
И от кофточки белой
вряд ли есть лоскутки.

Но со щедростью русской,
трепеща и виясь,
у меня трясогузка
под окном завелась.

Осеняет прилежно
холостое жилье.
Благодарно и нежно
я встречаю ее.

1945 (?)

70

Трудно называться мне поэтом
той красивой пасмурной земли,
от которой на исходе лета,
плача, улетают журавли.

Медленно мерцающая стая
протечет над призрачным селом
и в осеннем сумраке растает,
словно снег в стакане голубом.

1945 (?)

71. ПЕСНЯ

Мать ждала для сына легкой доли —
сын лежит, как витязь, в чистом поле.

В чистом поле, на земле советской,
пулею подкошенный немецкой.

Мать ждала для дочери венчанья,
а досталось дочери молчанье.

Рыжие фельдфебели в подвале
три недели доченьку пытали.

Три недели в сумраке подвала
ничего она им не сказала.

Только за минуту до расстрела
вспомнила про голос и запела.

Ах, не плачет мать и не рыдает,
имена родные повторяет.

Разве она думала-рядила,
что героев Времени растила?

В тонкие пеленки пеленала,
в теплые сапожки обувала...

⟨1946⟩

72. ПРЯХА

Раскрашена розовым палка,
дощечка сухая темна.
Стучит деревянная прялка.
Старуха сидит у окна.

Бегут, утончаясь от бега,
в руке осторожно гудя,
за белою ниткою снега
весенняя нитка дождя.

Ей тысяча лет, этой пряхе,
а прядей не видно седых.
Работала при Мономахе,
при правнуках будет твоих.

Ссыпается ей на колени
и стук партизанских колес,
и пепел сожженных селений,
и желтые листья берез.

Прядет она ветер и зори,
и мирные дни и войну,
и волны свободные моря,
и радиостанций волну.

С неженскою гордой любовью
она не устала сучить
и нитку, намокшую кровью,
и красного знамени нить.

Декабрь сменяется маем,
цветы окружают жилье,
идут наши дни, не смолкая,
сквозь темные пальцы ее.

Суровы глаза голубые,
сияние молний в избе.
И ветры огромной России
скорбят и ликуют в трубе.

1946

73. КЛАДБИЩЕ ПАРОВОЗОВ

Кладбище паровозов.
Ржавые корпуса.
Трубы полны забвенья.
Свинчены голоса.

Словно распад сознанья —
полосы и круги.
Грозные топки смерти.
Мертвые рычаги.

Градусники разбиты:
цифирки да стекло —
мертвым не нужно мерить,
есть ли у них тепло.

Мертвым не нужно зренья —
выкрошены глаза.
Время вам подарило
вечные тормоза.

В ваших вагонах длинных
не запоет солдат.
женщина не засмеется,
не запоет солдат.

Вихрем песка ночного
будку не занесет.
Юноша мягкой тряпкой
поршни не оботрет.

Стали чугунным прахом
ваши колосники.
Мамонты пятилеток
сбили свои клыки.

Эти дворцы металла
строил союз труда:
слесари и шахтеры,
села и города.

Шапку сними, товарищ.
Вот они, дни войны.
Ржавчина на железе,
щеки твои бледны.

Произносить не надо
ни одного из слов.
Ненависть молча зреет,
молча цветет любовь.

Тут ведь одно железо.
Пусть оно учит всех.
Медленно и спокойно
падает первый снег.

1946

74

Там, где звезды светятся в тумане,
мерным шагом ходят марсиане.

На холмах монашеского цвета
ни травы и ни деревьев нету.

Серп не жнет, подкова не куется,
песня в тишине не раздается.

Нет у них ни счастья, ни тревоги —
всё отвергли маленькие боги.

И глядят со скукой марсиане
на туман и звезды мирозданья.

...Сколько раз, на эти глядя дали,
о величье мы с тобой мечтали!

Сколько раз стояли мы смиренно
перед грозным заревом Вселенной!

...У костров солдатского привала
нас иное пламя озаряло.

На морозе, затаив дыханье,
выпили мы чашу испытанья.

Молча братья умирали в ротах.
Пели школьницы на эшафотах.

И решили пехотинцы наши
вдоволь выпить из победной чаши.

Было марша нашего начало —
как начало горного обвала.

Пыль клубилась. Пенились потоки.
Трубачи трубили, как пророки.

И солдаты медленно, как судьи,
наводили тяжкие орудья.

Дым сраженья и труба возмездья.
На фуражках алые созвездья.

...Спят поля, засеянные хлебом.
Звезды тихо освещают небо.

В темноте над братскою могилой
пять лучей звезда распространила.

Звезды полуночные России.
Звездочки армейские родные.

. . .Телескопов точное мерцанье
мне сегодня чудится вдали:

словно дети, смотрят марсиане
на Великих жителей Земли.

1946

75. АЛЕНУШКА

У моей двоюродной
сестрички
твердый шаг
и мягкие косички.

Аккуратно
платьице пошито.
Белым мылом
лапушки помыты.

Под бровями
в солнечном покое
тихо светит
небо голубое.

Нет на нем ни облачка,
ни тучки.
Детский голос.
Маленькие ручки.

И повязан крепко,
для примера,
красный галстук —
галстук пионера.

Мы храним —
Аленушкино братство —
нашей Революции
богатство.

Вот она стоит
под небосводом,
в чистом поле,
в полевом венке, —
против вашей
статуи Свободы
с атомным светильником
в руке.

1946

76. ПАМЯТНИК

Приснилось мне, что я чугунным стал.
Мне двигаться мешает пьедестал.

Рука моя трудна мне и темна,
и сердце у меня из чугуна.

В сознании, как в ящике, подряд
чугунные метафоры лежат.

И я слежу за чередою дней
из-под чугунных сдвинутых бровей.

Вокруг меня деревья все пусты,
на них еще не выросли листы.

У ног моих на корточках с утра
самозабвенно лазит детвора,

а вечером, придя под монумент,
толкует о бессмертии студент.

Когда взойдет над городом звезда,
однажды ночью ты придешь сюда.

Всё тот же лоб, всё тот же синий взгляд,
всё тот же рот, что много лет назад.

Как поздний свет из темного окна,
я на тебя гляжу из чугуна.

Недаром ведь торжественный металл
мое лицо и руки повторял.

Недаром скульптор в статую вложил
всё, что я значил и зачем я жил.

И я сойду с блестящей высоты
на землю ту, где обитаешь ты.

Приближусь прямо к счастью своему,
рукой чугунной тихо обниму.

На выпуклые грозные глаза
вдруг набежит чугунная слеза.

И ты услышишь в парке под Москвой
чугунный голос, нежный голос мой.

1946

77. ДВА ПЕВЦА

Были давно
два певца у нас:
голос свирели
и трубный глас.

Хитро зрачок
голубой блестит —
всех одурманит
и всех прельстит.

Громко открыт
беспощадный рот —
всех отвоюет
и всё сметет.

Весело в зале
гудят слова.
Свесилась
бедная голова.

Легкий шажок
и широкий шаг.
И над обоими
красный флаг.

Над Ленинградом
метет метель.
В номере темном
молчит свирель.

В окнах московских
блестит апрель.
Пуля нагана
попала в цель.

Тускло и страшно
блестит глазет.
Кровью намокли
листы газет.

...Беленький томик
лениво взять —
между страниц
золотая прядь.

Между прелестных
нежнейших строк
грустно лежит
голубой цветок.

Благоговея, открыть
тома —
между обложками
свет и тьма,

вихрь революции,
гул труда,
волны,
созвездия,
города.

. . .Все мы окончимся,
все уйдем
зимним
или весенним днем.

Но не хочу я
ни женских слез,
ни на виньетке
одних берез.

Бог моей жизни,
вручи мне медь,
дай мне веселие
прогреметь.

Дай мне отвагу,
трубу,
поход,
песней победной
наполни рот.

Посох пророческий
мне вручи,
слову и действию
научи.

1946

78. ПЛЕННЫЙ НЕМЕЦ

Длиннорукий, худой, без ремня,
пленный немец глядит на меня.

Он от нашего ветра озяб
и от нашего снега ослаб.

Атлантический выстроил вал,
а от нашей лопаты устал.

Видно, нету земли тяжелей,
чем земля подмосковных полей.

Ты веревку и пулю принес
в царство песен и братство берез.

Ты пришел сюда княжить, солдат,
да испортился твой автомат.

Оторвались нашивки в боях,
потерялись медали в снегах.

И знамена немецкой страны
у Кремлевской упали стены.

1946

79. ВОСПОМИНАНИЕ. 1941

Гаснет электричество в окне,
затихает музыка и пенье.
Вспоминает город в тишине
дату своего освобожденья.

В наших отвоеванных домах
матери благословляют снова
снег и кровь на блещущих клинках
всадников из корпуса Белова.

Я в стихе, как в сердце, берегу
силуэты конников в снегу,
на морозном поле площадей
легкие копыта лошадей,
на широких улицах больших
речь освободителей твоих.

Девушки Сталиногорска в книжки
вписывают ваши имена,
и влюбленно держатся мальчишки
за своих героев стремена.

Мчатся кони в солнечном просторе —
конники проносят по фронтам
смерть и горе гитлеровской своре,
жизнь и славу нашим городам.

1946

80

Первый день свободного труда,
никогда мы не забудем это:
первый хлеб и первая вода,
первый свет и первая газета.

Трудная военная пора.
Были нам как счастье и расплата —
первый стук литого топора,
первый гвоздь и первая лопата.

Сохраним мы в памяти своей
праздничное время созиданья,
как из обгоревших кирпичей
заново отстраивали зданья.

В нашем счастье жаркого труда
подружились шахты и колхозы.
Угольные мчатся поезда,
движутся колхозные обозы.

Мирный дым идет из наших хат,
и в сиянье зимнего заката,
словно Башни Химии, дымят
каменные башни комбината.

1946

81

Стала от мороза
белою береза.
Стынет возле тына
бедная рябина.

Наклонясь с обрыва,
замерзает ива.

А за тонкой елкой
зимними путями
едут втихомолку
сваты с топорами.

1946 (?)

В родной земле полковник и солдат,
закрыв глаза, навытяжку лежат.
Они всё время думают о том,
как мы воюем и как мы живем.

Часы Москвы пробили поздний час,
но мы еще не закрывали глаз:
на жестких койках в комнатах больших
мы до рассвета думаем о них.

В могиле общей тесно и темно,
а в общежитье светится окно,
и за столом безрукий инвалид
о подвигах и битвах говорит.

Мой храбрый друг, сраженный наповал,
я за тебя войну довоевал,
две пули слал, губителей губя:
одну — свою, вторую — за тебя.

В подземных штреках я не позабыл,
что больше битвы шахту ты любил,
две нормы сделал, помня и любя:
одну — свою, другую — за тебя.

А над могилой, в облаке ветвей,
две песни спел залетный соловей
о славной смерти, о большой судьбе:
одну — о нас, вторую — о тебе.

1947

83. МОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Нам время не даром дается.
Мы трудно и гордо живем.
И слово трудом достается,
и слава добыта трудом.

Своей безусловною властью,
от имени сверстников всех,
я проклял дешевое счастье
и легкий развеял успех.

Я строил окопы и доты,
железо и камень тесал,
и сам я от этой работы
железным и каменным стал.

Меня — понимаете сами —
чернильным пером не убить,
двумя не прикончить штыками
и в три топора не свалить.

Я стал не большим, а огромным —
попробуй тягаться со мной!
Как Башни Терпения, домны
стоят за моею спиной.

Я стал не большим, а великим,
раздумье лежит на челе,
как утром небесные блики
на выпуклой голой земле.

Я начал — векам в назиданье —
на поле вчерашней войны
торжественный день созиданья,
строительный праздник страны.

1947

84. ХЛЕБНОЕ ЗЕРНО

У крестьян торжественные лица.
Поле всё зарей освещено.
В землю, за колхозною станицей,
хлебное положено зерно.

Солнце над зерном неслышно всходит.
Возле пашни, умеряя прыть,

поезда на цыпочках проходят,
чтоб его до срока не будить.

День и ночь идет о нем забота:
города ему машины шлют,
пионеры созывают слеты,
институты книги издают.

В синем небе летчики летают,
в синем море корабли дымят.
Сто полков его оберегают,
сто народов на него глядят.

Спит оно в кубанской колыбели.
Как отец, склонился над зерном
в куртке, перешитой из шинели,
бледный от волненья агроном.

1947

85. НАКАНУНЕ ПАРАДА

Всё нарастает
торжественный гуд:
это опять
от Нескучного сада
танки
на Красную площадь
идут —
ночью,
за несколько дней
до парада.

Напоминая
окраской своей
майские нивы
и рощи густые,
тяжко идут
меж полночных огней

грозные танки
Советской России.

Мир никогда
не забудет о том,
как, сотрясая
высоты и дали,
танковых армий
стальным кулаком
в двери Германии
мы постучали;

как по дорогам
великой весны,
за удиравшими ордами
следом,
через пожары
немецкой страны,
вы пронеслись,
колесницы Победы.

Над синевой
океанской волны
носятся волны
насилья и злобы.
Капля за каплею
тучи войны
копятся в сейфах
страны небоскребов.

Но никогда они
не затемнят
мирных созвездий
Отчизны свободы.
Наши колхозы
ночами не спят,
ночью работают
наши заводы.

Мы отвечаем
ораве лжецов —

шумом спокойным
полей колосистых,
речью оратора,
хором гудков,
гулом машин
и молчаньем танкистов.

Молот и штык,
оборона и труд
ночью предпраздничной
шествуют рядом.
. . .Мимо заводов
и фабрик идут
танки
за несколько дней
до парада.

1947

86. РЯБИНА

В осенний день из дальнего села,
как скромное приданое свое,
к стене Кремля рябина принесла
рязанских ягод красное шитье.

Кремлевских башен длился хоровод.
Сиял поток предпраздничных огней.
Среди твоих сокровищниц, народ,
как песня песен — площадь площадей.

Отсюда начинается земля.
Здесь гений мира меж знамен уснул.
И звезды неба с звездами Кремля
над ним несут почетный караул.

В полотнищах и флагах торжества
пришелицу из дальнего села
великая победная Москва,
как дочь свою, в объятья приняла.

К весне готовя белые цветы,
в простой листве и ягодах своих

она стоит, как образ чистоты,
меж вечных веток елей голубых.

И радует людей моей страны
средь куполов и каменных громад
на площади салютов, у стены,
рябины тонкой праздничный наряд.

1947

87. ОПЯТЬ НАЧИНАЕТСЯ СКАЗКА

Свечение капель и пляска.
Открытое ночью окно.
Опять начинается сказка
на улице, возле кино.

Не та, что придумана где-то,
а та, что течет надо мной,
сопутствует мраку и свету,
в пыли существует земной.

Есть милая тайна обмана,
журчащее есть волшебство
в струе городского фонтана,
в цветных превращеньях его.

Я, право, не знаю, откуда
свергаются тучи, гудя,
когда совершается чудо
шумящего в листьях дождя.

Как чаша содружества брагой,
московская ночь до окна
наполнена темною влагой,
мерцанием капель полна.

Мне снова сегодня семнадцать.
По улицам детства бродя,
мне нравится петь и смеяться
под зыбкою кровлей дождя.

Я вновь осенен благодатью
и встречу сегодня впотьмах
принцессу в коротеньком платье,
с короной дождя в волосах.

1947

88. ПЕСНЯ СТАРОГО ШАХТЕРА

Для славы, а не для потехи,
на глиняной стенке подряд,
как жизни рабочей доспехи,
шахтерские лампы висят.

Как служат мечи до победы,
служили они до конца.
Под ржавою лампою деда
подвешена лампа отца.

Когда повалюсь я на уголь,
ты слез понапрасну не лей —
возьми мою лампу, старуха,
и ниже отцовской прибей.

А утром на шахту в контору
сынишка пойдет молодой,
запишется в списки шахтеров
и лампу возьмет в ламповой.

1947

89. СЕРДЦЕ БАЙРОНА

В Миссолунгской низине,
меж каменных плит,
сердце мертвое Байрона
ночью стучит.

Партизанами Греции
погребено,
от карательных залпов
проснулось оно.

Нету сердцу покоя
в могиле сырой
под балканской землей,
под британской пятой.

На московском бульваре,
глазаст, невысок,
у газетной витрины
стоит паренек.

Пулеметными трассами
освещена
на далеких Балканах
чужая страна.

Он не может
в ряды твоей армии стать,
по врагам твоей армии
очередь дать.

Не гранату свою
и не свой пулемет —
только сердце свое
он тебе отдает.

Под большие знамена
полка своего,
патриоты,
зачислите сердце его.

Пусть оно
на далеких балканских полях
бьется храбро и яростно
в ваших рядах.

Душной ночью
заморский строчит автомат,
наделяя Европу
валютой свинца,

но, его заглушая,
всё громче стучат
сердце Байрона,
наши живые сердца.

1947

90

Из восставшей колонии
в лучший из дней
лейтенант возвратился
к подруге своей.

Он в Европу привез
из мятежной страны
азиатский подарок
для милой жены.

Недоступен, как бог,
молчалив, загорел,
он на шею жены
ожерелье надел.

Так же молча,
в походе устроив привал,
он на шею мятежника
цепь надевал.

Цепь на шее стрелка
покоренной страны —
и жемчужная нитка
на шее жены...

Мне покамест не надо,
родная страна,
ни спокойного счастья,
ни мирного сна —

только б цепь
с побежденного воина снять
и жемчужную нитку
в молчанье сорвать.

1947

91. РОЖОК

В Музее революции
лежит
среди реликвий
нашего народа
рожок, в который
протрубил Мадрид
начало битв
тридцать шестого года.

Со вмятинами,
тускло-золотой,
украшенный
материей багряной,
в полночный час
под звездной высотой
кастильскому он
снится партизану.

Прикован цепью
к ложу своему,
фашистскими затравлен
палачами,
солдат Свободы
тянется к нему
и шевелит
распухшими губами.

Рожок молчащий
молча мы храним,
как вашу славу,
на почетном месте.
Пускай придет,
пускай придет за ним
восставший сын
мадридского предместья.

И пусть опять
меж иберийских скал,
полки республиканские
сзывая,

прокатится
ликующий сигнал
и музыка
раздастся полковая.

...На сборный пункт
по тропам каменистым
отряды пробираются
в ночи.

Сигнальте бой,
сигнальте бой, горнисты,
трубите наступленье,
трубачи!

1947

92

Словно солнце в сиянье рассвета,
отовсюду и всюду видны
очертания площади этой,
неподвижные камни стены.

Над клубящейся пылью Вселенной,
над путями величья и зла, —
как десницу, Василий Блаженный
тихо поднял свои купола.

Комсомольская юность России
тут встречается с Русью отцов:
мерно движутся танки большие
по невысохшей крови стрельцов.

По размерному узкому следу
от неспешных боярских саней
пролетают тачанки победы,
пулеметы советских степей.

Здесь становишься тверже и чище,
проникаясь дыханьем веков.
И сейчас еще воздух насыщен
электричеством ленинских слов.

1947 (?)

93

В небольшой комнатушке
с огромным окном
мы четвертую зиму
живем вчетвером.

Меж столом и кроватью,
как между ветвей,
от утра до заката
снует воробей.

Эта малая птаха
нам тем дорога,
что ее не пугают
большие снега.

Улетают скворцы
от метельной земли,
над пустыми полями
летят журавли.

Только серые стайки
шальных воробьев
никогда не бросают
родных городов.

Выбегает навстречу
и лает до слез
дорогая дворняга —
стремительный пес.

Черно-белые лапы,
ободранный хвост,
но он вовсе не́ так,
как нам кажется, прост.

У него, кроме лая
и кроме чутья,
есть свои установки
и верность своя.

В этой малой квартирке,
где царствуешь ты,
нам с избытком хватает
твоей красоты.

1947 (?)

94. АНГЛИЙСКАЯ БАЛЛАДА

На мыльной кобыле летит гонец:
«Король поручает тебе, кузнец,
сработать из тысячи тысяч колец
платье для королевы».

Над черной кузницей дождь идет.
Вереск цветет. Метель метет.
И днем и ночью кузнец кует
платье для королевы.

За месяцем — месяц, за годом — год
горн всё горит и всё молот бьет, —
то с лютою злобой кузнец кует
платье для королевы.

Он стал горбатым, а был прямым.
Он был златокудрым, а стал седым.
И очи весенние выел дым
платья для королевы.

Жена умерла, а его не зовут.
Чужие детей на кладбище несут.
— Так будь же ты проклят, мой вечный труд —
платье для королевы!

Когда-то я звезды любил считать,
я тридцать лет не ложился спать,
а мог бы за утро одно отковать
цепи для королевы.

1948

95. ИСПАНСКИЕ СТИХИ

Испания!
Мы не забыли
то время,
тот тридцать шестой,
когда мы,
как будущим,
жили
твоею военной судьбой;

тот год,
когда после работы
мы снов
не видали иных,
а только
твои пулеметы
и песни
отрядов твоих;

те дни,
когда, спрятавши книжки,
глаголы
оставив учить,
из школ убегали
мальчишки —
патроны тебе
подносить;

когда,
свою бурку расправив,
как черные
крылья орла,
пред вами
явился Чапаев
и к нам
Ибаррури пришла.

В Москве
за вечернею чашей
тебя
называли порой

подругою младшею
нашей
и нашею
младшей сестрой.

Не верил я
ни на мгновенье
тому,
что палач-генерал
поставил тебя
на колени
и душу твою
растоптал.

Всю ночь
за тюремною дверью
израненный
узник поет.
Я этому
голосу верю:
Испания наша
живет!

Идет металлист
к партизанам,
батрак
в партизаны идет.
И я повторять
не устану:
Испания наша
живет!

Вторую неделю
бастует
чугунолитейный
завод.
Как заповедь,
произношу я:
Испания наша
живет!

Сегодня, как в юности,
снова,
другие
оставив слова,
твержу я
три вещие слова:
Испания наша
жива!

1948

96. НАШ ГЕРБ

Случилось это
в тот великий год,
когда восстал
и победил народ.

В нетопленый
кремлевский кабинет
пришли вожди державы
на Совет.

Сидели с ними
за одним столом
кузнец с жнеей,
ткачиха с батраком.

А у дверей,
отважен и усат,
стоял с винтовкой
на посту солдат.

Совет решил:
«Мы на земле живем
и нашу землю
сделаем гербом.

Пусть на гербе,
как в небе, навсегда
сияет солнце
и горит звезда.

А остальное —
трижды славься труд! —
пусть делегаты
сами принесут».

Принес кузнец
из дымной мастерской
свое богатство —
вечный молот свой.

Тяжелый сноп,
в колосьях и цветах,
батрак принес
в натруженных руках.

В куске холста
из дальнего села
свой острый серп
крестьянка принесла.

И, сапогами
мерзлыми стуча,
внесла ткачиха,
свиток кумача.

И молот тот,
что кузнецу служил,
с большим серпом
Совет соединил.

Тяжелый сноп,
наполненный зерном,
Совет обвил
октябрьским кумачом.

И лозунг наш,
по слову Ильича,
начертан был
на лентах кумача.

Хотел солдат —
не смог солдат смолчать —

свою винтовку
для герба отдать.

Но вождь народов
воину сказал,
чтоб он ее
из рук не выпускал.

С тех пор солдат —
почетная судьба! —
стоит на страже
нашего герба.

1948

97. РАБОЧИЙ

Стоит среди
товарищей седых
внук бурлаков
и правнук крепостных.

От прадеда,
хоть прадед нищим был,
он золотое сердце
получил.

Остались в дар
от деда-бурлака
тяжелый шаг
и тяжкая рука.

Еще он взял
в наследство у отца
погасший горн
и молот кузнеца.

Он горн раздул,
он клещи растворил
и золотое сердце
раскалил.

И цепи те,
что сделал капитал,
рукою закопченной
разорвал.

Вихрь Октября
крутил, ярился, мел
в тот день, когда он
к Ленину пришел.

С тех пор он был
судьею и бойцом,
строителем
и снова кузнецом.

На смерть ходил,
заводы возводил —
всех покарал
и всё восстановил.

Он звезды мира
сделал для Кремля
и тракторы
отправил на поля.

Он пушки льет
для доменных печей,
у коксовых
дежурит батарей.

Он двигает —
хозяин-великан —
трехтонный молот
и прокатный стан.

И горе тем,
которые прервут
его дела,
его железный труд.

1948

98

Я напишу тебе стихи такие,
каких еще не слышала Россия.

Такие я тебе открою дали,
каких и марсиане не видали.

Сойду под землю и взойду на кручи,
открою волны и отмерю тучи.

Как мудрый бог, парящий надо всеми,
отдам пространство и отчислю время.

Я положу в твои родные руки
все сказки мира, все его науки.

Отдам тебе свои воспоминанья,
свой легкий вздох и трудное молчанье.

Я награжу тебя, моя отрада,
бессмертным словом и предсмертным взглядом.

И всё за то, что утром у вокзала
ты так легко меня поцеловала.

1948

99. БОЛЬШЕ НЕТ ПРИРОДЫ РАВНОДУШНОЙ

И равнодушная природа...
А. С. Пушкин

С музыкой
и с песней,
не таясь,
мы берем богатство
у природы —
так, как брали
и как взяли власть
в октябре семнадцатого года.

С той поры,
в своей уверясь силе,
принимая всех врагов в штыки,
многому
природу научили
сыновья страны — большевики.

Разослав
по всем путям березы
и собрав
на митинг все поля,
по призыву партии
в колхозы
записалась русская земля.

Яблоки
несет в охапке сад.
Ручейки
меж грядками несутся.
Тянутся ростки —
они хотят
до своих заданий дотянуться.

Больше нет природы
равнодушной:
вся она
движения полна —
против черных бурь
и ветров душных
начата
зеленая война.

Лес стоит
на страже урожая
и не сходит
с места своего —
как стояли,
землю защищая,
храбрые хозяева его.

1949

100. ЗДРАВСТВУЙ, ПУШКИН!

Здравствуй, Пушкин! Просто страшно это —
словно дверь в другую жизнь открыть —
мне с тобой, поэтом всех поэтов,
бедными стихами говорить.

Быстрый шаг и взгляд прямой и быстрый —
жжет мне сердце Пушкин той поры:
визг полозьев, песни декабристов,
ямбы ссыльных, сказки детворы.

В январе тридцать седьмого года
прямо с окровавленной земли
подняли тебя мы всем народом,
бережно, как сына, понесли.

Мы несли тебя — любовь и горе —
долго и бесшумно, как во сне,
не к жене и не к дворцовой своре —
к новой жизни, к будущей стране.

Прямо в очи тихо заглянули,
окружили нежностью своей,
сами, сами вытащили пулю
и стояли сами у дверей.

Мы твоих убийц не позабыли:
в зимний день, под заревом небес,
мы царю России возвратили
пулю, что послал в тебя Дантес.

Вся Отчизна в праздничном цветенье.
Словно песня, льется вешний свет.
Здравствуй, Пушкин! Здравствуй, добрый гений!
С днем рожденья, дорогой поэт!

1949

101. ПАМЯТИ ДИМИТРОВА

Я помню ту общую гордость,
с какой мы следили в тот год
за тем, как отважно и твердо
процесс подсудимый ведет.

Под лейпцигским каменным сводом
над бандой убийц и громил
кружилися ветры Свободы,
когда заключенный входил.

Я помню, как солнце горело,
на зимний взойдя небосвод,
когда из далеких пределов
в Москву прилетел самолет.

Сияли счастливые лица,
исчезла тревожная тень.
И все телефоны столицы
об этом звонили весь день!

...Июльского русского лета
бесшумные льются лучи.
За воинской сталью лафета
печально идут москвичи.

До траурных башен вокзала
под небом сплошной синевы
со скорбью Москва провожала
великого друга Москвы.

Мы с вами, болгары. Мы знаем,
что очи славянской страны
сегодня одними слезами,
как чаши печали, полны.

И в горе и в счастье, София,
всегда неизменно с тобой
могучая наша Россия,
как с младшей любимой сестрой.

1949

102. ЛЕНИН

Мне кажется, что я не в зале,
а, годы и стены пройдя,
стою на Финляндском вокзале
и слушаю голос вождя.

Пространство и время нарушив,
мне голос тот в сердце проник,
и прямо на площадь, как в душу,
железный идет броневик.

Отважный, худой, бородатый —
гроза петербургских господ —
я вместе с окопным солдатом
на Зимний тащу пулемет.

Земля, как осина, дрожала,
когда наш отряд штурмовал.
Нам совесть идти приказала,
нас Ленин на это послал.

Знамена великих сражений,
пожары гражданской войны...
Как смысл человечества, Ленин
стоит на трибуне страны.

Я в грозных рядах растворяюсь,
я ветром победы дышу
и, с митинга в бой отправляясь,
восторженно шапкой машу.

Не в траурном зале музея —
меж тихих московских домов
я руки озябшие грею
у красных январских костров.

Ослепли глаза от мороза,
ослабли от туч снеговых,
и ваши, товарищи, слезы
в глазах застывают моих...

1949

103. КНИЖКА УДАРНИКА

Перебирая
под праздники
письменный стол,
книжку ударника
я между папок нашел.

Книжка ударника —
красный ударный билет
давнего времени,
незабываемых лет!

В комнате вечером
снова призывно звучат
речи на митингах,
песни ударных бригад.

Вечером в комнате
снова встают предо мной
стройка Челябинска,
Бобрики и Днепрострой.

Все общежитья,
в которых с друзьями я спал,
все те лопаты,
которыми землю копал.

Все те станки,
на которых работать пришлось,
домны и клубы,
что мне возводить довелось.

Вновь надо мною
сияют
приметы тех лет:
красные лозунги,
красные цифры побед.

И возникают
оттуда, из прожитых дней,
юные лица
моих комсомольских друзей.

А за окном
занимается, рдеет заря.
Что же, товарищи,
мы потрудились не зря!

Сооружения
наших ударных бригад
в вольных степях
и на реках привольных стоят.

. . .Мы, увлеченные
делом своим трудовым,
на комсомольцев теперешних
нежно глядим.

И комсомольцы
на нынешних стройках
сейчас
песни поют
и читают романы о нас.

1950

104. ЖЕНА

Красива и смела
пошедшая со мной —
ты матерью была,
и ты была женой.

Ты всё мое добро,
достоинство и честь.
Я дал тебе ребро
и всё отдам, что есть.

Как мысли и судьбе,
лопате и перу,
я отдал всё тебе,
всё от тебя беру.

Дождем меня омой,
печаль моя и смех,

корыстный подвиг мой
и мой невинный грех.

Халатик свой накинь.
Томительно ходи.
Отринь меня, отринь
и снова припади.

И снова, погодя,
неслышно, будто рысь,
нахлынь не отходя,
не уходя вернись.

Дыханием обдуй.
Возьми, как вышний бог,
мой первый поцелуй
и мой последний вздох.

Оплачь невторопях.
Мне речи не нужны —
пусть скатится на прах
слеза моей жены.

Забудь меня, забудь
по счастью своему...
А я с собою в путь
одну ее возьму.

1955

105. ПОД МОСКВОЙ

Не на пляже и не на ЗИМе,
не у входа в концертный зал, —
я глазами тебя своими
в тесной кухоньке увидал.

От работы и керосина
закраснелось твое лицо.
Ты стирала с утра для сына
обиходное бельецо.

А за маленьким за оконцем,
белым блеском сводя с ума,
стыла, полная слез и солнца,
раннеутренняя зима.

И как будто твоя сестричка,
за полянками, за леском
быстро двигалась электричка
в упоении трудовом.

Ты возникла в моей вселенной,
в удивленных глазах моих
из светящейся мыльной пены
да из пятнышек золотых.

Обнаженные эти руки,
увлажнившиеся водой,
стали близкими мне до муки
и смущенности молодой.

Если б был я в тот день смелее,
не раздумывал, не гадал —
обнял сразу бы эту шею,
эти пальцы б поцеловал.

Но ушел я тогда смущенно,
только где-то в глуби светясь.
Как мы долго вас ищем, жены,
как мы быстро теряем вас.

А на улице, в самом деле,
от крылечка наискосок
снеговые стояли ели,
подмосковный скрипел снежок.

И хранили в тиши березы
льдинки светлые на ветвях,
как скупые мужские слезы,
не утертые второпях.

1955

106. ПРИЗНАНЬЕ

Не в смысле каких деклараций,
не пафоса ради, ей-ей, —
мне хочется просто признаться,
что очень люблю лошадей.

Сильнее люблю, по-другому,
чем разных животных иных...
Не тех кобылиц ипподрома,
солисток трибун беговых.

Не тех жеребцов знаменитых,
что — это считая за труд —
на дьявольских пляшут копытах
и как оглашенные ржут.

Не их, до успехов охочих,
блистающих славой своей, —
люблю неказистых, рабочих,
двужильных кобыл и коней.

Забудется нами едва ли,
что вовсе в недавние дни
всю русскую землю пахали
и жатву свозили они.

Недаром же в старой России,
пока еще памятной нам,
старухи по ним голосили,
почти как по мертвым мужьям.

Их есть и теперь по Союзу
немало в различных местах,
таких кобыленок кургузых
в разбитых больших хомутах.

Недели не знавшая праздной,
прошедшая сотни работ,
она и сейчас безотказно
любую поклажу свезет.

Но только, в отличье от прежней,
косясь, не шарахнется вбок,
когда по дороге проезжей
раздастся победный гудок.

Свой путь уступая трехтонке,
права понимая свои,
она оглядит жеребенка
и трудно свернет с колеи.

Мне праздника лучшего нету,
когда во дворе дотемна
я смутно работницу эту
увижу зимой из окна.

Я выйду из душной конторки,
заранее радуясь сам,
и вынесу хлебные корки,
и сахар последний отдам.

Стою с неумелой заботой,
осклабив улыбкою рот,
и глупо шепчу ей чего-то,
пока она мирно жует.

1956

107. ПЕРВЫЙ БАЛ

Позабыты шахматы и стирка,
брошены вязанье и журнал.
Наша взбудоражена квартирка:
Галя собирается на бал.

В именинной этой атмосфере,
в этой бескорыстной суете
хлопают стремительные двери,
утюги пылают на плите.

В пиджаках и кофтах Москвошвея,
критикуя и хваля наряд,

добрые волшебники и феи
в комнатенке Галиной шумят.

Счетовод районного Совета
и немолодая травести —
все хотят хоть маленькую лепту
в это дело общее внести.

Словно грешник посредине рая,
я с улыбкой смутною стою,
медленно — сквозь шум — припоминая
молодость суровую свою.

Девушки в лицованных жакетках,
юноши с лопатами в руках —
на площадках первой пятилетки
мы и не слыхали о балах.

Разве что под старую трехрядку,
упираясь пальцами в бока,
кто-нибудь на площади вприсядку
в праздники отхватит трепака.

Или, обтянув косоворотку,
в клубе у Кропоткинских ворот
«Яблочко» матросское с охоткой
вузовец на сцене оторвет.

Наши невзыскательные души
были заворожены тогда
музыкой ликующего туша,
маршами ударного труда.

Но, однако, те воспоминанья,
бесконечно дорогие нам,
я ни на какое осмеянье
никому сегодня не отдам.

И в иносказаниях туманных,
старичку брюзгливому под стать,
нынешнюю молодость не стану
в чем-нибудь корить и упрекать.

Собирайся, Галя, поскорее,
над прической меньше хлопочи —
там уже, вытягивая шеи,
первый вальс играют трубачи.

И давно стоят молодцевато
на парадной лестнице большой
с красными повязками ребята
в ожиданье сверстницы одной.

...Вновь под нашей кровлею помалу
жизнь обыкновенная идет:
старые листаются журналы,
пешки продвигаются вперед.

А вдали, как в комсомольской сказке,
за повитым инеем окном
русская девчонка в полумаске
кружится с вьетнамским пареньком.

1956

108. ПЕРЕУЛОК

Ничем особым не знаменит —
в домах косых и сутулых —
с утра, однако, вовсю шумит
окраинный переулок.

Его, как праздничным кумачом
и лозунгами плаката,
забили новеньким кирпичом,
засыпали силикатом.

Не хмурясь сумрачно, а смеясь,
прохожие, как подростки,
с азартом вешнюю топчут грязь,
смешанную с известкой.

Лишь изредка чистенький пешеход,
кошачьи зажмуря глазки,
бочком строительство обойдет
с расчетливою опаской.

Весь день, бездельникам вопреки,
врезаются в грунт лопаты,
гудят свирепо грузовики,
трудится экскаватор.

Конечно, это совсем не тот,
что где-нибудь на каналах
в отверстый зев полгоры берет
и грузит на самосвалы.

Но этот тоже пыхтит не зря,
недаром живет на свете —
младший братишка богатыря,
известного всей планете.

Вздымая над этажом этаж,
подъемные ставя краны,
торопится переулок наш
за пятилетним планом.

Он так спешит навстречу весне,
как будто в кремлевском зале
с большими стройками наравне
судьбу его обсуждали.

Он так старается дотемна,
с такою стучит охотой,
как будто огромная вся страна
следит за его работой.

1956

109. МАГНИТКА

От сердца нашего избытка,
от доброй воли, так сказать,
мы в годы юности Магниткой
тебя привыкли называть.

И в этом — если разобраться,
припомнить и прикинуть вновь —
нет никакого панибратства,
а просто давняя любовь.

Гремят, не затихая, марши,
басов рокочущая медь.
За этот срок ты стала старше
и мы успели постареть.

О днях ушедших не жалея,
без общих фраз и пышных слов
страна справляет юбилеи
людей, заводов, городов.

Я просто счастлив тем, что помню,
как праздник славы и любви,
и очертанья первой домны,
и плавки первые твои.

Я счастлив помнить в самом деле,
что сам в твоих краях бывал
и у железной колыбели
в далекой юности стоял.

Вновь гордость старая проснулась,
припомнилось издалека,
что в пору ту меня коснулась
твоя чугунная рука.

И было то прикосновенье
под красным лозунгом труда
как словно бы благословенье
самой индустрии тогда.

Я просто счастлив тем, однако,
что помню зимний твой вокзал,
что ночевал в твоих бараках,
в твоих газетах выступал.

И, видно, я хоть что-то стою,
когда в начале всех дорог
хотя бы строчкою одною
тебе по-дружески помог.

1957

110

Печалью дружеской согретый,
в обычной мирной тишине
перевожу стихи поэта,
погибшего на той войне.

Мне это радостно и грустно:
не пропуская ничего,
читать подстрочник безыскусный
и перекладывать его.

Я отдаю весь малый опыт,
чтоб перевод мой повторял
то, что в землянках и окопах
солдат Татарии писал.

Опять поет стихотворенье
певца, убитого давно,
как будто право воскрешенья
в какой-то мере мне дано.

Я удивляться молча буду,
едва ли не лишаясь сил,
как будто маленькое чудо
я в этот вечер совершил.

Как будто тот певец солдатский,
что под большим холмом зарыт,
сегодня из могилы братской
со всей Россией говорит.

1957

111. ЗЕМЛЯНИКА

Средь слабых луж и предвечерних бликов,
на станции, запомнившейся мне,
две девочки с лукошком земляники
застенчиво стояли в стороне.

В своих платьишках, стираных и старых,
они не зазывали никого,
два маленькие ангела базара,
не тронутые лапами его.

Они об этом думали едва ли,
хозяечки светающих полян,
когда с недетским тщаньем продавали
ту ягоду по два рубля стакан.

Земли зеленой тоненькие дочки,
сестренки перелесков и криниц,
и эти их некрепкие кулечки
из свернутых тетрадочных страниц,

где тихая работа семилетки,
свидетельства побед и неудач
и педагога красные отметки
под кляксами диктантов и задач...

Проехав чуть не половину мира,
держа рублевки смятые в руках,
шли прямо к их лукошку пассажиры
в своих пижамах, майках, пиджаках.

Не побывав на маленьком вокзале,
к себе кулечки бережно прижав,
они, заметно подобрев, влезали
в уже готовый тронуться состав.

На этот раз, не поддаваясь качке,
на полку забираться я не стал —
ел ягоды. И хитрые задачки
по многу раз пристрастно проверял.

1957
Иркутск

112. УГОЛЬ

На какой — не запомнилось — стройке
года три иль четыре назад
мне попался, исполненный бойко,
безымянной халтуры плакат.

Без любви и, видать, без опаски
некий автор, довольный собой,
написал его розовой краской
и добавил еще голубой.

На бумаге, от сладости липкой,
возвышался, сияя, копер,
и конфетной сусальной улыбкой
улыбался пасхальный шахтер.

Ах, напрасно поставил он точку!
Не хватало еще в уголке
херувимчика иль ангелочка
с обязательством, что ли, в руке...

Ничего от тебя не скрывая,
заявляю торжественно я,
что нисколько она не такая,
горняков и шахтеров земля.

Не найдешь в ней цветов изобилья,
не найдешь и садов неземных —
дымный ветер, замешенный пылью,
да огни терриконов ночных.

Только тем, кто подружится с нею,
станет близкой ее красота.
И суровей она, и сильнее,
чем подделка дешевая та.

Поважнее красот ширпотреба,
хоть и эти красоты нужны,
по заслугам приравненный к хлебу
черный уголь рабочей страны.

Удивишься на первых порах ты,
как всесильность его велика.
Белый снег, окружающий шахту,
потемнел от того уголька.

Здесь на всем, от дворцов до палаток,
что придется тебе повстречать,
ты увидишь его отпечаток
и его обнаружишь печать.

Но находится он в подчиненье,
но и он покоряется сам
человечьим уму и уменью,
человеческим сильным рукам.

Перед ним в подземельной темнице
на колени случается стать,
но не с тем, чтоб ему поклониться,
а затем, что способнее брать.

Ничего не хочу обещать я,
украшать не хочу ничего,
но машины и люди, как братья,
не оставят тебя одного.

И придет, хоть не сразу, по праву
с орденами в ладони своей
всесоюзная гордая слава
в общежитье бригады твоей.

1957

113. ШЕСТИДЮЙМОВКА «АВРОРЫ»

Зимним утром, неспешно и праздно,
и не весел, и вроде не зол,
размышляя о мелочи разной,
я вдоль невского берега шел.

И как раз в эту самую пору —
я узнал ее всем существом! —

мне впервые явилась «Аврора»
в неподвижном величье своем.

По-граждански нескладно одетый,
замирая от счастья тайком,
шел я тихо по палубе этой,
запорошенной мирным снежком.

И потом, оглянувшись неловко,
в тишине, словно мальчик какой,
легендарной той шестидюймовки
я несмело коснулся рукой.

Сразу пальцы недвижными стали,
я не смог их тогда развести.
Ощущение бури и стали
я унес осторожно в горсти.

Что мне мелкое счастье и горе,
что с того, что сутулиться стал,
если я на самой на «Авроре»
озаренный и бледный стоял!

И меня через долы и горы
вместе с русским народом ведет
указующий палец «Авроры»,
устремленный — всё время! — вперед.

1957
Ленинград

114. СПУТНИК

Мы утром пока еще смутно
увидеть сегодня могли,
как движется маленький спутник —
товарищ огромной земли.

Хоть он и действительно малый,
но нашею жизнью живет.
Он нам посылает сигналы,
и их принимает народ.

Эпоха дерзаний и странствий,
ты стала сильнее с тех пор,
когда в межпланетном пространстве
душевный пошел разговор.

Победа советского строя,
путь в дальнее небо открыт —
об этом звезда со звездою
по-русски сейчас говорит.

1957

115. ДАЕШЬ!

Купив на попутном вокзале
все краски, что были, подряд,
два друга всю ночь рисовали,
пристроясь на полке, плакат.

И сами потом восхищенно,
как знамя пути своего,
снаружи на стенке вагона
приладили молча его.

Плакат удался в самом деле,
мне были как раз по нутру
на фоне тайги и метели
два слова: «Даешь Ангару!»

Пускай, у вагона помешкав,
всего не умея постичь,
зеваки глазеют с усмешкой
на этот пронзительный клич.

Ведь это ж не им на потеху
по дальним дорогам страны
сюда докатилось, как эхо,
словечко гражданской войны.

Мне смысл его дорог ядреный,
желанна его красота.
От этого слова бароны
бежали, как черт от креста.

Ты сильно его понимала,
тридцатых годов молодежь,
когда беззаветно орала
на митингах наших: «Даешь!»

Винтовка, кумач и лопата
живут в этом слове большом.
Ну что ж, что оно грубовато, —
мы в грубое время живем.

Я против словечек соленых,
но рад побрататься с таким:
ведь мы-то совсем не в салонах
историю нашу творим.

Ведь мы и доныне, однако,
живем, ни черта не боясь.
Под тем восклицательным знаком
Советская власть родилась!

Наш поезд всё катит и катит,
с дороги его не свернешь,
и ночью горит на плакате
воскресшее слово — «Даешь!».

1957
Поезд «Москва—Лена»

116. В ДОРОГЕ

Шел поезд чуть ли не неделю.
За этот долгий срок к нему
привыкнуть все уже успели,
как к общежитью своему.

Уже опрятные хозяйки,
освоясь с поездом сполна,
стирали в раковинах майки
и вышивали у окна.

Уже, как важная примета
организации своей,

была прибита стенгазета
в простенке около дверей.

Своя мораль, свои словечки,
свой немудреный обиход.
И, словно где-то на крылечке,
толпился в тамбуре народ.

Сюда ребята выходили
вести солидный разговор
о том, что видели, как жили,
да жечь нещадно «Беломор».

Здесь пели плотные подружки,
держась за поручни с бочков,
самозабвенные частушки
под дробь высоких каблучков.

Конечно, это вам не в зале,
где трубы медные ревут:
они не очень-то плясали,
а лишь приплясывали тут.

Видать, еще не раз с тоскою
парнишкам в праздничные дни
в фабричном клубе под Москвою
со вздохом вспомнятся они.

...Как раз вот тут-то между нами,
весь в угле с головы до ног,
блестя огромными белками,
возник внезапно паренек.

Словечко вставлено не зря же —
я к оговоркам не привык, —
он не вошел, не влез и даже
не появился, а возник.

И потеснился робко в угол.
Как надо думать, оттого,
что в толчее мельчайший уголь
с одежки сыпался его.

Через минуту, к общей чести,
все угадали без труда:
он тоже ехал с нами вместе
на Ангару, в Сибирь, туда.

Но только в виде подготовки
бесед отнюдь не посещал
и никакой такой путевки
ни от кого не получал.

И на разубранном вокзале,
сквозь полусвет и полутьму,
его друзья не целовали
и туша не было ему.

Какой уж разговор об этом!
Зачем лукавить и ханжить?
Он даже дальнего билета
не мог по бедности купить.

И просто ехал верным курсом
на крыше, в угольной пыли,
то ль из орловской, то ль из курской,
мне не запомнилось, земли.

В таком пути трудов немало.
Не раз на станции большой
его милиция снимала
и отпускала: бог с тобой!

И он, чужих чураясь взглядов,
сторонкой обходя вокзал,
как будто это так и надо,
опять на крышу залезал.

И снова на железной койке
дышал осадками тепла.
Его на север жажда стройки,
как одержимого, влекла.

Одним желанием объятый,
одним движением томим...

Так снилась в юности когда-то
Магнитка сверстникам моим.

В его глазах, таких открытых,
как утром летнее окно,
ни зависти и ни обиды,
а дружелюбие одно.

И — никакого беспокойства,
и от расчета — ничего.
Лишь ожидание геройства
и обещание его.

1957
Поезд «Москва—Лена»

117. В АЛМА-АТИНСКОМ САДУ

Вот в этот сад зеленовязый,
что мягким солнцем освещен,
когда-то, верится не сразу,
был вход казахам воспрещен.

Я с тихой болью представляю,
как вдоль ограды городской
они, свои глаза сужая,
шли молчаливо стороной.

На черной жести объявленье
торчало возле входа в сад.
Но в этом давнем униженье
я и чуть-чуть не виноват. . .

Сквозь золотящуюся дымку,
как братья — равные во всем, —
с казахским юношей в обнимку
по саду этому идем.

Мы дружим вовсе не для виду,
взаимной нежности полны;
нет у него ко мне обиды,
а у меня пред ним — вины.

Без лести и без снисхожденья —
они претят душе моей —
мы с ним друзья по уваженью,
по убежденности своей.

И это ведь не так-то мало.
Недаром, не жалея сил,
нас власть Советская сбратала,
Ильич навеки подружил.

1957
Казахстан

118. ПЕРВАЯ ПОЛУЧКА

Как золотящаяся тучка,
какую сроду не поймать,
мне утром первая получка
сегодня вспомнилась опять.

Опять настойчиво и плавно
стучат машины за стеной,
а я, фабзавучник недавний,
стою у кассы заводской.

И мне из тесного оконца
за честный и нелегкий труд
еще те первые червонцы
с улыбкой дружеской дают.

Мне это вроде бы обычно,
и я, поставя росчерк свой,
с лицом, насильно безразличным,
ликуя, их несу домой.

С тех пор не раз, — уж так случилось,
тут вроде нечего скрывать, —
мне в разных кассах приходилось
за песни деньги получать.

Я их писал не то чтоб кровью,
но всё же времени черты

изображал без суесловья
и без дешевой суеты.

Так почему же нету снова
в день гонорара моего
не только счастья заводского,
но и достоинства того?

Как будто занят пустяками
средь дел суровых и больших,
и вроде стыдно жить стихами,
и жить уже нельзя без них.

1957

119. НАСТОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Совсем недавно это было:
моя подруга, как и встарь,
мне зимним утром подарила
настольный малый календарь.

И я, пока еще не зная,
как дальше сложатся они,
уже сейчас перебираю
неспешно будущие дни.

И нахожу небезучастно
средь предстоящих многих дат
и праздники расцветки красной,
и дни рождений и утрат.

Сосредоточась, брови сдвинув,
уйдя в раздумия свои,
страны листаю годовщины,
как будто праздники семьи.

Редактора́ немало знали, —
они подкованный народ, —
однако же не угадали,
что год грядущий принесет.

Страна, где жил и умер Ленин,
союз науки и труда,
внесет, конечно, добавленья
в наш год, как в прошлые года.

Весь устремясь к свершеньям дальним,
еще никак не знаменит,
уже в какой-нибудь читальне
ученый юноша сидит.

Сощурившись подслеповато,
вокруг не слыша ничего,
он для страны готовит дату
еще открытья одного.

Победы новые пророча
в краю заоблачных высот,
уже садится где-то летчик
в пока безвестный самолет.

Строители, работой жаркой
встречая блещущий январь,
внесут, как в комнату подарки,
свои поправки в календарь.

Уже, в своем великолепье,
свободной радости полна,
рвет перержавленные цепи
колониальная страна.

Отнюдь не праздный соглядатай,
морозным утром, на заре,
я эти будущие даты
уже нашел в календаре.

Я в них всей силой сердца верю,
наполнен ими воздух весь.
Они уже стучатся в двери,
они уже почти что здесь.

1957

120. СТОЛОВАЯ НА ОКРАИНЕ

Люблю рабочие столовки,
весь их бесхитростный уют,
где руки сильные неловко
из пиджака или спецовки
рубли и трешки достают.

Люблю войти вечерним часом
в мирок, набитый жизнью, тот,
где у окна стеклянной кассы
теснится правильный народ.

Здесь стены вовсе не богаты,
на них ни фресок, ни ковров —
лишь розы плоские в квадратах
полуискусных маляров.

Несут в тарелках борщ горячий,
лапша колышется, как зной,
и пляшут гривенники сдачи
перед буфетчицей одной.

Тут, взяв, что надо, из окошка,
отнюдь не кушают — едят,
и гнутся слабенькие ложки
в руках окраинных девчат.

Здесь, обратя друг к дружке лица,
нехитрый пробуя салат,
из магазина продавщицы
в халатах синеньких сидят.

Сюда войдет походкой спорой,
самим собой гордясь в душе,
в таком костюмчике, который
под стать любому атташе,
в унтах, подвернутых как надо,
с румянцем крупным про запас,
рабочий парень из бригады,
что всюду славится сейчас.

Сюда торопятся подростки,
от нетерпенья трепеща,
здесь пахнет хлебом и известкой,
здесь дух металла и борща.

Здесь всё открыто и понятно,
здесь всё отмечено трудом,
мне все близки и все приятны,
и я не лишний за столом.

1958

121. СПИЧЕЧНЫЙ КОРОБОК

По старинной привычке,
безобидной притом,
обязательно спички
есть в кармане моем.

Заявленье такое
не в урок, не в упрек,
но всегда под рукою —
вот он тут — коробок.

И могу я при этом,
как положено быть,
закурить сигарету
иль кому посветить.

Тут читателю впору —
я на это не зол —
усмехнуться с укором:
«Тоже тему нашел».

Ни к чему увереньям:
лучше вместе, вдвоем
мы по стихотворенью
осторожно пойдем.

То быстрее, то тише
подвигаясь вперед,
прямо к фабрике спичек
нас оно приведет.

Солнце греет несильно
по утрам в октябре.
Острый привкус осины
на фабричном дворе.

Вся из дерева тоже,
из сосны привозной,
эта фабрика схожа
со шкатулкой резной.

И похоже, что кто-то,
теша сердце свое,
чистотой и работой
всю наполнил ее.

Тут всё собрано, сжато,
всё стоит в двух шагах,
мелкий стук автоматов
в невысоких цехах.

Шебаршит деловито
в коробках мелкота —
словно шла через сито
вся продукция та.

Озираясь привычно,
я стою в стороне.
Этот климат фабричный
дорог издавна мне.

Тот же воздух полезный,
тот же пристальный труд,
только вместо железа
режут дерево тут.

И большими руками
всю работу ведет
у котлов, за станками
тот же самый народ.

Не поденная масса,
не отходник, не гость —

цех рабочего класса,
пролетарская кость.

Непоспешным движеньем
где-нибудь на ветру
я с двойным уваженьем
в пальцы спичку беру.

Повернувшись спиною,
огонек, как могу,
прикрываю рукою
и второй — берегу,

ощущая потребность,
чтобы он на дворе
догорал, не колеблясь,
как в живом фонаре.

1958
Барнаул

122. ТОВАРИЩ КОМСОМОЛ

В папахе и обмотках
на съезд на первый шел
решительной походкой
российский комсомол.

Его не повернули,
истраченные зря,
ни шашки и ни пули
того офицерья.

О том, как он шагает,
свою винтовку сжав,
доныне вспоминают
четырнадцать держав.

Лобастый и плечистый,
от съезда к съезду шел
дорогой коммунистов
рабочий комсомол.

Он только правду резал,
одну ее он знал.
Ночной кулак обрезом
его не задержал.

Он шел не на потеху
в победном кумаче,
и нэпман не объехал
его на лихаче.

С нелегкой той дороги,
с любимой той земли
в сторонку лжепророки
его не увели.

Ему бывало плохо,
но он, упрям и зол,
не ахал и не охал,
товарищ комсомол.

Ему бывало трудно —
он воевал со злом
не тихо, не подспудно,
а именно трудом.

Тогда еще бездомный,
с потрескавшимся ртом,
сперва он ставил домны,
а домики — потом.

По правилам науки
крестьянско-заводской
его пропахли руки
железом и землей.

Веселый и безусый,
по самой сути свой,
пришелся он по вкусу
Отчизне трудовой.

1958

123. ВОСПОМИНАНЬЕ

Любил я утром раньше всех
зимой войти под крышу эту,
когда еще ударный цех
чуть освещен дежурным светом.

Когда под тихой кровлей той
всё, от пролета до пролета,
спокойно дышит чистотой
и ожиданием работы.

В твоем углу, машинный зал,
склонившись над тетрадкой в клетку,
я безыскусно воспевал
России нашей пятилетку.

Но вот, отряхивая снег,
всё нарастая постепенно,
в платках и шапках в длинный цех
входила утренняя смена.

Я резал и строгал металл,
запомнив мастера уроки,
и неотвязно повторял
свои предутренние строки.

И многие из этих строк
еще безвестного поэта
печатал старый «Огонек»
средь информаций и портретов.

Журнал был тоньше и бедней,
но, путь страны припоминая,
подшивку тех далеких дней
я с гордой нежностью листаю.

В те дни в заводской стороне,
у проходной, вблизи столовой,
встречаться муза стала мне
в своей юнгштурмовке суровой.

Она дышала горячо
и шла вперед без передышки
с лопатой, взятой на плечо,
и «Политграмотой» под мышкой.

Она в решающей борьбе,
о тонкостях заботясь мало,
хрипела в радиотрубе,
агитплакаты малевала.

Рукою властной
паренька
она манила за собою,
и красный цвет ее платка
стал с той поры моей судьбою.

1958

124

Немало раз уже, сдается,
еще в далекой старине
случались встречи у колодца
весенним днем, наедине.

Нередко парни в самом деле
(недалеко тут до беды)
по-настоящему хмелели
от той колодезной воды.

Они отчаянно влюблялись,
и, безусловно, не всегда,
но часто свадьбами кончались
те встречи в прежние года.

Предполагать мы можем смело,
как говорят, сомнений нет:
она ничуть не послабела —
вода в колодцах наших лет.

1958

125. РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ

В разговоре о главном
не совру ничего...
Я приметил недавно
паренька одного.

Наш по самой по сути
и повадке своей,
он стоял на распутье
возле школьных дверей.

Для него в самом деле
эти дни не легки:
навсегда отзвенели
в коридорах звонки.

От учебы от школьной
ты шагай, дорогой,
не дорожкой окольной,
а дорогой прямой.

В институтах науки,
на заводах страны
эти сильные руки
до зарезу нужны.

Но замечу попутно,
ничего не тая:
не насчет институтов
агитирую я.

Говорю без сомнений
и без всяких обид:
там таких заявлений
много тысяч лежит.

Мне хотелось бы, чтобы
из оконченных школ
на иную учебу
ты, товарищ, пошел.

Я бы сам из-за парты,
слыша времени гул,
с наслажденьем, с азартом
на работу шагнул.

Нету лучшего сроду,
чем под небом большим
дым советских заводов —
нашей родины дым.

В том семействе могучем
всем бы надо побыть:
и работе обучат,
и научат, как жить.

Не на танцах нарядных
жажду встречи с тобой,
а в шахтерской нарядной,
в заводской проходной.

Мне хотелось бы очень —
заявляю, любя,
чтобы люди рабочим
называли тебя.

Это в паспорт твой впишут,
в комсомольский билет.
Как мы думаем, выше
просто звания нет.

1958

126. ПЕРВАЯ СМЕНА

Каждый день неизменно
мимо наших ворот
утром первая смена
на работу идет.

По всему тротуару
и по всей мостовой...
Тут и юный и старый,
добродушный и злой.

Здесь отыщет психолог
и таких и сяких,
только больше веселых,
большинство — молодых.

Нам тоска не годится,
скукота не про нас...
Я люблю эти лица
в раннеутренний час.

Деловито шагая,
всем врагам на беду,
пареньки истребляют
пирожки на ходу.

(Их девчонка с усмешкой —
ей усмешка идет —
прямо с белой тележки
на углу продает.)

Не смолкает — куда там! —
молодой разговор.
В этой смене девчата
хороши, на подбор.

Не ленивые дуры,
не из жалких франтих:
маляры, штукатуры —
вот профессии их.

Мне бы стать помоложе
да вернуть комсомол —
в эту смену я тоже,
только б в эту пошел.

Вот спешит крановщица,
вот монтажник идет.
Я люблю эти лица,
этот русский народ.

1958

127. НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЦИОЛКОВСКОМ

В те дни, когда мы увлеченно
глядим в занебесную гладь,
я должен о старом ученом
хоть несколько строк написать:

напомнить о том человеке,
что жизнь проработал сполна
еще в девятнадцатом веке
и в наши потом времена.

Он путь пролагал без оглядки
к светилам, мерцавшим во мгле,
старик, в неизменной крылатке
ходивший по нашей земле.

Ах, сколько ума и старанья
и сколько недюжинных сил
еще в одиночку, заране,
он в вас, корабли мирозданья,
и в вашу оснастку вложил!

Ему б полагалось за это
(да некого тут упрекать)
при запуске первой ракеты
на месте почетном стоять.

Ему бы, шагнув через время,
войти, как к себе, в этот год
и праздновать вместе со всеми
ее межпланетный полет...

Я знаю неплохо, поверьте,
и спорить не думаю тут,
что нету у гениев смерти
и мысли их вечно живут.

Я всё это знаю, и всё же
сегодня печалит меня,
что сам прорицатель не дожил
до им предреченного дня.

1958

128. ЯГНЕНОК

От пастбищ, высушенных жаром,
в отроги, к влаге и траве,
теснясь нестройно, шла отара
с козлом библейским во главе.

В пыли дорожной, бел и тонок,
до умиленья мил и мал,
хромой старательный ягненок
едва за нею поспевал.

Нетрудно было догадаться:
боялся он сильней всего
здесь, на обочине, остаться
без окруженья своего.

Он вовсе не был одиночкой,
а представлял в своем лице
как бы поставленную точку
у пыльной повести в конце.

1958
Казахстан

129. НЕГР В МОСКВЕ

Невозможно не вклиниться
в человеческий водоворот —
у подъезда гостиницы
тесно толпится народ.

Не зеваки беспечные,
что на всех перекрестках торчат, —
дюжий парень из цеха кузнечного,
комсомольская стайка девчат.

Искушенный в политике
и по части манер,
в шляпе, видевшей виды,
консультант-инженер.

Тут же — словно игрушечка
на кустарном лотке —

боевая старушечка
в темноватом платке.

И прямые, отменные,
непреклонные, как на часах,
молодые военные
в малых — покамест — чинах.

Как положено воинству,
не скрываясь в тени,
с непреложным достоинством
держатся строго они.

Под бесшумными кронами
зеленеющих лип городских —
ни трибун с микрофонами,
ни знамен никаких.

Догадались едва ли вы,
отчего здесь народ:
черный сын Сенегалии
руки белые жмет.

Он, как статуя полночи,
черен, строен и юн.
В нашу русскую елочку
небогатый костюм.

По сорочке подштопанной
узнаем наугад:
не буржуйчик (ах, чтобы им!),
наш, трудящийся брат.

Добродушие голоса,
добродушный зрачок.
Вместо русого волоса —
черный курчавый пушок.

И выходит, не знали мы —
не поверить нельзя, —
что и в той Сенегалии
у России друзья.

Не пример обольщения,
не любовь напоказ,
а простое общение
человеческих рас.

Светит солнце весеннее
над омытой дождями Москвой,
и у всех настроение —
словно праздник какой.

1958

130. ПРОДОЛЖАТЕЛИ

Бригаде коммунистического труда
депо Москва-Сортировочная

В полуразрушенной России
под красным заревом знамен
за всю историю впервые
был этот подвиг совершен.

С тех пор прошли десятилетья,
но мы под знаменем родным,
как продолжатели и дети,
дела отцовские творим.

Сегодня в замыслах народных,
в рабочих душах и сердцах,
приобретает тот субботник
иную ширь, иной размах.

Ему простору больше надо,
и он, вздымая комсомол,
в коммунистических бригадах
своих наследников нашел.

Сегодня ты, народ свершений,
еще сильней и выше стал —
вот это и предвидел Ленин,
когда про тот Почин писал.

1958

131. КОМСОМОЛЬСКИЙ ВАГОН

Пробив привокзальную давку,
прощальным огнем озарен,
уже перед самой отправкой
я сел в комсомольский вагон.

И сразу же, в эту же пору,
качнувшись и дернув сперва,
в зеленых кружках семафоров
пошла отдаляться Москва.

Шел поезд надежно и споро,
его от знакомой земли
в иные края и просторы
далекие рельсы вели.

Туда уходила дорога,
где вечно — с утра до утра —
в районе большого порога
сурово шумит Ангара.

И где на брегах диковатых,
на склонах нетронутых гор
вас всех ожидают, ребята,
взрывчатка, кайло и лопата,
бульдозер, пила и топор.

Там всё вы построите сами,
возьмете весь край в оборот...
Прощаясь с родными местами,
притих комсомольский народ.

Тот самый народ современный,
что вовсе недавно из школ,
как это ведется, на смену
отцам или братьям пришел.

И я, начиная дорогу,
забыв о заботах иных,

пытливо, внимательно, строго,
с надеждой и скрытой тревогой
гляжу на людей молодых.

Как будто в большую разведку,
в мерцанье грядущего дня,
к ребятам шестой пятилетки
ячейка послала меня;

как будто отважным народом,
что трудно и весело жил,
из песен тридцатого года
я к ним делегирован был.

Мне с ними привольно и просто,
мне радостно — что тут скрывать! —
в теперешних этих подростках
тогдашних друзей узнавать.

Не хуже они и не краше,
такие же, — вот они, тут! —
и песни любимые наши
с таким же азартом поют.

Не то что различия нету, —
оно не решает как раз, —
ну разве почище одеты
да разве ученее нас.

Не то чтобы разницы нету,
но в самом большом мы сродни,
и главные наши приметы
у двух поколений одни.

Ну нет, мы не просто знакомы,
я вашим товарищем стал,
посланцы того же райкома,
который меня принимал.

1958
Поезд «Москва—Лена»

132. ПЕРЕКРЫТЬЕ

(Из очерка)

1

Свидетель большого событья,
течению дней вопреки,
запомнил я день перекрытья
недальней сибирской реки.

Нет, это совсем не описка,
не ради бахвальства строка:
мне стала действительно близкой
нелегкая эта река.

Признаюсь, что в школьные годы,
таская учебники в класс,
я знал только так, мимоходом,
что есть и такая у нас.

Мне также случалось позднее,
не путаясь даже почти,
на карте, вблизи Енисея,
ее равнодушно найти.

Но вот я увидел воочью
живую ее красоту,
когда у прожектора ночью
стоял на плавучем мосту.

Валили, теснясь, самосвалы
бетонные глыбы туда,
где трудно уже клокотала
и прядала набок вода.

Захваченный общим движеньем,
я молча смотрел, как велось
гражданское то наступленье
плакатов, кабин и колес.

2

Рожденный в далекие годы
под смутною сельской звездой,
я русскую нашу природу
не хуже люблю, чем другой.

Крестьянскому внуку и сыну
нельзя позабыть погодя
скопленья берез и осинок
сквозь мелкую сетку дождя.

Нельзя даже в шутку отречься,
нельзя отказаться от них —
от малых родительских речек,
от милых цветов полевых.

Но, видно, уж так воспитала
меня городская среда,
что ближе мне воздух металла
и гул коллективный труда.

И я, в настроенье рабочем
входя в наступательный раж,
люблю, когда он разворочен,
тот самый прелестный пейзаж.

Рабочие смены и сутки,
земли темно-серой валы,
дощатые — наскоро! — будки
и сбитые с ходу столы.

Колес и взрывчатки усилья,
рабочая хватка и стать!
Не то чтобы дымом и пылью
мне нравилось больше дышать,

но я полюбил без оглядки
всей сущностью самой своей
строительный воздух площадки —
предтечи больших площадей.

3

На полке вагонной качаясь,
покинув уют и семью,
я ехал в Сибирь, возвращаясь,
как думалось, в юность свою.

Не зря же строительный опыт
достался мне с тех еще пор,
когда я ходил в землекопах,
месил известковый раствор.

Когда я весь день без обмана,
сумев эту хитрость постичь,
на той на козе деревянной
таскал краснотелый кирпич.

С работою прежней знакомый,
я верил умом и душой,
что буду почти что как дома
на нынешней стройке большой.

Но, эти портальные вышки
едва увидав наяву,
я обмер, как сельский мальчишка,
впервые попавший в Москву.

Я снизу смотрел и несмело
из юности бедной своей
на эти подъемные стрелы,
на дело крюков и ковшей.

Как будто, стеснительность пряча,
один, совершенно один,
стою я с лопатой и тачкой
средь этих железных махин.

Я в этом бы стиле и вкусе
и дальше раздумывать стал,
но тут самосвал Беларуси
под ковш экскаватора встал.

В семье тепловозов и кранов,
среди рычагов и колес
таким же он был великаном,
нагрузку такую же нес.

Растерянность кончилась сразу,
механику поняв чудес,
я быстро по лесенке МАЗа
в кабину огромную влез...

1958
Иркутск

133. КАРМАН

На будних потертых штанишках,
известных окрестным дворам,
у нашего есть у мальчишки
единственный только карман.

По летне-весенним неделям
под небом московским живым
он служит ему и портфелем,
и верным мешком вещевым.

Кладет он туда без утайки,
по всем закоулкам гостя,
то круглую темную гайку,
то ржавую шляпку гвоздя.

Какие там, к черту, игрушки —
подделки ему не нужны.
Надежнее комнатной пушки
помятая гильза войны.

И я говорю без обмана,
что вы бы нащупать смогли
в таинственных недрах кармана
ребячую горстку земли.

Ты сам, мальчуган краснороты,
в своей разобрался судьбе:
пусть будут земля и работа —
и этого хватит тебе.

1959

134. МАЛЬЧИШЕЧКА

В Петропавловской крепости,
в мире тюремных ворот,
возле отпертой камеры
молча теснится народ.

Через спины и головы
зрителям смутно видны
одинокие, голые
струйки тюремной стены.

Вряд ли скоро забудется
этот сложенный намертво дом,
кандалы каторжанина,
куртка с бубновым тузом.

Экскурсанты обычные,
мы под каменным небом сырым
лишь отрывистым шепотом,
на ухо лишь говорим.

Но какой-то мальчишечка
наши смущает умы,
словно малое солнышко
в царстве железа и тьмы.

И родители чинные,
те, что рядом со мною стоят,
на мальчишку на этого,
и гордясь и смущаясь, глядят.

Не стесняйся, мальчонышек!
Если охота — шуми,
быстро бегай по камерам,
весело хлопай дверьми.

Пусть резвится и носится
в милом азарте своем,
открывает те камеры,
что заперты были царем.

Без попытки пророчества
я предрекаю, любя:
никогда одиночество,
ни за что не коснется тебя.

1959
Ленинград

135. ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Татьяне

Не надо роскошных нарядов,
в каких щеголять на балах, —
пусть зимний снежок Ленинграда
тебя одевает впотьмах.

Я радуюсь вовсе недаром
усталой улыбке твоей,
когда по ночным тротуарам
идем мы из поздних гостей.

И, падая с темного неба,
в тишайших державных ночах
кристальные звездочки снега
блестят у тебя на плечах.

Я ночью спокойней и строже,
и радостно мне потому,
что ты в этих блестках похожа
на русскую зиму-зимý.

Как будто по стежке-дорожке,
идем по проспекту домой.
Тебе бы еще бы сапожки
да белый платок пуховой.

Я, словно родную науку,
себе осторожно твержу,
что я твою белую руку
покорно и властно держу...

Когда открываются рынки,
у запертых на ночь дверей
с тебя я снимаю снежинки,
как Пушкин снимал соболей.

1959

136. КОСОВОРОТКА

В музейных залах Ленинграда
я оглядел спокойно их —
утехи бала и парада,
изделья тщательных портных.

Я с безразличием веселым
смотрел на прошлое житье:
полуистлевшие камзолы
и потемневшее шитье.

Но там же, как свою находку,
среди паркета и зеркал
я русскую косоворотку,
едва не ахнув, увидал.

Подружка заводского быта,
краса булыжной мостовой,
была ты скроена и сшита
в какой-то малой мастерской.

Ты, покидая пыльный город,
взаймы у сельской красоты
сама себе взяла на ворот
лужаек праздничных цветы.

В лесу маевки созывая,
ты стала с этих самых пор
такою же приметой мая,
как соловьиный перебор.

О русская косоворотка,
рубаха питерской среды,
ты пахнешь песнею и сходкой,
ты знаешь пляску и труды!

Ты храбро шла путем богатым —
через крамольные кружки,
через трактиры и трактаты
и сквозь конвойные штыки.

Ты не с прошением, а с боем,
свергая ту, чужую власть,
сюда, в дворцовые покои,
осенней ночью ворвалась.

Сюда отчаянно пришла ты
под большевистскою звездой
с бушлатом, как с матросским братом,
и с гимнастеркою солдата —
своей окопною сестрой.

1959
Ленинград

137. ПАРОВОЗ

Посвящается Я. М. Кондратьеву, бывшему комиссару паровозных бригад, машинисту депо станции Москва-Сортировочная, участнику первого коммунистического субботника

1

Смену всю отработав,
в полусумерках мглистых
не пошли в ту субботу
по домам коммунисты.

Снова, с новою силой
всё депо загудело:
так ячейка решила,
обстановка велела.

Поскорее под небо
выводи из ремонта
паровозы для хлеба,
паровозы для фронта!

Пусть живительным жаром
топки вновь запылают,
их давно комиссары
на путях ожидают.

Повезут они вскоре
Красной гвардии части —
колчаковцам на горе,
партизанам на счастье.

2

Вот он стронул вагоны,
засвистел, заработал,
паровоз, воскрешенный
в ту большую субботу.

Ну, а те, что свершили
этот подвиг немалый,
из депо уходили,
улыбаясь устало.

И совсем не гадали —
так уж сроду ведется, —
что в народах и далях
этот день отзовется.

Что внедолге их дело
станет общею славой...

3

Сорок лет пролетело,
словно сорок составов.

На путях леспромхоза,
там, где лес вырубали,

след того паровоза
в наши дни отыскали.

Всё пыхтел он, работник,
всё свистел и старался,
словно вечный субботник
у него продолжался.

4

Был доставлен любовно
он из той лесосеки
и в депо подмосковном
установлен навеки.

Мы стоим в этом зданье,
слов напрасно не тратя:
я — с газетным заданьем
и товарищ Кондратьев.

Всё в нем очень приятно,
всё мне нравится вроде:
кителек аккуратный
и картуз не по моде.

В паровозную будку
по ступенькам влезаем:
я — сначала, как будто
гость, и старый хозяин.

Это он в ту субботу,
отощавший, небритый,
возвратил на работу
паровоз знаменитый.

В этой дружбе старинной
никакого изъяна,
человек и машина —
наших дней ветераны.

5

Всё узнать по порядку
не хватало тут свету.
Из кармана, с догадкой,
мы достали газету.

Чтобы всё, до детали,
рассмотреть по привычке,
не спеша ее смяли,
засветили от спички.

Пусть в остынувшей топке,
что открылась пред нами,
из нее неторопко
разгорается пламя.

6

От Москвы к Ленинграду
доберешься не скоро,
но в сознании — рядом
паровоз и «Аврора».

Не ушедшие тени,
не седые останки:
тот — на вечном храненье,
та — на вечной стоянке.

Возле славных и схожих
двух реликвий России
голоса молодежи
и дела молодые...

1959

138. КЕТМЕНЬ

Я отрицать того не стану,
что у калитки глупо стал,
когда сады Узбекистана
впервые в жизни увидал.

Глядел я с детским изумленьем,
не находя сначала слов,
на то роскошное скопленье
растений, ягод и плодов.

А вы, прекрасные базары,
где под людской нестройный гуд
со всех сторон почти задаром
урюк и дыни продают!

Толкался я в торговой давке,
шалел от красок золотых
вблизи киосков и прилавков
и ос над сладостями их.

Но под конец — хочу признаться,
к чему таиться и скрывать? —
устал я шумно восхищаться
и потихоньку стал вздыхать.

Моя душа не утихала,
я и грустил и ликовал,
как Золушка, что вдруг попала
из бедной кухоньки на бал.

Мне было больно и обидно
средь изобилия всего
за свой район, такой невидный,
и земли скудные его.

За тот подзол и супесчаник,
за край подлесков и болот,
что у своих отцов и нянек
так много сил себе берет.

И где не только в день вчерашний,
а и сейчас, чтоб лучше жить,
за каждым садиком и пашней
немало надо походить.

Я думал, губы сжав с усильем,
от мест родительских вдали,
что здесь-то лезет изобилье
само собою из земли.

Сияло солнце величаво,
насытив светом новый день,
когда у начатой канавы
я натолкнулся на кетмень.

Железом сточенным сияя,
он тут валялся в стороне,
как землекоп, что, отдыхая,
лежит устало на спине.

Я взял кетмень почтенный в руки
и кверху поднял для того,
чтоб ради собственной науки
в труде испробовать его.

Случалось ведь и мне когда-то
держать в руках — была пора —
и черенок большой лопаты,
и топорище топора.

Но этот — я не пожалею
сознаться в том, товарищ мой, —
не легче был, а тяжелее,
сноровки требовал иной.

Я сделал несколько движений,
вложивши в них немало сил,
и, как работник, с уваженьем
его обратно положил.

Так я узнал через усталость,
кромсая глину и пыля,
что здешним людям доставалась
не даром все-таки земля.

Она взяла немало силы,
немало заняла труда.
И это сразу усмирило
мои сомненья навсегда.

Покинув вскоре край богатый,
я вспоминаю всякий день
тебя, железный брат лопаты,
тебя, трудящийся кетмень!

1959
Ташкент

139. БЕЛАЯ ВЕЖА

Там, где мирные пашни,
на краю городском
молча высится башня,
окруженная рвом.

Солнце летнее светит,
снег из тучи летит.
Лишь она семь столетий
неподвижно стоит

возле близкой границы,
у текучей реки.
В этих старых бойницах
вы стояли, стрелки.

Нет, они не пустые:
как столетья назад,
очи древней России
из проемов глядят.

Башня Белая Вежа
словно башни Кремля:
очертания те же,
та же наша земля.

Ты стоишь на границе,
высока и стара,
красных башен столицы
боевая сестра.

Меж тобою и ними
зыбкий высится мост,
золотистый и синий,
из тумана и звезд.

1959
Минск

140. ОДА МЛАДШЕМУ ЛЕЙТЕНАНТУ

За широкой стеной кирпичной,
той, что русский народ сложил,
в старой крепости приграничной
лейтенант молодой служил.

Не с прохладцею, а с охотой
в этой крепости боевой
гарнизонную нес работу,
службу родине дорогой.

Служба точная на границе
от зари до второй зари, —
незадаром вы на петлицах,
темно-красные кубари.

...Не забудется утро это,
не останется он вдали,
день, когда на Страну Советов
орды двинулись и пошли.

В белорусские наши дали
налетев из земли чужой,
танки длинные скрежетали,
выли бомбы над головой.

Но, из камня вся и металла,
как воротаназаперти,
неподвижная крепость стала
у захватчиков на пути.

Неколеблемым был и чистым
этот намертво сбитый сплав:
амбразуры и коммунисты,
редюиты и комсостав.

Ты не знала тогда, Россия,
средь великих своих утрат,
что в тылу у врага живые
пехотинцы твои стоят.

Что на этой земле зеленой
под разводьями облаков
держат страшную оборону
рядовые твоих полков.

За сраженьем — еще сраженье,
за разведкою — снова бой,
и очнулся он в окруженье,
лейтенантик тот молодой.

Не бахвалясь и не канюча,
в пленном лагере, худ и зол,
по-за проволокою колючей
много месяцев он провел.

А когда, нагнетая силу,
до Берлина дошла война,
лейтенанта освободила
дорогая его страна.

Он не каялся, не гордился,
а, уехавши налегке,
как положено, поселился
в русском маленьком городке.

Жил не бедно и не богато,
семьянином заправским стал,

не сутулился виновато,
но о прошлом не вспоминал.

Если ж, выпивши, ветераны
рассуждали о той войне,
он держался заметно странно
и как будто бы в стороне.

...В это время, расчислив планы,
покоряя и ширь и высь,
мы свои залечили раны
и историей занялись.

В погребальные те окопы
по приказу родной земли
инженеры и землекопы
с инструментом своим пришли.

Открывая свои подвалы,
перекрытья своих глубин,
крепость медленно возникала
из безмолвствующих руин.

Проявлялись на стенах зданья
под осыпавшимся песком
клятвы, даты и завещанья,
резко выбитые штыком.

Тихо родина наклонилась
над патетикой гордых слов
и растроганно изумилась
героизму своих сынов.

...По трансляции и газете
из столичного далека
докатилися вести эти
до районного городка.

Скатерть блеском сияет белым,
гости шумные пьют винцо,
просветлело, помолодело
лейтенанта того лицо.

Объявляться ему не к спеху
и неловко героем слыть,
ну, а всё ж, запозднясь, поехал
в славной крепости погостить.

Тут же бывшему лейтенанту
(чтобы время зря не терять)
пионеров и экскурсантов
поручили сопровождать.

Он, витийствовать не умея,
волновал у людей умы.
В залах памятного музея
повстречали его и мы.

В сердце врезался непреклонно
хрипловатый его рассказ,
пиджачок его немудреный
и дешевенький самовяз.

Он пришел из огня и сечи
и, прострелен и обожжен,
ни медалями не отмечен,
ни в реляции не внесен.

Был он раненым и убитым
в достопамятных тех боях.
Но ни гордости, ни обиды
нету вовсе в его глазах.

Это русское, видно, свойство —
нам такого не занимать —
силу собственного геройства
даже в мыслях не замечать.

1959

141. ЛАНДЫШИ

Устав от тряски перепутий,
совсем недавно, в сентябре,
я ехал в маленькой каюте
из Братска вверх по Ангаре.

И полагал вполне разумно,
что мне удастся здесь поспать,
и отдохнуть от стройки шумной,
и хоть немного пописать.

Ведь помогают размышленью
и сочинению стихов
реки согласное теченье
и очертанья берегов.

А получилось так на деле,
что целый день, уже с утра,
на пароходике гремели
динамики и рупора.

Достав столичную новинку,
с усердьем честного глупца
крутил радист одну пластинку,
одну и ту же без конца.

Она звучала в час рассвета,
когда всё смутно и темно
и у дежурного буфета
закрыто ставнею окно.

Она не умолкала поздно,
в тот срок, когда, сбавляя ход,
под небом осени беззвездным
шел осторожно пароход.

Она кружилась постоянно
и отравляла мне житье,
но пассажиры, как ни странно,
охотно слушали ее.

В полупустом читальном зале,
где был всегда неверный свет,
ее парнишки напевали
над пачкой выцветших газет.

И в грубых ватниках девчонки
в своей наивной простоте,

поправив шпильки и гребенки,
слова записывали те:

«Ты сегодня мне принес
Не букет из пышных роз,
Не фиалки и не лилии, —
Протянул мне робко ты
Очень скромные цветы,
Но они такие милые...
Ландыши, ландыши...»

Нет, не цветы меня озлили
и не цветы мешали жить.
Не против ландышей и лилий
решил я нынче говорить.

Я жил не только для бумаги,
не только книжицы листал,
я по утрам в лесном овраге
сам эти ландыши искал.

И у меня от сонма белых
цветков, раскрывшихся едва,
стучало сердце и пьянела —
в листве и хвое — голова.

Я сам еще в недавнем прошлом
дарил созвездия цветов,
но без таких, как эти, пошлых,
без патефонных этих слов.

Поэзия! Моя отрада!
Та, что всего меня взяла
и что дешевою эстрадой
ни разу в жизни не была;

та, что, порвав на лире струны,
чтоб не томить и не бренчать,
хотела только быть трибуной
и успевала ею стать;

та, что жила едва не с детства,
с тех пор, как мир ее узнал,

без непотребного кокетства
и потребительских похвал, —

воюй открыто, без сурдинки,
гражданским воздухом дыши
и эти жалкие пластинки
победным басом заглуши!

1959
Пароход на Ангаре

142. МАШИНИСТЫ

В этой чистенькой чайной,
где плафоны зажглись,
за столом не случайно
машинисты сошлись.

Занялись разговором,
отойдя от работ,
пред отправкою скорой
в Узловую на слет.

Веселы и плечисты,
хороши на лицо,
говорят машинисты,
попивая пивцо.

Рук неспешных движенье
в подтверждение слов —
словно бы продолженье
тех стальных рычагов;

словно бы отраженье
за столом небольшим
своего уваженья
к содеповцам своим.

Кружки пенятся пеной,
а они за столом
продолжают степенно
разговор вчетвером.

Первый — храбрым фальцетом,
добрым басом — другой:
не о том да об этом —
о работе самой.

И, понятно, мы сами
возле кружек своих
за другими столами
молча слушаем их.

И вздыхаем согласно
там, где надо как раз,
будто тоже причастны
к их работе сейчас.

За столами другими
наблюдаем сполна,
как сидит вместе с ними
молодая жена.

Скрыла плечи и шею
под пуховым платком,
и гордясь и робея
в окруженье таком.

Раскраснелась не слишком.
Рот задумчиво сжат.
И нетронуто «мишки»
на тарелке лежат.

С удивлением чистым
каждый слушать готов
четырех машинистов,
четырех мастеров.

Громыхают составы
на недальних путях...
Машинисты державы
говорят о делах.

1959
Павлодар

143

Взгляд глубокий и чистый,
не старушечья стать.
Здравствуй, мать коммунистов,
здравствуй, русская мать.

Дети той колыбели,
что качала она,
надевали шинели,
воевали сполна.

До конца воевали.
И звенели потом
ордена и медали
за победным столом.

Голова поседела.
Ты, подруга и мать,
стать и бабкой успела,
и прабабушкой стать.

Есть ли семьи на свете
больше этой семьи?
Всюду трудятся дети,
всюду внуки твои.

Ты — в извечном движенье,
удивляющем нас.
На тебя с уваженьем
все мы смотрим сейчас.

И с любовью нетленной
посылаем вдогон
свой гражданский, военный,
свой всеобщий поклон.

1959

144. АЛЕКСАНДРУ РЕШЕТОВУ

Тридцать лет тому назад
я узнал воочью
не дворцовый Петроград —
Ленинград рабочий.

И доныне помнить рад
с обожаньем редким
дымный зимний Ленинград
первой пятилетки.

Трубы города того —
каменные вышки,
воспевателей его
в худеньких пальтишках.

Мы ходили в дальний срок
по путям таковским,
ленинградский паренек
с пареньком московским.

Не на танцах и балах,
не в паркетном зале,
а в путиловских цехах
вместе выступали.

Жили мы с тобой тогда,
юные, худые,
как ударники труда,
люди заводские.

Так прими же в новый срок
мой привет отменный,
Сашка Решетов, дружок,
юбиляр почтенный.

1959

145. НАТАЛИ

Уйдя с испугу в тихость быта,
живя спокойно и тепло,
ты думала, что всё забыто
и всё травою поросло.

Детей задумчиво лаская,
старела как жена и мать...
Напрасный труд, мадам Ланская,
тебе от нас не убежать!

То племя, честное и злое,
тот русский нынешний народ,
и под могильною землею
тебя отыщет и найдет.

Еще живя в сыром подвале,
где пахли плесенью углы,
мы их по пальцам сосчитали,
твои дворцовые балы.

И не забыли тот, в который,
раба страстишечек своих,
толкалась ты на верхних хорах
среди чиновниц и купчих.

И, замирая то и дело,
боясь, чтоб Пушкин не узнал,
с мольбою жадною глядела
в ту бездну, где крутился бал.

Мы не забыли и сегодня,
что для тебя, дитя балов,
был мелкий шепот старой сводни
важнее пушкинских стихов.

1959
Ленинград

146. ПЕТР И АЛЕКСЕЙ

Петр, Петр, свершились сроки.
Небо зимнее в полумгле.
Неподвижно бледнеют щеки,
и рука лежит на столе —

та, что миловала и карала,
управляла Россией всей,
плечи женские обнимала
и осаживала коней.

День — в чертогах, а год — в дорогах,
по-мужицкому широка,
в поцелуях, в слезах, в ожогах
императорская рука.

Слова вымолвить не умея,
ужасаясь судьбе своей,
скорбно вытянувшись, пред нею
замер слабостный Алексей.

Знает он, молодой наследник,
но не может поднять свой взгляд:
этот день для него последний —
не помилуют, не простят.

Он не слушает и не видит,
сжав безвольно свой узкий рот.
До отчаянья ненавидит
всё, чем ныне страна живет.

Не зазубренными мечами,
не под ядрами батарей —
утоляет себя свечами,
любит благовест и елей.

Тайным мыслям подвержен слишком,
тих и косен до дурноты.
«На кого ты пошел, мальчишка,
с кем тягаться задумал ты?

Не начётчики и кликуши,
подвывающие в ночи, —
молодые нужны мне души,
бомбардиры и трубачи.

Это все-таки в нем до муки,
через чресла моей жены,
и усмешка моя, и руки
неумело повторены.

Но, до боли души тоскуя,
отправляя тебя в тюрьму,
по-отцовски не поцелую,
на прощанье не обниму.

Рот твой слабый и лоб твой белый
надо будет скорей забыть.
Ох, нелегкое это дело —
самодержцем российским быть!..»

Солнце утренним светит светом,
чистый снег серебрит окно.
Молча сделано дело это,
всё заранее решено...

Зимним вечером возвращаясь
по дымящимся мостовым,
уважительно я склоняюсь
перед памятником твоим.

Молча скачет державный гений
по земле — из конца в конец.
Тусклый венчик его мучений,
императорский твой венец.

1945—1949
Ленинград

147. ВЕТКА ХЛОПКА

Скажу открыто, а не в скобках,
что я от солнца на мороз
не что-нибудь, а ветку хлопка
из путешествия привез.

Она пришлась мне очень кстати,
я в самом деле счастлив был,
когда узбекский председатель
ее мне в поле подарил.

Всё по-иному осветилось,
стал как-то праздничнее дом
лишь оттого, что поместилась
та ветка солнца над столом.

Не из кокетства, не из позы
я заявляю, не тая:
она мне лучше влажной розы,
нужнее пенья соловья.

Не то чтоб в этот век железный,
топча прелестные цветы,
не принимал я бесполезной,
щемящей душу красоты.

Но мне дороже ветка хлопка
не только пользою простой,
а и своею неторопкой,
своей рабочей красотой.

Пускай она зимой и летом,
попав из Азии сюда,
всё наполняет мягким светом,
дыханьем мира и труда.

1960
Ташкент

148. СОБАКА

Объезжая восточный край —
и высоты его, и дали, —
сквозь жару и пылищу — в рай
неожиданно мы попали.

Здесь, храня красоту свою
за надежной стеной дувала,
всё цвело, как цветет в раю,
всё по-райски благоухало.

Тут владычили тишь да ясь,
шевелились цветы и листья.
И висели кругом, светясь,
винограда большие кисти.

Шелковица. Айва. Платан.
И на фоне листвы и глины
синеокий скакал джейран,
распускали хвосты павлины.

Мы, попав в этот малый рай
на разбитом автомобиле,
ели дыни и пили чай
и джейрана из рук кормили.

Он, умея просить без слов,
ноги мило сгибал в коленках.
Гладил спину его Светлов,
и снимался с ним Евтушенко.

С ними будучи наравне,
я успел увидать, однако,
что от пиршества в стороне
одиноко лежит собака.

К нам не ластится, не визжит,
плотью, видимо, понимая,
что ее шелудивый вид
оскорбляет красоты рая.

Хватит жаться тебе к стене,
потянись широко и гордо,
подойди, не боясь, ко мне,
положи на колено морду.

Ты мне дорог почти до слез,
я таких, как ты, обожаю,
верный, храбрый дворовый пес,
ты, собака сторожевая.

1960
Ташкент

149. РЕЧЬ ФИДЕЛЯ КАСТРО В НЬЮ-ЙОРКЕ

Зароптал
и захлопал восторженно
зал —
это с дальнего кресла
медлительно встал

и к трибуне пошел —
казуистам на страх —
вождь кубинцев
в солдатских своих башмаках.

Пусть проборам и усикам
та борода
ужасающей кажется —
что за беда?

Ни для сладеньких фраз,
ни для тонких острот
не годится
охрипший ораторский рот.

Непривычны
для их респектабельных мест
твой внушительный рост
и решающий жест.

А зачем их жалеть,
для чего их беречь?
Пусть послушают
эту нелегкую речь.

С ними прямо и грубо —
так время велит —
Революция Кубы
сама
говорит.

На таком же подъеме,
таким языком
разговаривал некогда
наш Совнарком.

И теперь,
если надо друзей защитить,
мы умеем
таким языком говорить.

И теперь,
если надо врагов покарать,
мы умеем
такие же речи держать.

1960

150. ПИСЬМО К ДРУГУ-СТИХОТВОРЦУ

Михаилу Луконину

Меж неземной и средь житейской
толпы поэтов небольшой
мы — плебс. И вкус у нас плебейский,
а не какой-нибудь иной.

Но плебс совсем другого рода,
а не такого, не того,
что, тщась шагать в главе народа,
плетется сам в хвосте его.

Для песенок с пошибом старым
не брали мы со стороны
ни семиструнную гитару,
ни балалайку в три струны.

И в небольшом фабричном зале
средь чтения своих страниц
чечеткой, сдуру, не прельщали
ряды смеющихся девиц.

...Мы с теми даже вроде дружим,
но сами вовсе не из тех,
кому — до боли сердца — нужен
любой, но все-таки успех.

Мы не из тех, кто молодежи
строчит намеки да интим.
Мы сами это делать можем,
да не желаем. Не хотим.

Мы не хотим, чтоб нам вдогонку —
оценка та совсем не впрок:
«Ах, как он мил! Какой он тонкий!» —
звучал прелестный голосок.

Но это только отрицанье.
А вдруг достойные умы
нас спросят: «Ну а что вы сами?»
Действительно — что сами? Мы?

Вдыхая жадно воздух здешний,
с тобою вместе мы вдвоем
без фейерверка, непоспешно,
хоть время к вечеру, идем.

Мы отвергаем за работой —
не только я, не только ты —
красивости или красоты
для социальной красоты.

Мы добываем, торжествуя
и глядя времени в лицо,

не «мо», не хохму продувную,
а просто красное словцо.

Да, то словцо и то словечко,
произнесенное в упор,
что как истопленная печка
или в зазубринах топор.

1960

151. ПОЭТЫ

Я не о тех золотоглавых
певцах отеческой земли,
что пили всласть из чаши славы
и в антологии вошли.

И не о тех полузаметных
свидетелях прошедших лет,
что всё же на листах газетных
оставили свой слабый след.

Хочу сказать, хотя бы сжато,
о тех, что, тщанью вопреки,
так и ушли, не напечатав
одной-единственной строки.

В поселках и на полустанках
они — средь шумной толчеи —
писали на служебных бланках
стихотворения свои.

Над ученической тетрадкой,
в желанье славы и добра,
вздыхая горестно и сладко,
они сидели до утра.

Неясных замыслов величье
их души собственные жгло,
но сквозь затор косноязычья
пробиться к людям не могло.

Поэмы, сложенные в спешке,
читали с пафосом они
под полускрытые усмешки
их сослуживцев и родни.

Ах, сколько их прошло по свету
от тех до нынешних времен,
таких неузнанных поэтов
и нерасслышанных имен!

Всех бедных братьев, что к потомкам
не проложили торный путь,
считаю долгом пусть негромко,
но благодарно помянуть.

Ведь музы Пушкина и Блока,
найдя подвал или чердак,
их посещали ненароком,
к ним забегали просто так.

Их лбов таинственно касались,
дарили две минуты им
и, улыбнувшись, возвращались
назад, к властителям своим.

1960

152. БОРИС КОРНИЛОВ

Из тьмы забвенья воскрешенный,
ты снова встретился со мной,
пудовой гирею крещенный,
ширококостый и хмельной.

Не изощренный томный барин —
деревни и заставы сын,
лицом и глазками татарин,
а по ухватке славянин.

Веселый друг и сильный малый,
а не жантильный вертопрах,

приземистый, коротколалый,
в каких-то шрамах и буграх.

То — буйный, то — смиренно-кроткий,
то — предающийся греху,
в расстегнутой косоворотке,
в боярской шубе на меху.

Ты чужд был залам и салонам,
так, как чужды наверняка
диванам мягкого вагона
кушак и шапка ямщика.

И песни были! .. Что за песни!
Ты их записывал пером,
вольготно сидя, как наездник,
а не как писарь за столом.

А вечером, простившись с музой,
шагал, куда печаль влекла,
и целый час трещали лузы
у биллиардного стола.

Случалось мне с тобою рядом
бродить до ранней синевы
вдоль по проспектам Ленинграда,
по переулочкам Москвы.

И я считал большою честью,
да и теперь считать готов,
что брат старшой со мною вместе
гулял до утренних гудков.

Всё это внешние приметы,
быть может, резкие — прости.
Я б в душу самую поэта
хотел читателя ввести.

Но это вряд ли мне по силам,
да и нужды особой нет,
раз ты опять запел, Корнилов,
наш сотоварищ и поэт.

1960

153. САПЕРЫ

Уже в Истории все даты,
какие та дала война,
а для саперного солдата
еще не кончилась она.

То вдалеке, то чуть не рядом,
а то совсем под боком, тут,
они немецкие снаряды
из подземелий достают.

И бережно, дыша помалу,
с нерасторопностью своей
несут их утром к самосвалу,
как носят бомбы и детей.

Мы оценить их подвиг тяжкий
по справедливости должны.
Снимайте шляпы и фуражки
перед саперами страны.

1961

154. РОМАШКА

Из всей земли исполинской
взаправду, а не рисуясь,
Америкою Латинской
всё больше интересуюсь.

Журналы всю ночь листая,
вычитывая газеты,
старательно собираю
подробности и приметы.

С мальчишеским прилежаньем,
с монашеской верой в чудо
далекие очертанья
рассматриваю отсюда.

При свете настольной лампы
ты кажешься очень странной,

чужая ночная пампа,
таинственная саванна.

Но вот я узнал впервые,
что там по границам вспашки
растут, как у нас в России,
подсолнечник и ромашки.

Мне выразить это трудно,
но есть у земли желанье,
чтоб сблизились обоюдно
гражданские расстоянья.

Поэтому эти строки
тебе посвящаю смело,
рязанский цветок далекий,
ромашка Венесуэлы.

1961

155. КУБИНСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Средь плантаций и нив
весела гуахира,
в этот день получив
ключ от новой квартиры.

Растерявшись, стоит,
на глазах хорошея,
и блистает-блестит
светлый ключик на шее.

Не таскать же в руке
тот подарок артельный —
пусть висит на шнурке,
словно крестик нательный.

Хватит спать на полах,
по каморкам тесниться,
копошиться в углах,
на задворках ютиться!

Не пришлось мне бывать
там, где правили янки,
но пришлось повидать
чердаки и землянки.

Он повсюду таков
и везде одинаков,
нищий быт батраков
и ночлежных бараков.

Обозлясь в тесноте,
мы отчаянно сами
все клоповники те
сокрушили ломами.

Мы развеяли стиль
чердака и подвала.
Только мелкая пыль,
постояв, оседала.

И умом и душой
принимаю сугубо
этот ключ небольшой —
символ нынешней Кубы.

Будто месяц из туч,
тускло смазанный жиром,
серебрящийся ключ
от отдельной квартиры.

1961

156. ВЫ НЕ ИСЧЕЗЛИ

Внезапно кончив путь короткий
(винить за это их нельзя),
с земли уходят одногодки:
полузнакомые, друзья.

И я на грустной той дороге,
судьбу предчувствуя свою,
подписываю некрологи,
у гроба красного стою.

И, как ведется, по старинке,
когда за окнами темно,
справляя шумные поминки,
пью вместе с вдовами вино.

Но в окруженье слез и шума,
средь тех, кто жадно хочет жить,
мне не уйти от гордой думы,
ничем ее не заглушить.

Вы не исчезли, словно тени,
и не истаяли, как дым,
все рядовые поколенья,
что называю я своим.

Вы пронеслись объединенно,
оставив длинный светлый след, —
боюсь красот! — как миллионы
мобилизованных комет.

Но восхваления такие
чужды и вовсе не нужны
начальникам цехов России,
политработникам страны.

Не прививалось преклоненье,
всегда претил кадильный дым
тебе, большое поколенье,
к какому мы принадлежим.

В скрижали родины Советов
врубило, как зубилом, ты
свой идеал, свои приметы,
свои духовные черты.

И их не только наши дети,
а люди разных стран земли
уже почти по всей планете,
как в половодье, понесли.

1961

157. ПЕСНЯ

В посольствах, на фабриках, в клубах,
набитых народом сполна,
открыто братается с Кубой
огромная наша страна.

Пускай же о митингах этих,
что длятся почти до утра,
печатают сводки в газете,
вещают вовсю рупора.

Не то чтоб тайком и украдкой,
а так, чтоб видал бизнесмен,
кладем ее сахар внакладку
и нефть отправляем взамен.

И в маленьких клубах предместий,
пока на трибуне доклад,
с ушанками русскими вместе
береты кубинцев лежат.

Россия братается с Кубой,
даря ей величье свое,
и прямо в солдатские губы
заздравно целует ее.

1961

158. РЯЗАНСКИЕ МАРАТЫ

Когда-нибудь, пускай предвзято,
обязан будет вспомнить свет
всех вас, рязанские Мараты
далеких дней, двадцатых лет.

Вы жили истинно и смело
под стук литавр и треск пальбы,
когда стихала и кипела
похлебка классовой борьбы.

Узнав о гибели селькора
иль об убийстве избача,
хватали вы в ночную пору
тулуп и кружку первача

и — с ходу — уезжали сами
туда, с наганами в руках.
Ох, эти розвальни и сани
без колокольчика, впотьмах!

Не потаенно, не келейно —
на клубной сцене, прямо тут,
при свете лампы трехлинейной
вершились следствие и суд.

Не раз, не раз за эти годы —
на свете нет тяжельше дел! —
людей, от имени народа,
вы посылали на расстрел.

Вы с беспощадностью предельной
ломали жизнь на новый лад
в краю ячеек и молелен,
средь бескорыстья и растрат.

Не колебались вы нимало.
За ваши подвиги страна
вам — равной мерой — выдавала
выговора и ордена.

И гибли вы не в серной ванне,
не от надушенной руки.
Крещенской ночью в черной бане
вас убивали кулаки.

Вы ныне спите величаво,
уйдя от санкций и забот,
и гул забвения и славы
над вашим кладбищем плывет.

1961

159. ВЕРНУЛСЯ ТОВАРИЩ

Вернулся в свой город советский
товарищ из той стороны,
куда наши души по-детски
направлены, обращены.

Из той возвратился он дали,
сошел из того далека,
куда так нечасто летали
посланцы России пока.

Он стал как бы выше и шире
и даже красивше, чем был:
не зря в удивительном мире
наш давний товарищ гостил.

Как будто за эту неделю —
средь митингов, пашен и скал —
он всё обаянье Фиделя,
всю ту атмосферу впитал.

Наверное, так за границей
рабочие люди глядят,
когда из советской столицы
воротится их делегат.

Он прежний и вроде не прежний,
и братья посланца того,
как мы, изумленно и нежно
все вместе глядят на него.

1961

160. ПРОПАГАНДА

К нам несут провода
дальний гул революций.
Мы не лезем туда,
там без нас обойдутся.

Но, однако, не прочь —
русской полною мерой —

пропагандой помочь,
поделиться примером.

Всей земле трудовой,
от пустынь до Европы,
посылаем мы свой
исторический опыт.

Страны южной жары,
знают Куба и Чили,
на кого топоры
наши деды точили.

Средь светящейся тьмы
вдоль Руси деревянной
сотрясались холмы,
словно ваши вулканы.

Не у волжских высот,
не в родимой сторонке —
Стенька Разин плывет
по реке Амазонке.

1961

161. ПЕРВЫЙ ПЛУГ

По главной площади Гвинеи
под рев толпы и бубнов стук,
от наслаждения немея,
несли два черных парня плуг.

Был в плуге этом смысл немалый,
его, до болтика, сполна,
сама, ликуя, отковала
в народной кузнице страна.

Он первым был. И плыл впервые
средь восклицаний и знамен —
мальчишка мирной индустрии,
предтеча будущих времен.

Вся площадь пела и теснилась,
ей показалось неспроста,
что в небе, вслед за ним, струилась
семян и света борозда.

Нисколько я не умаляю
других событий и заслуг,
но душу просто умиляет
освобожденья первый плуг.

Мне представляется всё чаще,
всё больше ум волнует мой
тот плуг, на крылышках летящий
над африканскою землей.

1961

162. ПОД ФОНАРЕМ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ

Под фонарем на перекрестке,
юнцу влюбленному под стать,
я у вечернего киоска
люблю газеты ожидать.

Они сегодня запоздали,
но расходиться — не расчет,
и очередь, как и вначале,
не убывает, а растет.

Здесь нет азарта, нету давки
и жадных зайчиков в глазах,
как вдоль мосторговских прилавков
и в рыночных очередях.

На зимней площади столицы
иль на окраине страны
газетной очереди лица
всегда достоинства полны.

Стоят в значительном покое,
от суетности в стороне,

старуха грузная с клюкою,
мужчина в шляпе и пенсне,
пацан в лиловых брюках лыжных
и в ботах с пряжками старик.

Мне хорошо стоять средь ближних,
я к ним, как свойственник, привык.

Тут, словно бы в каком-то классе,
отчетливая тишина,
одно молчащее согласье,
сосредоточенность одна.

Нам дорог строй газетной лиры,
ее торжественность и прыть.
Перед лицом всеобщим мира
негоже мелочными быть.

1961

163. РАЗГОВОР О ПОЭЗИИ

Ты мне сказал, небрежен и суров,
что у тебя — отрадное явленье! —
есть о любви четыреста стихов,
а у меня два-три стихотворенья.

Что свой талант (а у меня он был,
и, судя по рецензиям, не мелкий)
я чуть не весь, к несчастью, загубил
на разные гражданские поделки.

И выходило — мне резону нет
из этих обличений делать тайну, —
что ты — всепроникающий поэт,
а я — лишь так, ремесленник случайный.

Ну что ж, ты прав. В альбомах у девиц,
средь милой дребедени и мороки,
в сообществе интимнейших страниц
мои навряд ли попадутся строки.

И вряд ли что, открыв красиво рот,
когда замолкнут стопки и пластинки,
мой грубый стих томительно споет
плешивый гость притихшей вечеринке.

Помилуй бог! — я вовсе не горжусь,
а говорю не без душевной боли,
что, видимо, не очень-то гожусь
для этакой литературной роли.

Я не могу писать по пустякам,
как словно бы мальчишка желторотый, —
иная есть нелегкая работа,
иное назначение стихам.

Меня к себе единственно влекли —
я только к вам тянулся по наитью —
великие и малые событья
чужих земель и собственной земли.

Не так-то много написал я строк,
не все они удачны и заметны, —
радиостудий рядовой пророк,
ремесленник журнальный и газетный.

Мне в общей жизни, в общем, повезло,
я знал ее и крупно и подробно.
И рад тому, что это ремесло
созданию истории подобно.

1961

164. ПЕРВЫЕ ДНИ

Мне с неподдельным увлеченьем
пришлось недавно наблюдать,
как город малого значенья
спешит столицей края стать.

Его заботит и тревожит,
что он, желая новым быть,
пока еще никак не может
всё это новое вместить.

Ведь государственная милость
по воле съезда самого
совсем негаданно свалилась
на жизнь заштатную его.

Он знает сам, что нуждам края
теперь, в иные времена,
его медлительность былая
неподходяща и смешна.

Ему б, конечно, полагалось,
дать время прошлое забыть,
одуматься хотя бы малость,
хотя б фасады подновить.

Но жизнь зовет неумолимо,
предначертание не ждет,
Сюда уже по-русски хлынул,
как в песнях, всяческий народ.

От телеграфа до крайкома,
на смех и шутки не скупа,
держась привычно, словно дома,
весь день курсирует толпа.

Она, на улицы июля
наружу вынеся свой быт,
как будто борщ в большой кастрюле,
безостановочно кипит.

Держа в руках буханки хлеба,
она в положенный ей час
ест на ходу под пыльным небом
и жадно пьет из кружек квас.

А ночью, постелившись жестко,
спит неспокойно, второпях
в Дворце культуры на подмостках
и в техникумах на столах.

Наполненные силой ве́щей,
вверху и сбоку, там и тут

над нею лозунги трепещут,
цитаты к подвигам зовут.

И ветер первых пятилеток,
полузабытый ветер тот,
всю ночь качая тени веток,
по длинным улицам метет.

1961
Казахстан

165

По траве той непомерной дали,
по цветам казахской стороны
вы свое навеки отгуляли,
конские степные табуны.

Там, где ваша вольница кружила,
ныне средь распаханных широт
чуть ли не последняя кобыла
воду для механиков везет.

А вблизи, безмолвно и послушно,
в блеске механических зарниц,
вылетают из стальной конюшни
двадцать миллионов кобылиц.

Все они похожи и красивы,
лошади земли и высоты,
красные отсвечивают гривы,
белые раскинуты хвосты.

Конница теперешнего века,
вытоптав полынную печаль,
русского уносит человека
в черную космическую даль.

1961
Павлодар

166. ДВА СРОКА

Не дай вам бог — в леске далеком
иль возле водного пути —
жить в доме отдыха два срока,
два целых века провести.

В день, обозначенный в путевке,
со всех сторон и всех широт
еще с утра, без остановки,
сюда съезжается народ.

Твою фамилию по чести
контора вносит в общий ряд.
Ты принят. Ты со всеми вместе,
свой отдыхающий, свой брат.

Ты, как участник общежитья,
со всеми делишь круг забот
и радость общую открытья
окрестных всяческих красот.

Уже на этой части суши,
от мест родительских вдали,
друг дружку родственные души
совсем нечаянно нашли.

Уже на вечере вопросов
и в разговорах — просто так —
определился свой философ
и объявился свой дурак.

Людей случайное собранье
сплотилось, словно бы семья:
есть общие воспоминанья,
чуть не история своя.

Ты с ними свыкся незаметно,
тебе нужны и та и тот.
Но вот окончен срок заветный
и день отъезда настает.

Несут в автобус чемоданы,
бегут по лестницам.
А ты
стоишь потерянно и странно
средь возбужденной суеты.

По профсоюзному веленью,
придя сюда своим путем,
сменились, словно поколенья,
твои соседи за столом.

Ты с ними общностью не связан,
и, вероятно, потому
твои — из прошлого — рассказы
не интересны никому.

Им невдомек и незнакомо
всё то, к чему ты так привык,
средь новых лиц большого дома
чужой зажившийся старик.

1961

167

Иные люди с умным чванством,
от высоты навеселе,
считают чуть ли не мещанством
мою привязанность к земле.

Но погоди, научный автор,
ученый юноша, постой!
Я уважаю космонавтов
ничуть не меньше, чем другой.

Я им обоим благодарен,
пред ними кепку снять готов.
Пусть вечно славится Гагарин
и вечно славится Титов!

Пусть в неизвестности державной,
умнее бога самого,
свой труд ведет конструктор Главный
и все помощники его.

Я б сам по заданной программе,
хотя мой шанс ничтожно мал,
в ту беспредельность, что над нами,
с восторгом юности слетал.

Но у меня желанья нету,
нет нетерпенья, так сказать,
всю эту старую планету
на астероиды менять.

От этих сосен и акаций,
из этой вьюги и жары
я не хочу переселяться
в иные, чуждые миры.

Не оттого, что в наших кружках
нет слез тщеты и нищеты
и сами прыгают галушки
во все разинутые рты.

Не потому, чтоб здесь спокойно
жизнь человечества текла:
потерян счет боям и войнам,
и нет трагедиям числа.

Терпенье нужно, и геройство,
и даже гибель, может быть,
чтоб всей земли переустройство,
как подобает, завершить.

И всё же мне родней и ближе
загадок Марса и Луны
судьба Рязани и Парижа
и той испанской стороны.

1962

168. ОДА РУССКОМУ ЧЕЛОВЕКУ

О, этот русский непрестанный,
приехавший издалека,
среди чинар Таджикистана,
в погранохране и в Цека.

В прорабской временной конторке,
где самый воздух раскален,
он за дощатой переборкой
орет азартно в телефон.

В коммунистической артели,
где Вахш клубится и ревет,
он из отводного тоннеля
наружу камень выдает.

Участник жизни непременный,
освоив с ходу местный быт,
за шатким столиком пельменной
с друзьями вместе он сидит.

Совсем не ради маскировки
а после истинных работ
в своей замасленной спецовке
он ест шурпу и пиво пьет.

Высокомерия и лести
и даже признаков того
ни в интонации, ни в жесте
вы не найдете у него.

Не как слуга, не как владыка —
хоть и подтянут, но открыт —
по-равноправному с таджиком
товарищ русский говорит.

Еще тогда, в году двадцатом,
полузабывшемся вдали,
его винтовка и лопата
тебе, дехканин, помогли.

Потом не раз из дальней дали
на помощь родине твоей
Москва и Волга посылали
своих отцов и сыновей.

Их много, чистых и нечистых,
трудилось тут без лишних слов:
организаторов, чекистов,
учителей и кулаков.

Мы позабыть никак не в силах —
ни старший брат, ни младший брат —
о том, что здесь, в больших могилах,
на склонах гор, чужих и милых,
сыны российские лежат.

Апрельским утром неизменно
к ним долетает на откос
щемящий душу запах сена
сквозь красный свет таджикских роз.

1962

169. СТАРИКИ

В мирном краю таджиков
стройные, как штыки,
вечером вдоль арыков
движутся старики.

Буднично величавым
бывшим бойцам страны
тросточки не по нраву,
посохи не нужны.

Верным ее солдатам,
выросшим на плацу,
не по душе халаты,
галстуки не к лицу.

Роскоши да истомы
истинные враги,
носят по-строевому
китель и сапоги.

Дома же непременно,
правнуков веселя,
точно висят на стенах
длинные шинеля.

Снайперы и рубаки,
честно вошли они,
словно бы из атаки,
в мирные эти дни.

Это от вашей хватки,
от удалых мечей
драпала в беспорядке
конница басмачей.

В долгом кровавом споре
вышибли вы ее
из голубых предгорий
прямо в небытие.

Движась дорогой длинной
вдаль от своей земли,
вы до твердынь Берлина
все-таки дотекли.

И сотрясли сторицей
в ярости боевой
вражескую столицу
собственною рукой.

В ножны ушли достойно
памятные клинки.
Кончились ваши войны,
гордые старики,

...Ходите вы меж нами,
слава и честь страны,
уличными огнями
смутно освещены.

В позднее это время
вдоль по дороге всей
ветер качает тени
листьев и фонарей.

1962

170

Приехавшему на Восток
простому гостю Душанбе
пришелся по сердцу платок,
что служит поясом тебе.

Его на талии прямой
таджик привычно завязал.
Он украшает облик твой,
но украшением не стал.

Он для кутящего — карман,
а для скупого — кошелек,
и как лукошко для семян
у горных жителей платок.

Какой бы смысл еще найти,
о чем еще не позабыть?
Он малой ска́теркой в пути
и полотенцем может быть.

А тот, кто в городе живет
и ходит завтракать к столу,
пускай меня не упрекнет
за эту скромную хвалу.

1962

171. НЕПРОШЕНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Едущие в машинах,
нехотя, свысока,
сквозь боковые стекла
смотрят на ишака.

Радио и газеты,
с хитростью и умом,
словно бы сговорившись,
не говорят о нем.

В планах районов сельских
близких и дальних лет
нет его в главном тексте
и в примечаньях нет.

В общем-то, несомненно,
что справедливо он
вытеснен на проселки, —
в сущности, обречен.

Но, несмотря на это,
логике вопреки,
очень мне симпатичны
бедные ишаки.

Даже не представляя,
что его дальше ждет,
ослик четвероногий
ношу свою несет.

Это на нем спокойно —
спешка им не с руки —
едут в районный город
важные старики.

Это на нем пока что
юноша и вдова
возят тутовник горный,
коконы и дрова.

Это его копыта
летом и в снегопад
быстро и деловито
вдоль по шоссе стучат.

Маленький, работящий,
он вдалеке и тут,
сосредоточась, тащит
всё, что ему дадут.

Я б, говоря по правде,
хоть и довольно смел,
даже по принужденью
на ишака не сел.

Немолодой товарищ,
грамотный гражданин,
я обожаю скорость
длинных автомашин.

Мне по душе и нраву —
верьте в мои слова —
мягкие их сиденья,
жесткие кузова.

Дороги мне приметы
быстротекущих лет:
грохот мотоциклета,
легкий велосипед.

Так что при этих взглядах —
как бы точней сказать? —
благостным ретроградом
трудно меня считать.

Мне захотелось просто
приободрить слегка
перед своим отъездом
этого ишака.

Просто мне захотелось,
сам не пойму с чего,
скрасить прощальным словом
будущее его.

1962

172. АЛЕКСЕЙ ФАТЬЯНОВ

Мне во что бы то ни стало
надо б встретиться с тобой,
русской песни запевала
и ее мастеровой.

С обоюдным постоянством
мы б послали с кондачка
все романсы-преферансы
для частушки и очка.

Володимирской породы
достославный образец,
добрый мóлодец народа,
госэстрады молодец.

Ты никак не ради денег,
не затем, чтоб лишний грош,
по Москве, как коробейник,
песни сельские несешь.

Песня тянет и туманит,
потому что между строк
там и ленточка, и пряник,
тут и глиняный свисток.

Песню петь-то надо с толком,
потому что между строк
и немецкие осколки,
и блиндажный огонек.

Там и выдумка и были,
жизнь как есть — ни дать, ни взять.
Песни те, что не купили,
будем даром раздавать.

Краснощекий, белолицый,
приходи ко мне домой,
шумный враг ночных милиций,
брат милиции дневной.

Приходи ко мне сегодня
чуть, с устаточку, хмелен:
посмеемся — я ж охотник,
и поплачем — ты ж силен.

Ну-ка вместе вспомним, братцы,
отрешась от важных дел,
как любил он похваляться,
как он каяться умел.

О тебе, о неушедшем, —
не смогу себе простить! —
я во времени прошедшем
вздумал вдруг заговорить.

Видно, черт меня попутал,
ввел в дурацкую игру.
Это вроде б не к добру-то,
впрочем, нынче всё к добру.

Ты меня, дружок хороший,
за обмолвку извини.
И сегодня же, Алеша,
или завтра позвони...

1962

173. ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК

Живя в двадцатом веке,
в отечестве своем,
хочу о человеке
поговорить простом.

Раскрыв листы газеты,
раздумываю зло:
определенье это
откудова пришло?

Оно явилось вроде
из тех ушедших лет:
смердит простонародье,
блистает высший свет.

В словечке также можно
смысл увидать иной:
вот этот, дескать, сложный,
а этот вот — простой.

На нашем белом свете,
в республиках страны,
определенья эти
нелепы и смешны.

Сквозь будни грозовые
идущий в полный рост,
сын ленинской России
совсем не так уж прост.

Его талант и гений,
пожалуй, посильней
иных стихотворений
и множества статей.

За всё, что миру нужно,
товарищ верный тот
отнюдь не простодушно
ответственность несет.

1962

174. МОНОЛОГ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА

Я русский по виду и сути.
За это меня не виня,
таким вот меня и рисуйте,
ваяйте и пойте меня.

Нелегкие общие думы
означили складку у рта.
Мне свойственны пафос и юмор,
известна моя доброта.

Но в облике том большелобом,
в тебе, пролетарская кость,
есть также не то чтобы злоба,
а грубая, честная злость.

Я русский по духу и плоти.
Развеяв схоластику в прах,
и в мысли моей, и в работе
живет всесоюзный размах.

Под знаменем нашим державным
я — с тех достопамятных пор —
нисколько не главный, а равный
средь братьев своих и сестер.

Литовцы, армяне, казахи,
мы все в государстве своем
не то чтоб в зазнайстве и страхе,
а в равенстве общем живем.

Я с этим испытанным братством,
с тобой, дорогая страна,
всем русским духовным богатством
успел поделиться сполна.

И сам я, не менее знача,
не сдавши позиций своих,
стал много сильней и богаче
от песен и музыки их.

1962

175. ПЕСЕНКА

Там, куда проложена
путь-дорога торная,
мирно расположена
фабрика Трехгорная.

Там, как полагается,
новая и вечная
вьется-навивается
нитка бесконечная.

Вслед за этой ниточкой
ходит по-привычному
Рита-Маргариточка,
молодость фабричная.

Руки ее скорые
тем лишь озабочены,
чтоб текла по-спорому
ровная уточина.

Пусть она и модница,
но не привередница.
Русская работница,
дедова наследница.

С нею здесь не носятся,
будто с исключением,
но зато относятся
с добрым уважением.

Быстрая и славная,
словно бы играючи,
ходит полноправная
ловкая хозяечка.

В синеньком халатике,
словно на плакатике.
В красненькой косыночке,
словно на картиночке.

1963

176. МАЛЬЧИШКИ

О прошлом зная понаслышке,
с жестокой резвостью волчат
в спортивных курточках мальчишки
в аудиториях кричат.

Зияют в их стихотвореньях
с категоричной прямотой
непониманье и прозренье,
и правота и звук пустой.

Мне б отвернуться отчужденно,
но я нисколько не таюсь,
что с добротою раздраженной
сам к этим мальчикам тянусь.

Я сделал сам не так уж мало,
и мне, как дядьке иль отцу,
и ублажать их не пристало,
и унижать их не к лицу.

Мне непременно только надо —
точнее не могу сказать —
сквозь их смущенность и браваду
сердца и души увидать.

Ведь всё двадцатое столетье —
весь ветер счастья и обид —
и нам и вам, отцам и детям,
по-равному принадлежит.

И мы, без ханжества и лести,
за всё, чем дышим и живем,
не по-раздельному, а вместе
свою ответственность несем.

1963

177. ПОЭТЕССА

Такого места просто нету
в краю метельных русских зим,
где б не висела стенгазета
с названьем собственным своим.

Ее найдешь на месте видном,
слегка поблекшую уже,
в любой артели инвалидной,
в любом заштатном гараже.

И даже там, где скуповато
общественная жизнь идет,
она выходит всё же к датам
хотя б четыре раза в год.

...Уже у нас в пути помалу
сложилось общее житье,
но всё чего-то не хватало,
пока не поняли: ее.

Чтоб стенгазеты молодежной
наполнить и украсить лист,
нашлись политик, и художник,
и развеселый юморист.

И недреманное то око,
что через местную печать
готово, к сроку и без срока,
разоблачать и обличать.

Все сочинять взялись проворно,
всех обуяла жажда дел.
Вот только словом стихотворным
никто, к несчастью, не владел.

А ведь тревожное кипенье
народа юного того
так и рвалось в стихотворенье,
певца просило своего.

Вот тут-то кстати и случилось,
что, некрасива и бледна,
полустесняясь, объявилась
негромко девушка одна.

На эту нашу поэтессу,
забыв на время юмор свой,
мы все глядели с интересом
благожелательной толпой.

Живя вагонною семьею,
кормясь из общего котла,
мы знали только, что швеею
она на фабрике была.

И что почти весь век короткий
там, на окраине Москвы,
жила по-скромному у тетки,
пенсионерки и вдовы.

Одни и те же юбки шила,
ходила в клуб потанцевать
и вдруг отчаянно решила
иглу на стройку променять.

Всё это нас не умиляло:
ведь все такими были тут
и все, раздумывая мало,
сибирский выбрали маршрут.

Но вот, тетрадь в обложке белой
расположив перед собой,
она, уже волнуясь, села
за шаткий столик боковой.

И все мы по своей охоте
так незаметно, как смогли,
чтоб не мешать ее работе,
посторонились, отошли.

Совсем притихло общежитье,
погас курильщиков огонь,
лишь еле слышно — по наитью —
вела мелодию гармонь.

Старательно, как на уроке,
сидела девушка вдали.
Но вот уже явились строки,
заторопились и пошли.

Встречая радостно и смело
слова, идущие чредой,
она заметно хорошела
над каждой найденной строкой.

Она писала жарко, с ходу,
не исправляя ничего,
пускай не для всего народа,
а для вагона одного.

И весь вагон, как по заданью,
утихомирившись пока,
с нелицемерным ожиданьем
следил за ней издалека...

1963
Поезд «Москва—Лена»

178. ПОПЫТКА ЗАВЕЩАНИЯ

Т. С.

Когда умру, мои останки,
с печалью сдержанной, без слез,
похорони на полустанке
под сенью слабою берез.

Мне это так необходимо,
чтоб поздним вечером, тогда,
не останавливаясь, мимо
шли с ровным стуком поезда.

Ведь там лежать в земле глубокой
и одиноко и темно.
Лети, светясь неподалеку,
вагона дальнего окно.

Пусть этот отблеск жизни милой,
пускай щемящий проблеск тот
пройдет, мерцая, над могилой
и где-то дальше пропадет...

1964

179. КСЕНЯ НЕКРАСОВА

Что мне, красавицы, ваши роскошные тряпки,
ваша изысканность, ваши духи и белье? —
Ксеня Некрасова в жалкой соломенной шляпке
в стихотворение медленно входит мое.

Как она бедно и как неискусно одета!
Пахнет от кройки подвалом или чердаком.
Вы не забыли стремление Ксенино это —
платье украсить матерчатым мятым цветком?

Жизнь ее, в общем, сложилась не очень удачно:
пренебреженье, насмешечки, даже хула.
Знаю я только, что где-то на станции дачной,
вечно без денег, она всухомятку жила.

На электричке в столицу она приезжала
с пачечкой новых, наивных до прелести строк.
Редко когда в озабоченных наших журналах
вдруг появлялся какой-нибудь Ксенин стишок.

Ставила буквы большие она неумело
на четвертушках бумаги, в блаженной тоске.
Так третьеклассница, между уроками, мелом
в детском наитии пишет на школьной доске.

Малой толпою, приличной по сути и с виду,
сопровождался по улицам зимним твой прах.
Не позабуду гражданскую ту панихиду,
что в крематории мы провели второпях.

И разошлись, поразъехались сразу, до срока,
кто — на собранье, кто — к детям, кто — попросту пить,
лишь бы скорее избавиться нам от упрека,
лишь бы быстрее свою виноватость забыть.

1964

180

Мальчики, пришедшие в апреле
в шумный мир журналов и газет,
здорово мы всё же постарели
за каких-то три десятка лет.

Где оно, прекрасное волненье,
острое, как потаенный нож,
в день, когда свое стихотворенье
ты теперь в редакцию несешь?

Ах, куда там! Мы ведь нынче сами,
важно въехав в загородный дом,
стали вроде бы учителями
и советы мальчикам даем.

От меня дорожкою зеленой,
источая ненависть и свет,
каждый день уходит вознесенный
или уничтоженный поэт.

Он ушел, а мне не стало лучше.
На столе — раскрытая тетрадь.
Кто придет и кто меня научит,
как мне жить и как стихи писать?

1964

181. ДАЛЬНЯЯ ПОЕЗДКА

Я остался и нежным, и резким —
тем, каким меня знали всегда,
но вернулся из дальней поездки
не таким, как уехал туда.

В каждом чуть изменившемся жесте
я невольно ответно сберег
продолжение всех путешествий,
повороты и локти дорог.

Из дорожных моих впечатлений
ничего не пропало вдали,
и на лоб полуясные тени
для других незаметно легли.

Двери в собственный дом открывая,
надевая в передней пальто,
непривычно в себе ощущаю
путешествие дальнее то.

1964

182

Приезжают в столицу
смиренно и бойко
молодые Есенины
в красных ковбойках.

Поглядите,
оставив предвзятые толки,
как по-детски подрезаны
наглые челки.

Разверните,
хотя б просто так,
для порядка,
их измятые в дальней дороге
тетрадки.

Там
на фоне безвкусицы и дребедени
ослепляющий образ
блеснет на мгновенье.

Там
среди неумелой мороки
вдруг возникнут
почти гениальные строки.

...Пусть придет к ним
потом, через годы, по праву
золотого Есенина
звонкая слава.

«Дай лишь бог, — говорю я,
идя стороною, —
чтобы им
(извините меня за отсталость)
не такою она доставалась ценою,
не такою ценою она доставалась».

1964

183. НА ПОВЕРКЕ

Бывают дни без фейерверка,
когда огромная страна
осенним утром на поверке
все называет имена.

Ей нужно собственные силы
ума и духа посчитать.
Открылись двери и могилы,
разъялась тьма, отверзлась гладь.

Притихла ложь, умолкла злоба,
прилежно вытянулась спесь.
И Лермонтов встает из гроба
и отвечает громко: «Здесь!»

О, этот Лермонтов опальный,
сын нашей собственной земли,
чьи строки, как удар кинжальный,
под сердце самое вошли!

Он, этот Лермонтов могучий,
сосредоточась, добр и зол,
как бы светящаяся туча
по небу русскому прошел.

1964

184

Ну, а я вот сознаться посмею,
оглянувшись кругом не спеша,
что заметно и грустно старею:
ум и руки, лицо и душа.

За собой замечаю с досадой,
что бываю — так возраст велит —
то добрее, чем это бы надо,
то сердитее, чем надлежит.

Там — устану, а тут — недослышу,
неожиданно дрогнет рука.
Откликается реже и тише
на события жизни строка.

1964

185. ЗЕРКАЛЬЦЕ

Квадрат зеркальный на подставке,
оправа бедная темна.
Его в какой-то прежней лавке
купила барышня одна.

Напрасно зеркальце мерцало
в ее каморке в полутьме —
она в него гляделась мало,
держа другое на уме.

Не потому, что не любила
лица знакомые черты
иль обаянья мало было
и нехватало красоты.

В нем петербургская курсистка
хранила в грозные года
такого рода переписку,
что пахла каторгой тогда.

Она, оставивши столицу
по обстоятельствам своим,
с ним уезжала за границу
и возвратилась вместе с ним.

В нем было скрыто со стараньем
по воле времени того
к великой партии посланье
от эмигранта одного.

Его тут ждали, словно света,
когда полнеба замело,
и в тот же день посланье это
по всей России потекло.

Не только окна вылетали,
панель хрустела от стекла,
но сталь, дымясь, прошла по стали
и кровь по крови протекла.

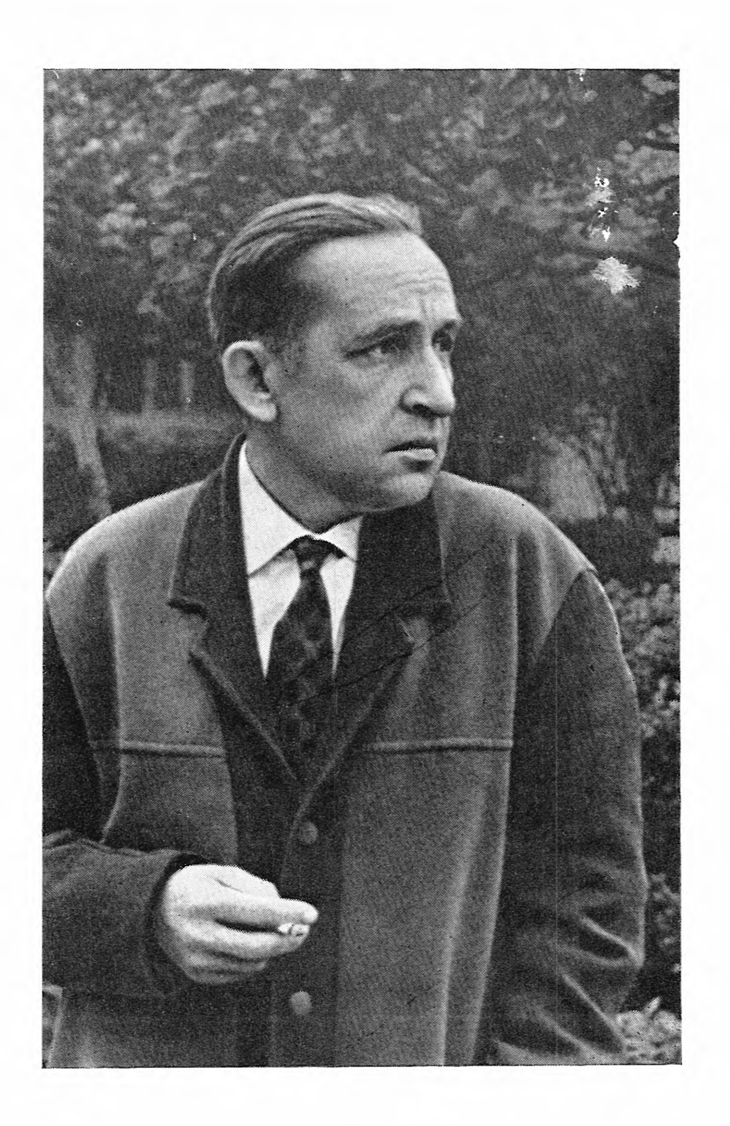
Шатались храмы и столицы,
державы падали во тьму —
и надо ж было сохраниться
на память зеркальцу тому.

С тех пор прошли года и годы,
не мимо нас, не стороной.
Уснул всесветный вождь народов,
и нет в живых его связной.

Они покоятся согласно
и друг от друга невдали
под небом облачным и ясным
на площади московской Красной —
на Главной площади земли.

1964





186. РОЗА ТАДЖИКИСТАНА

В юности необычной,
вовсе не ради позы,
с грубостью ироничной
я относился к розам.

В залах тогдашних съездов,
в том правовом порядке
были совсем не к месту
эти аристократки.

Мне при моих замашках
и пролетарском стиле
простенькие ромашки
более подходили.

Прошлой весной впервые
я прилетел нежданно
из глубины России
к солнцу Таджикистана.

Утром сквозь сад зеленый,
пенье и воркованье
шел я, ошеломленный
птицами и цветами.

По переулкам вешним
долго ходил, вздыхая,
словно бы мелкий грешник
по филиалу рая.

В щелях любой калитки,
в дворике каждом малом,
в скудности и в избытке
роза благоухала.

В блеске стекла и стали
между асфальтом серым
возле Цека стояли
розовые шпалеры.

И на прилавке даже
в банке из-под варенья
роза — не для продажи,
только для украшенья.

И за стеклом трехтонки
из гаража совхоза,
воткнутая в сторонке,
блекло светилась роза.

Роза в цеху рабочем
и под окном поэта.
Мне приглянулась очень
демократичность эта.

Вскорости между делом
я ощутил неловко:
выдохлась, ослабела
старая установка.

Может быть, мне простится
тихое нарушенье
принципов и традиций
грозного поколенья.

Ведь в остальном, ребята,
лозунги нашей Ставки
я соблюдаю свято —
без никакой поправки.

1965

187. ХАМЗА

Однажды ночью, поздним летом,
вдоль мест, истаявших вдали,
нас, делегацию поэтов,
в колхоз узбекский привезли.

Из недалекого оврага,
где возникал ночной туман,
тянуло свежестью и влагой
твоей земли, Шахимардан.

Под неподвижною чинарой,
видавшей битвы и пиры,
своей медлительностью старой
манили к отдыху ковры.

В дощатом близком помещенье,
пока мы маялись без дел,
в окошке сталкивались тени,
огонь томился и блестел.

Там для беседы нашей братской,
еще реальностью не став,
варился ужин азиатский
из мяса, риса и приправ.

Интеллигенции столичной
в помятых пыльных пиджаках
здесь всё казалось непривычным,
как православному аллах.

Но вот уже, само собою,
весьма украшенный вином,
стол установлен под листвою,
и скатерть белая на нем.

Хоть сам колхозный председатель
учтиво потчует гостей,
мы понимаем, что некстати
явились с лирикой своей.

Ведь на кустах вдоль каждой тропки,
на проводах над головой —
висят повсюду прядки хлопка,
как пряжа осени самой.

То нарастая, то слабея,
итожа весь рабочий год,
идет уборка, — только ею
сейчас республика живет.

Нам всем по опыту знакомо,
зачем, молчащий и прямой,

сюда работнику обкома
привозит сводки верховой.

И очень скоро делегаты,
чтоб им обузою не стать,
как сговорившись, деликатно
из-за стола уходят спать.

Солидным постлано в постройке,
снаружи — шумным и худым.
Мне хорошо на узкой койке
под небом темным и большим.

Молчат окрестности и дали,
умолкло время в тишине.
Лишь дуновение печали
идет откуда-то ко мне.

Оно сквозит стезею длинной
в неслышном шорохе ветвей
с той голой каменной вершины,
где установлен мавзолей.

Из той обители высокой,
где спит едва не сорок лет
глашатай Красного Востока,
Советской Азии поэт.

Он воплощал начало эры,
ее энергию и суть.
Его убили изуверы,
пытаясь время повернуть.

Решившись — ночью — на расплату,
они к нему наперебой
спешили, путаясь в халатах,
визжащей маленькой толпой.

И от поруганного тела,
бесповоротно, не спеша,
к знаменам красным отлетела
его поэзии душа.

А утром издали светлеют
уступы снежные вершин.
Невдалеке от мавзолея
мы вылезаем из машин.

Там нет ни облачка, ни тени,
ни украшений — ничего.
Лишь двести с чем-нибудь ступеней
к гробнице замкнутой его.

И мы туда, спеша помалу,
как будто заняты трудом,
венок, уже слегка увялый,
сменяясь, по двое несем.

На этой нашей поздней встрече
под общим солнцем всей страны
не к месту суетные речи
и слезы тоже не нужны.

Мы, перемолвившись невнятно,
тут, у бессмертья на краю,
опять спускаемся обратно
на землю грешную свою.

На те долготы и широты,
где нас еще покамест ждут
свои печали и заботы
и свой незавершенный труд.

1965

188

Мне тоже выпала удача:
забыв бульварную Москву,
на этой ведомственной даче
в апрельской Азии живу.

Веду впервые жизнь такую:
благоухает утром сад,
умильно горлинки воркуют,
арыки быстрые журчат.

Наполнены росою розы —
цветы томительной любви,
и запросто, без всякой позы,
поют над ними соловьи.

Сижу на лавочке под ивой.
Дышу вечерним холодком.
Мой грубый бас, промытый пивом,
сменился жалким тенорком.

Нет с красотою этой сладу.
Пытаюсь вровень с нею стать.
Уже в моих стихах цикады
едва не стали стрекотать.

Уже неверною рукою
тот, кто столичным волком был,
лицо красавицы с луною,
с луной — не с чем-нибудь! — сравнил.

Гроза писательского клуба,
подобно юному хлыщу,
уже вытягиваю губы
и что-то нежное свищу.

1965

189. СТИХИ, НАПИСАННЫЕ 1 МАЯ

Пролетарии всех стран,
бейте в красный барабан!

Сил на это не жалейте,
не глядите вкось и врозь —
в обе палки вместе бейте
так, чтоб небо затряслось.

Опускайте громче руку,
извинений не прося,
чтоб от этого от стуку
отворилось всё и вся.

Грузчик, каменщик и плотник,
весь народ мастеровой,
выходите на субботник
всенародный, мировой.

Наступает час расплаты
за дубинки и штыки, —
собирайте все лопаты,
все мотыги и кирки.

Работенка вам по силам,
по душе и по уму:
ройте общую могилу
Капиталу самому.

Ройте все единым духом,
дружно плечи веселя, —
пусть ему не станет пухом
наша общая земля.

Мы ж недаром изучали
«Манифест» и «Капитал» —
Маркс и Энгельс дело знали,
Ленин дело понимал.

⟨1966⟩

190. ОДИН ДЕНЬ

1

Лет пять назад, смотря неловко,
я в тайной жажде новых строк
с писательской командировкой
попал в сибирский городок.

Он жил еще совсем недавно,
ведя свой быт по старине,
под вечер запирая ставни,
от магистралей в стороне.

Но вот по заданному сроку,
под гром литавр и шум газет,
здесь началась неподалеку
большая стройка наших лет.

Она с конторами своими,
самонадеянно смела,
его неведомое имя
себе решительно взяла.

Она, не спрашиваясь, сразу,
желая действовать скорей,
его пустынные лабазы
набила техникой своей.

У каждой славы есть изнанка.
Как надо думать, не с добра
у забегаловки цыганка
плясала, пьяная с утра.

Не зря, без видимого толку
меся наследственную грязь,
весь день ходила барахолка,
то чуть не плача, то смеясь.

Она задаром продавала —
ей прибыль нынче не с руки —
свою герань и одеяла,
свои корыта и горшки.

Ведь не в далекости, а вскоре
весь городок убогий тот
под волны будущего моря
в пучину темную уйдет.

Оно одно самодержавно
ходить на воле будет тут,
и только полочки да ставни
со дна глубокого всплывут.

Что ж делать, если это надо?!
И городок последних дней
находит горькую усладу
в заздравной гибели своей.

2

Не тратя времени задаром,
осенним воздухом дыша,
я по дощатым тротуарам
иду с оглядкой, не спеша.

Тут всё привычно и знакомо,
всё это я видал давно:
машины возле исполкома,
палатки, вывески, кино.

Как вдруг из внешности всегдашней
и повседневности самой —
из леса рубленная башня
явилась крупно предо мной.

Она недвижно простояла,
как летописи говорят,
не то чтоб много или мало,
а триста с лишком лет подряд.

В ее узилище студеном,
двуперстно осеняя лоб,
еще тогда, во время оно,
молился ссыльный протопоп.

Его проклятья и печали
в острожной зимней тишине
лишь караульщики слыхали,
под снегом стоя в стороне.

Мятежный пастырь, книжник дикий,
он не умел послушным быть,
и не могли его владыки
ни обломать, ни улестить.

Попытки их не удавались,
стоял он грубо на своем,
хотя они над ним старались
и пирогом и батогом.

В своей истории подробной
другой какой-нибудь народ
полупохожих и подобных
средь прародителей найдет.

Но этот — крест на грязной шее,
в обносках мерзостно худых —
мне и дороже и страшнее
иноязычных, не своих.

Ведь он оставил русской речи
и прямоту и срамоту,
язык мятежного предтечи,
светившийся, как угль во рту.

3

И я с улыбкою угрюмой,
как бы ступив через межу,
от протопопа Аввакума
в свое столетье ухожу.

Недалека моя дорога —
верста по-старому всего
от башни древнего острога
до общежитья одного.

Но мне навстречу меж заборов,
стоящих чуть ли не впритык,
шел как-то медленно, не скоро,
не так, как надо, грузовик.

Остановившись удивленно,
я увидал в пяти шагах
нехорошо соединенный
кумач и траур на бортах.

Я не спросил у женщин здешних,
хоть находился невдали,
кого тем утром непоспешно
к последней пристани везли.

С какой-то важностью особой,
блюдя устав негласный свой,
шли провожатые за гробом
нестройной маленькой толпой.

А вслед за ними длинным цугом,
для узких улиц велики,
шли без просветов друг за другом
строительства грузовики.

Они тянули крупным планом,
как в том, еще немом, кино,
бруски и доски пилорамы,
цемент, железо и вино.

Надолго в памяти осталось,
как, все домишки шевеля,
под их колесами шаталась
и лезла в сторону земля.

Как будто их рукой усталой,
чтоб равнодушною не слыть,
сама Индустрия послала
тот гроб безвестный проводить.

Я всё стоял с пустым блокнотом
и непокрытой головой,
пока за дальним поворотом
эскорт не скрылся грузовой.

4

За малый труд не ожидая
ни осужденья, ни похвал,
я сам не очень понимаю,
зачем всё это написал.

Мне б оправданьем послужило
лишь то, скажу накоротке,
что это в самом деле было
в том утонувшем городке.

Да то еще, что стройка эта,
как солнце вешнее в окне,
дает сегодня море света
не городку, а всей стране.

1966

191. КРЕСЛО

Все люстры празднично сияли,
народ толпился за столом
в тот час, когда в кремлевском зале
шел, как положено, прием.

Я почему-то был не в духе.
Оставив этот белый стол,
меня Володя Солоухин
по закоулочкам повел.

Он здесь служил еще курсантом,
как бы в своем родном дому,
и Спасский бой больших курантов
был будто ходики ему.

В каком-то коридоре дальнем
я увидал, как сквозь туман,
ту келью, ту опочивальню,
где спал и думал Иоанн.

Она бедна, и неуютна,
и для царя невелика,
лампадный свет мерцает смутно
под низким сводом потолка.

Да, это на него похоже,
он был действительно таким —

как схима, нищенское ложе,
из ситца темный балдахин.

И кресло сбоку от постели —
лишь кресло, больше ничего,
чтоб не мешали в самом деле
раздумьям царственным его.

И лестница — свеча и тени,
и запах дыбы и могил.
По винтовым ее ступеням
сюда Малюта заходил.

Какие там слова и речи!
Лишь списки.
                    Молча, как во сне.
И, зыблясь, трепетали свечи
в заморском маленьком пенсне.

И я тогда, как все поэты,
мгновенно, безрассудно смел,
по хулиганству в кресло это,
как бы играючи, присел.

Но тут же из него сухая,
как туча, пыль времен пошла.
И молния веков, блистая,
меня презрительно прожгла.

Я сразу умер и очнулся
в опочивальне этой, там,
как словно сдуру прикоснулся
к высоковольтным проводам.

Урока мне хватило с лишком,
не описать, не объяснить.
Куда ты вздумал лезть, мальчишка?
Над кем решился подшутить?

1966

192. ИСТОРИЯ

И современники, и тени
в тиши беседуют со мной.
Острее стало ощущенье
шагов Истории самой.

Она своею тьмой и светом
меня омыла и ожгла.
Всё явственней ее приметы,
понятней мысли и дела.

Мне этой радости доныне
не выпадало отродясь.
И с каждым днем нерасторжимей
вся та преемственность и связь.

Как словно я мальчонка в шубке
и за тебя, родная Русь,
как бы за бабушкину юбку,
спеша и падая, держусь.

1966

193. В ЗАЩИТУ ДОМИНО

В газете каждой их ругают
весьма умело и умно,
тех человеков, что играют,
придя с работы, в домино.

А я люблю с хорошей злостью
в июньском садике, в углу,
стучать той самой черной костью
по деревянному столу.

А мне к лицу и вроде впору
в кругу умнейших простаков
игра матросов, и шахтеров,
и пенсионных стариков.

Я к ним, рассержен и обижен,
иду от прозы и стиха
и в этом, право же, не вижу
самомалейшего греха.

Конечно, все культурней стали,
но населяют каждый дом
не только Котовы и Тали,
не все Ботвинники притом.

За агитацию — спасибо!
Но ведь, мозгами шевеля,
не так-то просто сделать «рыбу»
или отрезать два «дупля».

1966

194

Не семеня и не вразвалку —
он к воздержанию привык —
идет, стуча сердито палкой,
навстречу времени старик.

Есть у него семья и дружба,
а он, старик спокойный тот,
не в услуженье, а на службу
неукоснительно идет.

Не тратя время бесполезно,
от мелких скопищ далеки,
они по-внешнему любезны,
но непреклонны — старики.

Их пиджаки сидят свободно,
им ни к чему в пижоны лезть.
Они немного старомодны,
но даже в этом прелесть есть.

Спервоначалу и доныне,
как солнце зимнее в окне,

должны быть все-таки святыни
в любой значительной стране.

Приостановится движенье
и просто худо будет нам,
когда исчезнет уваженье
к таким, как эти, старикам.

1966

195. ИЗВИНЕНИЕ ПЕРЕД НАТАЛИ

Теперь уже не помню даты —
ослабла память, мозг устал, —
но дело было: я когда-то
про Вас бестактно написал.

Пожалуй, что в какой-то мере
я в пору ту правдивым был.
Но Пушкин вам нарочно верил
и Вас, как девочку, любил.

Его величие и слава,
уж коль по чести говорить,
мне не давали вовсе права
Вас и намеком оскорбить.

Я не страдаю и не каюсь,
волос своих не рву пока,
а просто тихо извиняюсь
с той стороны, издалека.

Я Вас теперь прошу покорно
ничуть злопамятной не быть
и тот стишок, как отблеск черный,
средь развлечений позабыть.

Ах, Вам совсем нетрудно это:
ведь и при жизни Вы смогли
забыть великого поэта —
любовь и горе всей земли.

1966

196. ЛУМУМБА

Между кладбищенских голых ветвей
нету, Лумумба, могилы твоей.

Нету надгробий и каменных плит
там, где твой прах потаенно зарыт.

Нету над ним ни звезды, ни креста,
ни сопредельного даже куста.

Даже дощечки какой-нибудь нет
с надписью, сделанной карандашом,
что на дорогах потерь и побед
ставят солдаты над павшим бойцом.

Житель огромной январской страны,
у твоего я не грелся огня,
но ощущенье какой-то вины
не оставляет всё время меня.

То позабудется между всего,
то вдруг опять просквозится во сне,
словно я бросил мальчишку того,
что по дороге доверился мне.

Поздно окно мое ночью горит.
Дым табака наполняет жилье.
Где-то там, в джунглях далеких, лежит
сын мой Лумумба — горе мое.

1966

197. КОМАНДАРМЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Мне Красной Армии главкомы,
молодцеваты и бледны,
хоть понаслышке, но знакомы
и не совсем со стороны.

Я их не знал и не узнаю
так, как положено, сполна.

Но, словно песню, вспоминаю
тех наступлений имена.

В петлицах шпалы боевые
за легендарные дела.
По этим шпалам вся Россия,
как поезд, медленно прошла.

Уже давно суконных шлемов
в музеях тлеют шишаки.
Как позабытые поэмы,
молчат почетные клинки.

Как будто отблески на меди,
когда над книгами сижу,
в тиши больших энциклопедий
я ваши лица нахожу.

1966

198. МЕНШИКОВ

Под утро смирно спит столица,
сыта от снеди и вина.
И дочь твоя в императрицы
уже почти проведена.

А впереди — балы и войны,
курьеры, девки, атташе.
Но отчего-то беспокойно,
тоскливо как-то на душе.

Но вроде саднит, а не греет,
хрустя, голландское белье.
Полузаметно, но редеет
всё окружение твое.

Еще ты вроде в прежней силе,
полудержавен и хорош.
Тебя, однако, подрубили,
ты скоро, скоро упадешь.

Ты упадешь, сосна прямая,
средь синевы и мерзлоты,
своим паденьем пригибая
березки, елочки, кусты.

Куда девалась та отвага,
тот всероссийский политес,
когда ты с тоненькою шпагой
на ядра вражеские лез?

Живая вырыта могила
за долгий месяц от столиц.
И веет холодом и силой
от молодых державных лиц.

Всё ниже и темнее тучи,
всё больше пыли на коврах.
И дочь твою мордастый кучер
угрюмо тискает в сенях.

1966

199. РУССКИЙ ЯЗЫК

У бедной твоей колыбели,
еще еле слышно сперва,
рязанские женщины пели,
роняя, как жемчуг, слова.

Под лампой кабацкой неяркой
на стол деревянный поник
у полной нетронутой чарки,
как раненый сокол, ямщик.

Ты шел на разбитых копытах,
в кострах староверов горел,
стирался в бадьях и корытах,
сверчком на печи свиристел.

Ты, сидя на позднем крылечке,
закату подставя лицо,
забрал у Кольцова колечко,
у Курбского занял кольцо.

Вы, прадеды наши, в недоле,
мукою запудривши лик,
на мельнице русской смололи
заезжий татарский язык.

Вы взяли немецкого малость,
хотя бы и больше могли,
чтоб им не одним доставалась
ученая важность земли.

Ты, пахнущий прелой овчиной
и дедовским острым кваском,
писался и черной лучиной,
и белым лебяжьим пером.

Ты — выше цены и расценки —
в году сорок первом, потом
писался в немецком застенке
на слабой известке гвоздем.

Владыки и те исчезали
мгновенно и наверняка,
когда невзначай посягали
на русскую суть языка.

1945—1966

200. МАШЕНЬКА

Происходило это, как ни странно,
не там, где бьет по берегу прибой,
не в Дании старинной и туманной,
а в заводском поселке под Москвой.

Там жило, вероятно, тысяч десять,
я не считал, но полагаю так.
На карте мира, если карту взвесить,
поселок этот — ерунда, пустяк.

Но там была на месте влажной рощи,
на нет сведенной тщанием людей,
как и в столицах, собственная площадь
и белый клуб, поставленный на ней.

И в этом клубе, так уж было надо, —
нам отставать от жизни не с руки, —
кино крутилось, делались доклады
и занимались всякие кружки.

Они трудились, в общем, не бесславно,
тянули все, кто как умел и мог.
Но был средь них как главный между равных,
бесспорно, драматический кружок.

Застенчива и хороша собою,
как стеклышко весеннее светла,
его премьершей и его душою
у нас в то время Машенька была.

На шаткой сцене зрительного зала,
на фоне намалеванных небес
она, светясь от радости, играла
чекисток, комсомолок и принцесс.

Лукавый взгляд, и зыбкая походка,
и голосок, волнительный насквозь...
Мещаночка, девчонка, счетоводка, —
нельзя понять, откуда что бралось?

Ей помогало чувствовать событья,
произносить высокие слова
не мастерство, а детское наитье,
что иногда сильнее мастерства.

С естественной смущенностью и болью,
от ощущенья жизни весела,
она не то чтобы вживалась в роли,
она ролями этими жила.

А я в те дни, не требуя поблажки,
вертясь, как черт, с блокнотом и пером,
работал в заводской многотиражке
ответственным ее секретарем.

Естественно при этой обстановке,
что я, отнюдь не жулик и нахал,

по простоте на эти постановки
огромные рецензии писал.

Они воспринимались с интересом
и попадали в цель наверняка
лишь потому, что остальная пресса
не замечала нашего кружка.

Не раз, не раз — солгать я не посмею —
сам режиссер дарил улыбку мне:
Василь Васильич с бабочкой на шее,
в качаловском блистающем пенсне.

Я Машеньку и ныне вспоминаю
на склоне лет, в другом краю страны.
Любил ли я ее?
                        Теперь не знаю, —
мы были все в ту пору влюблены.

Я вспоминаю не без нежной боли
тот грузовик давно ушедших дней,
в котором нас возили на гастроли
по ближним клубам юности моей.

И шум кулис, и дружный шепот в зале,
и вызовы по многу раз подряд,
и ужины, какие нам давали
в ночных столовках — столько лет назад!

Но вот однажды. . .
                        Понимает каждый
или поймет, когда настанет час,
что в жизни всё случается однажды,
единожды и, в общем, только раз.

Дают звонки. Уже четвертый сдуру.
Партер гудит. Погашен в зале свет.
Оркестрик наш закончил увертюру.
Пора! Пора!
                        А Машеньки всё нет.

Василь Васильич донельзя расстроен,
он побледнел и даже спал с лица,
как поседелый в грозных битвах воин,
увидевший предательство юнца.

Снимают грим кружковцы остальные.
Ушел партер, и опустел балкон.
Так в этот день безрадостный — впервые
спектакль был позорно отменен.

Назавтра утром с тихой ветвью мира,
чтоб нам не оставаться в стороне,
я был направлен к Маше на квартиру,
Но дверь ее не открывалась мне.

А к вечеру, рожденный в смраде где-то
из шепота шекспировских старух,
нам принесли в редакцию газеты
немыслимый, но достоверный слух.

И услыхала заводская пресса,
упрятав в ящик срочные дела,
что наша поселковая принцесса,
как говорят на кухнях, понесла.

Совет семьи ей даровал прощенье.
Но запретил (чтоб всё быстрей забыть)
не то чтоб там опять играть на сцене,
а даже близко к клубу подходить.

Я вскорости пошел к ней на работу,
мне нужен был жестокий разговор. . .
Она прилежно щелкала на счетах
в халатике, скрывающем позор.

Не удалось мне грозное начало.
Ты ожидал смятенности — изволь!
Она меня ничуть не замечала —
последняя разыгранная роль.

Передо мной спокойно, достославно,
внушительно сидела вдалеке
не Машенька, а Марья Николавна
с конторским карандашиком в руке.

Уже почти готовая старуха,
живущая степенно где-то там.
Руины развалившегося духа,
очаг погасший, опустелый храм.

А через день, собравшись без изъятья
и от завкома выслушав урок,
возобновил вечерние занятья
тот самый драматический кружок.

Не вечно ж им страдать по женской доле
и повторять красивые слова.
Всё ерунда!
И Машенькины роли
взяла одна прекрасная вдова.

Софиты те же, мизансцены те же,
всё так же дружно рукоплещет зал.
Я стал писать рецензии всё реже,
а вскорости и вовсе перестал.

1966

201. ИВАН КАЛИТА

Сутулый, худой, бритолицый,
уже не боясь ни черта,
по улицам зимней столицы
иду, как Иван Калита.

Слежу, озираюсь, внимаю,
опять начинаю, сперва,
и впрок у людей собираю
на паперти жизни слова.

Мне эта работа по средствам,
по сущности самой моей;

ведь кто-то же должен наследство
для наших копить сыновей.

Нелегкая эта забота,
но я к ней, однако, привык:
их много, теперешних мотов,
транжирящих русский язык.

Далеко до смертного часа,
а легкая жизнь не нужна.
Пускай богатеют запасы,
и пусть тяжелеет мошна.

Словечки взаймы отдавая,
я жду их обратно скорей,
недаром моя кладовая
всех нынешних банков полней.

1966

202. РИХАРД ЗОРГЕ

Почти перед восходом солнца,
весь ритуал обговоря,
тебя повесили японцы
как раз Седьмого ноября.

В том зале, выстроенном ловко,
ни митинга, ни кумача,
ты сам надел свою веревку,
не ожидая палача.

Но час спустя над миллионной
военно-праздничной Москвой
склонились красные знамена,
благословляя подвиг твой.

И трубы сводного оркестра
от Главной площади земли
до той могилы неизвестной,
грозя и плача, дотекли.

1966

203. ДЕНИС ДАВЫДОВ

Утром вставя ногу в стремя, —
ах, какая благодать! —
ты в теперешнее время
умудрился доскакать.

(Есть сейчас гусары кроме:
наблюдая идеал,
вечером стоят на стреме,
как ты в стремени стоял.

Не угасло в наше время,
не задули, извини,
отвратительное племя:
«Жомини да Жомини».)

На мальчишеской пирушке
в Царском — чтоб ему! — селе
были вы — и ты и Пушкин —
оба-два навеселе.

И тогда тот мальчик черный,
прокурат и либерал,
по-нахальному покорно
вас учителем назвал.

Обождите, погодите,
не шумите — боже мой! —
раз вы Пушкина учитель,
значит, вы учитель мой.

1966

204. КОММУНИСТ

Я не длинно, не пространно —
мне задача по плечу —
рассказать, кто Маркос Ана,
всем читателям хочу.

А скажу я в этой строчке —
это вовсе не секрет, —
что провел он в одиночке
чуть не ровно двадцать лет.

Не в истерике-обиде,
не в безумстве, а в уме,
в дальнем городе Мадриде —
в государственной тюрьме.

Мне товарищи сказали,
не совру я потому,
что, когда его сажали,
шел шестнадцатый ему.

И мальчишка храбрый этот,
отбывая страшный срок,
в одиночке стал поэтом
первоклассным — видит бог!

Опускаю все детали,
весь подсобный интерес...
К нам его в Москву послали
на какой-то там конгресс.

В кулуарах было дело,
Я с ним рядышком стоял,
и газетчик с нас умело
фотографию снимал.

Я назавтра без нагрузки —
не для праздной чепухи —
из испанского на русский
перевел его стихи.

Перевел их с честным жаром,
по таланту своему —
никакого гонорара
и ни мне, и ни ему.

Я ему их почитаю:
набираю телефон,
мне дежурный отвечает,
что уже уехал он.

Я справляюсь аккуратно
и окольно узнаю,
что уехал он обратно
в ту Испанию свою.

Не за славой и почетом,
не к издательствам большим —
на партийную работу
коммунистом рядовым.

Снова будут забастовки,
снова жизнь как есть сама,
прокламации, листовки
и мадридская тюрьма.

Ни жены, ни денег нету,
только дело на уме.
Вот какие те поэты,
что рождаются в тюрьме.

1966

205. НИКО ПИРОСМАНИ

У меня башка в тумане, —
оторвавшись от чернил,
вашу книгу, Пиросмани,
в книготорге я купил.

И ничуть не по эстетству,
а как жизни идеал,
помесь мудрости и детства
на обложке увидал.

И меня пленили странно —
я певец других времен —
два грузина у духана,
кучер, дышло, фаэтон.

Ты, художник, черной сажей,
от которой сам темнел,
Петербурга вернисажи
богатырски одолел.

Та актерка Маргарита,
непутевая жена,
кистью щедрою открыта,
всенародно прощена.

И красавица другая,
полутомная на вид,
словно бы изнемогая,
на бочку своем лежит.

В черном лифе и рубашке,
столь прекрасная на взгляд,
а над ней порхают пташки,
розы в воздухе стоят.

С человечностью страданий
молча смотрят в этот день
раннеутренние лани
и подраненный олень.

Вы народны в каждом жесте
и сильнее всех иных.
Эти вывески на жести
стоят выставок больших.

У меня теперь сберкнижка —
я бы выдал вам заем.
Слишком поздно, поздно слишком
мы друг друга узнаем.

1966

206. КОМИССАРЫ

Вы, отдав жизнь одной идее
преображения земли,
ушли из армии в музеи,
в тома истории ушли.

И я гляжу с любовью тяжкой,
как ветер вьется фронтовой
над прибалтийскою тельняшкой
и перекопской кобурой.

Но даже с фотографий старых,
на фоне выцветших знамен,
вы речь ведете, комиссары
непререкаемых времен.

И полпланеты утром мая,
когда кружится голова,
за вами громко повторяет
тогдашних митингов слова.

1966

207. ДОЛОРЕС

Московских улиц мирный житель,
уже не молод и устал,
я Вас — Вы это мне простите —
ни разу в жизни не видал.

Но Ваше имя, Ибаррури,
с которым я в то время рос,
летело яростно, как буря
из-под светящихся колес.

Мы громогласно повторяли,
мальчишки сопредельных стран,
на каждой площади и в зале:
«Но пасаран! Но пасаран!»

Жгли душу горечь и обида
и даже словно бы вина.
Но ведь падением Мадрида
та не закончилась война.

Не Ваш ли сын под Сталинградом,
кончаясь от немецких ран,
шептал с уже померкшим взглядом:
«Но пасаран! Но пасаран!»

Как Вы когда-то заклинали,
в тяжелом гуле фронтовом
мы устояли, устояли.
Стоим,
        как прежде,
                на своем.

И, ни на шаг не отступая,
перед лицом враждебных стран
мы всенародно утверждаем:
«Но пасаран! Но пасаран!»

1966

208. В ДОМЕ ЧАПЕКА

1

Я не забуду домик этот,
весь деловой его уют, —
так строят жизнь свою поэты,
и так мыслители живут.

На полках пьесы и рассказы.
Цветы.
Но более всего
меня обрадовала сразу
та фотография его,

где он с тяжелою лопатой,
неотутюжен, непобрит,
как сельский житель небогатый,
меж грядок собственных стоит.

Есть люди, что, не без уменья
в купе устроивши багаж,
глядят с жантильным умиленьем
на пролетающий пейзаж.

Но любит только тот природу
и только тот ее познал,
кто спину гнул над огородом
и глину скудную копал.

2

Интересуясь местным бытом,
я всё примеривал к себе.
В саду у Чапека прибита
кормушка птичья на столбе.

И надо ж было так случиться,
что я узнал под тем столбом,
что те же самые синицы
летают за моим окном.

И так же живо хлопотушки,
с таким же тщанием, как тут,
из зимней маленькой кормушки
на ветви семечки несут.

Такие же, сквозь солнце, тучи,
такой же сад, такой же вход.
Вот только разве что получше
писал большой писатель тот.

3

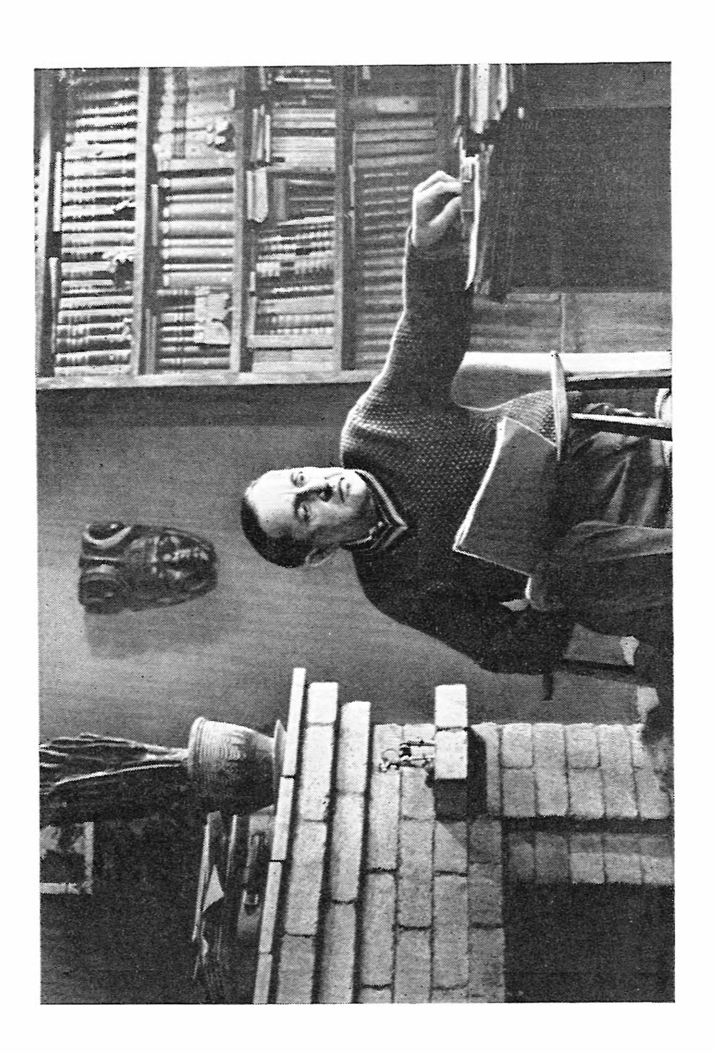
Те люди, что его читали
не так, что лишь бы что читать,
в подарок Чапеку прислали
резную детскую кровать.

Я перед нею скинул кепку
и помню здорово досель
ту деревянную колебку,
колыску или колыбель.

Ведь все мы вышли в самом деле
весенним или зимним днем
из деревянной колыбели
и в гроб из дерева уйдем.

И лишь задача та отдельна,
как путь пройти достойно свой
от первой песни колыбельной
до панихиды гробовой.

1966





209. СОЛДАТ И БАТРАЧКА

В белорусской деревне
лет сорок примерно назад
жили-были батрачка
и пленный австрийский солдат.

У солдата чужого
понятно что жизнь не легка:
нет сохи для хозяйства
и нет для атаки штыка.

И она-то, батрачка,
ничуть не богаче была:
ни двора, ни колодца,
ни — хоть бы для смеху — козла.

Но зато эта девка
в скитаниях долгих своих
нахваталась словечек
и всяких идей городских.

Да и он, хоть для виду
таился на первых порах,
научился чему-то
на русско-германских фронтах.

И хотя перед каждым
австрийскую шапку снимал,
что-то все-таки думал
и что-то свое понимал.

Вскоре так получилось
в те, еще доколхозные, дни,
что без свадебных песен
устроили свадьбу они.

Помощь им полагалась,
и нехотя им помогли:
дали бедную хатку
и полдесятины земли.

Для кулацкой деревни,
притихшей средь тучных полей,
было это семейство
любых ревизоров страшней.

Те приедут, посмотрят,
завалятся, выпимши, спать
и в своей таратайке
отправятся в город опять.

А вот эти-то, наши,
как словно бы будущий суд,
всё, до зернышка, знают
и всё, до поры, стерегут.

Это всё полбеды,
а беда из того состоит,
что советское время
за этим семейством стоит.

Их-то можно купить
или тихо помочь им пропасть, —
не убьешь и не купишь
большую советскую власть.

Из далекой столицы
в избенку безвестную ту
стали им присылать —
для поддержки души — «Бедноту».

А потом они сами —
ни совести нет, ни стыда —
отправляли открыто
статейки-идейки туда.

Если кто не поверит
в перо грамотеев таких,
пусть в той старой газете
посмотрит на подписи их.

Пусть в газетной подшивке
за тот позабывшийся год

их статейки-затейки
о будущем нашем прочтет.

Под соломенной крышей,
вернувшись в потемках с работ,
стал у них собираться
какой-то неверный народ.

Нет приказа еще,
не прислали еще директив,
но сплотился уже
молодой деревенский актив.

То еще не колхоз,
до колхоза еще погоди,
но уже он мерцает,
наш завтрашний день, впереди.

Если кто сомневается
в силе актива того —
пусть посмотрит на землю
хотя б из окна своего.

1966

210. СОСЕД

Здравствуй, давний мой приятель,
гражданин преклонных лет,
неприметный обыватель,
поселковый мой сосед.

Захожу я без оглядки
в твой дощатый малый дом.
Я люблю четыре грядки
и рябину под окном.

Это всё весьма умело,
не спеша поставил ты
для житейской пользы дела
и еще для красоты.

Пусть тебя за то ругают,
перестроиться веля,
что твоя не пропадает,
а шевелится земля.

Мы-то знаем, между нами,
что вернулся ты домой
не с чинами-орденами,
а с медалью боевой.

И она весьма охотно,
сохраняя бравый вид,
вместе с грамотой почетной
в дальнем ящике лежит.

Персонаж для щелкоперов,
Мосэстрады анекдот,
жизни главная опора,
человечества оплот.

Я, об этом забывая,
не стесняюсь повторить,
что и сам я обываю
и еще настроен быть.

Не ваятель, не стяжатель,
не какой-то сукин сын —
мой приятель, обыватель,
непременный гражданин.

1966

211. КАМЕРНАЯ ПОЛЕМИКА

Одна младая поэтесса,
живя в достатке и красе,
недавно одарила прессу
полустишком-полуэссе.

Она, отчасти по привычке
и так как критика велит,
через окно из электрички
глядела на наружный быт.

И углядела у обочин
(мелькают стекла и рябят),
что женщины путей рабочих
вдоль рельсов утром хлеб едят.

И перед ними — случай редкий,
всем представленьям вопреки, —
не ресторанные салфетки,
а из холстины узелки.

Они одеты небогато,
но всё ж смеются и смешат.
И в глине острые лопаты
средь ихних завтраков торчат.

И поэтесса та недаром
чутьем каким-то городским
среди случайных гонораров
вдруг позавидовала им.

Ей отчего-то захотелось
из жизни чуть не взаперти,
вдруг проявив большую смелость,
на ближней станции сойти

и кушать мирно и безвестно —
почетна маленькая роль! —
не шашлыки, а хлеб тот честный
и крупно молотую соль.

...А я бочком и виновато
и спотыкаясь на ходу
сквозь эти женские лопаты,
как сквозь шпицрутены, иду.

1966

212. НИКОЛАЙ СОЛДАТЕНКОВ

Наглотавшись вдоволь пыли
в том году сорок втором,
мы с тобою жили-были
в батальоне трудовом.

Ночевали мы на пару
недалеко под Москвой
на дощатых голых нарах,
не перине пуховой.

Как случайные подружки
в неприветливом дому,
ненавидели друг дружку
по укладу, по уму.

Но когда ты сам, с охотой,
еле сдерживая пыл,
чтоб работалась работа,
электродиком варил,

ах, когда ты, друг любезный
(за охулку не взыщи),
кипятил тот лом железный,
как хозяечка борщи,

как хозяюшка России,
на глаза набрав платок,
чтобы очи ей не выел
тот блестящий кипяток, —

я глядел с любовной верой,
а совсем не напоказ,
как Успенский пред Венерой, —
прочитай его рассказ.

Надо думать, очевидно,
выпивоха и нахал,
ты меня тайком, солидно
за работу уважал, —

если, тощий безобразник
(ты полнее вряд ли стал),
мне вчера, как раз под праздник,
поздравление прислал.

1966

213

…И в ресторации Дмитраки
Шампанским устриц запивать.

Кто — ресторацией Дмитраки,
кто — тем, как беспорочно жил,
а я умом своей собаки
давно похвастаться решил.

Да всё чего-то не хватало:
то приглашают на лото,
то денег много или мало,
то настроение не то.

Ей ни отличий, ни медалей
за прародителей, за стать
еще пока не выдавали,
да и не будут выдавать.

Как мне ни грустно и ни тяжко,
но я, однако, не совру,
что не дворянка, а дворняжка
мне по душе и ко двору.

Как место дружеской попойки
и зал спортивный для игры
ей все окрестные помойки
и все недальние дворы.

Нет, я ничуть не возражаю
и никогда не возражал,
что кровь ее не голубая,
хоть лично сам не проверял.

Но для меня совсем не ново,
что в острой серости своей
она не любит голубого —
ни голубиц, ни голубей.

И даже день назад впервые
пижону — он не храбрым был —

порвала брюки голубые.
И я за это уплатил.

Потом в саду непротивленья,
как мой учитель Лев Толстой,
ее за это преступленье
кормил копченой колбасой.

1966

214. ВОРОБЫШЕК

До Двадцатого до съезда
жили мы по простоте —
безо всякого отъезда
в дальнем городе Инте.

Там ни дерева, ни тени,
ни песка на берегу —
только снежные олени
да собаки на снегу.

Но однажды в то окошко,
за которым я сидел,
по наитью и оплошке
воробьишка залетел.

Небольшая птаха эта,
неказиста, весела
(есть народная примета),
мне свободу принесла.

Благодарный честно, крепко,
спозаранку или днем
я с тех пор снимаю кепку
перед каждым воробьем.

Верю глупо и упрямо,
с наслажденьем правоты,
что повсюду тот же самый
воробьишка из Инты.

Позабылось быстро горе,
я его не берегу,
а сижу на Черном море,
на апрельском берегу...

Но и здесь, как будто дома, —
не поверишь, так убей! —
скачет старый мой знакомый,
приполярный воробей.

Бойко скачет по дорожке,
славословий не поет
и мои — ответно — крошки
по-достойному клюет.

1966

215. ХАШИ В БАТУМИ

Безрассудно, словно дети, —
что нам резкий поворот? —
на вершину на рассвете
Заурбек меня везет.

Из тумана гор не видно,
но на кухне у огня
здесь уже сидят солидно
грузчики и шоферня.

На вершине спозаранку,
как бы солнечный восход,
мне одна официантка
миску круглую несет.

Не кондитеров изделья,
не диетные супы,
а духана рукоделье
с крепким привкусом толпы.

По моей гражданской воле —
не дрожи, моя рука! —

сам я сыплю много соли
и побольше чеснока.

Съел я ложкой миску хаши,
возвратился и уснул.
Словно из народной чаши
по-приятельски хлебнул.

1966

216. АННА АХМАТОВА

Не позабылося покуда
и, надо думать, навсегда,
как мы встречали Вас оттуда
и провожали Вас туда.

Ведь с Вами связаны жестоко
людей ушедших имена:
от императора до Блока,
от Пушкина до Кузмина.

Мы ровно в полдень были в сборе
совсем не в клубе городском,
а в том Большом морском соборе,
задуманном еще Петром.

И все стояли виновато
и непривычно вдоль икон —
без полномочий делегаты
от старых питерских сторон.

По завещанью, как по визе,
гудя на весь лампадный зал,
сам протодьякон в светлой ризе
Вам отпущенье возглашал.

Он отпускал Вам перед богом
все прегрешенья и грехи,
хоть было их не так уж много:
одни поэмы да стихи.

1966

217. ЭЛЕГИЧЕСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Вам не случалось ли влюбляться —
мне просто грустно, если нет, —
когда вам было чуть не двадцать,
а ей почти что сорок лет?

А если уж такое было,
ты ни за что не позабыл,
как торопясь она любила
и ты без памяти любил.

Когда же мы переставали
искать у них ответный взгляд,
они нас молча отпускали
без возвращения назад.

И вот вчера, угрюмо, сухо
войдя в какой-то малый зал,
я безнадежную старуху
средь юных женщин увидал.

И вдруг, хоть это в давнем стиле,
средь суеты и красоты
меня, как громом, оглушили
полузабытые черты.

И к вам идя сквозь шум базарный,
как на угасшую зарю,
я наклоняюсь благодарно
и ничего не говорю,

лишь с наслаждением и мукой,
забыв печали и дела,
целую старческую руку,
что белой ручкою была.

1966

218. НАДПИСЬ НА «ИСТОРИИ РОССИИ» СОЛОВЬЕВА

История не терпит суесловья,
трудна ее народная стезя.
Ее страницы, залитые кровью,
нельзя любить бездумною любовью
и не любить без памяти нельзя.

1966

219. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОСТ

Сулейману Рустаму

Не глядя в небо голубое,
не наблюдая красоту,
стоим — по пропуску — с тобою
на Государственном мосту.

Под нами медленно струится
и поперек и вдоль реки
одна державная граница
земле и небу вопреки.

Тебе, понятно, не до позы,
совсем тебе не просто тут.
И только слезы, только слезы
вдоль щек невидимо текут.

Ты их стираешь кулаками.
Твоя родная сторона
и пулеметом и штыками
на две страны разделена.

И прячу я глаза косые.
Ведь так же трудно было б мне,
когда бы часть моей России
в чужой лежала стороне.

Хотя ты ближе стал отныне,
я праздных слов не изреку.
. . .Весенней ночью на машине
мы возвращаемся в Баку.

1966

220. ПИОНЕРСКИЙ ГАЛСТУК

Повторяются заново
давние даты,
мне до пенсии
только рукою подать,
но сегодня,
как в детстве,
ушедшем куда-то,
в пионеры
меня
принимают опять.

Ты, девчурочка русская
в кофточке белой,
на украшенной сцене
в саду заводском
завязала на шее моей
неумело
галстук детства и мужества
красным узлом.

И теперь я обязан
на поприще чистом
не ссылаться на старость,
не охать,
не ныть —
быть всё время,
до смертного полдня,
горнистом,
барабанщиком
нашего времени
быть.

Помню воздух,
насыщенный праздником света,
слышу туш оркестрантов,
уставших играть.
. . .Не могу я
доверие девочки этой
хоть едва обмануть,
хоть чуть-чуть осмеять.

1966

221. ПОЭТ

Дымятся и потеют лица,
гетеры старые снуют,
и гладиатор и патриций
из толстых кружек пиво пьют.

Еще пока никто не знает,
ни исполком, ни постовой,
что эта жалкая пивная
уже описана тобой.

Что эта вывеска и стены,
и ночью сторож вдоль пути
сойдут с провинциальной сцены,
чтобы в Историю войти.

1966

222. СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В ФОТОАТЕЛЬЕ

Живя свой век грешно и свято,
недавно жители земли,
придумав фотоаппараты,
залог бессмертья обрели.

Что — зеркало?
Одно мгновенье,
одна минута истекла,
и веет холодом забвенья
от опустевшего стекла.

А фотография сырая,
продукт умелого труда,
наш облик точно повторяет
и закрепляет навсегда.

На самого себя не трушу
глядеть тайком со стороны.
Отретушированы души
и в список вечный внесены.

И после смерти, как бы дома,
существовать доступно мне
в раю семейного альбома
или в читальне на стене.

1966

223. СТИХИ, НАПИСАННЫЕ НА ПОЧТЕ

Здесь две красотки, полным ходом
делясь наличием идей,
стоят за новым переводом
от верных северных мужей.

По телефону-автомату,
как школьник, знающий урок,
кричит заметно глуховатый,
но голосистый старичок.

И совершенно отрешенно
студент с нахмуренным челом
сидит, как Вертер обольщенный,
за длинным письменным столом.

Кругом его галдит и пышет
столпотворение само,
а он, один, страдая, пишет
свое заветное письмо.

Навряд ли лучшему служило,
хотя оно уже старо,
входя в казенные чернила,
перержавелое перо.

То перечеркивает что-то,
то озаряется на миг,
как над контрольною работой
отнюдь не первый ученик.

С той тщательностью, с тем терпеньем
корпит над смыслом слов своих,
как я над тем стихотвореньем,
что мне дороже всех других.

1966

224

Бывать на кладбище столичном,
где только мрамор и гранит, —
официально и трагично,
и скорбно думать надлежит.

Молчат величественно тени,
а ты еще играешь роль,
как тот статист на главной сцене,
когда уже погиб король.

Там понимаешь оробело
полуничтожный жребий свой...

А вот совсем другое дело
в поселке нашем под Москвой.

Так повелось, что в общем духе
по воскресеньям утром тут,
одевшись тщательно, старухи
пешком на кладбище идут.

Они на чистеньком погосте
сидят меж холмиков земли,
как будто выпить чаю в гости
сюда по близости зашли.

Они здесь мраморов не ставят,
а — как живые средь живых —
рукой травиночки поправят,
как прядки доченек своих.

У них средь зелени и праха,
где всё исчерпано до дна,
нет ни величия, ни страха,
а лишь естественность одна.

Они уходят без зазнайства
и по пути не прячут глаз,
как будто что-то по хозяйству
исправно сделали сейчас.

1966

225. В БОЛГАРСКОМ ГОРОДКЕ

Сюда, где гулом постоянным
насыщен вдоволь бедный зал,
из интуристских ресторанов
я убежденно убежал.

Там всё приборы да проборы,
манишек блеск и скатертей —
всё это мне никак не впору,
не по симпатии моей.

А тут, жуя и торжествуя,
как в царстве малом и родном,
отлично время провожу я
за плохо прибранным столом.

Сюда любые лица вхожи:
вот плотник, весел и небрит,
складной аршин, как герб вельможи,
из куртки старенькой торчит.

С ужасным перцем суп горячий
глотает жадно паренек.
В его подсумке обозначен
не для забавы молоток.

А ты, сосед с лицом убитым,
не погибай из-за любви.
Прекрасен твой пиджак из твида
и брюки белые твои.

Твоя подружка, может статься,
к тебе воротится опять, —
не надо глупо упиваться,
уж лучше глупо уповать.

Вон там, стаканы поднимая
за нашу жизнь, за наши дни,
шумит компания хмельная.
Шуми, компания, шуми!

Здесь чуть не все друг дружку знают,
тут шутки общие, свои.
И между стульями порхают,
как на бульваре, воробьи.

1966

226. ПРОЩАЛЬНАЯ ЛЕНТА

Ленты медленно и быстро
в мокром воздухе летят
с нашей палубы на пристань
и оттудова назад.

Их берут на расстоянье,
ловят их над головой,
превращая расставанье
в некий праздник портовой.

Вот еще их больше стало, —
только ленты, как во сне.
Мне уж вовсе не пристало
оставаться в стороне.

Но средь бестолочи этой
провожающих людей
у меня, к несчастью, нету
ни знакомых, ни друзей.

...Я совсем не знаю — кто ты,
но ручаюсь целиком,
что лицо такой работы
надо делать топором.

Эти лица не ваяют,
с тонкой кистью не корпят,
а наотмашь вырубают —
так, что щепочки блестят.

Потому-то в час отхода,
колебаний не любя,
я из общего народа
выбрал именно тебя.

И в порту Иокогамы,
чтоб меня не позабыл,
я тебе, как телеграмму,
ленту длинную пустил.

Вот она неотклоненно,
хоть дождем мерцала мгла,
сквозь намокшие знамена
в руку сильную вошла.

Был я счастлив на причале
тем, что мы, как два юнца,
с наслаждением держали
этой ленты два конца.

Нам обоим ясно было,
что под небом облаков
нас она соединила
не для праздных пустяков.

Умиляться я не стану,
это стиль никак не мой.
Через волны океана
я ее везу домой.

1966

227. ПОСТОЯНСТВО

Средь новых звезд на небосводе
и празднοблещущих утех
я, без сомненья, старомоден
и постоянен, как на грех.

Да мне и не к чему меняться,
не обязательно с утра
по телефону ухмыляться
над тем, что сделано вчера.

Кому — на смех, кому — на зависть,
я утверждать не побоюсь,
что в самом главном повторяюсь
и — бог поможет — повторюсь.

И даже муза дальних странствий,
дав мне простора своего,
не расшатала постоянство,
а лишь упрочила его.

1966

228. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я знал, проживая в столице,
в двухкомнатном теплом раю,
что мне не дано возвратиться
в прекрасную юность мою.

Я знал хорошо напоследки,
под стук беспощадных минут,
что лозунги той пятилетки
обратно ко мне не придут.

Я выучил до отвращенья,
хоть я человек занятой,
что давнее то ощущенье
навеки утрачено мной.

Зачем же, скажите на милость,
от этого маяться мне?
И всё ж таки чудо случилось
в одной сопредельной стране.

Все сложности выдержав стойко,
познав путешествий размах,
мы ночью очнулись на стройке
в бескрайних монгольских степях.

А утром без всякой натяжки
явилась нам средь пустырей
редакция многотиражки
и цех типографский при ней.

Рабочей газеты изнанка —
ах, как она мне по душе:
шпагатом затянуты гранки,
набиты на доску клише.

Мне эти известны порядки:
строка примыкает к строке,
и вновь тяжелеет верстатка
в моей ослабевшей руке.

Исполненный милого такта,
прекрасен на взгляд и на слух,
в костюмчике сером редактор —
недавний монгольский пастух.

Он сам, очевидно, не знает
за версткой газетки своей,
что в этих степях повторяет
историю русских степей.

Распахнуты двери и ставни,
шумит ветерок удалой,
и лозунги юности давней
трепещут опять надо мной.

1966

229. МОРЕ ПОД ОКНОМ

Успокоительно, как горе,
всю ночь, и вечером, и днем
полуустало плещет море
и у дверей, и под окном.

Оно меня, как мать ребенка,
и до отбоя и в отбой
купает, словно бы в пеленках,
в своей купели голубой.

Ну что ж? Усну, моя отрада,
раз нянька старая велит.
Но рано утром — так уж надо! —
мальчишка снова закричит. . .

1966

230. ЕНИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ

Берегов не отыщете шире
и воды не найдете сильней —
по тайге и по тундре Сибири
величаво летит Енисей.

Не догонит никто торопливо
посредине крутых берегов
голубые и синие гривы
полудиких его табунов.

Забавляться ему надоело
бесшабашною силой своей —
настоящего русского дела
захотел для себя Енисей.

Мы ему подарили плотину,
он взялся за работу в ответ —
и на тундру вечернюю хлынул
проливной электрический свет.

Для того чтобы жить без печали
в снеговом Красноярском краю,
мы не зря у тебя переняли
молодецкую удаль твою.

Для могучей твоей красотищи,
для мятежной твоей быстроты
мы такие работы отыщем,
о каких и не слыхивал ты.

Мы не станем дремать на покое,
мы тебя не оставим, река.
Это только начало такое,
это только запевка пока.

1966

231. СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В ПСКОВСКОЙ ГОСТИНИЦЕ

С тех самых пор, как был допущен
в ряды словесности самой,
я всё мечтал к тебе, как Пущин,
приехать утром и зимой.

И по дороге возле Пскова —
чтоб всё, как было, повторить, —
мне так хотелось ночью снова
тебе шампанского купить.

И чтоб опять на самом деле,
пока окрестность глухо спит,
полозья бешено скрипели
и снег стучал из-под копыт.

Всё получилось по-иному:
день щебетал, жужжал и цвел,
когда я к пушкинскому дому
нетерпеливо подошел.

Но из-под той заветной крыши
на то крылечко без перил
ты сам не выбежал, не вышел
и даже дверь не отворил.

. . . .И, сидя над своей страницей,
я понял снова и опять,
что жизнь не может повториться,
ее не надо повторять.

А надо лишь с благоговеньем,
чтоб дальше действовать и быть,
те отошедшие виденья
в душе и памяти хранить.

1967

232. МИХАИЛ СВЕТЛОВ

Всё совершается, как надо,
хоть и не сразу, не сполна.
Но горсть земли из-под Гренады
была в Москву привезена.

Ее везли не без опаски
через границы вдалеке,
как будто в старой русской сказке,
в полукрестьянском узелке.

Ей красоты недоставало,
оттенков сизо-золотых, —
она из пыли состояла
и мелких камешков нагих.

Но несмотря на это, всё же
она на свой особый лад
была для нас куда дороже
и украшений, и наград.

И мы ее, чтоб легче было
тебе лежать от всех вдали,
на тихий холм твоей могилы,
как надлежало, принесли.

Ведь есть естественность прямая
в том, что сегодня над тобой
земля Испании сухая
смешалась с русскою землей.

1967

233. ПЕЙЗАЖ

Сегодня в утреннюю пору,
когда обычно даль темна,
я отодвинул набок штору
и молча замер у окна.

Небес сияющая сила
без суеты и без труда
сосняк и ельник просквозила,
да так, как будто навсегда.

Мне — как награда без привычки —
вся освещенная земля
и дробный стрекот электрички,
как шов, сшивающий поля.

Я плотью чувствую и слышу,
что с этим зимним утром слит,
и жизнь моя, как снег на крыше,
в спокойном золоте блестит.

Еще покроют небо тучи,
еще во двор заглянет зло.
Но все-таки насколько лучше,
когда за окнами светло!

1967

234. НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Куда подевалась, Россия,
поэзия тройки твоей,
глаза твоих женщин косые,
копыта твоих лошадей?!

Куда вы исчезли из вьюги,
полозья рязанских саней,
звучащие черные дуги
и красные розы ноздрей?!

В какой утаились округе,
уйдя от грохочущих дней,
бубенчики, вожжи, подпруги,
медвяные губы подруги
и снежные дуги бровей?!

Но вот я взволнованно вижу,
как Красная площадь кипит.
С минутою каждою ближе
ликующий топот копыт.

Куда ты спешишь? Погоди же!
Но конница мимо летит.

Где двигались медленно танки,
вдоль красных стены и ворот
стучит на колесах тачанки
уже одуревший в гражданке
гражданской войны пулемет.

Стремительно катится лава.
Прорублена в проблеск клинка
посмертная Блюхера слава
и мертвая жизнь Колчака.

Ах, сколько их, тех генералов,
и в штабах своих, и во сне
по площади этой мечтало
на белом проехать коне!

Но все они сгибли, однако,
позорно закончив бои.
Со мной на трибунах рубака
глаза утирает свои.

Испита бесславная чаша,
и выпита чаша побед.

Идет кавалерия наша
на уровне наших ракет.
Зачем же ты плачешь, папаша?
Ведь снег пропусков и ромашек
еще не замел ее след.

Уже через Балчуг на Пресню
устало уходят полки,
и, словно бы красные песни,
за ними летят башлыки.

1967

235. МАЙОР

Прошел неясный разговор,
как по стеклу радара,
что где-то там погиб майор
Эрнесто Че Гевара.

Шел этот слух издалека,
мерцая красным светом,
как будто Марс сквозь облака
над кровлями планеты.

И на газетные листы
с отчетливою силой,
как кровь сквозь новые бинты,
депеша проступила.

Он был ответственным лицом
отчизны небогатой,
министр с апостольским лицом
и бородой пирата.

Ни в чем ему покоя нет,
невесел этот опыт.
Он запер — к черту! — кабинет
и сам ушел в окопы.

Спускаясь с партизанских гор,
дыша полночным жаром,
в чужой стране
погиб майор
Эрнесто Че Гевара.

Любовь была и смерть была
недолгой и взаимной,
как клекот горного орла
весной
в ущелье дымном.

Так на полях
иной страны
сражались без упрека
рязанских пажитей сыны
в Испании далекой.

Друзья мои!
Не всё равно ль —
признаюсь перед вами, —
где я свою сыграю роль
в глобальной грозной драме!

Куда важней задача та,
чтоб мне сыграть предвзято
не палача и не шута,
а красного солдата.

1967

236. ЮГОСЛАВСКАЯ СВЕЧА

> Свеча горела на столе,
> Свеча горела.
>
> *Борис Пастернак*

Кругом тревожно и темно,
но по оплошке
светилось малое окно
в ночной сторожке.

Бессветно было на земле,
но всё же смело
свеча горела на столе,
свеча горела.

Вязала что-то там свое,
склонившись глухо,
не то жилет, не то белье,
одна старуха.

От оккупации устав,
в простенке малом
больной старик тревожно спал
под одеялом.

Вдруг прогремел дымящий ад
гудящим басом.
Взорвали партизаны склад
боеприпасов.

И на окраине села
ночная стежка
собак немецких привела
к окну сторожки.

Гестапо шло навеселе,
и в ночь расстрела,
как в ночь венчанья, на столе
свеча горела.

Под утро чуждая рука
неспешно, сухо
похоронила старика
с его старухой.

С тех пор во тьме большой ночи
с двойною силой
всегда горели две свечи
на двух могилах.

Кто их в ту пору зажигал,
узнать не силюсь,
но сам слыхал и сам видал:
они светились.

Не сомневайся, помолчи —
ведь в самом деле
всю ночь горели две свечи,
всю жизнь горели.

1967

237. ЦЫГАНСКАЯ РАПСОДИЯ

Нет в песне цыганского склада,
романса не выкроишь тут.
Давно уж вблизи от Белграда
оседло цыгане живут.

По ранней росе спозаранку,
как водится, из году в год,
цыгане идут и цыганки
работать на местный завод.

И весело, словно галчата,
с утра и до ночи, подряд,
на задних дворах цыганята,
как им подобает, галдят.

В фуражках, украшенных кантом,
под гул канонады вдали
с железным крестом оккупанты
сюда из Берлина пришли.

И сразу же, как и в России
ушел в партизаны народ.
Умолкли гудки заводские,
командовать стал пулемет.

Не кормят ни мамка, ни тато
похлебкой родимой земли.
Собравшись гуртом, цыганята
работать на площадь пошли.

С утра и до вечера четко
с веселым отчаяньем там
летают их черные щетки
по кожаным тем сапогам.

Работа идет без помарки,
как будто «Цыган» черновик.
И падают мятые марки
в ладони проворные их.

Когда над гестаповской крышей
небесные звезды блестят,
застукали тех ребятишек,
отчаянных тех цыганят.

И сразу под мрачным конвоем,
всё выполнив в заданный срок,
их всех обреченной толпою
в недальний погнали лесок.

Какие тут слухи и речи?
Закрыт по-могильному рот.

Зато деловито навстречу
уже застучал пулемет.

Идя на предсмертную муку,
на плац счетверенный огня,
своим удивительным стуком
ответила вдруг ребятня.

На смертном рассвете туманном
у всех сыновей и внучат
по ящикам их деревянным
сапожные щетки стучат.

Над родиной непокоренной,
над сонмом мятущихся душ
звучит этот марш похоронный,
как словно бы праздничный туш:

«Эх, загулял, загулял, загулял
парень молодой, молодой,
в красной рубашоночке,
хорошенький такой! ..»

Набитые спесью и жиром,
от стен заводских невдали,
не дрогнули те конвоиры
и фюрер немецкой земли.

Сработано намертво дело,
рыдает наутро семья.
Не бодрым стишком, а расстрелом
кончается песня моя.

1967

238. ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ СНИМОК

На свете снимка лучше нету,
чем тот, что вечером и днем
и от заката до рассвета
стоит на столике моем. . .

Отображен на снимке этом,
как бы случайно, второпях,
Ильич с сегодняшней газетой
в своих отчетливых руках.

Мне, сыну нынешней России,
дороже славы проходной
те две чернильницы большие
и календарь перекидной.

Мы рано без того остались
(хоть не в сиротстве, не одни),
кем мира целого листались
и перекладывались дни.

Всю сложность судеб человечьих
он сам зимой, в январский час,
переложил на наши плечи,
на души каждого из нас.

Ведь всё же будет вся планета
кружиться вместе и одна
в блистанье утреннего света,
идущем, как на снимке этом,
из заснеженного окна.

1967

239. СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Я был, понятно, счастлив тоже,
когда влюблялся и любил
или у шумной молодежи
свое признанье находил.

Ты, счастье, мне еще являлось,
когда не сразу, неспроста
перед мальчишкой открывалась
лесов и пашен красота.

Я также счастлив был довольно
не каждый день, но каждый год,
когда на празднествах застольных,
как колокол на колокольне,
гудел торжественно народ.

Но это только лишь вступленье,
вернее, присказка одна.
Вот был ли счастлив в жизни Ленин,
без оговорок и сполна?

Конечно, был.
И не отчасти,
а грозной волей главаря,
когда вокруг кипело счастье
штыков и флагов Октября.

Да, был, хотя и без идиллий,
когда опять, примкнув штыки,
на фронт без песен уходили
Москвы и Питера полки.

Он счастлив был, смеясь по-детски,
когда, знамена пронося,
впервые праздник свой советский
Россия праздновала вся.

Он, кстати, счастлив был и дома,
в лесу, когда еще темно...

Но это счастье всем знакомо,
а то — не каждому дано.

1967

240. ПО ПОВОДУ ГОЛУБЕЙ

Пока, увязнувши на треть,
скрипит планеты колесо,
она успела постареть,
твоя голубка, Пикассо.

Когда на улице светло,
любому мальчику видать:
с набитым зобом тяжело
ей подниматься и летать.

Нет блеска сокола в очах,
и нет бесстрашия орла:
Так приживалка на харчах
у благодетельниц жила.

Немало раз породу их,
когда идет киножурнал,
во фраках сизо-голубых
на ассамблеях я видал.

Не призываю воевать,
не обижаю прочих птиц, —
мне хоть бы только развенчать
ясновельможных голубиц.

1967

241. ПИСЬМО В РАЙОННЫЙ ГОРОД

Пишет Вам неизвестная личность, не знавшая Вас во времена жизни моего сына Бори Корнилова, который, как мне известно, был близким Вам другом.

Из письма Т. М. Корниловой

Где-то там, среди холмов дубравных,
в тех краях, где соловьев не счесть,
в городе Семенове неславном
улица Учительская есть.

Там-то вот, как ей и подобает,
с пенсией, как мать и как жена,
век свой одиноко коротает
бедная старушечка одна.

Вечером, небрежно и устало,
я открыл оттуда письмецо,
и опять, как в детстве, запылало
бледное недоброе лицо.

Кровь моя опять заговорила,
будто старый узник под замком.
Был ты мне, товарищ мой Корнилов
чуть ли не единственным дружком.

Мир шагал навстречу двум поэтам,
распрекрасный с маковки до пят.
Впрочем, я писал уже об этом,
пусть меня читатели простят.

Получил письмо я от старушки
и теперь не знаю, как мне быть:
может быть, пальнуть из главной пушки
или заседанье отменить?

Не могу проникнуть в эту тайну,
не владею почерком своим.
Как мне объяснить ей, что случайно
мы местами обменялись с ним?

Поменялись как, не знаем сами,
виноватить в этом нас нельзя —
так же, как нательными крестами
пьяные меняются друзья.

Он бы стал сейчас лауреатом,
я б лежал в могилке без наград.
Я-то перед ним не виноватый,
он-то предо мной не виноват.

1967

242. ЖАНТИЛ ИЗ БРАЗИЛИИ

Не жалуясь нисколечко,
душой и телом чист,
лежит себе на коечке
бразильский коммунист.

Ему побриться недосуг,
о красоте забыл
мой юный брат и верный друг.
Виват тебе, Жантил!

Не ландыши и лилии
у друга на уме.
Компартия Бразилии
в подполье и тюрьме.

Поговорить в охотку нам,
хочу, чтоб рассказал,
как он в больницу Боткина
нечаянно попал.

Беседуем, как химики:
понятней и скорей
на пальцах да на мимике,
без всяких словарей.

Беседу однотемную
уж мне ли позабыть —
решеточку тюремную
легко изобразить.

Свою понурив голову,
не позабыл Жантил
дубиночки тяжелые
напудренных горилл.

Он сам, как было велено,
не посчитал за труд
приехать в школу Ленина,
в Марксистский институт.

С тобой шагаем об руку,
не остерегшись их —
ресниц святого отрока
и родинок больших.

Ведь кудри непокорные
спадают на глаза,
молниеносно-черные,
как поздняя гроза.

В том, что изобразили мы,
есть свой и смысл, и лад.
Компартия Бразилии,
виват тебе, виват!

1967

243. СЛЕПЕЦ

Идет слепец по коридору,
тая секрет какой-то свой,
как шел тогда, в иную пору,
армейским посланный дозором,
по территории чужой.

Зияют смутные глазницы
лица военного того.
Как лунной ночью у волчицы,
туда, где лампочка теснится,
лицо протянуто его.

Он слышит ночь, как мать — ребенка,
хоть миновал военный срок
и хоть дежурная сестренка,
охально зыркая в сторонку,
его ведет под локоток.

Идет слепец с лицом радара,
беззвучно, так же как живет,
как будто нового удара
из темноты далекой ждет.

1967

244. ДЕКАБРЬСКОЕ ВОССТАНИЕ

Я не о той когорте братской,
нельзя какую позабыть
и что на площади Сенатской
пыталась ложу учредить.

Я не о тех лихих рубаках,
красе и гордости земли,
что шли в тюрьму, как шли в атаку,
и как потом в мундирных фраках
стремглав на виселицу шли.

Я о декабрьской Красной Пресне,
о той, где ты, Советов власть,
подобно первым строкам песни,
в пеленках красных родилась.

О той, скуластой и сутулой
(ее давно покинул бог),
что поднялась с недобрым гулом
и прах державный отряхнула
с отцовских шапок и сапог.

О той, что развернула знамя
в том белоснежном декабре
в краю Трех гор и Трех восстаний,
на перекрестке жизни ранней,
на раннеутренней заре.

1967

245. ТИХИЙ, ИЛИ ВЕЛИКИЙ

Внук полевой России
(ива, изба, Иван),
я увидал впервые
с палубы океан.

Это ведь не эстетство,
если она впервой,
синяя сказка детства,
движется под тобой.

Это не скрипки бала,
если тебя штормят
девять и десять баллов
целую ночь подряд.

Бахают волны сбоку,
теша тоску свою.
С жадностью одинокой
перед тобой стою.

Может быть, я не вправе
вровень с тобою жить.
Но не хочу ославить —
хочется разъяснить.

Вовсе не для присловья
с флагом над головой
мы умывались кровью,
собственной и чужой.

Там, на советской суше,
выйдя на свет из тьмы,
реквиемы и туши
перемежали мы.

Небо уже беззвездно,
вроде бы стих прибой.
Слишком, пожалуй, поздно
встретились мы с тобой.

Было б, конечно, лучше,
если б Девятый вал,
сбив, как папаху, тучи,
зыбку мою качал.

Возгласы, посвист, крики!..
Как ты там ни ори,
Тихий да и Великий
были у нас цари.

Отменены недавно
Библия и Коран.
Будем шуметь на равных,
оба в ролях заглавных,
Тихий мой океан.

1957

246. СВАДЬБА

Уместно теперь рассказать бы,
вернувшись с поездки домой,
как в маленьком городе свадьба
по утренней шла мостовой.

Рожденный средь местных талантов,
цветы укрепив на груди,
оркестрик из трех музыкантов
усердно шагал впереди.

И слушали люди с улыбкой,
как слушают милый обман,
печальную женскую скрипку
и воинский тот барабан.

По всем провожающим видно,
что тут, как положено быть,
поставлено дело солидно
и нечего вовсе таить.

Для храбрости выцедив кружку,
но всё же приличен и тих,
вчерашним бедовым подружкам
украдкой мигает жених.

Уходит он в дали иные,
в семейный хорошенький рай.
Прощайте, балы и пивные,
вся жизнь холостая, прощай!

По общему честному мненью,
что лезет в лицо и белье,
невеста — одно загляденье.
Да поздно глядеть на нее!

Был праздник сердечка и сердца
отмечен и тем, что сполна
пронзительно-сладостным перцем
в тот день торговала страна.

Не зря ведь сегодня болгары,
хозяева этой земли,
в кошелках с воскресных базаров
пылающий перец несли.

Повсюду, как словно бы в сказке,
на стенах кирпичных подряд
одни только красные связки
венчального перца висят.

1967

247. ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ

Сам я знаю, что горечь
есть в улыбке моей.
Здравствуй, Павел Григорьич,
древнерусский еврей.

Вот и встретились снова
утром зимнего дня, —
в нашей клубной столовой
ты окликнул меня.

Вас за столиком двое:
весела и бледна,
сидя рядом с тобою,
быстро курит жена.

Эти бабы России
возле нас, там и тут,
службу, как часовые,
не сменяясь, несут.

Не от шалого счастья,
не от глупых услад,
а от бед и напастей
нас они хоронят.

Много верст я промерил,
много выложил сил,

а в твоих подмастерьях
никогда не ходил.

Но в жестоком движенье,
не сдаваясь судьбе,
я хранил уваженье
и пристрастье к тебе.

Средь болот ненадежных
и незыблемых скал
неприютно и нежно
я тебя вспоминал.

Средь приветствий и тушей
и тебе, может быть,
было детскую душу
нелегко сохранить.

Но она не пропала,
не осталась одна,
а как дернем по малой —
сквозь сорочку видна.

Вся она повторила
наше время и век,
золотой и постылый.
Здравствуй, дядька наш милый,
дорогой человек.

1967

248. ЭТАЖЕРКА

Я нынче проснулся с охотой,
веселый и добрый с утра:
наверно, прелестное что-то
случилось со мною вчера.

И то и другое прикинув,
я вспомнил весь день прожитой:
девчушка из недр магазина
несла этажерку домой.

Всё было не просто, однако,
ведь та этажерка была
покрыта сияющим лаком,
блистательным, как зеркала.

И в ней, задержавшись на малость,
от вешнего люда тесна,
и улица — вся — отражалась,
и вся повторялась весна.

Мне скажет какой-нибудь критик
на эти восторги в ответ:
«Подумаешь, тоже событье
нашел для потомства поэт!»

А как же! Конечно, событье.
О многом подумаешь тут,
когда в суету общежитья
свою этажерку несут.

А это уж наша забота —
такими поэтами быть,
чтоб нынче по высшему счету
стихи для нее сочинить.

Чтоб наши неглупые книжки,
когда их случится издать,
могли бы, пускай не в излишке,
на той этажерке стоять.

1967

249. БАЛЛАДА ВОЛХОВСТРОЯ

Сюда с мандатом из Москвы
приехали без проездных
в казенных кожанках волхвы
и в гимнастерках фронтовых.

А в сундучках у них лежат
пять топоров и пять лопат.

Тут без угара угоришь
и всласть напаришься без дров.
Пять топоров без топорищ
и пять лопат без черенков.

Но в эти годы сущий клад
пять топоров и пять лопат.

Так утверждался новый рай,
а начинался он с того,
что люди ставили сарай
для инструмента своего.

И в нем работники хранят
пять топоров и пять лопат.

Когда Ильич в больших снегах
ушел туда, где света нет,
и свет померк в его очах —
отсюда хлынул общий свет.

Я слышу, как они стучат, —
пять топоров и пять лопат.

1967

250. ВИШНИ ЯПОНИИ

Я в долгу... перед вишнями
Японии...

Владимир Маяковский

Сразу все, согласно и неслышно,
словно кто-то дал команду тут,
белые и розовые вишни
надо всей Японией цветут.

Нам-то, русским жителям, не ново
услыхать с любовью и тоской
этот дух и этот цвет вишневый
в утреннем поселке под Москвой.

Но они в Японии сильнее
и нежнее как-то, чем у нас:
то ли небо дальнее синее,
то ли дымка застилает глаз.

Из отеля выйдя на рассвете,
невдали на горке некрутой
я ее нашел.
И эти ветви
бережно придерживал рукой.

Всё стоял я, осененный светом,
и держал вишневый цвет в горсти,
чтобы после ощущенье это
до своей России довезти.

1967

251. ПЛАЧУЩАЯ ЛАПША

Ночью под модной крышей,
где размещен отель,
я сквозь окно услышал
плачущую свирель.

Было ее звучанье
в яркости голубой
словно бы обещанье,
связанное с мольбой.

С вышки многоэтажной —
нету важнее дел —
через заслон бумажный
я ее разглядел.

Двигаясь с явным толком
в блеске ночных теней,
медленно шла двуколка
ниже ночных огней.

В темной какой-то робе
сгорбленный старичок
шел меж ее оглобель,
словно бы ишачок.

И, украшая дело,
словно луга апрель,
с жалким призывом пела
нищенская свирель.

Город оповещая,
ехала не спеша,
знающих обольщая,
плачущая лапша.

Люди рабочей смены,
дружный ночной отряд,
севши вокруг, степенно
эту лапшу едят.

Мне до нее не близко,
но — по всему видать —
вкусно ее из миски
палочками хлебать.

Скучно мне на банкетах,
муторно для души.
Вот похлебать бы этой
запросто здесь лапши!

1967

252. ПЕЙЗАЖ У ОКНА

Безмятежна и нежна,
как-то непривычно
под окном стоит сосна
местности больничной.

По утрам, пока темно,
и при солнце знойном
на нее гляжу в окно
прямо и достойно.

Променяв свое жилье
на бивак палатный,
пью спокойствие ее
даром и бесплатно.

В синем мареве снегов
нашу зыбкость чуя,
лучше всяких докторов
нас она врачует.

В тишине ее ветвей,
словно бы с наброска,
приютилась рядом с ней
слабая березка.

Красный лозунг кумача,
птиц бесшумных стая.
Белый ситец и парча,
солнцем залитая.
Подвенечная свеча,
риза золотая.

1967

253. НОЧНОЙ СОН

По плечу видать — силен
отрок загорелый.
Черный волос лезет вон
из сорочки белой.

Смуглолиц и горбонос,
выделан как надо,
только глаз недобро кос,
в речи нету склада.

Но когда огонь прикрыт
в угловой палате —
как он спит! Ах, как он спит
на своей кровати!

Как для ссыльного орла,
помнящего горы,

та кровать ему мала,
плохо без простора.

Словно сделав два шага
на пути к разлуке,
остановлена нога,
распростерты руки.

Точно громкие слова
между оробелых,
затерялась голова
средь подушек белых.

И видны издалека
простынь с одеялом,
словно луг и облака,
ливень и обвалы.

Мир вокруг заклокотал,
небо повернулось.
Так бы, верно, Демон спал,
если бы заснулось.

1967

254. Я ОТСЮДОВА УЙДУ

Я на всю честную Русь
заявил, смелея,
что к врачам не обращусь,
если заболею.

Значит, сдуру я наврал
или это снится,
что и я сюда попал,
в тесную больницу?

Медицинская вода
и журнал «Здоровье».
И ночник, а не звезда
в самом изголовье.

Ни морей и ни степей,
никаких туманов,
и окно в стене моей
голо без обмана.

Я ж писал, больной с лица,
в голубой тетради
не для красного словца,
не для денег ради.

Бормочу в ночном бреду
фельдшерице Вале:
«Я отсюдова уйду,
зря меня поймали.

Укради мне — что за труд?! —
ржавый ключ острожный».

Ежели поэты врут,
больше жить не можно.

1967

255. ДВЕ СОБАЧЬИ МОРДЫ

Пусть я тронутый на треть
и в уме нетвердый,
но желаю лицезреть
две собачьи морды.

Больше женщин и юнцов —
близких исключая —
я своих прекрасных псов
увидать желаю.

Я б прикидывать не стал,
а единым духом
ту ложбинку почесал
за собачьим ухом.

А они — и тот, что млад,
и заматерелый —
указаний не хотят,
знают сами дело.

Сами знают, что сказать,
лая между прочим,
и от радости визжать
из последней мочи.

Я пришел из тех гостей,
из таковской бражки,
где ни мяса, ни костей —
киселек да кашки.

Я вам вместе, пес и пес,
из палаты жаркой
никакого не принес
малого подарка.

...Не желаю порошков
и пилюль снотворных,
а хочу собачьих псов,
сильных, непритворных.

1967

256. МУЖИЦКИЕ ПИСЬМА

А я вот довольно зависим
и вряд ли чего бы достиг
без дедовских медленных писем,
без смысла крестьянского их.

Всё было бы только притворство,
я сам ничего бы не смог,
когда бы в свое стихотворство
не внес доморощенный слог.

Издержки и таинства стиля
ничуть не стараюсь избыть, —

да, мы его дома растили,
а где его надо растить?

Негромкое строчек движенье
для тех, кто в чужой стороне,
наполнено всё уваженьем
ко всей — поименно — родне.

Писал их в далекое время
в деревне заштатной своей
по главной прижизненной теме
я самый как раз грамотей.

Но все-таки стиль создавали,
пока он таким вот не стал,
все те, что тогда диктовали,
а я только просто писал.

1967

257. СЕРДЦЕ

Если мир треснет, трещина пройдет через сердце поэта.

Генрих Гейне

Мир был разъят и обесчещен,
земля крутилась тяжело.
Ах, сколько их, тех самых трещин,
по сердцу самому прошло!

Оно еще живет покуда
и переваривает быт,
но, словно с трещиной посуда,
веселым звоном не звенит.

Оно еще стучит неплохо,
в нем не совсем погаснул жар;
оно годится твой, эпоха,
последний выдержать удар.

1967

258. НОЧЬ В ПЕРЕУЛКЕ

Как в сказочной шкатулке,
похожий на ханжу,
в токийском переулке
томительно хожу.

Сначала по закону
не видно здесь ни зги —
лишь трубочки неона
да синие круги.

Потом идут хмельные,
храня приличный тон,
и пахнет, как в России,
японский самогон.

Таким же самым духом
насыщена до слез
горбатая старуха
с торговлишкой вразнос:

как Ноева семейка,
воркуют и гремят
лягушечки и змейки
и мордочки тигрят.

Японские иены
и русский аппетит.
Как жирная гиена,
старушечка глядит.

Сдержаться не умею:
на гибель на свою,
заранее бледнея,
я в руки взял змею.

Исчерпан и исперчен
торговый интерес:
змея из гуттаперчи,
да я-то из телес.

Для оргии дальнейшей
не годен мой талант:
опасны эти гейши
и страшен хиромант.

Он, красный весь и синий,
на грани бытия.
Ведь в сонме этих линий
есть линия моя.

Сейчас я всё узнаю
сквозь сказочную тьму.

Но всё же не гадаю,
наверно, понимая,
что это ни к чему.

1967

259. НА РОДИНЕ НИКОЛАЯ ВАПЦАРОВА

Перо мое не в чернилах,
а в крови...

Николай Вапцаров

Собравшись как-то второпях,
не расспросивши никого,
мы у Вапцарова в гостях,
в квартире маленькой его.

Уже прошло немало лет,
давно то время вдалеке,
когда явился нам поэт
на нашем русском языке.

Как подобает, прибран дом,
и свет в окошках золотой,
но что-то странное кругом,
какой-то воздух неживой.

На полке книги так стоят
от корешка до корешка,

как будто много дней подряд
не прикасалась к ним рука.

И непонятна нам сперва
еще особенность и та,
что не горят никак дрова,
не раскаляется плита.

Пол по-музейному блестит,
официальна тишина,
и, как на сцене, говорит
трагичным шепотом жена.

Я вроде суеверным стал,
чего на ум-то не придет?
Хозяин сильно запоздал,
домой, наверно, не придет.

Уж много лет тому назад
его прикончили враги.
По лестнице не прозвучат
его спешащие шаги.

Его напрасно не зови,
а лучше подойди к бюро:
оно и вправду всё в крови,
его поэзии перо.

1967

260. ВСЕ НЫНЧЕ ПИШУТ О СВЕТЛОВЕ

Все нынче пишут о Светлове,
и я, хоть классиком не стал,
но что-то вроде предисловья
к его собранью написал.

Все с ним в пивных глушили кружки,
все целовались с ним спьяна,
нашлись и грешные подружки,
и непорочная жена.

Над незажившею могилой
двенадцать месяцев подряд
они болтают в общем мило
и со старанием острят.

Так что же, может, я ревную
или завидую ему,
ушедшему в страну иную,
в ту, как в соборе, золотую,
полусветящуюся тьму?

Нет. Ведь у нас одна дорога,
за ним иду в разведку я —
от свечки отчего порога
до черных люстр небытия.

Я просто издали примерил
костюм вечерний гробовой.
Всё будет так же, в той же мере
немного позже и со мной.

1967

261. РАВЕЛЬ

Я понял мысли верным ходом
средь достижений и обид —
своим избранникам природа
за превосходство нагло мстит.

Француза, слепленного тонко
из вкуса, сердца и ума,
поставит вдруг на четвереньки
и улыбается сама.

И гениального мальчишку
средь белоблещущих высот
за то, что он зарвался слишком,
рукой Мартынова убьет.

...И я за те свои удачи,
что были мне не по плечу,
сомкнувши зубы, не запла́чу,
а снова молча заплачу́.

1958, 1967

262

Зима стояла в декабре
совсем не шутки ради:
снег на шоссе и во дворе,
в Москве и Ленинграде.

Как белых,— в шахматах — успех,
как длительное чудо,
летал повсюду белый снег,
лежал себе повсюду.

Похорошела сразу ель,
мороз трещал, как надо,
почти что целых пять недель,
с походом три декады.

И я всю эту смену дней
с великою охотой
в закрытой комнате моей
без отдыху работал.

Однажды мимо в поздний срок
дорогой недалекой
проехал Пушкина возок...
Рысак проёкал Блока.

А вслед за ними (хоть темно,
но, кажется, поближе)
Владим Владимыч на «рено»
проехал из Парижа.

Но вот уже, как в горле ком,
с какой-нибудь попойки
промчалась шумно с ямщиком
есенинская тройка.

Неся набор шутливых слов
и узенькую шпагу,
прошел задумчиво Светлов
своим неспешным шагом.

И сквозь поземку и метель,
как музыки начало,
вдали Мартынова свирель
возлюбленно звучала.

Зима дымилась на заре,
светлея и крепчая.

Я начал книгу в декабре
и в декабре кончаю.

1967

263. ТРУБОЧИСТ

Живет и нынешним и прежним,
сближая Запад и Восток,
на прибалтийском побережье
чистейше-тихий городок.

Мне каждый день навстречу едет,
сосредоточен и плечист,
на стареньком велосипеде
с ведерком черным трубочист.

Мне кажется не без опаски,
что едет он от братьев Гримм,
из сборников немецкой сказки,
из иллюстраций старых к ним...

1967 (?)

264

В журналах своих и в газетах,
среди стихотворных красот,
не слишком ли часто поэты
тебя поминают, народ?

В стихах, обращенных к потомкам,
в поэмах, идущих чредой,
мы, может быть, слишком уж громко
клянемся тебе и тобой.

Наверно, признанья всё те же
прискучило людям читать,
и надо б и тише и реже
об этой любви заявлять?

...Когда-то — чего не бывало? —
В Сибири средь падей и гор
с квантунским одним генералом
пришлось мне вести разговор.

Свое любопытство смиряя,
запомнил я больше всего
потушенный взгляд самурая,
огромные уши его.

Подавленный новою ролью
(однако же к ней он привык),
как лагерной траченный молью
бобровый его воротник.

Не ждя от начальников красных
за это и малых щедрот,
незлобно и даже бесстрастно
он собственный хаял народ.

И так выходило, что вроде
он сам-то доволен собой,
но лучше б его благородью
в стране подвизаться иной.

Ему, как начальнику штаба,
в другой бы империи жить,
и он уж сумел бы тогда бы
не так о себе заявить.

Он должен сказать откровенно,
что, если б не жалкий народ,
тут пахло бы вовсе не пленом,
другой бы пошел оборот.

И он бы в недальнее зданье,
куда лейтенант вызывал,
не бегал давать показанья,
а сам бы себя показал.

...В поэты бы мы не годились
и песни писать не могли,
когда бы тобой не гордились,
народ нашей общей земли.

Мы, может, писали и плохо,
но то, что душа нам велит.
Не знаю, простит ли эпоха,
а русский читатель простит.

Мы счастливы, русские люди,
тем счастьем заглавным, большим,
что вечно гордимся и будем
гордиться народом своим.

1967 (?)

265. ЗАРЯДКА В ГАГРЕ

Не так, конечно, как Есенин,
но всё ж нередко второпях
я был предельно откровенен
и в личной жизни, и в стихах.

Я сквозь окно глядел украдкой,
как весь апрель уже подряд
у моря делали зарядку
динамовцы и «Арарат».

А у меня своя зарядка,
она спортсменам не нужна:

две сигареты для порядка,
стакан грузинского вина.

Потом центральные газеты
покажут время и Москву.
Не знаю, как живут поэты,
но я-то только так живу.

1966—1968

266. СИРЕНЬ

Был день февраля по-февральскому точным,
окрестность сияла белее белил,
когда невзначай в магазине цветочном
корзину сирени я вдруг укупил.

Являя безмолвный образчик смиренья,
роняя — уже — лепестки на ходу,
я с этою самою белой сиренью
по городу зимнему быстро иду.

В ушах у меня воркованье голубки,
встречающей мирно светящийся день,
смеются и валенки, и полушубки:
«Сирень появилась! Смотрите, сирень!»

Так шел я, дорогу забыв на квартиру,
по снегу, как истинный вестник весны,
как мальчик с цветущею веткою мира
проходит, закрыв полигоны и тиры,
по дымному полю глобальной войны.

1968

267. ВЕЧЕРНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Последний час стучит всё ближе,
виднее заповедный срок,
и я в дверях беру не лыжи,
а неказистый посошок.

Не посох выспренний пророка,
который риторичен всё ж,
а тот, с каким неподалеку,
но тихо как-нибудь дойдешь.

И я иду неторопливо,
снежок январский шевеля,
сквозь полускрывшиеся нивы
к тебе, последняя земля.

Иду дорогой заметенной,
боясь неправильно свернуть,
и посошок мой немудреный
прямой указывает путь.

1968

268. КОЛОКОЛЬЧИКИ

Земля российская богата
в своей траве, в своих цветах.
Все колокольчики когда-то,
как будто сельские набаты,
гремели вечером в степях.

Потом их подрезали косы,
чтоб большей не было беды.
Они ложились безголосо
в тяжеловлажные ряды.

Их после вилы поднимали,
неся над самой головой.
Цветы несмело обретали
как бы ушедший голос свой.

Но, получив жестокий опыт
своей возлюбленной земли,
они уже на общий шепот
в стогах и копнах перешли.

Потом на дровнях удалялись,
роняя по дороге прах,
и губы конские купались
в траве увялой и цветах.

Так начиналась жизнь вторая,
идя всё той же стороной:
ведь колокольчики Валдая,
то раскатясь, то затихая,
звенят и плачут под дугой.

1968

269

Там, где больные исцелялись,
средь лазаретной темноты
чужие души раскрывались,
как ночью южные цветы.

Я их доверчиво и жадно,
без осужденья и похвал,
как некий житель безлошадный
в конюшню тесную впускал.

Там и стоят они покуда,
не выбегая на поля,
на доски глядя из-под спуда,
губами тихо шевеля.

1968

270. ЛЕНИНГРАД

Сперва совсем не скуки ради,
а для успеха наконец
я появился в Ленинграде,
самонадеянный юнец.

Аудитория бурлила,
я по утрам ложился спать,
ах, господи! — когда мне было
его увидеть и узнать!

Позднеи вошли в мой ум охочий
лев у дворца сторожевой,
и вешний запах белой ночи,
и грозный шпиль над головой.

Но и тогда смиренным взглядом,
уже не слишком юн и смел,
я суть и душу Ленинграда
сквозь внешний блеск не разглядел.

Еще позднее по-житейски,
чтоб непрописанным не стать,
мне на Седьмой Красноармейской
случилось комнату снимать.

Она была как будто зала
для праздников и похорон;
ей только лишь недоставало
высоких мраморных колонн.

А наверху, в углу заветном,
там, где рассеян нижний свет,
был укреплен полузаметно
фотографический портрет.

То был с нашивкою военной
и в гимнастерке фронтовой
квартирный мальчик, убиенный
под ленинградскою стеной.

Тогда я понял, как отраду
для смысла сердца самого,
духовный трепет Ленинграда
сквозь блеск величия его.

1968

271. НИКОЛАЙ ПОЛЕТАЕВ

В складе памяти светится тихо и кротко,
как простая иконка в лампадных огнях,
Николай Полетаев в косоворотке,
пиджаке и не новых смазных сапогах.

Лучше всякой заученной злобно науки
мне запомнились, хоть я совсем не простак,
эти слабые, длинные, мягкие руки,
позабывшие гвоздь, молоток и верстак.

В коридоре пустынном метельною ночью,
улыбнувшись беспомощно и горячо,
этот старый, замученный жизнью рабочий
положил свою руку ко мне на плечо.

Пролетает мой день в тишине или в звоне,
мне писать нелегко и дышать тяжело.
На кого возложить мне пустые ладони,
позабывшие гвоздь, молоток и кайло?

1968

272. ПАВЕЛ ШУБИН

Словно поздняя в поле запашка
меж осенним леском и лужком,
черный волос у Шубина Пашки,
припорошенный первым снежком.

Не однажды, Россию спасая,
в бой ходила большая рука.
Плечи крепкие — сажень косая,
и отчаянный лоб батрака.

Для вернейшего сходства портрета,
чтоб не вышло, что тот, да не тот,
это русское буйство одето
в заграничный дрянной коверкот.

Это в наши салоны и залы
для ледащих страстей городских
из Кубани станица прислала
закоперщика песен своих.

И сейчас, как не раз уже было,
подходя и с бочков, и с лица,
мимоходом столица сгубила
перелесков и пашен певца.

Доконала искусством и водкой.
Поздно, поздно, хотя второпях,
вы приехали, сестры и тетки,
хоронить его в черных платках.

1968

273. ЮРИЙ ОЛЕША

Не на извозчике, а пеший,
жуя потайно бутерброд,
в пальтишке стареньком Олеша
весной по улице идет.

Башка апрельская в тумане,
ледок в проулочке блестит.
Как чек волшебника, в кармане
рублевка старая лежит.

Ее возможно со стараньем
истратить на закате лет
на чашку кофе в ресторане,
на золотой вечерний свет.

Он не богат, но и не жалок,
и может, если всё забыть,
букетик маленьких фиалок
одной красавице купить.

Но так тревожно и приятно
не обольщать и не жалеть,
а в переулочке бесплатно
снежком и наледью хрустеть.

Пускай в апрельском свежем мраке,
не отставая там и тут,
как бы безмолвные собаки,
за ним метафоры бегут.

1968

274. ВОЛГА

Такие тоже есть поэты
в стране прекрасной и большой:
у них земли и неба нету,
а только строчки за душой.

Есть только видимость искусства
без поражений, без щедрот,
там всё ослаблено и пусто:
ни очертаний, ни высот.

А ты живешь трудясь и долго
из-за того, товарищ мой,
что поворачивается Волга,
плеща и тешась, за душой.

Я видел плес ее однажды,
в теченье нескольких минут,
лишь из окна, с поспешной жаждой,
в какой-то выехав маршрут.

Но по твоей судьбе и воле
она вошла в мое житье:
ее стремнины, и раздолье,
и даже отмели ее.

1968

275. ЮРИЙ ГАГАРИН

В одном театре, в темном зале,
неподалеку под Москвой
тебя я видел вместе с Валей,
еще женой, уже вдовой.

И я запечатлел незыбко,
как озаренье и судьбу,
и эту детскую улыбку,
и чуть заметный шрам на лбу.

Включив приемник наудачу,
средь волн эфира мировых

вчера я слушал передачу
кружка товарищей твоих.

Они, пробившись к нам сквозь дали,
не причитали тяжело,
а только медленно вздыхали,
как будто горло им свело.

И эти сдержанные вздохи
твоих подтянутых друзей —
как общий вздох одной эпохи,
как вздох морей и вздох полей.

Я видел сквозь туман московский
как раз тридцатого числа,
как тяжкий прах к стене Кремлевской
печально Родина несла.

Ты нам оставил благородно,
уйдя из собственной среды,
большие дни торжеств народных
и общий день одной беды.

1968

276. ВОЗРАСТ

Я заявляю для журналов
и для писательских газет,
что возраст мой отнюдь не малый,
его скрывать мне смысла нет.

Но что-то вовсе не похоже,
чтоб я хотел, свершая путь,
стать хоть немного помоложе
и юность дальнюю вернуть.

Под этим зимним небосводом
я рад тому, что навсегда
мои как раз совпали годы
и революции года.

Не знаю, как там будет дальше,
но возраст свой в своем краю —
без фанфаронства и без фальши —
я никому не отдаю.

1968

277. ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Был дождь и снег апрельский сразу,
асфальт дымился и блистал,
когда я с жителем Кавказа
к Поляне Ясной подъезжал.

Меж елей, выстроенных строго,
от снега мокрого светла,
бесшумно двигаясь, дорога
вдоль дома барского вела.

Мы шли задумчиво впервые,
всё повидавши на веку,
к святому месту всей России,
как бы мальчишки к старику.

Его могила тут весною
стоит без близких и родных,
обернутая вечной хвоей,
среди подснежников живых.

Здесь тихо веет от могилы
средь чистоты и темноты
одною силой, только силой,
не признающей суеты.

Он ею мерился немного
лишь ради хватки удалой
и с философией, и с богом,
и даже с самою землей.

1968

278. ПИАЛА

Пускай к тебе течет отсюда
моя веселая хвала,
большая круглая посуда,
страны калмыцкой пиала.

Там, на путях труда и брани,
в своей кибитке кочевой
ты знала и бульон бараний,
и чай калмыцкий золотой.

Менялась степь, пора сменялась,
но под шатровым потолком
ты трижды кряду наполнялась
кобыльим белым молоком.

Какая б ни была погода,
в руке негнущейся своей
тебя держал хозяин рода
и смуглый отрок, сын степей.

Еще я знаю то сугубо,
что припадали по утрам
калмычки жаждущие губы
к твоим наполненным краям.

В тебя, в тебя, на самом деле,
бесстрастны и невеселы,
глазами круглыми глядели
и кобылицы и орлы.

Благодарю за ту удачу,
что в подмосковной полумгле
ты прикатила к нам на дачу
и поместилась на столе.

Забыв чернила и бумагу
и сев за скатерть в свой черед,
пью из тебя хмельную влагу
за степь твою и твой народ.

1968

279

Еще вчера в степи полынной
пирог мы ели именинный
и пили горькое вино.
Как в пляске на эстраде нашей,
за пиалой ходила чаша,
пока не сделалось темно.

В котлах, горящих из тумана,
варились целые бараны,
шипели жирно вертела,
и над посудою стеклянной
витал щемящий дух сазана
и стерлядь длинная плыла.

Гора не сходится с горою,
как мы сошлись с ее икрою,
воздавши честь ее бокам.
Вся эта стерлядь золотая,
как будто женщина пустая,
всю ночь ходила по рукам.

Склонив победные знамена,
истратив порох похоронный,
мы пировали день и ночь.
Кумыс под темным небосводом
вкушал старик седобородый,
и пили пиво мать и дочь.

Мы ели всласть и пили вдоволь,
смеялись девушки и вдовы.
И, благочестью вопреки,
стучала белая посуда,
с кастрюлек сыпалась полуда,
блистали старые клинки.

Еще вчера, в начале мая,
мы пили водку, заглушая
печаль и грусть сердец больных.

Вокруг пылающей столицы
всю ночь скакали кобылицы —
увы! — без всадников своих.

1968

280. ЛЮБЕЗНАЯ КАЛМЫЧКА

Курить, обламывая спички, —
одна из тягостных забот.
Прощай, любезная калмычка,
уже отходит самолет.

Как летний снег, блистает блузка,
наполнен счастьем рот хмельной.
Глаза твои сияют узко
от наслажденья красотой.

Твой взгляд, лукавый и бывалый,
в меня, усталого от школ,
как будто лезвие кинжала,
по ручку самую вошел.

Не упрекая, не ревнуя,
пью этот стон, и эту стынь,
и эту горечь поцелуя.
Так старый беркут пьет, тоскуя,
свою последнюю полынь.

1968

281. МОЙ УЧИТЕЛЬ

Был учитель высоким и тонким,
с ястребиной сухой головой;
жил один, как король, в комнатенке
на втором этаже под Москвой.

Никаким педантизмом не связан,
беззаветный его ученик,

я ему и народу обязан
тем, что все-таки знаю язык.

К пониманью еще не готовый,
слушал я, как открытье само,
слово Пимена и Годунова,
и смятенной Татьяны письмо.

Под цветением школьных акаций,
как в подсумок, я брал сгоряча
динамитный язык прокламаций,
непреложную речь Ильича.

Он вошел в мои книжки неплохо.
Он шумит посильней, чем ковыль,
тот, что ты создавала, эпоха, —
большевистского времени стиль.

Лишь сейчас, сам уж вроде бы старый,
я узнал из архива страны,
что учитель мой был комиссаром
отгремевшей гражданской войны.

И ничуть не стесняюсь гордиться,
что на карточке давней в Москве
комиссарские вижу петлицы
и звезду на прямом рукаве.

1968

282. СТЕПНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Как в той истории великой,
давным-давно, в начале дня,
не представляли мы калмыка
без кобылицы и коня, —

так в наше время, в нашу пору,
нельзя представить облик твой
без узкоглазого шофера
и без машины удалой.

Отрадно ехать на машине
сквозь золотистые валы:
кусты зеленые полыни
и одинокие орлы.

Я всё трясусь в автомобиле
вдоль по дороге столбовой,
и шлейфы самой тонкой пыли
трепещут где-то за спиной.

Всем недругам своим на зависть
ты развернулась в полный рост,
И волосы твоих красавиц —
как ночь без месяца и звезд.

А на привале под пластинки,
когда стихают зной и пыль,
они трепещут, как тростинки,
и гнутся, как степной ковыль.

1968

283. КАЛМЫЦКАЯ КОННИЦА

Твоя недюжинная сила,
от наслажденья хохоча,
за Стенькой Разиным ходила
и обожала Пугача.

Твердыни наши охраняя,
ты в черной бурке с башлыком,
с кобылы медленно свисая,
рубила недругов, блистая
своим решающим клинком.

По следу гиблому французов,
гоня туда девятый вал,
тебя угрюмо вел Кутузов,
седой российский генерал.

Во всем своем великолепье,
землей парижскою пыля,
ты принесла седло и степи
на Елисейские поля.

Вдоль по бульварам знаменитым,
между растворенных дверей
стучали мягкие копыта
верблюжьей конницы твоей.

Ты в наше время не устала,
но, тем набегам вопреки,
своих верблюдов расседлала
и в ножны вставила клинки.

Ты нынче трудишься проворно,
живешь, как пахари живут.
Но пахнут степи нефтью черной
и маки красные цветут.

1968

284. ВАСИЛИЙ КАЗИН

Василь Васильич Казин
семидесяти лет
умен, благообразен
и тщательно одет.

Он сам
своих же строчек
лирический герой:
отец — водопроводчик,
а дядюшка — портной.

Он вовсе не зазнался,
поэт наш дорогой,
что с Лениным снимался
на карточке одной.

Тем утром пролетарским
его средь запевал
заметил Луначарский,
Есенин целовал.

Ему не нужен посох,
он излучает свет,
лирический философ
своих и наших лет.

Он был все годы с теми,
кто не вилял, а вел,
его мололо время,
и он его молол.

И вышел толк немалый
из общих тех работ:
и время не пропало,
и он не пропадет.

1968

285. ОБРАЗОВАНИЕ

Я жизни сложную науку
не то чтобы в одной из школ,
а постепенно, самоукой,
одной усердностью прошел.

Весь мир, огромный и прекрасный,
скопленье книжек и степей,
теперь звучит единогласно
в усталой памяти моей.

Двадцатый век, предельно сложный,
в своем веселье и тоске
весь сопрягается надежно
на черной классовой доске.

Во мне живут покамест немо
и ожидают невдали
теории и теоремы
совместно с практикой земли.

Теперь могу я, коль случится,
чтоб молодым хоть что-то дать,
не только медленно учиться,
но и неспешно обучать.

1968

286. ЖЕЛТАЯ КОФТА

Не для трудящейся питерской Охты,
не для братвы прибалтийской морской
сшита ужасная желтая кофта
маминой слабой, неверной рукой.

Ровно прострочена крупная строчка,
намертво выстроен пуговиц ряд.
Что ж, громыхай, запятая и точка,
бейте, литавры, бесчинствуй, набат!

Важное дело исполнено вроде.
Дышит растерянно бедная мать.
Желтую кофту одернул Володя,
глянул в окно и пошел выступать.

Желтая кофта покроена ловко,
выстрочен празднично каждый стежок.
Скоро старьевщик как раз за рублевку
купит ее и засунет в мешок.

1968

287. МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ

Кому воздать? С кого мы взыщем
тут, у забвенья на краю?
Я в Пятигорске на кладбище,
сняв шапку, медленно стою.

Ах, я-то знаю, что поэта,
внушавшего любовь и страх,
давно в могиле этой нету,
лишь крест печальный в головах.

Над опустевшею могилой
остался только навсегда
тот крест, которым осенила
Россия вся себя тогда.

Его без пастырского слова,
как будто пасынка земли,
на лошадях в гробу свинцовом
сквозь пол-России провезли.

Он был источник дерзновенный
с чистейшим привкусом беды,
необходимый для вселенной
глоток живительной воды.

1968

288. БЕЛОРУСАМ

Вы родня мне по крови и вкусу,
по размаху идей и работ,
белорусы мои, белорусы,
трудовой и веселый народ.

Хоть ушел я оттуда мальчишкой
и недолго на родине жил,
но тебя изучил не по книжкам,
не по фильмам тебя полюбил.

Пусть с родной деревенькою малой
беспредельно разлука долга,
но из речи моей не пропало
белорусское мягкое «га».

Ну, а ежели все-таки надо
перед недругом родины встать,
речь моя по отцовскому складу
может сразу же твердою стать.

Испытал я несчастья и ласку,
стал потише, помедленней жить;
но во мне еще ваша закваска
не совсем перестала бродить.

Пусть сегодня простится мне лично,
что, о собственной вспомнив судьбе,
я с высокой трибуны столичной
говорю о себе да себе.

В том, как, подняв заздравные чаши,
вас встречает по-братски Москва,
есть всеобщее дружество наше,
социальная сила родства.

1968

289. НАЗЫМ

Не год, а десять с лишним лет,
то солнечных, то хмурых,
в России жил Назым Хикмет,
голубоглазый турок.

Он жил в квартире городской
Московского Совета,
как в социальной мастерской
строительства планеты.

Ни табака и ни вина,
ни трубки, ни бокала,
и только рукопись одна
без ветра трепетала.

Мы с ним не только хлеб да соль,
да прелести идиллий,
а нашу честь и нашу боль
по равенству делили.

Он обожал сильней всего,
свои уймя печали,
когда по имени его —
Назымом называли.

Чтоб этот мир единым стал,
как видится и снится,
он с упоением шагал
через его границы.

Гудит и дышит микрофон
на площади и в зале.
На всех конгрессах будет он,
на каждом фестивале.

Он так себя держал и вел
уверенно и юно,
как будто в прошлое пришел
из будущей коммуны.

И вот сейчас его рука,
как в собственном дастане,
для всех земель из пиджака
грядущее достанет.

И по стиху, и по уму,
по всей своей природе,
по назначенью своему
он был международен.

А поздней ночью всё равно
в погашенном отеле
его глаза через окно
на Турцию глядели.

На тот тишайший небосклон,
на то земное лоно,
где был за всё за это он
объявлен вне закона.

1969

290. ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ

В гудки индустрии поверя,
спав от волнения с лица,
мы вышли все из сельской двери,
сошли с крестьянского крыльца.

И нас от старого крылечка
и вдоль села, и за село,
кружась и прыгая, колечко
в далекий город увело.

Нет, это вовсе не отсталость,
что с той поры до этих дней
вся та земля, что там осталась,
осталась в памяти твоей.

Ты весь засветишься на рынке
средь повседневной тесноты,
в крестьянской ивовой корзинке
увидев сельские цветы.

Оттуда, от полян и речек,
с какой-то детскою тоской
они пришли к тебе навстречу,
бывалый житель городской.

Вези их в утреннем трамвае,
не суетясь и не спеша,
неловко к сердцу прижимая,
увялой свежестью дыша.

Тебе цветы расскажут эти,
их полевая простота,
что где-то там на белом свете,
как рожь на утреннем рассвете,
шумят родимые места;

что светит небо дорогое
и так, да и не так, как тут,
и за собою, за собою
тебя обратно позовут.

Любовь к земле на расстоянье
нехлопотлива, хоть трудна.
Но это всё не покаянье,
а только лирика одна.

Я [illegible], не [illegible] [illegible]
что к [illegible] и рабочим
[illegible] от корня [illegible]
И всех у нас и [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
безвестен [illegible] [illegible], з[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] за спиною
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] стоит.

В [illegible] индустрии поверь,
[illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] все из сельской [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

И не [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Но [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] сердце
не только [illegible] работу
у [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
Пусть [illegible] [illegible] за [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
в [illegible] [illegible]
Едина [illegible] Россия
[illegible] [illegible] [illegible]
И [illegible] [illegible] [illegible]
и судьбы [illegible]

Не [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
а [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
и [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

Я [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

Одна страна, одна Россия
взяла под собственную сень
и наши судьбы городские,
и судьбы наших деревень.

1969

291. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

С закономерностью жестокой
и ощущением вины
мы нынче тянемся к истокам
своей российской старины.

Мы заспешили сами, сами
не на экскурсии, а всласть
под нисходящими ветвями
к ручью заветному припасть.

Ну что ж! Имеет право каждый.
Обязан даже, может быть,
ту искупительную жажду
хоть запоздало утолить.

И мне торжественно невольно,
я сам растрогаться готов,
когда вдали на колокольне
раздастся звон колоколов.

Не как у зрителя и гостя
моя кружится голова,
когда увижу на бересте
умолкших прадедов слова.

Но в этих радостях искомых
не упустить бы на беду
красноармейского шелома
пятиконечную звезду.

Не позабыть бы, с обольщеньем
в соборном роясь серебре,
второе русское крещенье
осадной ночью на Днепре.

. . .Не оглядишь с дозорной башни
международной широты,
той, что вошла активно в наши
национальные черты.

1969

292. РАБОЧЕМУ КЛАССУ

В силу сердца и в силу традиций
я собрался — в какой уже раз! —
со стихами к тебе обратиться
с Красной площади в праздничный час.

Это здесь с увлеченьем всегдашним,
раздвигая плечом небосвод,
вековые и вечные башни
ты поставил, рабочий народ.

Сам по твердости схожий с гранитом,
не жалея старанья и сил,
Мавзолея гранитные плиты
ты печально и гордо сложил.

Ты соткал для гражданской отваги
и пронес по раздольям страны
Революции ленинской флаги
и знамена Великой войны.

По духовному смыслу и складу,
по учебникам собственных школ
ты, построив сперва баррикады,
на плотины потом перешел.

А теперь, как в привычную смену,
в межпланетную даль высоты,
на монтаж и на сварку Вселенной
не спеша собираешься ты.

И на будущем том космодроме,
где-то между Луной и Москвой,

будешь вешать свой табельный номер,
как железный мандат заводской.

Жизнь России уже утвердила,
подтвердила эпоха сама
созиданья рабочую силу,
пролетарскую силу ума.

1969

293. ЧЕТЫРЕМ ДРУЗЬЯМ

Расулу Гамзатову,
Мустаю Кариму,
Кайсыну Кулиеву,
Давиду Кугультинову

Вы из аймаков и аулов
пришли в литературный край
все вчетвером — Кайсын с Расулом,
Давид и сдержанный Мустай.

Во всем своем великолепье
вас всех в поэзию ввели
ущелья ваши,
ваши степи,
смешенье камня и земли.

Они вручали вам с охотой,
поверив в вашу правоту,
и вашей лирики высоты,
и ваших мыслей широту.

Сквозь писк идиллий и элегий
я слышу ваши голоса.
Для поэтической телеги
нужны четыре колеса.

И, как талантливое слово,
на всю звучащее страну,
четыре звонкие подковы
необходимы скакуну.

Припомнить можно поговорку,
чтоб стих звучал повеселей:
всегда козырная четверка
бьет и тузов, и королей.

1969

294. РАЗМЫШЛЕНИЯ У НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ

Мы кузнецы, и дух наш молод...

Ф. Шкулев

Они недаром ходят, толки,
что в Горках памятной зимой
ты был у Ленина на елке,
мой современник дорогой.

Ту елку посредине зала,
как символ неба и труда, —
не вифлеемская венчала,
а большевистская звезда.

Светились лампочки и свечки.
Водили робко хоровод
вы, небольшие человечки,
ребячий чистенький народ.

И, сидя как бы в отдаленье,
уже почти уйдя от дел,
в последний раз товарищ Ленин
на вас прищуренно глядел.

И с торопливостью усталой,
еще стройна и не стара,
для вас торжественно играла
без нот до самого финала
и снова с самого начала
раскат «Интернационала»
его любимая сестра.

И заробевшие вначале
девчурочки и сорванцы,
уже сияя, распевали:
«Мы кузнецы! Мы кузнецы!»

Да, дух ваш был и вправду молод
в те достославные года.
Они недаром, Серп и Молот,
над вами реяли тогда.

...Никто не видел в те мгновенья
его, ушедшего во мглу.
Какие отблески и тени
прошли по бледному челу!

Он размышлял, любуясь вами,
о том, как нынешний народ
в боях простреленное знамя
без командарма понесет.

Он думал, глядя в дни иные
и в нашу жизнь из тех времен,
как сложится судьба России
и всех народов и племен.

Ну что же, мы и в самом деле
с неколебимой правотой
на всю планету нашумели,
как вы в тот день на елке той.

И, глядя в прожитые дали,
отсюда, из своей земли,
давайте вспомним в звездном зале,
что мы и нынче, как вначале,
не отступились, не солгали,
не отошли, не подвели.

1969

295. АКОП САЛАХЯН

Я так люблю тебя, Акоп,
в такой счастливой мере,
что в бледный лоб и красный гроб
решительно не верю.

Попав до срока в клубный зал
речей и поминаний,
ты на цветах своих лежал,
как путник на поляне.

И я в собравшейся толпе
припомнил наудачу,
как мы с Баруздиным к тебе
заехали на дачу;

как мебель комнаты твоей,
от стула до дивана,
трещала вся от повестей,
ломилась от романов.

А из дождливой суеты,
из пасмурной печали,
склонившись, мокрые цветы
сквозь стекла проступали.

Вот в стопки льет твоя рука,
под смутную погоду,
златую струйку коньяка
армянского завода.

Но этот дружный разворот,
внезапный и невинный,
вдруг обрывает у ворот
служебная машина.

Твои поступки и дела,
проступки и деянья
и украшала, и влекла
улыбка обаянья.

Я объяснить не смею сам,
и пробовать напрасно,
весь твой азарт по пустякам,
воинственно прекрасный.

Я сам невесел оттого,
что нету веры в чудо
и в наше время волшебство
осмеяно повсюду.

Но, может быть, ведь может быть,
сумеют строки эти
тебя хоть на день воскресить
в сегодняшней газете.

1970

296. ЛЕНИНСКИЙ СВЯЗНОЙ

Под ветром осени сквозным
мне было бы довольно
работать ленинским связным
в послеоктябрьском Смольном.

Я в доме том обязан быть,
мне по сердцу и впору
с военной выправкой ходить
по грозным коридорам.

Пусть знает ночью Питер весь,
чуть видимый сквозь бурю,
что я не где-нибудь, а здесь
восторженно дежурю.

И наконец полночный час,
как жизни назиданье,
дает мне ленинский приказ,
особое заданье.

Несись по лестнице теперь,
сияя деловито.
Одним плечом — с налета! — дверь
в Историю открыта.

Душа движением полна,
как пеньем соловьиным,
и ледяные стремена
как горные стремнины.

[illegible] дом. [illegible] [illegible]
Успокоилось сознанье.

Но до сих пор меня не минет
[illegible] желание.

Под Зимним ~~[illegible]~~ [illegible] связями
мне было бы должно
служить у Ленина связистом
~~[illegible]~~
Смольным.

[illegible]

Я в доме том ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ был,
мне по сердцу и в пору,
~~[illegible] по [illegible]~~ ходил
~~по [illegible]~~ . . . . коридорам.

Утром Смольного [illegible]
[illegible] [illegible] утро.

~~А [illegible] с [illegible]~~ [illegible]

Заспорено [illegible] [illegible]

~~[illegible]~~ дни ~~[illegible]~~ [illegible] ~~[illegible] с мне [illegible] [illegible]~~ [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~
и [illegible] поручение приказа

мне [illegible]

~~[illegible]~~ [illegible]
Мне это [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

Если по [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
Один - [illegible] - ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible]
Я [illegible] [illegible]

От скачки бешеной моей,
от ярости особой
к столбам чугунных фонарей
сторонятся сугробы.

И, появившись на момент,
ссутулившись погано,
бежит враждебный элемент
от черного нагана.

Скрипит морозное седло,
кипит младая сила.
...А может, то, что быть могло,
на самом деле было?

И это в самом деле он —
по самой главной теме —
меня послал из тех времен
в сегодняшнее время.

И от повадки юной той
до красной крышки гроба
я только ленинский связной
с депешею особой.

1970

297. КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

Я много раз с друзьями рядом
под небом осени живым
на этих праздничных парадах
стоял с билетом гостевым.

Я, как и все мы, не однажды,
уйдя в тот день от прочих дел,
с духовной гордостью и жаждой
на демонстрацию глядел.

Я наших празднеств повторенье,
кипенье наших дум и сил,
как будто бы стихотворенье,
умом и сердцем затвердил.

Но рад тому, что в список этот,
и благородна, и мила,
сегодня новая примета
по-равноправному вошла.

Как сговорившись меж собою,
из парниковой тесноты
на площадь хлынули толпою
гвоздики красные цветы.

И, потрясенная дотоле
движеньем пушек и полков,
вся площадь стала красным полем
от света праздничных цветов.

Они пришли сюда недаром,
не только ради красоты,
цветы советских коммунаров —
самой Истории цветы.

Устало уходя отсюда,
чтоб силу снова обрести,
я не забуду, не забуду
цветок на память унести.

Пусть дома в чистеньком уютце
всегда хранится между строк
трех наших русских революций
неувядаемый цветок.

1970

298. БЕЗ ФАНФАР И ФЛАГОВ

Из Кремлевской Москвы на машинах крылатых
в эти дни улетают домой делегаты.

На аэровокзалах трепещут знамена.
Называем мы наших друзей поименно.

И печатают вечером наши газеты
групповые прощальные эти портреты.

Но приводит тебя почему-то в смущенье,
что о двух делегациях нет сообщенья,

что они отбывают, изъездив полсвета,
без речей и знамен, без фанфар и портретов.

Эти две делегации, как ни печально,
пребывают на этой земле нелегально.

Так сложилась — пока — их партийная доля,
что они не выходят еще из подполья.

Не смущайся, камрад! Ведь в истории дальней
наша партия тоже была нелегальной.

Не однажды она не по собственной воле
с площадей и трибун уходила в подполье.

Но, незримо собрав поредевшие силы,
из подполья наружу опять выходила.

В нашу партию тоже в далеком начале
проникали враги и жандармы стреляли.

Но дворцы штурмовались, вскрывались подвалы,
и врагов своих Партия грозно карала.

И на доски признанья с печальною силой
имена ополченцев своих заносила.

1970

299. ЕЛЬНИК

В ту самую тяжкую дату,
когда, не ослабив плеча,
из Горок несли делегаты
на станцию гроб Ильича,

когда в стороне заметенной,
когда в тишине снеговой
едва колыхались знамена,
увитые черной каймой, —

по-тихому встав до рассвета,
тулуп застегнув на груди,
в начале процессии этой
и даже чуток впереди

на розвальнях ехал морозных,
наполненных лапником впрок,
еще никакой не колхозный
окрестный один мужичок.

Он не был тогда коммунистом,
а может, и после не стал,
но бережно ельничком чистым
дорогу туда устилал.

Хотел он народному другу,
о том не умея сказать,
хоть горькую эту услугу,
хотя бы ее оказать.

Мечтал он по собственной воле
на горестном санном пути
хоть самую малую долю
в прощание это внести.

Не с тем он решил постараться,
чтоб люди заметить могли,
а чтоб в стороне не остаться
от общего горя земли.

1970

300

Нелегкое задумав дело,
я поведу прямую речь:
ведь всё ж, однако, не сумела
тебя Россия уберечь.

Не сберегли на поле чистом
вседневной жизненной войны
ни меч зазубренный чекиста,
ни руки слабые жены.

Кому по силам, брови хмуря,
винтовки не снимая с плеч,
ту титаническую бурю
от бурелома уберечь?

К его помощникам высоким,
за ним уже ушедшим вдаль,
ни обвиненья, ни упрека,
а только поздняя печаль.

Нельзя каким-то словом пошлым
или научным, может быть,
в суровой правде жизни прошлой
хотя бы слово изменить.

Но есть решающее средство —
его стремительную речь
и строчку каждую наследства
от посягательств уберечь.

1970

301. ПРОЩАНИЕ С МОСКВОЙ

Опять до рассвета не спится.
Причины врачам не постичь.
По доброму гулу столицы
тоскует Владимир Ильич.

По стенам тоскует и башням,
по улочке каждой кривой,
по всей ее жизни тогдашней,
по всей толчее трудовой.

Из этого парка и сада,
роняющих мирно листву,
ему обязательно надо —
хоть на день — прорваться в Москву.

Легко ли рукою некрепкой,
завидев предместья Москвы,

~~Последнее время не спится.~~
~~Пр[illegible]~~
~~Пе [illegible]~~
~~Требует [illegible] Ильич.~~

Сдесь [illegible] [illegible] [illegible]
по [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

год, и [illegible] с [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] один [illegible]

[illegible]

он [illegible] [illegible] в [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] и [illegible]

[illegible] [illegible] он.

[illegible] [illegible]

один

[illegible] [illegible] [illegible] и [illegible]

свою всероссийскую кепку
замедленно снять с головы?

И с той же медлительной силой,
какою в те годы жила,
навстречу столица склонила
свои — без крестов — купола...

Оно еще станет сказаньем,
легендою станет живой
последнее это свиданье,
прощальная встреча с Москвой.

Прощание с площадью Красной,
где в шествии будущих дней
пока еще смутно, неясно
чуть брезжил его Мавзолей...

1971

302. РАБОТА

Многообразно и в охоту
нам предлагает жизнь сама
душе и мускулам работу —
работу сердца и ума.

Когда хирург кромсает тело,
что сотворил тот самый бог,
я уважаю это дело
и сам бы делал, если б мог.

Я с наслаждением нередко,
полено выровняв сперва,
тем топором рабочих предков
колю — и эхаю — дрова.

Пусть постоянный жемчуг пота
увенчивает плоть мою, —
я признаю одну работу,
ее — и только — признаю.

А если кто подумал что-то
и подмигнул навеселе,
так это тоже ведь работа,
одна из лучших на земле.

1971

303. ИЗ ПИСЬМА ПОЭТУ-СОБРАТУ

Я просто рад, что модным я не стал
и что, в отличье от иных талантов,
не сочинял стихов на эсперанто,
а лишь по-русски думал и писал.

В моих стихах — теперь, на склоне лет,
признаться самому необходимо —
и пафоса космического нет,
и мало захолустного интима.

В сиянье звезд таинственная высь...
Джульетта ждет посланья дорогого...
Без этого непросто обойтись,
но просто невозможно без другого:

я митинги могучие люблю,
где говорит оратор без бумаги,
и осеняют лозунги и флаги
трибуну, на которой я стою.

Одной тебе, действительность сама,
я посвящал листки стихотворений.
И в них не меньше сердца и ума,
чем в околичной праздной дребедени.

Пожалуй, что и эта даль, и высь,
весь мир земли, прекрасный и тревожный,
без моего пера бы обошлись.
Но мне без них — я знаю — невозможно.

1971

304. ПАВЕЛ БЕСПОЩАДНЫЙ

В начале века этого суровом,
в твоих конторских записях, Донбасс,
вписал конторщик Павла Иванова —
фамилию, нередкую у нас.

Я с точностью документальной знаю —
не по архивам личного стола, —
когда к нему фамилия вторая,
откудова и для чего пришла.

Среди имен обычных, заурядных —
как отзвук нескончаемых атак —
он выбрал имя — Павел Беспощадный,
и с этих пор подписывался так.

Фамилия безжалостная эта
уместнее была наверняка
не на стихах лирических поэта,
а на стальных бортах броневика.

Уж хорошо ли это или плохо —
она собой определяла стих.
В твоем распоряжении, эпоха,
тогда фамилий не было других.

1971 (?)

305. РАБОЧАЯ ТЕМА

Опять пришло, опять настало время,
когда во всю писательскую прыть,
винясь и каясь, о рабочей теме
мы ежедневно стали говорить.

Опять мы ждем, достойного не видя,
что из цехов уже недальних дней
появится неведомый Овидий
с тетрадкою таинственной своей.

Что ж, пусть идет — уже настали сроки,
уже готовы души и сердца,
пускай они гремят и блещут, строки
безвестного великого певца.

Ну, а пока о нем известий нету
и точного не слышно ничего,
не позабыть бы нам о тех поэтах
рабочего народа своего,

о тех певцах, что в жизни небогатой,
по честному уменью своему,
прокладывали рифмой, как лопатой,
дорогу песен гению тому.

О тех, что есть и что недавно были,
и, в поисках добра и красоты,
по сторонам дороги посадили
свои, быть может, бедные цветы.

Пускай же он, склонившись осторожно,
возьмет цветок иль, может, два цветка
из этих вот посадок придорожных
для своего тяжелого венка.

1971 (?)

306

Не то чтоб все стихотворенья,
что я недавно написал,
не вызывали одобренья,
или хулы, или похвал.

Не то чтоб где-нибудь в журнале
или в газетах городских
моих стихов не ожидали
и не заказывали их.

И уж конечно я не с теми, —
не дай мне боже с ними быть! —

что предлагают в наше время
искусство вовсе истребить.

Я даже и не с тем поэтом,
хоть он достаточно умен,
что при посредстве Литгазеты
отправил лирику в загон.

Но всё слабеет ощущенье, —
признаться в этом надо тут, —
что твоего стихотворенья
с таким же общим нетерпеньем,
с такою жаждой люди ждут.

(1972)

307. ЛАВРОВЫЙ ВЕНОК

Звучала средь снегов
пятнадцатого года
последняя, без слов
державинская ода.

Понятно, отчего
был Пушкин благонравен
в тот день, когда его
благословил Державин.

Всесветно одинок,
ослаблый и мясистый,
свой лавровый венок
он отдал лицеисту.

При ропоте молвы
сошел венок России
с поникшей головы
на кудри молодые.

Из всех стараясь сил,
по лестницам Лицея
юнец его носил,
всерьез благоговея.

Он был ему под стать.
В нем сладостно дышалось,
но эта благодать
недолго продолжалась.

Всему приходит срок,
закату и рассвету,
и тесен стал венок
великому поэту.

Он был не так уж мал,
но с каждым новым годом
всё тягостней стеснял
души его свободу.

В один обычный день,
устав от постоянства,
он сдвинул набекрень
докучное убранство.

Шальная голова,
трибун ночных собраний
не стал из озорства
таскать его в кармане.

Венок судьбы чужой,
награду дорогую,
он снял своей рукой,
стыдясь и торжествуя.

В один и тот же миг,
единственным движеньем
и сам себя расстриг,
и принял постриженье.

И доставал на свет
в колеблемом тумане
венок ушедших лет,
печаль воспоминаний...

⟨1972⟩

308. КАЛМЫК

Хоть я достаточно привык,
но снова голову теряю,
когда мне Пушкина калмык
благоговейно повторяет.

Те незабвенные слова,
как духи музыки и света,
не утеряли волшебства
от гордой тщательности этой.

Считает, видно, мой джигит
в своей простительной гордыне,
что Пушкин впрямь принадлежит
степному воздуху полыни.

Что житель русских двух столиц
не озарялся их огнями,
а жил, седлая кобылиц
или беседуя с орлами.

И с непокрытой головой,
играя на своей свирели,
шел за кибиткой кочевой
между тюльпанами апреля.

С таким я слушаю стараньем,
так тихо ахаю в ответ,
как будто полного Собранья
на полке не было и нет.

Как словно мне всё это внове
и я в Тригорском не бывал,
не пил «фетяску» в Кишиневе,
в Одессе устриц не глотал.

И с осторожностью веселой
для ожидающих веков,
пока он спал, я утром с полу
не собирал черновиков.

Как будто я из церкви тоже
не выносил на паперть прах
и гроб мучительный рогожей
не я укутывал в санях.

Читай еще, пастух степной.
Я чтенье это не нарушу.
От повседневности такой
мне перехватывает душу.

Как сердце бедное унять?
Скорей бы пушкинская сила
его наполнила опять
или совсем остановила.

Звучит средь сосен и снегов
до потрясения сознанья
то исполнение стихов,
как исполненье предсказанья.

1972

309. СТАРУХИ ОСЕТИИ

На Тереке только проездом бывая,
я все-таки вас не забыл второпях,
старухи Осетии в красных трамваях,
старухи Осетии в черных платках.

Любил я увидеть на уличной встрече,
какие нередко случаются тут,
как прямо вы держите слабые плечи,
как землю кавказскую юбки метут.

На бабушек русских вы мало похожи,
суровей глаза и надменнее рты, —
тогда почему же так близко тревожат
меня отрешенные ваши черты?

Тогда отчего же я, житель столицы,
спешу перед вами признательно встать,
чего я ищу в этих замкнутых лицах,
какую взаимность хочу отгадать?

К чему тут гаданья? С молчащею силой
в степях и ущельях победной страны
нас дважды роднили большие могилы,
сперва — революции, после — войны.

И громкая дробь пионерских отрядов,
и свадебный шелест девических лент,
вся жизнь, что мы прожили словно бы рядом
средь лозунгов этих и этих легенд.

1972

310. ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Чудится мне качанье
лодочки и волны
в самом твоем звучанье,
Набережные Челны.

Слушать тайком такую
музыку не могу:
словно бы там танцует
кто-то на берегу.

Связывают рассказы
прошлое городка
с баржею и лабазом,
с песнею бурлака.

Позже весьма полезно
действовал городок,
хлеб для страны железной
заготовляя впрок.

Слышен он был покамест
с музыкою своей
лишь по одной по Каме,
даже и не по всей.

Громче, хотя бы малость,
он и не мыслил стать.
Но и ему досталась
грозная благодать.

Чтоб не отстать от сроку,
постановил народ
ставить неподалеку
Камский автозавод.

Ливнем переполоха,
молниями страстей
в город вошла эпоха
грузов и скоростей.

Для молодцов монтажных,
для пробивных девчат
город одноэтажный
тесен и слабоват.

Утром уже бригады
выправки строевой
начали строить рядом
город отдельный свой.

Вот уже потянулись
там, где таилась тьма,
вдоль освещенных улиц
каменные дома.

Вот уже в смутной Каме
зыбко отражено
кранами и руками
сложенное кино.

Нынче поют у башен
с баками пареньки
песни не те, что ваши,
камские бурлаки.

И в полевом затишье,
в царстве сосны и ржи,
всё этажи да крыши,
крыши да этажи.

Жителей беспокоя,
думаю наперед:

имя возьмет какое
город высотный тот?

Хочется, чтоб на Каме,
словно вечерний свет,
вы сохранили память
прожитых нами лет.

Это ведь крайне важно,
чтоб в глубине страны
жили многоэтажно
Набережные Челны.

1972

311. СОТРУДНИЦЫ ЦСУ

Мы позабыли как-то без труда
и вспоминаем нехотя и редко
далекие негромкие года,
затишье перед первой пятилеткой.

Чтоб ей вперед неодолимой быть,
готовилась крестьянская Россия
на голову льняную возложить
большой венок тяжелой индустрии.

Предчувствием величия полны,
придвинув ближе счеты и чернила,
уезды и губернии страны
подсчитывали собственные силы.

Вот почему я в лирику внесу
известных мне по той эпохе дальней
молоденьких сотрудниц ЦСУ,
служительниц статистики центральной.

Я их узнал мальчишеской порой,
когда, ничуть над жизнью не печалясь,
они с моею старшею сестрой
по-девичьи восторженно общались.

Идя из школы вечером назад,
я предвкушал с блаженною отрадой,
как в комнатушке нашей шелестят
моих богинь убогие наряды.

Он до сих пор покамест не затих,
не потерял волшебного значенья,
чарующе ничтожный щебет их
над вазочкой тогдашнего печенья.

Но я тайком приглядывался сам,
я наблюдал, как властно и устало
причастность к государственным делам
на лицах их невольно проступала.

И счастлив тот ушастый школьник был,
воображая молча отчего-то,
что с женщинами этими делил
высокие гражданские заботы.

И всё же не догадывался он,
что час его предназначенья близко,
что он уже Историей внесен
в заранее составленные списки.

И что в шкафах статистики стальных
для грозного строительства хранится
средь миллионных чисел остальных
его судьбы и жизни единица.

1972

312. МЕМУАРЫ

И академик сухопарый,
и однорукий инвалид —
все нынче пишут мемуары,
как будто время им велит.

Уж хорошо там или плохо,
они ведут живую речь,
чтоб сохранить свою эпоху,
свою историю сберечь.

Они хотят, чтоб не упало
с телеги жизни прожитой
травинки даже самой малой,
последней даже запятой.

И, отойдя в тенек с дороги,
чтоб не мешаться на пути,
желает каждый сам итоги
войне и миру подвести.

Они спешат свой труд полезный
отдать в духовную казну
России, сердцу их любезной,
как говорили в старину.

И мы читаем, коль придется,
не поднимая головы,
и стиль реляций полководца,
и слог прерывистый вдовы.

Как словно нас нужда толкает
или обязанность зовет, —
пора, наверное, такая,
такой уж, видимо, народ.

1972

313. БАНКЕТ НА УРАЛЕ

Хотя нужды как будто нет
и хвастать этим толку мало —
случился первый мой банкет
в снегах промышленных Урала.

От яств его дощатый стол
в пустынном клубе не ломился, —
однако он произошел,
он, как событье, совершился.

Я был поэтом молодым
с одною книжкой за душою,
но самолюбием своим
уже считал, что что-то стою.

Не то чтоб там прославить Русь,
как гениальные поэты,
но всё же видел, что гожусь
для вечеров и для газеты.

И как бы ни было,
туда,
на том дымящемся Урале,
на это пиршество труда
меня, как равного, позвали.

Придя сюда, как на ликбез,
я, как и позже, чести ради
и в первый ряд ничуть не лез,
и не хотел тесниться сзади.

Я знал, что надо жить смелей,
но сам сидел не так, как дома,
вблизи седых богатырей
победных домн Наркомтяжпрома.

Их осеняя красоту,
на сильных лбах, блестящих тяжко,
свою оставила черту
полувоенная фуражка.

И преднамеренность одна
незримо в них существовала,
как словно марка чугуна
в структуре черного металла.

Пей чарку мутную до дна,
жми на гуляш с нещадной силой,
раз нормы славы и вина
сама эпоха утвердила.

Но я не слышал этих слов,
я плохо ел и выпил мало,
как будто мне своих хлебов
и песен собственных хватало.

Я не умел тогда молчать
и на своем стоял открыто,

как на тарелочке печать
благословенного Нарпита.

Свою обуздывая прыть,
я всё шептал стихотворенье,
чтоб на проверке заслужить
стола такого одобренье.

Хоть я не знал еще того
и только нынче понимаю,
что не себя там одного
я представлял и представляю.

1972

314. ПОЗДНЯЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Ты, несказанная страна
дождей и зорь, теней и света,
не сохранила имена
своих дописьменных поэтов.

Поклон им низкий до земли
за то одно, что в оны годы
они поэзию ввели
в язык обычный обихода.

Тому пора воздать хвалу,
кто без креста и без купели
дал имя грозное орлу
и имя тайное свирели.

Я, запоздняясь, благодарю
того, кто был передо мною
и кто вечернюю зарю
назвал вечернею зарею.

Того, кто первый услыхал
капель апреля, визг мороза
и это дерево назвал
так упоительно — березой.

Потом уже, уже потом
сюда пришел Сергей Есенин
отогревать разбитым ртом
ее озябшие колени.

1972

315. НЕДОПЕСОК

Спеша поспеть на лапах длинных
и всё заваливаясь вбок,
февральским днем у магазина
к нам привязался кобелек.

У сына жалкого дворняжки,
как в том кругу заведено,
на грязно-белой тощей ляжке
светилось желтое пятно.

Он вовсе не втирался в гости,
как предприимчивый нахал,
а лишь угла и только кости
у человечества искал.

Не ставлю я себе в заслугу,
что, к удивленью своему,
и эту кость и этот угол
мы предоставили ему.

Весь день, не покидая места,
малыш дрожал исподтишка
и ждал от голоса и жеста
ругательства или пинка.

Но за какую-то неделю,
пройдя добрейшую из школ,
как мы старались и успели,
он постепенно отошел.

И начал вдруг, учуяв запах
и глядя в прожитое вспять,
колеблясь весь, на задних лапах
с лакейской выучкой стоять.

Но мы об этом позабудем, —
ведь понял он, пускай не вдруг,
что от него не надо людям
ни унижений, ни услуг.

Что стало радостным деяньем,
чуть не погибшее сперва,
уже само существованье
восторженного существа.

Он прикасался к нам мгновенно,
от счастья прыгал и визжал,
и этим самым всей вселенной
жить веселее помогал.

1972

316. ПЬЕРО

Земля российская гудела,
горел и рушился вокзал,
когда Пьеро в одежде белой
от Революции бежал.

Она удерживать не стала,
не позвала его назад, —
ей и без этого хватало
приобретений и утрат.

Он увозил из улиц дымных,
от площадного торжества
лишь ноты песенок интимных,
их граммофонные слова.

И всё поеживался нервно,
и удивлялся без конца,
что уберег от буйной черни
богатство жалкое певца.

Скитаясь по чужой планете,
то при аншлаге, то в беде,
полунадменно песни эти
он пел, как проклятый, везде.

Его безжалостно мотало
по городам и городкам,
по клубам и концертным залам,
по эмигрантским кабакам.

Он пел изысканно и пошло
для предводителей былых,
увядших дам, живущих прошлым,
и офицеров отставных.

У шулеров и у министров
правительств этих или тех
он пожинал легко и быстро
непродолжительный успех.

И снова с музыкой своею
спешил хоть в поезде поспать,
чтоб на полях эстрадных сеять
всё те же плевелы опять.

Но всё же, пусть не так уж скоро,
как лебедь белая шурша,
под хризантемой гастролера
проснулась русская душа.

Всю ночь в загаженном отеле,
как очищенье и хула,
дубравы русские шумели
и вьюга русская мела.

Все балериночки и гейши
тишком из песенок ушли,
и стала темою главнейшей
земля покинутой земли.

Но святотатственно звучали
на электрической заре
его российские печали
в битком набитом кабаре.

Здесь, посреди цветов и пищи,
шампанского и коньяка,

напоминала руки нищих
его простертая рука.

А он, оборотясь к востоку,
не замечая никого,
не пел, а только одиноко
просил прощенья одного.

Он у ворот, где часовые,
стоял, не двигая лица,
и подобревшая Россия
к себе впустила беглеца.

Там, в пограничном отдаленье,
земля тревожней и сильней.
И стал скиталец на колени
не на нее, а перед ней.

1972

317. НАДПИСЬ НА КНИГЕ ЛИТЕРАТУРНОГО КРИТИКА

Стою я резко в стороне
от тех лирических поэтов,
какие видят только Фета
в своем лирическом окне.

Я не полезу бить в набат
и не охрипну, протестуя, —
пусть тратят перья, коль хотят,
на эту музыку пустую.

Но не хочу молчать сейчас,
когда радетели иные
и так и сяк жалеют нас,
тогдашних жителей России.

То этот мóлодец, то тот
то в реферате, то в застолье
слезу напрасную прольет
над нашей бедною юдолью.

Мы грамотней успели стать,
терпимей стали и умнее,
но не позволим причитать
над гордой юностью своею.

Ее мы тратили не зря
на кирпичи и на лопаты,
и окупились те затраты,
служебной прозой говоря.

В предгрозовую пору ту
и на Днепре, и на Урале
мы сами нашу доброту
от мира целого скрывали.

И, как в копилке серебро,
не без трагических усилий,
свое духовное добро
для вас до времени копили.

Быть может, юность дней моих,
стянув ремень рабочий туже,
была не лучше всех других,
но уж, конечно, и не хуже.

1972

318

Чужих талантов не воруя,
я потаенно не дышу,
а сам главу очередную
с похвальной робостью пишу.

В работе, выполненной мною,
как в зыбком сумраке кино,
мое лицо немолодое
неявственно отражено.

Как будто тихо причащаясь,
я сам теперь на склоне дней
в печали сладостной прощаюсь
с далекой юностью моей:

Не дай мне, боже, так случиться,
что я уйду в твои поля,
не полистав ее страницы
и недр ее не шевеля.

1972

319. ЧУВСТВО ЮМОРА

Есть и такие человеки
средь жителей любой страны,
что чувства юмора навеки
со дня рожденья лишены.

Не страшновато ль, в самом деле,
когда, глазенками блестя,
земле и солнцу в колыбели
не улыбается дитя.

Когда, оставив мир пеленок
для школы и других забот,
тот несмеющийся ребенок
сосредоточенно растет?

Усилья педантично тратя,
растет с угрюмою душой —
беда, коль мелкий бюрократик,
большое горе, коль большой.

Все запевалы и задиры
моей страны и стран иных
жить не умели без сатиры,
без шуток добрых и прямых.

Какая, к дьяволу, работа,
зачем поэтова строка
без неожиданной остроты,
без золотого юморка?!

Я рад поднять веселья кружку
за то, что сам ханжой не стал,
что заливался смехом Пушкин
и Маяковский хохотал.

За то, что в будущие годы —
позвольте так предполагать —
злодеев станут не свободы,
а чувства юмора лишать!

1972

320

Не в парадную дверь музея —
черным ходом — не наслежу? —
и гордясь и благоговея,
в гости к Пушкину я вхожу.

Я намного сейчас моложе —
ни морщин, ни сединок нет,
бьется сердце мое. Похоже,
словно мне восемнадцать лет.

Будто не было жизни трудной,
поражений, побед, обид.
Вот сейчас из-за двери чудный
голос Пушкина прозвучит.

И, в своем самомненье каясь,
не решаясь ни сесть, ни встать,
от волнения заикаясь,
буду я — для него — читать.

Как бы ни было — будь что будет,
в этом вихре решаюсь я:
пусть меня он сегодня судит,
мой единственный судия.

1972

321

Мне говорят и шепотом и громко,
что после нас, учены и умны,
напишут доскональные потомки
историю родной моей страны.

Не нужен мне тот будущий историк,
который ни за что ведь не поймет,
как был он сладок и насколько горек —
действительный, а не архивный мед.

Отечество событьями богато:
ведь сколько раз, не сомневаясь, шли
отец — на сына, младший брат — на брата
во имя братства будущей земли.

За подвиги свои и прегрешенья,
за всё, что сделал, в сущности, народ,
без отговорок наше поколенье
лишь на себя ответственность берет.

Нам уходить отсюда не пристало,
и мы стоим сурово до конца,
от вдов седых и дочерей усталых
не пряча глаз, не отводя лица.

Без покаяний и без славословья,
а просто так, как эту жизнь берем,
всё то, что мы своей писали кровью,
напишем нашим собственным пером.

Мы это нами созданное время
сегодня же, а вовсе не потом —
и тяжкое и благостное бремя —
как грузчики, в историю внесем.

1972

322

Что делать? Я не гениален,
нет у меня избытка сил,
но всё ж на главной магистрали
с понятьем собственным служил.

Поэт не слишком-то известный,
я — если говорить всерьез —
и увлекательно, и честно
ту службу маленькую нес.

Да, безусловно, в самом деле
я скромно делал подвиг свой
не возле шаткой карусели,
а на дороге боевой.

Мой поезд, ты об этом знала,
гремя среди российских сел,
от петроградского вокзала
рывком внезапно отошел.

Свисток и грохот — нет заглушки!
Свет и движенье — не свернуть!
Его не кто-нибудь, а Пушкин
отправил в этот дальний путь.

И он прибудет, он прибудет,
свистя и движась напролом,
к другому гению, что будет
стоять на станции с жезлом.

1972

323. СТАРУХА

Лишенная зренья и слуха,
справляя какой уже год,
в лиловой одежде старуха,
кренясь и колеблясь, идет.

Давно безо всякой поблажки
в сухой придорожной пыли
ее наклонились ромашки
и, всё потеряв, отцвели.

Давно отшумели в апреле
на тихо угасшей заре
те птицы, что весело пели
еще при последнем царе.

Конечно, обидно и жалко,
что целая жизнь вдалеке.
Не тоненький зонтик, а палка
в неверной, ослабшей руке.

Но, как и тогда на закате,
волшебные песни свои
в ее слуховом аппарате
не кончили те соловьи...

1972

324. КОЛЫБЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Поднебесный шатер бережливо укрыл
всех старух и рабочих, детей и гуляк.
Колыбель человечества — так окрестил
нашу землю один гениальный чудак.

Только он позабыл по святой простоте,
поднимаясь по лестнице шаткой в жилье,
что слезами и кровью пропитаны те —
из травы и пшеницы — пеленки ее.

Может, он не видал в голубом далеке,
наблюдая в трубу планетарный туман,
что младенец сжимает в неверной руке
вместо праздной игрушки военный наган.

Вряд ли там, при свечах догорающих звезд,
ожидает пришельцев одна красота.
Свет Вселенной, наверное, так же не прост,
как пока еще жизнь на Земле не проста.

Чтоб всему человечеству праздничным быть,
чтоб сбылись утопистов наивные сны,
нам покамест приходится кровью платить
и за землю Земли, и за землю Луны.

1972


ПОЭМЫ

325. ЮНОШЕСКАЯ ПОЭМА

1

Товарищи! Мне восемнадцать лет,
радостных, твердых, упругих и ковких.
И если я называюсь поэт,
то это фабзавуч, то это спецовка,
то это года над курносым мотором,
дружба твердая, будто камни,
то это — любимая, та, о которой
я думал, когда сидел над стихами.
И вот — пока пожаром гудела
любовь в цеху, любовь на скамейках, —
в стихах моих, опытных и неумелых,
в стихах юбилейных, пафосных, прочих,
ты не найдешь о любви ни копейки,
ни вздоха, ни мысли, ни крикнувшей строчки.
И только когда горячо, неумело
(зачем это надо, кому это надо?)
любовь отошла, отцвела, отшумела,
в поэму вошла и обиженно села
любовь. Без меня. Без нужды. Без доклада.
Вы тоже, товарищ, любили. Вы
мучились ночью над этакой темой.
Так пусть на золе моей первой любви
ляжет строка моей первой поэмы.

2

День отработал. Второю сменой
вечер на город повесил табель.
В окно завкома влезает лето,
бьет по стеклу молодыми ветвями.
Я не могу. Я бросаю собранье,
которое честно и прочно завязло
в серой водице текущих вопросов.
Вечер хватает меня за руки,
льется водою в охрипшее горло,
лижет собакой глаза и уши.
Я же толкаю его обратно,
как у калиток толкают девчонки
парней любимых, но скорых на дело.

3

И вот уже далеко фабзавуч,
который я оставил на время.
(Ночью вернусь, чтоб работать ночью,
вымести клуб, повесить плакаты,
стулья расставить уютно и ровно,
чтобы включить, наконец, приемник,
выпустить свежую стенгазету.
Ведь послезавтра, товарищи, праздник,
ведь стулья должны быть готовы, чтобы
сели на них прослушать доклад и
хлопать стихам молодые ребята,
уставшие после того, как ходили
приветствовать праздник на Красную
площадь.)

И вот я иду и смотрю на звезды,
и вот я иду и смотрю на клубы,
которые тихо уже зажигают
звезды, лампочки и портреты.
Может быть, это не так уж красиво,
может быть, звезды аляповаты,
только простишь им и даже захочешь
руку пожать и потрогать нежно,
так они искренни, эти звезды.

4

И вот ты идешь по широкой Проезжей,
пересекаешь холодные рельсы
и вспомнишь, как утром спешил на работу,
ругал вожатого («тоже ударник,
с таким опоздаешь и жить, и строить»),
купил газету, бежал от трамвая
и вдруг — увидел закрытый шлагбаум
и бесконечный товарный поезд,
пересекающий путь к работе.
Ты начал ругаться, но поезд мерно
шел и раскачивал в такт вагоны,
плотные, красные, на которых
было написано: «Свекла», «Картошка».
Бежали платформы с летящим лесом,
роняющим теплый задумчивый запах.
И стало радостно, просто, бодро.
Ты переждал, даже длинным взглядом
глядел на состав, уходящий к вокзалу,
и твердо, уверенно и спокойно
взглянул на часы, перевесил табель:
«Не опоздал... Хорошо живется...»

5

И вот ты идешь, пересекаешь
длинные рельсы, короткие шпалы.
Смотришь направо, смотришь налево.
Видишь, как прямо, гордясь и сверкая,
справа стоят пожилые заводы.
Увидишь, как на холодном ситце,
ползущем под валиками машины,
цветы зацветают. Такие цветы, что
сердце забьется сильнее и громче.
Посмотришь налево, увидишь домик
простой, задрипанный, домик с осколком
трубы, со ставнями и с болтами,
дом деревянный, дом двухэтажный,
домишко, окно в котором закрыто
жеманной тюлевой занавеской.

И видно, как его подоконник
гордится геранью, гордится уютом
тихой, простой, одинаковой жизни.
И если подумаешь, то увидишь
комнаты дома. Они обычны.
Они завешаны снимками мамы,
когда ей еще восемнадцать было,
когда она с папой в фате стояла,
увидишь смешные венчальные свечи,
альбомы, салфетки, ковры и чернила,
которыми пользуются очень редко.

6

И вот ты идешь, и ты видишь витрины,
и ты отбросишь тяжелым взглядом
стекло и фарфор, манжеты, подтяжки,
голые женские статуэтки.
И ты постоишь, ты посмотришь с любовью
на круглые, полные силой моторы,
на лампочки; на молчаливый приемник,
на книги, которые аппетитно
лежат и гордятся блестящей обложкой.

Увидишь, — звеня и улыбки теряя,
полные радостью и весельем,
едут раскрашенные трамваи,
напоминающие карусели.
И из раскрытого гаража
(звенящей сенсацией! гремящей надеждой!)
спешат пожарные, как на пожар,
сверкают римскою спецодеждой.

Ты видишь вечер, который приходит
к одним, засиженным, скромным, обычным,
выцветшим спором за чашкой чая,
штопкой носков, мурлыканьем кошки,
газетой, звонками по телефону
и плоским уютом истоптанных туфель.

И вечер приходит к другим, горячим,
к другим, молодым, белобрысым, бледным

улыбкой любимой. Такой улыбкой,
что сердце срывается вниз. Улыбкой
бывшей и будущей. Нашей и вечной.
И после этого в темных парадных
вечер и даже кусочек ночи
будут веселые, грустные парни
руку держать у любимой и долго,
долго и быстро, спеша и украдкой,
будут любимой показывать душу,
будут любимую (может, шаблонно,
может, истасканно, я не спорю),
будут любимую сравнивать с морем,
будут любимую сравнивать с кленом.
И под конец — горячо и красно —
губы пойдут в наступленье на губы.
И до́ма будут с неодобреньем
смотреть глаза пресловутой мамаши,
забывшей любовь и свои поцелуи.

7

Лежит отцветающий и широкий,
лежит пожелтевший и длинный, как рельсы,
бульвар. Ну, Тверской, ну, Страстной, ну,
Никитский.
Бульвар, по которому, если прямо
идти, наблюдая за всем и за всяким,
дойдешь до конца, до развязки поэмы.
Ну, в общем, бульвар, на котором весною
хрустела дешевая распродажа
ненужных книг, постаревших новинок.
Бульвар, на котором в расцвете лета
катались скучно и деловито
в колясках, верхом на подстриженных пони
розовощекие мальчуганы.
Ну, в общем, бульвар, на котором под вечер
толпою стоят молодые пары,
слушая, как духовые оркестры
играют Бетховена и Давиденко.

Бульвар, от которого даже Пушкин
немного невежливо отвернулся.

И я иду по такому бульвару.
И ветер плетется усталой собакой,
и я наблюдаю за всем и за всяким.

Я нюхаю воздух — запахло круглой,
уже подгорающей колбасою.
И это значит — вернулся хозяин
домой от усталых, служебных тягот,
увидел записку: «Ушла. Буду поздно».
Купил колбасу, неумело нарезал,
примус накачивал с яростью зверя,
ушел умываться — и поздно услышал
запах паленый. И станет неловко,
он бросит ее в мусорный ящик,
и на вопрос возвратившейся поздно
жены, уже полусонный и вялый,
скажет: «Не надо. Я же обедал».

Я вверх загляну и увижу шарик,
наглый, воздушный, беспомощный, красный,
шар, улетающий ближе к звездам.
Тогда я подумаю и увижу —
стоит продавец и, как кисть винограда,
рвется привязанная друг к другу
кучка сверкающих разных шаров.
И как своенравная девочка Анни
купит шар, и как няня отпустит
его от семьи, от товарищей — в небо!
И как другая девочка, Анька,
будет жалеть, волноваться и плакать:
шар улетел. Лучше б ей отдали,
она бы его одевала и мыла,
она бы его по утрам целовала,
наглый, воздушный, беспомощный шарик.

8

И я иду по такому бульвару.
В кармане моем одиноко и звонко
бренчат три скучающие монеты.

В кармане, как рыба, разинувши глотку
(как рыба, выброшенная на берег),
беззвучно орет и требует взносов
мой синий, засаленный и худощавый.
Конкретный. Короткий. Билет. Профсоюзный.

И вот я такой. Я иду по бульвару.
В кармане моем одиноко и звонко
бренчат три скучающие монеты.
Их сколько ни складывай, сколько ни множь их,
ни вычитай, ни дели, ни делай
давно позабытые уравненья
с двумя, и с тремя, и с одним неизвестным, —
получится ровно, получится только
пятнадцать копеек. Пятнадцать. Копеек.
На них я куплю по шестому талону
там, в булочной, ждущей в конце бульвара
(двадцать шагов от моей комнатенки),
хлеба, горячего, словно сердце.
Хлеба, прекрасного, как мечтанье.
Фунт. С меня хватит. Я думаю — хватит!
Хлеба, покрытого черствой коркой,
хлеба, который солидно дышит,
когда его рвешь молодыми зубами.
А белый — оставлю. Подумаешь — белый.
Без белого можно наесться. Еще бы!
Он ждет меня, хлеб. Он лежит на полках
уютно и тихо. И ножик. Громадный.
Нож, а не ножик. Сначала примет
теплую ванну, слегка освежится,
потом накинется (прямо и ровно),
отрежет фунт. И — девушка в белом
протянет мне хлеб и слегка улыбнется.
И я ей отвечу звенящим смехом,
махну на прощанье, и (тут же у двери)
стоит раздобревшая, словно опара,
пухлая, вялая, частная баба.
Она мне отпустит с противной улыбкой
два огурца: малосольных, ядреных,
крепких, хрустящих, наполненных соком.
Я думаю — хватит. А завтра — получка.
А завтра — фабзавучник загуляет,

И ситный, и бьющее рыжим фонтаном,
ревущее, будто обрывок моря,
ситро в зеленеющей таре бутылок.

9

И так я таскаю (веснушчатый, бледный)
себя. И смотрю за всем и за всяким.
Вот гордые, полные, пожилые
идут, проживающие в Союзе.
У них всё в порядке, товарищи. Каждый
прописан, каждый имеет
жену и портьеры. У них заплачено за телефоны,
и долг за квартиру досрочно погашен.
(Значит — спокойно. Пожара не будет.)
Они идут, и бульвар рассыпал
им — развлеченье, им — радость, им — отдых.

Завидя их, краснощеких, усатых,
стыдливые делают реверансы
весы, неспособные вешать мясо,
вешать возы с свежескошенным сеном.
Весы, которые: *«Специально
для лиц, уважающих свое здоровье».*
Для них эта чахлая и пустая
бездарная надпись: *«Комната смеха».*
И вот ты увидишь, как эти проценты
людей, проживающих в нашем Союзе,
станут у кассы и купят билетик,
и будут беззубо (сверкая зубами)
смеяться. Ведь в зеркале «комнаты смеха»
то станешь толстым гиппопотамом,
то станешь худым, как жирафа, ну, в общем, —
совсем непохожим на человека.
И людям приятно, когда они выйдут,
что галстук на месте, они не горбаты,
что нос остается таким же, обычным,
и долг за квартиру досрочно погашен.

Мне ж каждая комната — комната смеха,
в которой я совершенно бесплатно
сверкаю светящимися зубами.

10

И вот я смеюсь, я иду по бульвару,
в кармане моем одиноко и звонко
бренчат три скучающие монеты.
Сидит на холодной бульварной скамейке
прыщавый парнишка и явно небрежно,
как девочку, трогает балалайку.
Он хочет, чтобы она запела
о тихой любви, о носках в полоску,
о галстуке, ярком, как это небо.
Он хочет, чтоб робкая балалайка
заплакала скрипкой, забилась в припадке,
чтоб ручейком понеслась от скамейки
мальчишечья грусть.
Но прохожие быстро
проходят. И парень сидит и скучает.

А дальше — сидит на бульварной скамейке
парень. Простой, говорливый, в юнгштурме.
Парень сидит, и в руках гитара,
парень сидит, а кругом ребята
смеются, галдят, вытирают шеи.
И вот неожиданно — прямо к звездам
бросается песня. И двадцать глоток
ее поднимают, несут, бросают,
и сорок легких бросают песню,
как вызов, как молодость, как победу.
А песня в юнгштурмовке, словно парень,
а песня кудрявая, будто парень,
который сумел из шаблонной гитары
вылепить сердце для этой песни.
А песня широкая. В этой песне,
как в смерче, как в буре, как в урагане,
смялись, засыпались, перемешались
парень, прыщавый, как это небо,
девочка с шариком, «комната смеха»,
весы, которые: «Специально
для лиц, уважающих свое здоровье»,
я, молодой, белобрысый, бледный,
с своим представленьем о мещанстве.
И только —
как будто гудок завода,

как будто фонтан неожиданной нефти,
как выстрел, летящий в зеленое небо,
как флаг на высоком и твердом зданье —
до звезд достает коллективная песня.

Я выйду из песни. И сразу увижу,
как надо мной плакат полыхает,
как бьется летящей, растрепанной птицей
плакат, на котором понятно и ясно
написано: «Каждый» (и я и другие),
«каждый трудящийся должен» (обязан)
«уметь стрелять». И уметь ненавидеть.
И я услышу, как бьет по жести
свинец. И тогда (почему — неизвестно)
я вспомню соседа, который тихо
живет за стеною моей комнатенки.
Он каждое утро стоит и смеется,
когда я в трусиках моюсь на кухне,
когда я захлебываюсь от счастья,
как от воды (от воды, как от счастья).
Он каждое утро меня ненавидит,
он каждое утро дает мне руку,
а хочет сломать мое узкое горло,
а хочет блестящими сапогами
разбить мое сердце, сломать мне кости.
Он хочет пройти по стране, по дорогам,
сверкая погонами и наганом,
чтобы горели бедняцкие избы,
чтоб в небо бросалось горячее пламя,
чтоб разлетелись квадратные стекла
риков, райкомов. Он хочет, чтобы
кулацкие банды схватились за вилы
(еще не забывшие о навозе,
о легком шуршанье колхозного сена).
Он хочет, чтобы на тихих деревьях
висели рваные трупы партийцев.
Он хочет, чтобы гулял Семенов,
чтобы в Москву на горячих конях
въехали гладкие интервенты.
Он бы поднес им буханку хлеба,
он бы насыпал солонку солью:

«Ешьте страну, разрывайте на части,
пересыпайте соленой кровью!»

«Нет!» — говорю я.
И вижу — как птица,
взлетает плакат, на котором, как лозунг,
написано: «Каждый» (и я и другие),
«каждый трудящийся должен» (обязан)
«уметь стрелять». И уметь ненавидеть.
Тогда я смешаюсь с толпою, гудящей
счастливой кучкой причесанных парней,
увижу дощечку (плата за выстрел),
отдам, не задумываясь ни минуты,
звенящие радостью три монеты,
возьму ружье, заряжу, прицелюсь,
и...
Вдруг покраснею. Эх, воин, промазал!
Вторую тоже.
И только третья
как трахнет, как загремит по жести.
Как вдарит! В монокль. И посыплется грохот,
пойдет по бульвару, взлетит над домами,
кусочком свинцовым проедет по небу,
перелетит через все границы
и даст отголоском в чужие окна.
Да так откликнется этот выстрел,
что даже всамделишному Чемберлену
станет немножечко неприятно.

1931—1932

326. ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА

(Из поэмы)

1

На лодке
вдоль северных суровых берегов
в расшитой ландышем
большой косоворотке,
скучая, ехал фокусник Попов.

На сотни верст,
в своей одежде красной,
уйдя корнями в толщину земли,
деревья севера —
могуче и бесстрастно —
в лесном молчанье
медленно росли.

У берегов стояли валуны.
Шли облака,
колючих крон касаясь.
А по реке,
томительно качаясь,
плыл на плечах светящейся волны
серебряный
холодный
шар луны,
в пустынном небе смутно отражаясь.

2

Что фокуснику — небо?!
Будто бог,
он развалился на смолистом днище,
в дырявый зуб,
пришептывая,
свищет
тот милый марш, который только мог
быть сочинен безвестным музыкантом
в другой стране, в иные времена.

Что фокуснику значит тишина,
когда он слышал зрителей молчанье,
когда он шел, прославлен и силен,
взволнован женщин сдавленным дыханьем,
польщен мужчин критическим вниманьем,
толпою любопытных окружен.

Что звезд ему холодное мерцанье,
когда он сам за жизнь свою не раз
был освещаем фонарей сияньем
и светом, льющимся из детских глаз.

Играли марш —
и в одеянье белом
он выходил, медлительный, худой,
в святой чалме, украшенной умело
тяжелою бенгальскою звездой.

Юпитера гудели в тишине,
и, опровергнув книги и науки,
красавица на сцене, как во сне,
летела ввысь, заламывая руки.

И глухо ахал побежденный зал,
когда,
согласно тихому веленью,
как легкий вздох, как дивное мгновенье,
вдруг
человек со сцены исчезал.

Лишь он стоял — торжественный, без слов.
А голуби из длинных рукавов,
шумя, летели,
медленно кружились
и, замерев над гордой головой,
над сказочной индийскою чалмой,
на плечи повелителя садились.

3

Успех непрочен.
Славы свет — мгновенен.
Недолго длится сладкий интерес.
И вскоре фокусник в чаду сомнений
узнал, что на земле,
как, впрочем, и на сцене,
не может быть пленительных чудес.

Те зрители, что прежде, в самом деле,
во время представления худели,
теперь, на тех же обжитых местах,
зевают нагло, морщатся отвратно
и — никаких иллюзий! — безвозвратно,
как молодость, скрываются в дверях.

Те мальчики, что так еще недавно
его считали фокусником главным, —
вбегают в зал, пылая и грозя,
гнилыми яйцами в него бросают,
его афиши бритвами кромсают,
свистят на перекрестках.

А друзья?

Летающая женщина сказала,
что вся любовь давным-давно прошла,
что он — подлец,
что он ей платит мало,
трельяж разбила, полочку сломала
и к тенору в любовницы ушла.

А голуби, поворковав умно:
«Мол, дескать, что там, право, в самом деле», —
теряя пух, в разбитое окно
от нищеты и горя улетели.

4

Пейзажи севера однообразны.
Но много я готов сейчас отдать,
чтоб мне опять случилось в жизни праздно,
среди цветов, кривых и безобразных,
на берегу Синеги отдыхать.

Полутона темнеющего неба
и берегов таинственный покой
повторены, как зеркалом волшебным,
журчащею вечернею рекой.

Как я любил, бывало, без движенья
глядеть часами в меркнущую гладь,
вдруг сразу разучившись отраженье
от собственного тела отличать.

Здесь он и едет, падший бог обмана,
с утра хмелен, который день небрит.
На дне обшарпанного чемодана
его мечта разбитая лежит,
еще чалма, измятая в скитаньях,
коробка пудры, баночка белил
да трубка Англии, что в час прощанья,
в ночь пьяных слез, в минуту расставанья
ему в пивной шталмейстер подарил.

За поворотом сумрак станет мраком.
Скорее бы хоть курная изба!
«Скажи на милость, все-таки, однако,
куда меня, отметив страшным знаком,
проклятая забросила судьба? . .»

⟨1940⟩

327. ЛАМПА ШАХТЕРА

(Из поэмы)

ЗОЛОТОЙ ОГОНЕК

На полуночном небе
созвездье блестит.
В поселковом Совете
дежурный сидит.

Электрический свет —
словно жидкий янтарь.
На стене прикреплен
отрывной календарь.

Как дежурный
листок от него оторвет —
над полями и шахтами
солнце встает...

...Над полями и шахтами
солнце встает.
Михаил Кузнецов
на работу идет.

Комсомольский значок
на его пиджаке,
да шахтерская лампа
в тяжелой руке.

Эту вечную лампу —
стекло и металл —
сыну в день своей смерти
отец завещал.

И велел-наказал
по крутому пути
до высот коммунизма
ее донести.

До вершин коммунизма
добраться, дожить
и шахтерскую лампу
на них засветить.

По стране пятилеток
несет паренек
завещанье отца —
дорогой огонек.

А в заморской стране
тренируют солдат,
в барабаны стучат,
в микрофоны трубят,

собирают в поход
изо всех городов
трудового народа
заклятых врагов:

«Лампу надо разбить
и огонь затушить,
а шахтерского сына
в тюрьме задушить».

Но шахтерскую жизнь,
словно сказочный клад,
охраняют полки,
эскадрильи хранят.

Все шестнадцать республик
склонились над ним,

как шестнадцать сестер
над братишкой своим.

А потом — у него
за туманом морей
на десятки врагов —
миллионы друзей.

На огонь его лампы
с любовью глядит
и рабочий Париж,
и подпольный Мадрид.

Берегут ее свет
джокьякартский батрак,
итальянский шахтер
и британский горняк.

На высотах высот,
в память наших отцов,
скоро лампу зажжет
Михаил Кузнецов.

Под надежным стеклом
золотись, огонек!
Вейся, красный флажок —
комсомольский значок!

ОТЦЫ И ДЕДЫ

Бедняцкую ниву
пожег суховей.
Зовет Никанор Кузнецов
сыновей:

«Идите за счастьем,
родные сыны,
в три стороны света,
на три стороны.

А нам со старухой
три года не спать:
и ночью и днем
сыновей ожидать...»

По небу осеннему
тучи плывут.
Три сына, три брата
за счастьем идут.

И старший, меж голых
шагая берез,
в ночлежку на нары
котомку принес.

А средний прикинул:
«Пути далеки —
я к мельнику лучше
пойду в батраки».

А младший крамольную
песню поет.
А младший за счастьем
на шахту идет.

Тяжелою поступью
время прошло.
И первенец входит
в родное село.

Три добрых гостинца
несет он домой:
пустую суму
за горбатой спиной,

дырявый зипун
на костлявых плечах
да лютую злобу
в голодных очах.

И в горницу средний
за старшим шагнул,
его в три погибели
мельник согнул.

Ему уже больше
не жать, не пахать —
на печке лежать
да с надсадой дышать.

Под ветхою крышей
тоскует семья.
Молчит Никанор,
и молчат сыновья.

А сына последнего
в Питер на суд
на тройке казенной
жандармы везут.

ТРЕТЬЯ СМЕНА

Смолкают последние птицы,
гудки перекличку ведут,
когда горняки Подмосковья
на смену ночную идут.

Идут из поселков на шахты
шахтеры дорогой ночной:
то вспыхнет огонь папироски,
то смех донесется мужской.

Идут горняки по нарядам
рабоче-крестьянской страны.
Во всех уголках мирозданья
шаги этой смены слышны.

И каждый шахтер перед спуском
снимает с небес на ходу
и в правой ладони под землю,
как лампу, уносит звезду.

И вместе с последним шахтером
в подземную полночь труда
с пустынного темного неба
последняя сходит звезда.

ВОЗЛЕ БРАТСКОЙ МОГИЛЫ

Возле братской могилы
над прахом советских солдат,
словно тихие сестры,
березы и ели стоят.

И безвестная жница,
оставив другие дела,
первый сноп урожая
печально сюда принесла.

И шахтерскую лампу
на вечный могильный бугор,
возвращаясь со смены,
безвестный поставил шахтер.

И несмело, негромко
меж темных вечерних ветвей
то засвищет, то смолкнет,
то снова начнет соловей.

К этой славной могиле,
неспешно идя от села,
Михаила и Машу
тропинка сама привела.

И почудилось им,
что глаза погребенных солдат
сквозь могильную землю
в глаза комсомольцев глядят.

Что с великой заботой,
как в зеркало будущих дней,
смотрит прошлое наше
в глаза молодежи своей.

...Мы стояли в запасе,
а когда вы упали в цветы,
взяли ваши винтовки
и стали на ваши посты.

Мы вернулись домой,
не одни истоптав сапоги,
взяли молоты ваши
и стали за ваши плуги.

Все традиции ваши
мы бережно в сердце храним,
допоем ваши песни
и ваши дела завершим.

Не сегодня, так завтра
пятилетнего плана путем
мы в сады коммунизма,
в сады коммунизма войдем.

И хотим, чтоб в то утро
со всех параллелей земли
все товарищи наши
в страну коммунизма пришли.

Чтоб пришли наши деды
на празднество красных знамен
из подпольных собраний,
из песен далеких времен.

Чтобы в кожаных куртках
пришли комиссары страны
из архивов Истпарта,
из приказов гражданской войны.

Чтобы встали, услышав,
как зорю горнист протрубил,
наши мертвые братья
из воинских честных могил.

В полевые бинокли
видали, видали они
за огнями сражений
городов коммунизма огни.

Над могилами их
повторяла, прощаясь, страна:
«Ваше дело живет.
Вечно ваши живут имена».

Подымайся, селькор,
и на Красную площадь иди
со своею тетрадкой,
с кулацкою пулей в груди.

Ночью возле оврага
сражен ты в неравном бою.
Мы вернем тебе солнце,
мы вытащим пулю твою.

Вот идут с «Марсельезой»
Парижской коммуны сыны
от Стены коммунаров
до башен Кремлевской стены.

Вот от вышек бакинских,
наметив далекий маршрут,
двадцать шесть комиссаров,
двадцать шесть комиссаров идут.

Кто с кайлом, кто с лопатой
идут из недавней поры
землекопы Турксиба,
бригады Магнитной горы.

Из газетных подшивок,
из сумрака книжных палат
Маяковский и Фучик
идут на весенний парад.

Из полдневных небес
на посадку идет самолет.
Над своею Москвою
его Талалихин ведет.

И шагают в обнимку
под заревом алых знамен
комсомольцы Триполья,
комсомольцы твои, Краснодон.

И встречают героев,
встречают отцов и друзей
сын подземных заводов
и дочь подмосковных полей.

БРАТЬЯ

В Мосбасс к старшому брату
приехал младший брат.
На новеньком погоне
три звездочки блестят.

Приехал в отпуск летчик,
прославленный герой.
Серебряные крылья,
околыш голубой.

Старшой пришел с работы,
с плеча шахтерку снял:
«Да как ты? Да чего ты?
Да что ж не написал?»

Железные объятья —
и вот уже вдвоем
сидят родные братья
за праздничным столом.

Плывет к окошку синий
махорочный дымок.
«Ну, как ты там, братишка?»
— «А как ты здесь, браток?»

Глядит с любовью летчик
на брата своего.
«Как будто всё в порядке!»
— «Покамест ничего!»

Глядит — не наглядится
на брата брат старшой:
«Высоко ты забрался,
братишка дорогой!»

И молча вспоминает,
как вместе с братом жил, —
хоть высоко летает,
а шахту не забыл.

Течет за словом слово
душевный разговор.
И старший брат меньшого
ведет на шахтный двор.

И будто ненароком
к доске подвел его,
прославленного аса,
братишку своего.

На пестрые рисунки
они вдвоем глядят:
на быстром самолете
несется старший брат.

Летят за ним вдогонку
в мелькании колес
зеленая трехтонка
и черный паровоз.

С улыбкой смотрит летчик
на этот быстрый строй:
«Высоко ты забрался,
братишка дорогой!»

И о своей работе
толкуют до зари

шахтер и летчик — братья,
бойцы, богатыри.

А в небесах над ними,
свободный славя труд,
советские машины
меж звездами плывут.

И по всему Мосбассу
предутренней порой
ритмично рубят уголь
машины под землей...

1948—1949

328. СТРОГАЯ ЛЮБОВЬ

(Повесть в стихах)

1

В зыбком мареве кумача
предо мной возникает снова
школа имени Ильича
ученичества заводского.

Эта школа недавних дней,
небогатая, небольшая,
не какой-нибудь там лицей,
не гимназия никакая.

Нету львов у ее ворот,
нет балконов над головою.
Ставил стены твои народ
с ильичевскою простотою.

Но о тесных твоих цехах,
о твоем безыскусном зданье
сохранилось у нас в сердцах
дорогое воспоминанье.

Ты, назад тому двадцать лет, —
или то еще раньше было? —
нам давала тепло и свет,
жизни правильной нас учила.

Как тебе приказал тот класс,
что Россию ковал и строил,
ты — спасибо! — учила нас
с ильичевскою прямотою.

Оттого-то, хотя прошли
над страною большие сроки,
мы от школы своей вдали
не забыли ее уроки.

Оттого-то за годом год,
не слабея от испытанья,
до сих пор еще в нас живет
комсомольское воспитанье.

У затворенного окна
в час задумчивости нередко
мне сквозь струйки дождя видна
та далекая пятилетка.

Там владычит Магнитострой,
там днепровские зори светят.
Так шагнем же туда с тобой
через это двадцатилетье!

...Ночь предутренняя тиха:
ни извозчика, ни трамвая.
Спит, как очи, закрыв цеха,
вся окраина заводская.

Лишь снежок тех ударных дней
по-над пригородом столицы
в блеске газовых фонарей
озабоченно суетится.

Словно бы, уважая власть
большевистского райсовета,
он не знает, куда упасть,
и тревожится всё об этом.

26 [illegible]

28 [illegible]

30 [illegible]

32 [illegible]

33 [illegible] на [illegible]

34 [illegible]

35 [illegible]

36 [illegible]

27 [illegible]

31 [illegible]

28 [illegible]

29 [illegible]

Не гудели еще гудки,
корпуса еще дремлют немо.
И у табельной нет доски
комсомольцев моей поэмы.

...Мы в трамвайные поезда
молча прыгаем без посадки,
занимая свои места
на шатающейся площадке.

А внутри, примостясь в тепле,
наши школьные пассажирки
в твердом инее на стекле
прогревают дыханием дырки.

И, впивая звонки и гам,
приникают привычно быстро
к этим круглым, как мир, глазкам
бескорыстного любопытства.

С белых стекол летит пыльца,
вырезают на льду сестренки
звезды армии и сердца,
уравненья и шестеренки.

Возникают в снегу окна,
полудетской рукой согретом,
комсомольские имена,
исторические приметы.

Просто грустно, что в плеске луж,
в блеске таянья исчезали
отражения этих душ,
их бесхитростные скрижали.

Впрочем, тут разговор иной.
Время движется, и трамваи
в одиночестве под Москвой,
будто мамонты, вымирают.

Помяни же добром, мой стих,
гром трамвайных путей Арбата,
всенародных кондукторш их
и ушедших в себя вожатых...

Возле стрелочницы стуча,
плавно площади огибая,
к школе имени Ильича
утром сходятся все трамваи.

Не теряя в пути минут,
отовсюду, как по тревоге,
все тропинки туда бегут
и торопятся все дороги.

Проморозясь до синевы,
сдвинув набок свою фуражку,
по сухому снежку Москвы
одиноко шагает Яшка.

В отрешенных его глазах,
не сулящих врагу пощады,
вьется крошечный красный флаг,
рвутся маленькие снаряды.

И прямой комиссарский рот,
отформованный из железа,
для него одного поет
«Варшавянку» и «Марсельезу».

Вдруг пред нами из-за угла,
в неуклюжих скользя ботинках,
словно пущенная юла,
появляется наша Зинка.

Из-под светлых ее волос,
разлетевшихся без гребенки,
вездесущий пылает нос,
блещут остренькие глазенки.

Даже грозный мороз не смог
остудить этой жизни пылкой,
и клубится над ней парок,
как над маленькой кипятилкой.

Из светящейся темноты
возникает за нею Лизка
в блеске сказочной красоты,
в старой кожанке активистки.

В клубах города и села,
а тем более в нашей школе
красота в годы те была
вроде как под сомненьем, что ли.

Ну не то чтобы класть запрет,
но в душе мы решили смело,
что на стройке железных лет
ненадежное это дело.

Не по-ханжески, а всерьез
тяготясь красотой досадной,
волны темных своих волос
ты отрезала беспощадно.

И взяла себе, как протест,
вместе с кожанкою короткой
громкий голос, широкий жест
и решительную походку.

Но наивная хитрость та
помогала, по счастью, мало:
русской девушки красота
всё блистательно затмевала.

Все ребята до одного,
сердце сверстницы не печаля,
красоты твоей торжество
благородно не замечали.

Так в начале большого дня
валом катится упоенно
фезеушная ребятня,
беззаветный актив района.

Так вошел в тот немирный год
на призывный гудок России
обучающийся народ,
ополчение индустрии.

Видно сразу со стороны,
в обрамлении снега чистом,
что подростки моей страны
принаряжены неказисто.

Не какой-нибудь драп да мех,
а овчина, сукно и вата.
И манеры у нас у всех,
без сомнения, грубоваты.

Тем, однако, что мы бедны
и без всяких затей одеты,
мы не только не смущены,
а не знаем совсем об этом.

Да к тому же еще и то,
что с экскурсиею своею
мы видали твое пальто
в залах Ленинского музея.

Той же марки его сукно,
только разве почище малость,
и на те же рубли оно,
надо думать, приобреталось.

И приметы того видны,
как, вернуть ему славу силясь,
руки верной твоей жены
не однажды над ним трудились.

Но на долю еще ее,
перехватывая дыханье,
потруднее пришлось шитье,
горше выпало испытанье.

Словно утренний снег бледна,
в потрясенной до слез России
зашивала на нем она
два отверстия пулевые.

И сегодня еще живет,
словно в сердце стучится кто-то,
незамеченный подвиг тот,
непосильная та работа...

2

Держался средь нас обособленно Яшка,
на наши заботы глядел свысока,
чему помогали немало тельняшка
и черный, как буря, бушлат моряка.

Откуда они появились, не знаю,
но этот высокий суровый юнец
носил свой костюм, как артист, возбуждая
почтенье и зависть десятков сердец.

Своею манерою замкнуто-властной,
подчеркнутым знанием темных сторон,
мужскою эмблемою — пачкою «Басмы» —
от нас, некуривших, он был отдален.

Но больше другого его подымало
и ставило словно бы на пьедестал
презренье к делам обыденным и малым —
по флагам и подвигам он тосковал.

В то время встречались не только в столице,
вздыхали в десятках ячеек страны
те юноши, что опоздали родиться
к тачанкам и трубам гражданской войны.

Те мальчики храбрые, что не успели
пройти — на погибель буржуям всех стран! —
в простреленном шлеме, в пробитой шинели,
в литавры стуча и гремя в барабан.

Печалясь о бурях под небом спокойным,
не знали парнишки, что нам суждены
иные, большие и малые, войны
и вечная слава Великой войны.

Что нам предназначены щедрой судьбою
ключи и лопаты в обмерзших руках,
рытье котлована в степи под Москвою,
монтаж комбината в уральских степях;

что нам приготовлена участь другая
и сроки еще выжидают вдали
кулацкий обрез, пулемет самурая,
орудья и танки немецкой земли...

И Яшка от нашего шумного мира,
с холодною яростью сжав желваки,
под низкие своды районного тира
нес сердце свое и свои пятаки.

Лишь там, в полусумраке узкого зала,
отстрелянным порохом жадно дыша,
в победных зарницах войны отдыхала
его оскорбленная жизнью душа.

Он слал за ударом удар неизменно
не в заячий бег, не в тигриный прыжок,
а только в железный монокль Чемберлена,
в измятый свинцом ненавистный кружок.

И лорд, обреченно торчащий в подвале,
бледнел от цилиндра до воротничка,
когда, как возмездье, пред ним возникали
бушлат и тельняшка того паренька.

Темнели в тревожном блистании света
прицельный зрачок и жестокая бровь...
Кто мог бы подумать, что в сердце вот этом
средь маршей и пушек ютилась любовь?

Лица без улыбки ничто не смущало,
ни слова по дружбе не выболтал он.
Но школа со всей достоверностью знала,
что Яшка давно уже в Лизу влюблен.

Не зря среди песен, свистков, восклицаний
он мрачно стоял в отдаленье своем,
когда со звоночком, как фея собраний,
она появлялась за красным столом.

Не зря вопреки самовластной натуре
в часы, когда все торопились домой,
он, счастье свое ожидая, дежурил —
девчонкам на радость! — вблизи проходной.

Но вот — наконец-то! — она выходила
своим деловито-спокойным шажком.
Портфель из свирепого лжекрокодила
был стянут надежно крепчайшим шнурком.

Известный в широких кругах комсомола,
портфель молодой активистки тех лет
вмещает эпический слог протоколов,
набатный язык пролетарских газет.

В его отделениях, жестких и темных,
хозяйка хранила немало добра:
любительский снимок курящейся домны,
потершийся оттиск большого копра.

И тут же, в содружестве верном и добром,
с диктантами школьными вместе лежат
стихи Маяковского, книжица МОПРа
и твой незабвенный билет, Охматмлад.

(Теперь это, может, покажется странным,
но мы записались оравою всей
в могучее Общество личной охраны
младенцев России и их матерей!).

Была еще в этом портфелике тесном,
собравшем сурового времени соль,
из ныне забытой подмостками пьесы
прямая, как штык, синеблузная роль.

Но не было там ни бесстыжей помады,
ни скромненькой ленты, ни терпких духов,
ни светлого зеркальца — тихой отрады
всех девушек новых и древних веков.

Скорей бы ответили общему тону,
портфель, как подсумок, набив дополна,
полфунта гвоздей, да десяток патронов,
да, кстати к тому, образец чугуна.

И Яшка, в те дни щеголявший привычкой
(за это, читатель, его не кори),
как Муций Сцевола, горящею спичкой
на левой руке нажигать волдыри,

тот Яшка, что брился два раза в неделю,
пил пиво и воблу железную ел,
под радужным взглядом хозяйки портфеля,
как будто последний мальчишка, робел.

Но строгую дочь комсомольской эпохи,
всю жизнь посвятившую радости всех,
ничуть не тревожили Яшкины вздохи,
бравада его и отчаянный смех.

Свиданья вечерние на перекрестках
и взятый в «Палас» или «Форум» билет
она принимала по-дружески просто
со всем бескорыстьем семнадцати лет.

Она не пыталась никак разобраться
ни в чувствах его, ни в порывах своих —
как будто есть ненависть только и братство
и нет на земле отношений иных.

Дыша революции воздухом ярким,
уйдя с головою в сегодняшний мир,
она не читала сонетов Петрарки,
трагедий твоих не слыхала, Шекспир.

Не плакала ночью в постели бессонной
над светлой тоской поэтических сцен,
не знала улыбки твоей, Джиоконда,
и розы твоей не видала, Кармен.

Вас не было в бедных учебниках наших,
в программы и тезисы вы не вошли, —
ей вас заменяли плакаты и марши
и красные лозунги снежной земли.

Ей вас заменяли фанерные арки
и, вместо тебя, толстощекий амур,
в младенческой зелени пыльного парка
винтовки и молоты грубых скульптур.

Шагал перед нею дорогой тернистой
и грозного счастья давал образец
сошедший с картины «Допрос коммунистов»
в обмотках и куртке рабочий-боец.

Прельщали ее новостройки России,
и голову быстро кружил, как вино,
чугунно-стальной карнавал индустрии
беззвучных в ту пору экранов кино.

Когда в накаленных дыханьем потемках
над пеной твоею, морская волна,
наш флаг поднимал броненосец «Потемкин»,
хваталась за Яшкину руку она.

Но в эту минуту, объятый отвагой,
он сам, кроме красного флага того,
он сам, кроме этого алого флага,
не видел, не слышал, не знал ничего.

...Украсивши кожанку праздничным бантом,
любила она под кипеньем небес
глядеть, как созвездия и транспаранты
включал, веселясь, предоктябрьский МОГЭС.

Вблизи от огней, пробегающих юрко,
случалось и вам увидать в Октябре
застывшую, как статуэтка, фигурку
с лицом, обращенным к полночной заре, —

туда, где в мерцании красок нагретых,
меж пламенных звезд и полос кумача,
в стремительных линиях красного света
мерцало большое лицо Ильича.

3

За дверью слышен быстрый смех,
и, тараторя без запинки,
как сквознячок, в ударный цех
влетает утренняя Зинка.

Наперекор журналам мод
она одета и обута,
но с хитрой важностью несет,
сама посмеиваясь, муфту.

Встречал гудящий школьный двор
неиссякаемым весельем
великосветский тот убор —
голодных частников изделье.

Он чуждо выглядел среди
платков и кепок нашей школы,
значков железных на груди
и гимнастерок комсомола.

Он странно выглядел тогда
под небом пасмурной заставы,
средь сжатых лозунгов труда
и твердой четкости устава.

Но примирял аскетов всех,
смирял ревнителей народа
собачьей муфты пестрый мех,
ее плебейская природа.

И то влияло на умы,
что Зинка с нею не носилась,
а так же весело, как мы,
к своей обновке относилась.

Ситро буфетным залита,
таская гайки и чернила,
подружке нашей муфта та
с собачьей верностью служила.

Сегодня резвый паренек
в каком-то диком состоянье
пустил под самый потолок
то бессловесное созданье.

И всем свидетелям в урок
средь ученических пожитков
из муфты выскочил клубок,
пошла разматываться нитка.

За нею, на глазах у всех,
при разразившемся молчанье,
пятная весь ударный цех,
нелепо выпало вязанье.

...В те дни строительства и битв
вопросы все решая жестко,
мы отрицали старый быт
с категоричностью подростков.

Бросались за гражданский борт
старорежимные привычки —
и обольстительный комфорт,
и кривобокие вещички.

Мы презирали самый дух,
претило нашему сознанью
занятье праздное старух,
жеманных барышень вязанье.

В поющих клетках всей земли,
как обличенные злодейки,
когда по городу мы шли,
пугливо жались канарейки.

Когда в отцовских сапогах
шли по заставе дети стали,
все фикусы в своих горшках,
как души грешников, дрожали.

И забивались в тайнички,
ища блаженного покоя,
запечной лирики сверчки
и тараканы домостроя.

Тебе служили, комсомол,
в начале первой пятилетки
простая койка, голый стол,
нагие доски табуретки.

Убогий примус на двоих,
катушка ниток, да иголка,
да для десятка строгих книг
прибитая гвоздями полка.

А в дни пирушек и гостей,
в час колбасы и винегрета,
взамен крахмальных скатертей
шли комсомольские газеты.

Мы заблуждались, юный брат,
в своем наивном аскетизме,
и вскоре наш неверный взгляд
был опровергнут ходом жизни.

С тех пор прошло немало лет,
немало грянуло событий,
истаял даже самый след
апологетов общежитий.

Во мне теперь в помине нет
непримиримости тогдашней, —
сажусь с женою за обед,
вдыхаю пар лапши домашней.

Давно покинул я чердак
и безо всяких колебаний
валюсь под липами в гамак
или валяюсь на диване.

Я сам, товарищи, завел,
скатясь к уюту напоследки,
на мощных тумбах темный стол
и стулья вместо табуретки.

Мне по сердцу мой малый дом,
видавший радости и горе,
и карта мира над столом,
и грохот мира в диффузоре.

В гостях у нынешних друзей
хожу натертыми полами,
не отвергаю скатертей,
не возмущаюсь зеркалами.

Но я встречал в иных домах
под сенью вывески советской
такой чиновничий размах,
такой бонтон великосветский,

такой мещанский разворот,
такую бешеную хватку,
что даже оторопь берет,
хоть я неробкого десятка.

В передних, темных и больших,
на вешалках, прибитых крепко,
среди бобровых шапок их
мне некуда пристроить кепку.

Прогнув блистательный паркет,
давя всей тяжестью сознанье,
огромный высится буфет —
кумир дворянского собранья.

Благодарю весьма за честь,
но в этом доме отчего-то
я не могу ни пить, ни есть,
ни слушать светских анекдотов.

Но память юности зовет,
как симфоническая тема,
назад, назад, в тот грозный год,
туда, где ждет моя поэма.

Где двадцать с лишним лет назад,
печально теребя косынку,
в кругу разгневанных орлят,
как горлинка, томилась Зинка.

Живя с грозой накоротке
и чуя молнии сиянье,
мы увидали в том клубке
измену нашему призванью.

Под стук отчетливый минут
в кругу безусых патриотов
безмолвно шел нелегкий суд —
сердец и совести работа.

Конечно, в бурях наших дней
лицом к лицу и мы встречали
крушенья горше и трудней
и посерьезнее печали.

Но Зинка, Зинка! Как же ты,
каким путем, скажи на милость,
с индустриальной высоты
до рукоделья докатилась?

Впечатав пальцы, как в затвор,
в свою военную тельняшку,
на Зинку бедную в упор
глядел, прицеливаясь, Яшка.

Наверно, так, сужая взгляд
при дымных факелах Конвента,
глядел мучительно Марат
на роялистского агента.

Но в этой девочке была,
видать, недюжинная сила —
она на помощь не звала
и о пощаде не просила.

И даже в этот горький час
она раскаивалась мало:
как будто что-то лучше нас
сквозь все условности видала.

И, откатясь немного вбок,
чуть освещенный зимним светом,
кружился медленно клубок,
как равнодушная планета.

4

На стройке дней, непримиримо новых,
сосредоточив помыслы свои,
взыскательно мы жили и сурово,
не снисходя до слабостей любви.

Проблемы брака и вопросы пола,
боясь погрязть в мещанских мелочах,
чубатые трибуны комсомола
не поднимали в огненных речах.

И девочки железные в тетрадках,
меж точными деталями станков,
не рисовали перышком украдкой
воркующих влюбленно голубков.

А между тем, неся в охапке ветки,
жужжанием и щебетом пьяна,
вдоль корпусов и вышек пятилетки
к нам на заставу шумно шла весна.

Еще у нас светилось небо хмуро
и влажный снег темнел на мостовой,
а наглые продрогшие амуры
уже крутились возле проходной.

Сквозь мутное подтекшее оконце,
отворенное кем-то, как на грех,
в лучах внезапно вспыхнувшего солнца
один из них влетел в ударный цех.

Склонясь к деталям пристально и близко,
работал цех под равномерный гул.
Заметил он в конце пролета Лизку
и за рукав спецовки потянул.

Она всем телом обернулась резко
и замерла, внезапно смущена:
в дрожащих бликах солнечного блеска
стоял влюбленный Яшка у окна.

Но не такой, как прежде, не обычный,
изученный и вдоль и поперек,
на улочках окраины фабричной
тоскующий о бурях паренек.

Совсем не тот, что, бешено вздыхая
(он по-иному чувств не выражал),
ее не раз от школы до трамвая
вдоль фонарей вечерних провожал.

Не тот, не тот, что в комсомольских списках
под номером стоял очередным,
а ставший вдруг — до боли сердца!— близким,
до запрещенной слабости родным.

Растерянно она тянулась к Яшке,
ужасная ее толкала власть
к его груди, обтянутой тельняшкой,
с беспомощным доверием припасть.

Еще не зная, что случилось с нею,
неясный шум ловя издалека,
стояла Лизка, медленно бледнея,
у своего умолкшего станка.

И, лишь собрав всю внутреннюю силу,
воззвав к тому, чем сызмала жила,
она смятенье сердца подавила
и мир вокруг глазами обвела.

Но, рвясь вперед сквозь даль десятилетий,
ударный цех своею жизнью жил.
Никто ее паденья не заметил,
и в нежности никто не уличил.

Надев на плечи жесткие халаты,
зажав металл в патроны и тиски,
самозабвенно шабрили девчата,
решительно строгали пареньки.

И во владеньях графика и стали,
на кумачовых лозунгах стены,
отчаянно бесчинствуя, плясали
восторженные зайчики весны.

...Домой шагала дочь своей эпохи
сквозь вешний плеск, сквозь брызги и ручьи,
среди людской веселой суматохи,
в сумятице столичной толчеи.

Кругом нее, тесня ее сознанье,
под крик детей и кашель стариков,
как будто непрерывное деянье,
шло таянье задворков и дворов.

Средь кутерьмы и бестолочи этой
(как там апрельский день ни назови!)
ее томили первые приметы
едва полуосознанной любви.

У стен, хранящих памятные знаки,
на каменных аренах площадей
не отдавала Лизка ей без драки
ни пяди философии своей.

Но в темных переулочках попутных,
глотая воздух влажный, как питье,
она уже догадывалась смутно
об истинном значении ее.

Она сопротивлялась не на шутку,
шепча заклятья правил и цитат,
но сердце билось весело и жутко
под кожанкой, как маленький набат.

А может, всё из-за того лишь было,
что по пути весенняя капель
живой водой нечаянно кропила
ту девочку, несущую портфель?..

Она свернула влево машинально
и поднялась по лестнице сырой,
где в суете квартиры коммунальной
жила вдвоем со старшею сестрой.

Они отважно жили и неловко,
глотали чай вприкуску по утрам,
обедали в буфетах и столовках
и одевались лишь по ордерам.

Их комната, пустынная, как зала,
в какой солдаты стали на постой,
как помнится мне, вовсе не блистала
девической ревнивой чистотой.

Поблекших стен ничто не украшало,
лишь выступал из общей пустоты
один плакат, где узник капитала
махал платком сквозь ржавые пруты.

Но в этот синий вечер почему-то
в мигании шестнадцати свечей
заброшенным и странно неприютным
ее жилище показалось ей.

Листая снимки старого журнала
или беря учебник со стола,
она ждала. Чего — сама не знала,
но, как приговоренная, ждала.

И, как бы чуя это, очень скоро,
как и она, смятен и одинок,
в полупустом пространстве коридора
заклокотал пронзительный звонок.

То из теснин арбатского района,
войдя в подъезд или аптечный зал,
настойчиво, порывисто, влюбленно
свою подругу Яшка вызывал.

...О узенькая будка автомата,
встань предо мной средь этих строгих строк,
весь в номерах, фамилиях и датах
общенья душ фанерный уголок!

Укромная обитель телефона
от уличной толпы невдалеке,
и очередь снабженцев и влюбленных
с блестящими монетками в руке.

Не раз и я, как возле двери рая,
среди аптечных банок и зеркал,
заветный номер молча повторяя,
в той очереди маленькой стоял.

Идут года и кажутся веками;
давно я стал иною страстью жить,
и поздними влюбленными звонками
мне некого и незачем будить.

Под звездами вечерними России —
настала их волшебная пора! —
вбегают в будку юноши другие,
другие повторяя номера.

У автомата по пути помешкав,
припоминая молодость свою,
я счастья их не омрачу усмешкой,
а только так, без дела, постою.

Я счастья их не оскорблю улыбкой —
пускай они в твоих огнях, Арбат,
проходят рядом медленно и зыбко,
как Лизка с Яшкой двадцать лет назад.

Под синезвездным куполом вселенной,
то говоря, то затихая вновь,
они кружились робко и блаженно
в твоих владеньях, первая любовь.

В кругу твоих полууснувших улиц,
твоих мостов, молчащих над рекой,
и на пустом бульварчике очнулись
пред струганою длинною скамьей.

На гравии, уже слегка подталом,
осыпанная блестками луны,
она одна отчетливо стояла
средь голых веток ночи и весны.

(Скамья любви, приют недолгий счастья,
когда светло и празднично вокруг,
ты целиком находишься во власти
горластых нянек, призрачных старух.

Но лишь затихнет шум дневных событий
и в синем небе звезды заблестят,
из кухонек, казарм и общежитий
сюда толпой влюбленные спешат.

Недаром же в аллее полутемной
тебя воздвигли плотник и кузнец —
тесовый трон любовников бездомных,
ночной приют пылающих сердец.)

Подвижница райкомовских отделов,
десятки дел хранящая в уме,
конечно же, ни разу не сидела
на этой подозрительной скамье.

Еще вчера с презрительной опаской,
не вынимая из карманов рук,
она глядела издали на сказку
записочек, свиданий и разлук.

И вот, сама винясь перед собою,
страдая от гражданского стыда,
протоптанной влюбленными тропою
она пришла за Яшкою сюда.

Но, раз уж это всё-таки случилось,
ей не к лицу топтаться на краю,
и, словно в бездну, Лизка опустилась
на старую волшебную скамью.

Струясь, мерцала лунная тропинка,
от нежности кружилась голова. . .
Чуть наклонясь, ничтожную пушинку
она сняла у Яшки с рукава.

Быть может, это личное движенье
строительницы времени того
теперь не много даст воображенью
или не скажет вовсе ничего.

Но смысл его до боли понял Яшка:
свершилось то, чего он так хотел!
Высокий лоб, увенчанный фуражкой,
в предчувствии любви похолодел.

Его душе, измученной желаньем,
томящейся без славы и побед,
оно сказало больше, чем признанье,
и требовало большего в ответ.

И в обнаженной липовой аллее
(актив Москвы, шуми и протестуй!),
идя на всё и все-таки робея,
он ей нанес свой первый поцелуй. . .

Такое ощущение едва ли
кому из нас случалось испытать.
Мы никого тогда не целовали,
и нас никто не смел поцеловать.

Был поцелуй решением подростков
искоренен, как чуждый и пустой.
Мы жали руки весело и жестко
взамен всего тяжелой пятерней.

Той, что, в ожогах, ссадинах, порезах,
уже верша недетские дела,
у пахоты и грозного железа
свой темный цвет и силу заняла.

Той самою рукою пятипалой,
что кровью жил и мускулами уз
все пять частей земли уже связала
в одной ладони дружеский союз.

5

Зинка, тоненькая юла,
удивительная девчонка,
с овдовевшим отцом жила
в двух малюсеньких комнатенках.

В немудреной квартирке той
от порога до одеяла
целомудренной чистотой
и достоинством всё дышало.

На окне умывался кот,
на кровати мерцали шишки,
осторожно хранил комод
перештопанное бельишко.

Сохранялся любовно тут,
как положено, честь по чести,
небогатой семьи уют,
милый быт заводских предместий.

В стародавние времена,
чуть не в прошлом еще столетье,
молодая тогда жена
заводила порядки эти.

От темна и до темноты
пыль невидимую стирала,
пересаживала цветы,
шила, стряпала и стирала.

И стараньем ее дошли
до преддверия пятилетки
сквозь пожары большой земли
эти ска́терки и салфетки.

Но от будничной суеты,
редкой женщине незнакомой,
над корытом да у плиты
уходилась хозяйка дома.

Поглотала микстур с трудом,
постонала, теряя силы,
и однажды, осенним днем,
отчужденно глаза закрыла.

Меж державных своих забот,
сотрясая веков устои,
не заметил тогда народ
то событие небольшое.

Лишь оплакал ее конец
над могильной сырой землею
неутешный один вдовец
с комсомолкою-сиротою.

Горю вздохами не помочь.
Поневоле или с охотой,
но взяла в свои руки дочь
материнскую всю работу.

Постирала отцу белье,
подбелила печурку мелом,
и хозяйство в руках ее
снова весело загудело.

Нет ни пятнышка на полах,
на обоях ни паутинки.
Все соседки в очередях
не нахвалятся нашей Зинкой.

И, покусывая леденец,
чай отхлебывая из кружки,
всё внимательнее отец
на родную глядит девчушку.

Как-то исподволь, в ходе дней,
улыбаясь чуть виновато,
эта девочка всё полней
возмещала его утрату.

Утром, в самом начале дня,
словно самое дорогое —
дочки ранняя суетня
в тесной кухоньке за стеною.

А в морозные вечера
жизнь дает ему в утешенье
шорох книги и скрип пера —
мудрость Зинкиного ученья.

И, наверное, оттого,
а не так еще отчего-то,
дело ладится у него,
веселее идет работа.

От рабочего ветерка,
словно чистенькие подружки,
с быстрым шелестом с верстака,
завиваясь, слетают стружки.

Как получку вручит завод,
он от скудных своих излишков
то на кофточку ей возьмет,
то какую-то купит книжку.

Затуманится Зинкин глаз,
зарумянятся щеки жарко
от его осторожных ласк,
неумелых его подарков.

. . .Средь платочков и скатертей,
в ящик сложенных с прилежаньем,
в час приборки попалось ей
незаконченное вязанье.

Незадолго до смерти мать,
пошептавшись сама с собою,
начала для отца вязать
синий шарф с голубой каймою.

Дескать, пусть он на склоне лет
всем теплом, что в себе скрывает,
как последний ее привет,
душу близкую согревает.

Потому-то теперь само
это выглядело вязанье
как непосланное письмо,
неуслышанное признанье.

И у Зинки в тот раз точь-в-точь
сердце самое колыхнуло,
словно бы ненароком дочь
в душу матери заглянула.

Так ли сказано или нет,
но взялась она за вязанье,
материнский храня секрет,
исполняя ее желанье.

...В суете выходного дня
вдоль заставы шагали бойко
Лизка с Яшкой да с ними я —
кавалерии легкой тройка.

(Яшка, сморщив брезгливо нос,
никому не давая спуску,
с удовольствием скрытым нес
ту воинственную нагрузку.)

Не смахнув с башмаков земли,
пыль не вытерши с голенища,
как История, мы вошли
в это тихонькое жилище.

Как актив и предполагал,
наполняя углы косые,
здесь, в передней, еще стоял
запах мелкой буржуазии.

И уж слишком-то весела
(хоть бы цвет поскромней немножко)
прямо в царство ее вела
хитро постланная дорожка.

Предвкусив ритуал суда
и романтику приключенья,
Яшка первый шагнул туда
в острой жажде разоблаченья.

За накрытым с утра столом,
отодвинув в сторонку чашки,
два любителя в царстве том
с подковыркой играли в шашки.

Но на нас они сквозь махру
глаз не подняли отчего-то:
то ли вовсе ушли в игру,
то ли, может, с каким расчетом.

Мы глядели пока тайком,
сожалея о нашей Зинке,
на развешанные кругом
занавесочки и картинки.

Души гордые, с детских лет
властно взятые пятилеткой,
кособокий потряс буфет
и цветастенькая кушетка.

Наполняя всю жизнь вокруг,
фикус важно торчал из бочки,
словно добрый тлетворный дух
обывательского мирочка.

В этой жалкой чужой стране
по-хозяйски освоясь скоро,
к фотографиям на стене
мы шагнули, как прокуроры.

Удивило тогда дружков,
что на снимках на этих нету
ни манишек, ни котелков,
соответствующих буфету.

Не какие-нибудь тузы
и раскормленные голубки,
а платочки и картузы,
телогрейки да полушубки.

Лица слесарей и портных,
молодаечки и старухи.
И лежали у всех у них
на коленях большие руки —

те, что ради своей земли
шили, сеяли и тесали,
всё хотели и всё могли,
всё без устали создавали.

Яшку сразу к себе привлек
примечательный в самом деле
шрамом, врубленным поперек,
человек в боевой шинели.

Он стоял, как приказ, прямой...
Ах, как гордо она надета,
та буденовка со звездой,
освещающей полпланеты!

Смерть и сла́ва молчат в клинке,
дым и песня летят вдогонку...
На крушившей врага руке
примостилась его девчонка.

В голубиных озерцах глаз
ярко светится вера в чудо,
и с доверчивостью на нас
наша Зинка глядит оттуда.

В тусклых зеркальцах прошлых дней
с зыбкой точностью отражалась
жизнь, что, право, куда сложней,
чем до этого нам казалось.

Саркастические умы,
все отчаянные ребята,
перед нею притихли мы,
словно в чем-нибудь виноваты...

1953—1955

329—335. *ФРАГМЕНТЫ ИЗ ВТОРОЙ ЧАСТИ ПОВЕСТИ В СТИХАХ «СТРОГАЯ ЛЮБОВЬ»*

‹1›

ПРОХОДНАЯ

В час предутренний под Москвой
на заставе заиндевелой
двери маленькой проходной
открываются то и дело.

И спешат наперегонки
через тот теремок дощатый
строголицые пареньки,
озабоченные девчата.

Нас набатный ночной сигнал
не будил на барачной койке,
не бежали мы на аврал
на какой-нибудь громкой стройке.

На гиганты эпохи той
не везли в сундучках пожитки,
не бетонили Днепрострой,
не закладывали Магнитку.

Но тогда уже до конца
мы, подростки и малолетки,
без остатка свои сердца
первой отдали пятилетке.

И, об этом узнав, она,
не раздумывая нимало,
полудетские имена
в книгу кадров своих вписала.

Так попали в цеха труда
и к станкам индустрии встали
фабзайчата — нас так тогда
с доброй грубостью называли...

‹2›

БУФЕТ

Спиралью крутясь постоянной,
ступеньки сбегают в буфет.
Кисель пламенеет в стаканах,
и в мисках блестит винегрет.

Мы лучшего вовсе не ищем:
как время велит молодым,
мы нашу нехитрую пищу
с веселою страстью едим.

За столиком шумно и тесно,
и хлопает ветер дверьми.
Ты только холодным и пресным,
буфетчица, нас не корми.

Еда, исходящая паром,
у нашего брата в чести.
Давай ее, с пылу и с жару,
покруче соли и сласти.

...Сверкают глаза отовсюду,
звенит и стучит тяжело
луженая наша посуда,
граненое наше стекло.

Под лампочкою стосвечовой
ни тени похожего нет
на тихий порядок столовой,
на сдержанный званый обед.

Не склонен народ к укоризне:
окончился чай — не беда.
Была ты под стать нашей жизни,
тогдашняя наша еда.

Наверно, поэтому властно
на много запомнились лет
кисель тот, отчаянно красный,
и красный, как флаг, винегрет.

⟨3⟩

ТАТУИРОВКА

Яшка, весь из костей и жил,
весь из принципов непреложных,
при бесстрастии внешнем, жил
увлекательно и тревожно.

Под тельняшкой его морской
сердце таяло и страдало.
Но, однако, любви такой
Яшке все-таки было мало.

Было мало ему давно
получать от нее, ревнуя,
после клуба или кино
торопливые поцелуи.

Непреклонен, мятежен, смел,
недовольные брови хмуря,
он от этой любви хотел
фейерверка, прибоя, бури.

Но она вопреки весне
и всему, что ему мечталось,
от свиданий наедине
нерешительно уклонялась.

И по улице вечер весь
безмятежно шагала рядом,
словно больше того, что есть,
ничего им теперь не надо.

Не умея пассивным быть,
он отыскивал всё решенья:
как упрочить и укрепить
эти новые отношенья.

И нашел как раз старичка,
что художничал по старинке,
в жажде стопки и табачка
околачиваясь на рынке.

(Жизнь свою доживал упрямо
тот гонимый судьбой талант,
в чем свидетельствовали панама
и закапанный пивом бант.)

И ловец одиноких душ,
приступая к работе с толком,
у оконца поставил тушь
и привычно связал иголки.

И, усердствуя как умел,
наколол на его запястье
буквы верности «Я» и «Л» —
обоюдные знаки счастья.

По решению двух сторон
без дискуссий и проволочки
вензель этот был заключен
в сердцевидную оболочку.

Старичок, обнаружив прыть,
не угасшую от запоя,
сердце сразу хотел пронзить
символическою стрелою.

Но, традициям вопреки,
Яшка грубо его заставил
боевые скрестить клинки
синеватого блеска стали.

И, однако же, те года
выражал бы рисунок мало,
если б маленькая звезда
на верху его не мерцала.

Отразилось как раз на ней,
усложнило ее созданье
столкновение двух идей,
двух характеров состязанье.

Из штрихов, как из облаков,
возникали, враждуя, части
беспартийной звезды волхвов
и звезды пролетарской власти.

В результате дня через два,
помещенная очень ловко,
из-под черного рукава
чуть виднелась татуировка.

Вместе с Лизкой идя в кино,
он поглядывал то и дело
на таинственное пятно,
что на коже его синело.

Но, любима и влюблена,
освещенная солнцем алым,
от неопытности она
тех усилий не замечала. . .

‹4›

ПРОГУЛКА

Не на митинг у проходной,
не с заметкой в многотиражку —
просто, празднуя выходной,
шли по городу Лизка с Яшкой.

Шли, не помню сейчас когда, —
в мае, может, или в апреле? —

не куда-то, а никуда,
не зачем-нибудь, а без цели.

Шли сквозь выкрики и галдеж,
дым бензина и звон трамвая,
хоть и сдерживаясь, но всё ж
свет влюбленности излучая.

Вдоль утихшей уже давно
темной церковки обветшалой,
треска маленького кино
и гудения трех вокзалов.

Средь свершений и неудач,
столкновенья идей и стилей,
обреченно трусящих кляч
и ревущих автомобилей.

Шли меж вывесок и афиш,
многократных до одуренья,
сквозь скопление стен и крыш
и людское столпотворенье.

Шли неспешно, невторопях,
как положено на прогулке,
средь цветочниц на площадях
и ларечников в переулках.

Но парнишки тех давних лет,
обольщенные блеском стали,
ни букетиков, ни конфет
для подружек не покупали.

Меж гражданских живя высот
и общественных идеалов,
всяких сладостей и красот
наша юность не признавала.

Были вовсе нам не с руки,
одногодкам костистым Яшки,
эти — как их там? — мотыльки,
одуванчики и букашки.

Независимы и бледны,
как заправские дети улиц,
мы с природой своей страны
много позже уже столкнулись.

‹5›

От подружек и от друзей,
об усмешках заботясь мало,
беззаветной любви своей
Лизка храбрая не скрывала.

Да и можно ли было скрыть
от взыскательного участья
упоенную жажду жить,
золотое жужжанье счастья?

В молодые недели те,
отдаваясь друзьям на милость,
словно лампочка в темноте,
Лизка радостью вся светилась.

В этот самый заветный срок
солнца и головокруженья
стал нежней ее голосок,
стали женственными движенья.

Средь блаженнейшей маеты
с неожиданно острой силой
сквозь знакомые всем черты
прелесть новая проступила.

Это было не то совсем,
что укладывалось привычно
в разнарядку плакатных схем
и обложек фотографичных.

Но для свадебных этих глаз,
для девического томленья
в комсомольский словарь у нас
не попали определенья.

Так, открыта и весела,
будто праздничное событье,
этим маем любовь пришла
в наше шумное общежитье.

Ни насмешечек, ни острот.
Или, может быть, в самом деле
мы за этот последний год
посерьезнели, повзрослели?

И, пожалуй, в те дни как раз
догадались смущенно сами,
что такая напасть и нас
ожидает не за горами.

Словом, — как бы точней сказать? —
их волшебное состоянье
мы старались оберегать,
будто общее достоянье.

(6)

ТРАКТОР

...Это шел вдоль людской стены,
оставляя на камне метки,
трактор бедной еще страны,
шумный первенец пятилетки.

В сталинградских цехах одет,
отмечает он день рожденья,
наполняя весь белый свет
торжествующим тарахтеньем.

Он распашет наверняка
половину степей планеты,
младший братец броневика,
утвердившего власть Советов.

Он всю землю перевернет,
сотрясая поля и хаты,
агитатор железный тот,
тот посланец пролетарьята.

И Москва улыбнулась чуть,
поправляя свои седины,
словно мать, что в нелегкий путь
собирает родного сына.

‹7›

МАЯКОВСКИЙ

Из поэтовой мастерской,
не теряясь в толпе московской,
шел по улице по Тверской
с толстой палкою Маяковский.

Говорлива и широка,
ровно плещет волна народа
за бортом его пиджака,
словно за бортом парохода.

Высока его высота,
глаз рассерженный смотрит косо,
и зажата в скульптуре рта
грубо смятая папироса.

Всей столице издалека
очень памятна эта лепка:
чисто выбритая щека,
всероссийская эта кепка.

Счастлив я, что его застал
и, стихи заучив до корки,
на его вечерах стоял,
шею вытянув, на галерке.

Площадь зимняя вся в огнях,
дверь подъезда берется с бою,
и милиция на конях
над покачивающейся толпою.

У меня ни копейки нет,
я забыл о монетном звоне,
но рублевый зажат билет —
всё богатство мое — в ладони.

Счастлив я, что сквозь зимний дым
после вечера от Музея
в отдалении шел за ним,
не по-детски благоговея.

Как ты нужен стране сейчас,
клубу, площади и газетам,
революции трубный бас,
голос истинного поэта!

1953—1956

336. МОЛОДЫЕ ЛЮДИ

(Комсомольская поэма)

Посвящается
50-летию ВЛКСМ

ЛЕТОПИСЕЦ ПИМЕН

С тогдашним временем взаимен,
разя бумагу наповал,
я в общежитии, как Пимен,
твою Историю писал.

И эти смятые скрижали,
сказанья тех ушедших дней,
пока до времени лежали
в спецовке старенькой моей.

И вот сейчас, в начале мая,
не позабыв свою любовь,
я их оттуда вынимаю
и перелистываю вновь.

Я и тогда в каморке душной,
перо сжимая тяжело,
писал никак не равнодушно
своей страны добро и зло.

И сам на утреннем помосте,
с руки не вытерев чернил,
под гул гудков, с веселой злостью
добротно стены становил.

Я юность прожил в комсомоле
средь непреклонной прямоты.
Мы всюду шли по доброй воле,
но без особой доброты.

Мы жили все, как было надо,
как ждали русские края.
...Стол освещая до надсады,
не так смиренно, как лампада,
горела лампочка моя.

Пускай теперь страницы эти
и — если выйдет — новый срок
мерцаньем трепетным осветит
тот отдаленный огонек.

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Средь почты медленной и малой,
когда дороги замело,
однажды книжица попала
к нам в белорусское село.

Там на обложечке весенней,
лицом прекрасен и влюблен,
поэт страны Сергей Есенин
был бережно изображен.

Лишь я один во всей округе,
уйдя от мира, тих и мал,
под зимний свист последней вьюги
ее пред печкою читал.

Поленья, красные вначале,
нагревши пламенем жилье,
чудесным блеском освещали
страницы белые ее.

Я сам тогда, кусая руку
и глядя с ужасом назад,
визжал, как та визжала сука,
когда несли ее щенят.

Я сам, оставив эти долы,
как отоснившиеся сны,
задрав штаны, за комсомолом
бежал по улицам страны.

И, озираясь удивленно,
всё слушал, как в неранний час
дышали рыхлые драчены,
ходил в корчаге хлебный квас.

ГУБЕРНСКАЯ РЯЗАНЬ

В начале самом жизни ранней,
в краю зеленом, голубом,
я жил как раз в самой Рязани,
губернском городе большом.

Тогда мне было лет пятнадцать,
но я о многом понимал.
Мне до сих пор те стогны снятся,
хоть я как будто старым стал.

Непритязательно одетый,
я жил тобой без суеты,
о «Деревенская газета»,
юдоль крестьянской бедноты!

Мне жизнь была такая впору.
В закутке, бедном и сыром,
заметки страшные селькоров
я обрабатывал пером.

В дни социальных потрясений,
листая книгу и журнал,
я позабыл тебя, Есенин,
и на Демьяна променял.

Мы блеска тут не наводили,
нам было всем не до красот.
В село отряды уходили
без барабанов в этот год.

Под солнцем, смутным и невнятным,
они из схваток боевых
везли на розвальнях обратно
тела товарищей своих.

Платя за всё предельной мерой,
упрятав боль в больших глазах,
мы хоронили их на скверах
и на недвижных площадях.

Я помню марево печали,
и черный снег, и скорбный гул.
Шли митинги в промерзшем зале,
молчал почетный караул.

КЛАССИЧЕСКАЯ БОРЬБА

Неподалеку, у заставы,
как переменная судьба,
в заезжем цирке для забавы
идет вечерняя борьба.

Как в освещенной круглой сказке,
там, под галеркой, далеко
потеют мускулы и маски,
трещит последнее трико.

Борцов гастрольные повадки
все в электрической жаре.
Лежат могучие лопатки
на старой Персии ковре.

Сдавай свой номер, словно бирку,
бери потертое пальто.
Уже брезент сдирают с цирка,
поедет дальше «шапито».

А в поле снежном, за заставой,
стучит ружейная пальба,
блестит клинок в ладони правой,
иная действует борьба.

С врагов сорвав победно маски,
на кобылицах без подков
из карабинчиков подпаски
в кулацких целятся сынков.

Бранясь и сплевывая смачно,
не замечаючи мороз,
идет кровавый бой кулачный,
не для потехи, а всерьез.

Уже рассвет, а битва длится,
стук мерзлых сабель не затих.
Ржут и стенают кобылицы,
жалея всадников своих.

И по дороге той России,
через притихший снеговей
устало едут верховые,
гоня кулацких сыновей.

ЧУХНОВСКИЙ

Побыв в сумятице московской
среди звонков и телеграмм,
отправлен быстро был Чухновский
по весям и по городам.

По Совнаркома директивам,
чуть огорошен и устал,
он выступал перед активом
и к пионерам приезжал.

Прошли года чредою длинной,
но и сейчас передо мной
на всю Рязань — одна машина,
и в ней Чухновский молодой.

Она победно громыхала,
и, слыша срочный рокот тот,
Рязань, откинув одеяла,
к своим окошкам припадала
и выбегала из ворот.

Чухновский молод и прекрасен,
хоть невелик совсем на вид.
Но где-то там, как символ, «Красин»
за ним у полюса стоит.

И перед сценой в главном зале,
как бронепоезд на парах,
мы вместе с ним опять спасали
тебя, «Италия», во льдах.

Ведь меж торосов и обвалов,
в тисках ледовых батарей
он заложил тогда начало
всех наших общих эпопей.

Так эта сдержанная сила
свою нам протянула длань
и к громкой славе приобщила
тогда губернскую Рязань.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ШКОЛА

Москва сзывала в этот год
в свои училища и вузы
один трудящийся народ —
хозяев истинных Союза.

Забрав паек без праздных слов
и вынув литер на вокзале,
на третьих полках поездов
они к столице подъезжали.

Потом в азарте юных лет,
не сняв косынки и шинели,
теснились возле стенгазет,
в аудиториях шумели.

По всем углам родной земли
и после — по державам мира
они отсюдова пошли,
плотин и домен командиры.

. . .И мне учиться срок настал:
оставив гранки и селькоров,
я в типографию попал
по фезеушному набору.

Москва тогда еще жила
и прежним днем, и в новом стиле:
среди гудков — колокола
себе отходную звонили.

Последний нэпман продувной
шагал в домзак угрюмым рейсом,
и по булыжной мостовой
ломовики возили рельсы.

Храня республику труда,
глядели влево и направо
заставы города тогда,
как бы военные заставы.

. . .Я очень помню тот апрель,
тот свет и тьму, тот день московский,
когда не в ту, ошибшись, цель
отправил пулю Маяковский:

Тут не изменишь ничего,
не скажешь что-нибудь особо.
Я видел и живым его,
и шел замедленно вдоль гроба.

Снимайте шапки перед ним,
не веря всем расхожим толкам.
Он был глашатаем твоим,
наш комсомол и «Комсомолка».

Я жизнь узнал на вкус и вес
и вспомню, чтоб не упрекали,
тот самый шахтинский процесс,
что шел тогда в Колонном зале.

Истории — не прекословь,
не правь исчезнувшие даты. . .

Об этом «Строгая любовь»
была написана когда-то.

Года уходят, как века,
необратимо и пространно,
как шли в то время облака
над Мавзолеем деревянным.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК

Я шагал по Москве
вдоль бульваров апреля,
подтянувшись,
как было положено,
впрок:
он тогда продолжался
всего две недели —
за разбитым станком
испытательный срок.

Наконец-то дождавшись
законного часа,
под предпраздничный шум
первомайских знамен
я зачислен был в списки
рабочего класса
и в реестры конторы
навечно внесен.

В тех ударных цехах
из плакатов и стали,
как намного позднее
в солдатском строю,
и погодки и дядьки
еще испытали —
на печалях и праздниках —
душу мою.

Я окопы копал
и выкладывал зданья,
исполнял
мастеров и сержантов урок.

Он еще не закончился,
срок испытанья.
Он всё дальше идет —
испытательный срок.

Были годы удач,
были месяцы боли;
мне всего доставало
под небом родным.
В общем я-то и сам —
без уверток —
доволен,
проверяя себя
испытаньем твоим.

Эту жизнь
не пришлось мне
прожить без упрека
средь станков и винтовок,
бумажек и строк...
Лишь бы он
не закончился только
до срока,
эпопеи моей
испытательный срок.

НЮРА ЕРШОВА

А я беру не к месту слово
и говорю опять в тщете,
что Нюра все-таки Ершова
была всегда на высоте.

Она держалась так, как надо,
в халате синеньком своем.
Станки стояли наши рядом
в одном пролете заводском.

И ежели струя металла
вдруг из котла летела вбок,
она мне взглядом разрешала
очистить тот ее станок.

И без урона по работе,
всегда спокойна и бледна,
сама по собственной охоте
шла к моему станку она.

Я провожал ее в печали,
с надеждой глядя сквозь очки.
По переулочкам стучали
без остановок каблучки.

Ни поцелуев, ни объятий,
когда фонарь уже зажжен.
Как сорок тысяч юных братьев,
я был тогда в нее влюблен.

Но, пряча всю любовь и муку,
в приливе нежности своей
я только пожимал ей руку
и расставался у дверей.

А может, это всё лишь было
в те вечера, на склоне дня,
из-за того, что не любила
Ершова гордая меня? . .

МАСТЕР

В моей покамест это власти:
прославить в собственных стихах
тебя, мой самый первый мастер,
учитель в кепке и в очках.

Среди мятущихся подростков,
свой соблюдая идеал,
ты был взыскательным и жестким,
но комсомольцев уважал.

Прельщала твой уклад старинный,
когда в сторонке ты сидел,
не то чтоб наша дисциплина,
а наша жажда трудных дел.

Лишь я один твое ученье,
которым крайне дорожил,
для радостей стихосложенья
так опрометчиво забыл.

Прости, наставник мой, прости,
что я по утренней пороше
не смог, приладившись, нести
две сразу сладостные ноши.

Там, где другая есть земля,
где зыбкой славой брезжут дали,
иных наук учителя,
иные мрежи ожидали.

«ОГОНЕК»

Зимой или в начале мая
я в жажде стихотворных строк
спешил с работы на трамвае
туда, в заветный «Огонек».

Там двери — все — не запирались,
там в час, когда сгущалась мгла,
на праздник песни собирались
мальчишки круглого стола.

Мы все друг дружку уважали
за наши сладкие грехи,
и голоса у всех дрожали,
читая новые стихи.

Там, плечи жирные сутуля,
нерукотворно, как во сне,
руководил Ефим Зозуля
в своем внимательном пенсне.

Там, в кольцах дыма голубого,
всё понимая наперед,
витала молча тень Кольцова,
благословляя наш народ.

Мы были очень молодые,
хоть это малая вина.
Теперь едва не всей России
известны наши имена.

Еженедельник тонколицый,
для нас любимейший журнал,
нам отдавал свои страницы
и нас наружу выпускал.

Мы бурно вырвались на волю,
раздвинув ширь своих орбит.
В могилах братских в чистом поле
немало тех ребят лежит.

Я был влюблен, как те поэты,
в дымящем трубами краю
не в Дездемону, не в Джульетту —
в страну прекрасную свою.

Еще пока хватает силы,
могу открыть любую дверь, —
любовь нисколько не остыла,
лишь стала сдержанней теперь.

БАЛЛАДА 30-ГО ГОДА

Как предложил рабочий класс,
собрав портянки и рубашку,
в недальний утренний Мосбасс
от нас зимой поехал Пашка.

В один из тех метельных дней
его почетно провожала
толпа подружек и друзей
до Павелецкого вокзала.

Нестройной маленькой семьей,
толкаясь между пассажиров,
еще не знали мы с тобой,
что Пашка станет дезертиром.

Лишь Мира, обойдя сугроб,
по-женски скорбно и устало
ему глядела прямо в лоб,
как будто пулю там искала.

Известно было, что она —
об этом не могло быть спора —
была несчастно влюблена
в великолепного позера.

Мы попрощались с ним без слез,
куря отважно папиросы.
Гудит прощально паровоз,
неверно движутся колеса.

По рельсам, как по паре строк,
уходит поезд от погони.
И только красный огонек
на дальнем светится вагоне.

Сугроб оставив у крыльца,
прошла зима с морозом вместе,
но нет оттуда письмеца
иль хоть случайного известья.

Но вот, без розысков, само,
из шахты угольной от Пашки
пришло ужасное письмо
в редакцию многотиражки.

Суров и труден тот Мосбасс;
там темный снег не скоро тает;
он черным хлебом кормит нас,
раз белых булок не хватает.

В глубокой шахте с потолка
всю смену тягостно струится
заместо струйки молока
земли остылая водица.

Там, исполняя нагло роль
рабочей хватки человека,

кулацкая босая голь
вразвалку шляется по штреку.

В краю суглинистой земли
у Пашки жлобы без печали
бушлат матросский увели,
в очко до нитки обобрали.

И он, хоть нашу меру знал,
от жизни этакой сломился,
из шахты ночью убежал
и возле мамы очутился.

Ячейка грозная не спит,
не ест конфет, не греет чая,
а за столом всю ночь сидит,
признанье это изучая.

Стыдом наполнен каждый взор.
Отмщенья требуем, отмщенья!
Недлинным будет приговор,
безжалостным постановленье.

Одернув кожанку рывком,
по общей воле комсомола
та Мира самая в райком
несет страничку протокола.

Идет-гудет тридцатый год,
в свой штаб идет, бледнея, Мира
и орготделу отдает
судьбу родного дезертира.

А мы с тобой, ему в ответ,
апрельской ночью, перед маем,
на самом склоне юных лет
на новый рудник уезжаем.

АСФАЛЬТИТОВЫЙ РУДНИК

Как заштатный сотрудник,
купаясь в таежной реке,
асфальтитовый рудник
стоит от столиц вдалеке.

Ходят в петлях ворота,
натужно скрипит вороток,
днем и ночью работа,
трехсменный нелегкий урок.

Под звездою туманной,
как словно свое торжество,
я кручу непрестанно
железную ручку его.

Летним утром и в стужу,
затратив немало труда,
эту землю наружу
в бадье мы таскали тогда.

Нам велела эпоха,
чтоб слабою рохлей не стать,
как по пропуску, в грохот
лопатой ее пропускать.

На обгон, на подначку
под солнцем твоих небеси
мне толкать эту тачку
способней, чем ехать в такси.

Жить в тайге интересно,
и всем холуям на беду
я в разведку отвесно
под черную землю иду.

Не лирический томик,
не фетовский ваш соловей —
гнется слабенький ломик
под страшной кувалдой моей.

Я прошел бы, пожалуй,
вселенную эту насквозь,
если б мне не мешала
земная проклятая ось.

ЛЕСОПИЛКА

Красиво мускулы ходили,
пила визжала, как экспресс,
когда с тобою мы пилили
на доски весь сосновый лес.

На этой спорой лесопилке,
скорее двигаться веля,
бесшумно сыпались опилки,
росли, как избы, штабеля.

И день и ночь, опять и снова.
Сегодня то же, что вчера.
И пахнут свежестью сосновой
мои ладони до утра.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

И снова, словно бы в сказанье,
я вижу, выправив билет,
Дом Красной Армии в Рязани
второй зимы тридцатых лет.

Его чугунная ограда
снежком прикрыта голубым.
Народ идет сюда, как надо,
привычным шагом строевым.

На этот праздник небогатый,
прикинув так и так сперва,
своих прислала делегатов
литературная Москва.

Себя талантами считая, —
ведь есть у каждого грехи, —
мы нашей армии читаем
свои поэмы и стихи.

Нет, мы совсем не монументы,
мы не срываемся едва,
от грохота аплодисментов
у нас кружится голова.

Как всадник истинный, вразвалку,
в военной форме прежних дней
пошел к трибуне Матэ Залка,
остановился рядом с ней.

Он говорит, расставив бурки,
и не совсем без юморка,
как на привале у печурки
иль за столом у земляка.

Еще в буфете, сверх программы,
вдаль устремив влюбленный взгляд,
пьют пиво взводные, их дамы
свое пирожное едят.

Еще до поезда немало,
еще далеко до Кремля,
и мы выходим неустало
под снег и звезды февраля.

А сбоку, словно в зимней сказке,
движеньем обольщая всех,
летят за санками салазки
вдоль по оврагу — прямо в снег.

Не долго думая, туда-то,
враз потеряв достойный вид,
возглавив нас, прекрасный Матэ,
пыхтя от радости, бежит.

Не щелкопер салонов дамских —
на санках вместе с мелюзгой
скользит герой войны гражданской,
участник первой мировой.

За ним по пропасти вдогонку,
как в глубь твою, ночная Русь,
с шальною школьною девчонкой
я в упоении несусь.

Ее метельные косицы,
всем наставленьям вопреки,
в роскошных ленточках из ситца
моей касаются щеки.

...Я ночью зажигаю спички,
в свое окно гляжу зимой,
и снова снежные косички
опять летят передо мной.

ПИРУШКА В ИСПАНИИ

От гаубиц трясется балка,
блестят охранные штыки.
Сидят Кольцов и Матэ Залка
и шумно жарят шашлыки.

Как будто бы им дела мало
там, на своей большой земле.
Лежит фуражка генерала
на приготовленном столе.

От них еще покамест скрыто,
что впереди испанцев ждет
паденье грозного Мадрида
и в лагерь Франции исход.

Они еще не знают оба,
что ожидают их двоих

салют Испании над гробом,
воспоминания о них.

Мешать их празднику не надо,
пусть будет эта ночь светла.
Теки в стакан, вино Гренады,
благоухайте, вертела!

Мне и завидно им, и жалко:
живут же, хоть свершился срок,
улыбка радостная Залки,
Кольцова мрачный хохоток.

АРКАДИЙ ГАЙДАР

Я рад тому, что в жизни старой,
средь легендарной суеты
сам знал Аркадия Гайдара, —
мы даже были с ним на «ты».

В то время он, уже вне армий,
блюдя призвание свое,
как бы в отсеке иль казарме
имел спартанское жилье.

Быть может, я скажу напрасно,
но мне приятен признак тот:
как часовой, он жил у Красных,
а не каких-нибудь ворот.

Не из хвальбы, а в самом деле
ходил товарищ старший мой
в кавалерийской всё шинели
и в гимнастерке фронтовой.

Он жил без важности и страха,
верша немалые дела.
Как вся земля, его папаха
была огромна и кругла.

Когда пошли на нас фашисты,
он был — отважен и силен, —
из войск уволенный по чистой,
по той же чистой возвращен.

И если рота отступала
и час последний наступал,
ее он всю не одеялом,
а пулеметом прикрывал.

Так на полях страны Советской,
свершив последний подвиг свой,
он и погиб, писатель детский
с красноармейскою душой.

ЗОЯ

В городах неприметна природа,
в фонарях не рассмотришь звезду.
В майский дождь сорок первого года
я по улице поздней иду.

И в окне, как сквозь смутные дали,
различая всё сразу едва ль,
в школьном зале, в предутреннем зале,
вижу я приглушенный рояль.

Под померкшею лампой недальней —
там когда-то и я бушевал —
и веселый, и всё же печальный
выпускной завершается бал.

Я стою под окном запотелым,
вдоль него неумело хожу,
словно бы в потаенное дело,
на ушедшую юность гляжу.

Парень девушку кружит в объятьях
в первый раз на недолгом веку,

пролетает прощальное платье,
прикасаясь к его пиджаку.

И не знает она, хорошея,
то, что ей суждены впереди
воровская веревка на шее,
золотая звезда на груди.

СМОЛЕНСК

Давайте вспомним о Смоленске.
Он в списке городов других —
как тихий житель деревенский —
среди рабочих разбитных.

Тебя я, пусть немного, знаю,
гляжусь в тебя издалека,
столица русская льняная,
юдоль лопаты и штыка.

Там, где шумят леса глухие,
полей и перелесков тишь,
валы насыпав земляные,
ты пол-России сторожишь.

Его холмы стоят, как надо,
всю ночь горят его огни.
Пускай тут вовсе нету кладов,
а только кладбища одни.

Он славных подвигов предтеча,
ему история мила.
Когда идет поодаль сеча,
его гудят колокола.

Он неторопко дело знает,
без похвальбы и без хулы.
И перья медные роняют
над ним залетные орлы.

КОМСОМОЛЬЦЫ САМОЙ РОССИИ

Я приятности нахожу
в том, что, словно бы голубица,
с легким шелестом прохожу
через таможни и границы.

Ведь во время войны не так, —
без улыбочек, без идиллий,
развивая огонь атак,
в эти местности мы входили.

Знают Со́фия и Белград,
помнят люди немолодые,
где под камнем могильным спят
комсомольцы самой России.

На войну уходя сперва,
не успели они жениться;
их единственная вдова —
наша северная столица.

Гул тогдашней войны затих,
но она всё, как подобает,
обручальных колец своих
с пальцев каменных не снимает.

ДАВНИХ ДНЕЙ ГЕРОИНИ

Где вы ходите ныне?
Потерялся ваш след,
давних дней героини,
слава старых газет.

Помню вас на плакатах
в красном мареве слов
тех далеких тридцатых,
переломных годов.

На делянках артели,
на трибунах больших

вы свое отзвенели,
голоса звеньевых.

Сделав главное дело,
дочки нашей земли
из высоких пределов
незаметно сошли.

Возвратились беглянки
из всеобщей любви
на свои полустанки,
в сельсоветы свои.

И негромко, неслышно
снова служат стране
под родительской вишней,
от столиц в стороне.

Их недолгую славу
и тогдашний почет
смутно помнит держава
средь новейших забот.

Но, однако ж, бывает,
что под праздник она,
засветясь, называет
тех подруг имена.

ТИПОГРАФИЯ

Без промедленья и опаски,
как в марте трепетный апрель,
я слышу запах типографский
хотя б за тридевять земель.

Я чую мокрые страницы
ночного позднего труда,
как словно старая волчица
овечьи мирные стада.

Неповторимо и повторно
навеки обожаю я
цех типографии наборный
и стук вечернего литья.

Недавно ездя по Востоку,
куда отправил нас журнал,
я свет увидел одинокий
и в типографию попал.

Здесь набирала буквы с толком,
от удовольствия шепча,
широкоскулая монголка
в халате с братского плеча.

Халат как раз такой окраски —
он лучше выглядеть не стал —
я в той бригаде типографской
в туманной юности таскал.

Как будто здесь, в степи прогоркшей,
его я скинул сгоряча
и отдал ей, как шуба Орше
дарилась с царского плеча.

ПРИЗЫВНИК

Под пристани гомон прощальный
в селе, где обрыв да песок,
на наш теплоходик недальний
с вещичками сел паренек.

Он весел, видать, и обижен,
доволен и вроде как нет, —
уже под машинку острижен,
еще по-граждански одет.

По этой-то воинской стрижке,
по блеску сердитому глаз

мы в крепком сибирском парнишке
солдата признали сейчас.

Стоял он на палубе сиро
и думал, как видно, что он
от прочих речных пассажиров
незримо уже отделен.

Он был одинок и печален
среди интересов чужих:
от жизни привычной отчалил,
а новой еще не достиг.

Не знал он, когда между нами
стоял с узелочком своим,
что армии красное знамя
уже распростерлось над ним.

Себя отделив и принизив,
не знал он, однако, того,
что слава сибирских дивизий
уже осенила его.

Он вовсе не думал, парнишка,
что в штатской одежке у нас
военные красные книжки
тихонько лежат про запас.

Еще понимать ему рано,
что связаны службой одной
великой войны ветераны
и он, призывник молодой.

Поэтому, хоть небогато —
нам не с чего тут пировать, —
мы, словно бы младшего брата,
решили его провожать.

Решили хоть чуть, да отметить,
хоть что, но поставить ему.
А что мы там пили в буфете,
сейчас вспоминать ни к чему.

Но можно ли, коль без притворства,
а как это есть говорить,
каким-нибудь клюквенным морсом
солдатскую дружбу скрепить?

УТРЕННЯЯ ГЛАВА

Я увидал на той неделе,
как по-солдатски наравне
четыре сверстника в шинелях
копали землю в стороне.

Был так приятен спозаранку
румянец этих лиц живых,
слегка примятые ушанки,
четыре звездочки на них.

Я вспомнил пристально и зорко
сквозь развидневшийся туман
ту легендарную четверку
и возмущенный океан.

С каким геройством непрестанным
от человечества вдали
солдаты эти с океаном
борьбу неравную вели!

С неиссякаемым упорством,
не позабытым до сих пор,
свершалось то единоборство,
не прекращался тяжкий спор.

Мы сразу их назвали сами,
как разумели и могли,
титанами, богатырями
и чуть не в тоги облекли.

Но вскоре нам понятно стало,
что, обольщавшие сперва,
звучат неверно, стоят мало
высокопарные слова.

И нам случилось удивиться,
увидевши в один из дней
не лики строгие, а лица
своих измученных детей,

обычных мальчиков державы,
сумевших в долгом том пути
жестокий труд и бремя славы
с таким достоинством нести.

МОНТАЖНИКИ

В своих пристрастьях крайне стойкий,
не покидая главный класс,
я побывал на Братской стройке
и даже, помнится, не раз.

На эстакаде, без подначки,
стоял я, сын других времен,
как землекоп с дощатой тачкой
меж металлических колонн.

И как-то сдуру — между нами —
совсем не к месту позабыл,
что этой станции фундамент
я сам с друзьями заложил.

Но всё равно, потом и сразу,
среди чудес и пустяков,
меня прельстили верхолазы
в разводьях вешних облаков.

Они, ходя обыкновенно,
не упуская ничего,
вели второй монтаж вселенной
не плоше бога самого.

Им на земле уже неловко,
они обвыклись в небесах,

и звенья цепи для страховки
висят у них на поясах, —

той цепи, что при царской власти,
чтоб и бунтарь бессильным был,
и на ногах и на запястьях
устало каторжник носил;

той цепи, что в туманной дали,
власть отнимая и беря,
отцы и деды разорвали
осенней ночью Октября.

ШТОРЫ ИЗ ВЬЕТНАМА

Не на окне,
а посредине прямо,
близ подмосковных
веток и ветвей
бамбуковые шторы
из Вьетнама
стучат,
колеблясь,
в комнате моей.

По вечерам
и рано на рассвете,
среди моих
идиллий и забот,
колышет их
военный дальний ветер,
сюда идущий
из других широт.

Не далеко,
а чуть не на пороге,
зовя в свой край
отмщения и мук,
он всё стучит,

как барабан тревоги,
в моем жилье,
оттудова бамбук.

О, эти шторы,
зыбкие скрижали!
Я не могу
и не хочу их снять.
Их сколько бы
рукой ни раздвигали,
они всегда
смыкаются опять.

С НЕБА ПАДАЕТ СНЕГ ЗИМЫ

С неба падает снег зимы.
Осторожно, благоговея,
приближаемся тихо мы —
вдоль по площади — к Мавзолею.

Белым снегом освещена
и насыщена красным блеском
на молчанье твоем, стена,
революции нашей фреска.

Тут который уж год подряд
по желанию всей России
у гранитных дверей стоят
неподвижные часовые.

Хоть январский мороз дерет
и от холода саднит скулы,
ни один из них не уйдет
из почетного караула.

Как они у державных плит,
для тебя, седина и детство,
вся страна день и ночь хранит
правду ленинского наследства.

Ливень хлещет, метель метет,
в небе молния проблеснула —
ни один из нас не уйдет
из почетного караула.

1968


ПЕРЕВОДЫ

С УКРАИНСКОГО

Максим Рыльский

337. ДИАЛОГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДИСКУССИИ ОБ ИСКУССТВЕ В «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЕ»

Первый голос

В эти дни космической ракеты
и автоматических станков
позабудьте, выбросьте, поэты,
допотопных ваших соловьев!

Всё искусство, вместе с жалким сором,
вынесьте и выкиньте за тын:
тот, кто разбирается в моторах,
выше толкователей картин.

Второй голос

Этот спор, что не затих поныне,
начат был еще в далекий век. . .
Быть лишь добавлением к машине —
для тебя не много, человек!

Как же ты живешь, ответь на это, —
с беспокойством спрашиваю я, —
если в дни космической ракеты
ты не слышишь пенья соловья?

⟨1960⟩

338. ДЯДЮШКА ТОДОСЬ

Должно быть, старость стукнула в ворота:
на мемуары тянет день за днем.
Я дядюшку Тодося вспомнил что-то,
мне захотелось рассказать о нем.

Припомнились очки в оправе старой,
обмотанные ниткой так и сяк
(подробность украшает мемуары),
а на плечах — не свитка, не пиджак,

а вроде бы сюртук великопанский,
разодранный с плеча и до плеча
(когда-то дивный мастер Саксаганский
играл в такой одежде Копача),

и теплый дух живицы, вместе с воском
замешенной в садовом черепке,
и свернутую крупно папироску,
горящую в натруженной руке.

Всем россказням его неимоверным,
одна другой занятней и хитрей,
могли бы позавидовать и Стерны,
и чудаки наиновейших дней.

Бывал Тодось в Сибири и Китае,
невиданных ловил зверей и птиц.
И я, мальчонка, слушал, замирая,
хитросплетенья длинных небылиц

о редкостных событьях и удачах,
каких еще не видел этот свет:
о том, как с Чемберленом он рыбачил,
как ел себя спокойно самоед;

про хитрого и злобного хунхуза,
и про ханжу — китайский самогон. . .
Какая только нашептала муза
ту смесь брехни и правды! . . Ведь и он

своим рассказам верил чуть не свято,
не отличая правды от брехни.
Вот почему к нему я бегал в хату
и проводил там сказочные дни,

как бы готовясь к званию поэта...
Таких фигур, запомни, молодежь,
не так-то много есть по белу свету,
в литературе больше их найдешь.

Но если б просто был он трафаретом,
повествовать не стал бы я о нем.
В его избе (сказал мне под секретом
мой друг Ясько), в году известном том,

когда из черной глубины Цусимы
набат проклятый глухо прозвучал
и перед всем народом — полузримо —
грядущий день забрезжил, заблистал,

ну, словом, — без излишних аллегорий, —
когда потряс всю землю пятый год,
в избе Тодося, богачам на горе,
сходился забастовочный народ.

Избе убогой дядюшки Тодося —
он сам ее по бревнышку сложил —
не раз в то время слышать довелося
речей наивных неуемный пыл.

Бывал под этой кровлей «Дядя Ваня»
(Ясько мне тихо объявил: эсдек!)
и те предтечи, что в туманной рани
провозглашали новой жизни век.

Нагаек свист, тоска тюремной доли
вас не страшили. Утром досветла
вы рассевали на широком поле
весну — она не скоро расцвела.

Мне кой-кого из них встречать пришлося
средь генералов современных лет;

одно упоминание Тодося
в глазах их добрый зажигает свет.

Седой боец, как мальчик, улыбался,
но, услыхав про смерть его, стихал.
...Сам дядюшка не очень разбирался
в премудростях ученых. Мне сказал

барчук из просвещенных шалопутов
(его не назову я даже вкось),
что Карла Маркса с петербургским путал
издателем наивнейший Тодось.

Я, как наездник, память обращаю
из этих дней — в ушедшие назад:
мне кажется, что снова я вбегаю
в давно отцветший стариковский сад.

Себя сравнить я с Пушкиным не смею,
и мой Тодось не Энгельгардт ничуть,
но сад его был мне как сад лицея,
в котором Пушкин начинал свой путь.

Он новшеств не любил в садовом деле,
но был привержен этому труду,
и по старинке, в марте и апреле,
прививки делал в собственном саду.

Недвижно стоя около ранета,
пока окулировку делал он,
я к немудреным дедовским секретам
был все-таки, отчасти, приобщен.

Жаль до сих пор, что тех приемов тонких
не перенял я, ученик тупой,
из-за того, что в детской головенке
уже толпились рифмы вразнобой.

Я и теперь, проснувшись спозаранку
иль сидя у раскрытого окна,
двух стариков — Мичурина, Бербанка —
шепчу благоговейно имена.

Не опасаюсь я признаться даже,
что их делам завидовать готов.
Пусть человек для человека вяжет
гирлянды из невиданных плодов.

Пусть по канве земли он вышивает
не виданные ранее цветы
и пусть в природу вечную вливает
свои живые мысли и мечты.

Нет, мой Тодось, скажу об этом смело,
был мало на Мичурина похож,
но все-таки свое вершили дело
его лопатка и садовый нож.

Тот майский сад, в котором он годами
возился ввечеру и на заре,
все ветви, отягченные плодами,
склонял к земле в янтарном октябре.

О молодежь, поднявшаяся ныне,
подобная лучащейся весне,
родился в тьме я, вырос я в пустыне,
но сад и солнце вечно снились мне.

Цветет наш сад, шумят вовсю колосья,
открыта даль под небом голубым.
Хочу, чтоб все вы вспомнили Тодося
со мною словом тихим и не злым.

⟨1962⟩

339. ОСЕННИЙ КИЕВ

Тебя не раз при мне хвалили, Киев,
восторг всеобщий вызываешь ты!
Совсем не лесть признания такие,
а только подтвержденье красоты.

Асфальт прикрыт листвою желто-ржавой,
но сквозь нее темнеет и блестит.
Уже рыжеют на газонах травы
и дождь упорно день и ночь стучит.

*

И, распрощавшись с нашими краями,
летят в края чужие птицы, те,
каких зовут ученые стрижами, —
я ласточками звал их в простоте.

Но полыхают огненные канны
и георгины душу веселят. . .
Пришла пора работы долгожданной,
а не пора печалей и утрат.

Рачительная осень, как хозяйка,
в амбар ссыпает урожай златой,
и раскрывает дали без утайки,
и озимью блистает молодой.

Как счастлив я, что Киев наш осенний,
наш древний Киев радостен и нов
в большом труде, в горении, в движенье,
в строительстве заводов и домов.

⟨1962⟩

Андрей Малышко

340. ДЕВИЧЬЯ

Я в поля звено водила в это лето.
За водою я ходила в час рассвета
К той кринице, где водица
Как умытая зарница
В час рассвета.

К ней дороги не травою, не росою,
Исколола свои ноги я стернею.
По жнивью да буеракам
Три версты с немалым гаком
Всё стернею.

А по правде — не волнуясь, без тревоги,
Можно б дольше походить по той дороге,

Да водой холодной, чистой
Напоить бы тракториста
По дороге.

Пусть он встанет, пусть он глянет прямо
в очи,
Что на сердце, угадает, если хочет.
Пусть шагает у криницы,
Ожидает и томится
До полночи.

(1949)

341—342. *ИЗ СТИХОВ О ТАРАСЕ ШЕВЧЕНКО*

(1)

Ах, если б стать мне явором в поле,
тем, что Тарасу снился в неволе.

Явор твой белый. Зимние ночки.
Сны о свободе в той одиночке.

Но не хочу быть камнем лежалым —
тем, на котором песни писал он.

Твои скрижали, твои печали —
горючий камень на Кос-Арале.

Пусть этот явор из лихолетья
шелест доносит в наше столетье.

Чтоб не воскресла, не возвратилась
этого камня горькая милость.

Поэта сердце — не мертвый камень,
оно, как явор, шумит веками.

⟨2⟩

Ой, пришел бы ты к нам, бессмертный, через ночи и через горы
удивляться и любоваться нашим космосом и простором.

Нивы общие колосятся, смехом славится наша хата.
Мы богаты степною ширью, широтою души богаты.

Не в краю твоей Катерины, не под нашим советским солнцем,
а в далеких заморских странах рассевают коварный стронций.

Фарисеи на ассамблеях зашумели бы бестолково,
если взял бы Тарас Шевченко — делегат Украины — слово.

Слово гневное за кордоном! Вдалеке от родного дома.
Я от имени коммунистов низко кланяюсь крепостному

за его золотые строки, за святые его страницы,
что не выцвели, не истлели, а раскинулись, как зарницы.

⟨1961⟩

Аркадий Кулешов

343. БАЛЛАДА О ПРАВДЕ

Задержанный клял свою долю,
в немецкий попавши острог.
Он весть об измене на волю
хотел передать, да не смог.

В ту пущу, что весть ожидала,
он с правдой хотел убежать,
да стража его задержала:
минуты до смерти считать.

Они вместе с правдой считали
шаги за острожной стеной,
его вместе с нею сжигали
в печи полуночной порой.

Предатель в усы усмехался,
он видел — известная вещь, —
как правду, какой он боялся,
эсэсовцы кинули в печь.

Когда бы умели — сказали
нам правду бы пепел с золой,
но молча их люди смешали
на пашне с молчащей землей.

Острог рассказал бы, да сгинул
острог от огня, от войны.

Виднеются только руины,
обломок тюремной стены.

По горам, лесам и долинам
давно отгремела война.
Как память, стоит на руинах
острожная эта стена.

И полночь за полночью снова
предателю снится во сне:
начертана — слово за словом —
вся правда о нем на стене.

Никто еще слов тех не знает,
и прежде, чем час тот пробьет, —
при молнии дождь их читает
и слезы осенние льет.

Предатель тюремную стену
среди пустырей отыскал.
Изменник слова про измену,
как свой приговор, прочитал.

Ах, зря он в усы усмехался,
случилась нежданная вещь:
ту правду, какой он боялся,
не взяли ни время, ни печь.

Никто не развеял по полю
ее, словно пепел седой.
Явилась та правда на волю
открытой всем взорам стеной.

Ее на острожных страницах
сам узник писал перед тем,
как в пепел ему превратиться,
как смолкнуть ему насовсем.

Писал он, чтоб ведали люди,
что правда не сгинет нигде,
чтоб ей предоставили судьи
свидетелем быть на суде.

(1948)

344. НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА

Мальчик по зимнему полю
бежал из неволи.
Брел он в снегу по колено
от немца из плена.
Ночью от мамки отбился,
в лесу очутился.
После смертельной тревоги
не движутся ноги.
Лег на сугроб, как под свод,
под еловые ветви.
А в этот час Новый год
начинался на свете.
Чем пареньку
плохо под елью косматой?
Снег на еловом суку
как блестящая вата.
Звезд голубые огни
блещут на елках.
Ниткой они
привязаны к хвойным иголкам.
Заметь, снижаясь с высот,
как конфетти, зашуршала.
Так до сих пор Новый год
никогда не встречал он.
В хвойную глушь занесен
снегом-метелью,
смертный нашел его сон
под новогодней елью.
Снежный сугроб простоял
до весны на поляне.
С белой постели не встал
тот мальчуган и не встанет.
Это ведь вовсе не сказка —
правда суровая,
а если даже и сказка —
не старая, новая.
Сказка Великой войны
и метельной полянки.
Не королевич заснул там,
а сын партизанки.

Сын партизанки!
Хоть белою снежной пургою
был ты засыпан,
но смерть не властна над тобою.
Песней спилю я
эту большую
елину.
Посеребренный
трепет зеленый
на плечи вскину.
И понесу над собой
снежные ветки
от пятилетки одной
до другой пятилетки.
Из года в год
по отчизне Советов свободной
будет она хоровод
украшать новогодний.
В том она будет дворце
нашей Отчизны,
что возведут, славя труд,
сыновья коммунизма.
В те она будет года
в праздничном зале,
сны воплотятся когда
и исчезнут печали.
Люди на ель поглядят
и в строгом молчанье
вспомнят о мальчике том,
что замерз на поляне.
Память о нем
не в лесу будет жить,
а в народе —
праздничным днем
в новогоднем кружить
хороводе.

(1948)

345. КОММУНИСТЫ

Коммунисты — это слово крепче стали,
коммунисты — это слово как набат.
Маркс и Энгельс нам такое имя дали
в год рожденья наш — сто лет тому назад.

И хотя сто лет назад нас было мало,
вышли мы на первый бой, на смертный бой.
Мы копаем с песней яму капиталу,
пусть стучит земля по крышке гробовой.

Нет, не верим мы ни в бога, ни в молитвы.
И не знаем мы иных священных слов,
кроме лозунгов, сзывающих на битвы,
кроме песен, от каких вскипает кровь.

Поднялись мы в высоту, полны отваги.
Коммунизма даль, к тебе сердца летят!
Крылья наши — это огненные флаги,
гнезда наши — это камни баррикад.

Коммунисты никогда еще в бессилье
не роняли красных флагов боевых;
если падал кто, сейчас же флаги-крылья
поднимались за плечами у живых.

Стяг крылатый от сраженья до сраженья
по земле нас вел сквозь бурю, сквозь пургу.
Коммунисты! Это слово без волненья
я не мог произнести и не могу.

Коммунисты — это люди грозной силы,
поколенье бесконечное борцов.
Закалили в революции горниле
Ленин, Партия для боя, для веков.

Мы бессмертны, революции солдаты;
павшим в битвах снятся будущего сны,
у кронштадтских стен, в руинах Сталинграда,
обняв землю, спят земли своей сыны.

В грозных битвах мы не дрогнем от ударов,
до конца за наше дело постоим,
знамя красное бессмертных коммунаров
для полета нашей смене отдадим.

Так и я отдам в наследство — дар заветный —
жар борьбы, который в сердце берегу.
Коммунисты! .. Этот клич на бой победный
без волненья повторять я не могу.

Этим словом, самым верным, самым чистым,
самых близких называю не один.
Я хочу, чтоб назывался коммунистом
сын родной мой и родного сына сын.

С каждым годом всё сильнее над планетой
наше солнце разгорается во мгле.
Скоро будут называться — знаю это —
коммунистами все люди на земле.

⟨1948⟩

С КАЗАХСКОГО

Абай Кунанбаев

346—349. *ИЗ ПЕРЕВОДОВ К РОМАНУ М. АУЭЗОВА «ПУТЬ АБАЯ»*

‹1›

Смерть, ответь, как посмела ты
Сына взять себе моего?
Я ушедшее замыкал.
Он глашатаем нового был.
Все надежды я потерял,
Ужас кости мои пронзил.
Одряхлел я, стал стариком.
В сердце боль — горячей огня.
Горе длинным своим бичом
По глазам хлестнуло меня.
Всё обдуманно делал ты,
Не обманывал никого.
Был отважным и смелым ты
И удачливым оттого.
Смерть, ответь, как посмела ты
Сына взять себе моего?
Жил он вовсе не напоказ,
Умудреннее старца был.
Беспокоился он о нас,
Об оставшихся он грустил.
Дальнозорок, умен и смел,
Он судьбу свою точно знал.

Ей бесстрашно в лицо глядел,
Но от нас это всё скрывал.
Знал, что мало осталось жить,
Не хотел пугать никого.
То, что он не успел свершить,
В завещании есть его.
Двадцать семь! Только двадцать семь!
Сын мой, мало ты прожил лет. . .
Ведь известно разумным всем,
Что другого такого нет.
Не стремился к богатству он,
Лжи и чванства не признавал. . .
Он оставил свою семью,
На земле он недолго был,
Но короткую жизнь свою
Он познаньями удлинил.
Перед ним расстилалась ширь
Всех просторов и всех времен.
Крым, Россия, Кавказ, Сибирь —
Все пределы изъездил он.
Как комета с большим хвостом,
Появился он и исчез.

‹2›

Мулла — хоть сам две трети не поймет —
Коран толкует сутки напролет.
Пускай копною у него чалма,
Он, как стервятник, только падаль жрет.

‹3›

Не хватайся за всё сгоряча,
Дарованьем своим не гордись
И подобием кирпича
В зданье жизни самой ложись.

⟨4⟩

Хвастовство — это слабость тех,
Что хотят выше прочих встать.
Возбуждающий зависть всех
Может скоро несчастным стать.
Надо смело вперед шагать
По дороге трудной своей.
Никогда не могут устать
Обучающие детей.

⟨1958⟩

Джамбул

350. ДУХИ

Зря, парикмахер, ты льешь духи
Джамбулу за воротник:
в стареньком кресле твоем сидит
не юноша, а старик.

Я черным когда-то и стройным был —
согбенным стал и седым,
и нету в живых никого из тех,
кто знал меня молодым.

Железо — как ты его ни точи —
станет ли клинком?
И кляча — как ты ее ни холь —
станет ли скакуном?

Так из Джамбула, что тут сидит,
строки шепча стихов,
может ли выйти лихой джигит,
сколько ни трать духов?

Как в старых колодах бубновый король,
я дряхлым по виду стал,
и буду таким же, какой бы огонь
в сердце моем ни пылал.

⟨1946⟩

351. ДЕВУШКА КАМЧАТ

В роде Кокрек у Керима была дочь — красавица Камчат, поэтесса. Странствуя по аулам, я как-то остановился в доме Керима. Не знаю почему (не оттого ли, что я был неказист?), Камчат отнеслась ко мне пренебрежительно. Задетый ее высокомерием, я не захотел уйти молча и утром, перед отъездом, сложил и спел эту песню:

Я видел дочь Керима Камчат —
горда и красива она,
бобровая шапка ее — почти
как брови ее, черна.
Подобно лисице алтайских гор,
движенья она полна,
и рядом с нею трудно стоять:
так хороша она.
Я, как орел, налетев с небес,
унес бы ее с холма,
когда б на мгновенье лицо любви
ко мне обратила она.

Я так скачу по тебе, мой край,
что на щиколотках моих
не успевает осесть песок
летних степей твоих.
Белые щуки во тьме озер —
скольких я доставал!
Смолоду здорово я удил,
промаху не давал.
Сидя с домброю перед тобой,
может быть, я неказист,
зато я прекрасен своей душой
и сердцем красив и чист.
Сравнимы ли красота лица
и красота души?
Подумай об этом сама, Камчат,
и это сама реши.
Не блекнут ли, один за другим,
весенние цветы,
не сходят ли, как румяна, с лица
признаки красоты,

и не теряет ли прелесть степь,
когда угасает день
и покрывает ее траву
облако темноты?

Эти примеры жизни самой
не зря вспоминаю я.
Будешь ли думать о них иль нет —
воля на то твоя.
Но когда возникает желанье петь —
кружится голова
и не могу я держать во рту
огненные слова.

Девушка вздохнула.

⟨1958⟩

Абдильда Тажибаев

352. СЫРДАРЬЯ

С почтительностью сына
за всё благодарю,
как мать свою родную,
родную Сырдарью.

Самим великим Гейне
любимый Рейн воспет,
а я, река казахов,
твой собственный поэт.

Немало у Тараса
днепровских есть стихов.
Бродил когда-то Пушкин
у невских берегов.

А я свое уменье
и помыслы свои
дарю текучим водам
прекрасной Сырдарьи.

Ты — мать всего народа,
моя родная мать.
Так как же мне сегодня
тебя не воспевать?

От старости бессильной
еще ты далека,
в твоей груди струится
избыток молока.

К тебе вернулся снова
твой сын немолодой,
и вот опять, как в детстве,
ты лоб целуешь мой.

Опять, как в зыбке детства,
меж делом, невзначай,
меня на волнах зыбких
тихонько покачай!

Ты знаешь ли работу
могучего Днепра?
Тебе его примеру
последовать пора.

Ты степи по-днепровски
огнями озари,
пускай над нами блещут
созвездья Сырдарьи!

И я победной песней
прославлю подвиг твой,
как некий новый Гейне,
рожденный Сырдарьей.

⟨1957⟩

353

Дорогой жизни долго я шагал
и вот уже почтенным мужем стал.
Вдали, вдали, меж гор и средь степей,
остались годы юности моей.

Есть у казахов старый разговор,
что, дескать, время действует, как вор,
и каждый месяц или каждый год
то то, то это у тебя крадет.

Ход времени, желая честным быть,
я не могу и не хочу хулить.
Я этих слов не стану повторять —
несправедливо время упрекать.

Ты, моего не погасив огня,
взяло стихи и песни у меня,
но их отнюдь не бросило во мгле,
а подарило людям и земле.

Пусть у меня пробилась седина —
зато листва деревьев зелена.
И есть цветенье юности моей
в цветении предгорий и степей.

Теченье лет, что прожил человек,
повторено теченьем новых рек,
волненье мысли яростной моей
есть в волнах нами созданных морей.

Земля моя! Железо и цветы!
Я постарел — помолодела ты.
Но молодость ушедшую свою,
Республика, в тебе я узнаю.

⟨1957⟩

Гали Орманов

354. НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДЕНЬ

Мы в город, едва различимый вдали,
шагая с трудом, наконец-то вошли,
как словно бы тот сирота-верблюжонок,
что еле плетется в дорожной пыли.

Нестройно по теплым с утра мостовым
мы шли босиком за вожатым своим,
прохожие сразу же нас понимали
по грязным рубахам и шапкам худым.

В том доме, куда привели сорванцов,
ютилось немало таких же мальцов,
и вскоре уже на дворе мы шумели,
все в белых рубашках, как стайка птенцов.

Я в первый же день, беззащитен и мал,
впервые лицо Ильича увидал,
почувствовал в нем доброту и защиту
и сразу сильней и уверенней стал.

Он прямо глядел на меня, как живой,
дыша теплотой и светясь добротой.
И, солнцем улыбки его согреваясь,
забыл я, что был до сих пор сиротой.

⟨1958⟩

355. ПЛАЧУЩАЯ ДЕВУШКА

Два тюка на верблюде,
путь дымится песком.
Едет девушка в люди,
в незнакомый ей дом.

Едет, бедная, грустно,
мысли душу когтят,
слезы — крупные бусы —
на ресницах блестят.

«Ах, невеста-бедняжка,
видно, ей тяжело! . .
Не воротится пташка
под родное крыло».

Много праздных советов
раздается в пути:
«От дороги от этой
никому не уйти. . .»

Все ее по дороге
утешают кругом:
«Будешь жить без тревоги
за таким богачом!»

Но она в огорченье
слезы льет второпях, —
что ей в тех утешеньях,
что ей в этих словах?

Что ей скот и халаты,
если страшен навек
тот чужой, бородатый,
дряхлый тот человек?!

⟨1958⟩

356. ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ

Полвека я не без труда
уже прошел путем крутым,
но для народа навсегда
хочу остаться молодым.

Пускай приметна седина —
примет я этих не боюсь:
ведь для тебя, моя страна,
я только сыном остаюсь.

И твердо знаю, что и впредь,
крепя союз безмолвный наш,
ты не позволишь мне стареть,
душой погаснуть мне не дашь.

Я у тебя еще в долгу.
Служить тебе я жизнью рад.
Быть лежебокой не могу,
хоть мне уже и пятьдесят.

Пусть не иссякнут никогда
любовь и труд — всё, чем горжусь.
Я, словно мальчик, сквозь года
к тебе, как к матери, тянусь.

⟨1958⟩

Халижан Бекхожин

357. ГОЛОС РОССИИ

Когда еще был я мальчишкой вихрастым,
любви и поэзии вовсе не знал,
дыша учащенно и радостно, часто
верхом по степи я, как ветер, скакал.

Однажды в ту пору, в то давнее время,
костер я увидел в родимых краях
и вдруг услыхал, придержав свое стремя,
как пел о любви седовласый казах.

Откуда пришла, появилась откуда
ты, русская песня, в безбрежье степей?
Письмо русской девушки — это ль не чудо! —
поет по-казахски степной соловей.

Глаза старика застилались туманом,
мерцали волшебные вспышки огня,
и женщина с именем русским Татьяна —
любовь и стихи — покорила меня.

С тех пор эта песня не раз мне звучала,
и слышало радостно ухо мое,
как эхом весенняя степь повторяла
протяжные, нежные строки ее.

Слыхал я, как пели с волненьем глубоким
в колхозных аулах, в счастливом краю
джигиты степей для подруг чернооких
посланье Татьяны, как песню свою.

Я знаю, как в пору цветенья ромашки,
в ту пору, когда зацветает трава,
влюбляются вслед за Татьяной казашки
и шепчут ее золотые слова.

Абай наш, мы трижды тебе благодарны
за то, что ты русское слово любил

и щедрой рукою, как свет лучезарный,
поэзию Пушкина нам подарил.

Наш Пушкин! Еще в те далекие годы,
когда нас в оковах держал произвол,
ты с песней любви и стихами свободы
в казахскую степь, словно к братьям, пришел.

Народ мой тебя с восхищением слушал:
ты мыслью казахскую мысль разбудил,
ты русское сердце и русскую душу,
как двери в свой дом, перед нами раскрыл.

Нет равного Пушкину в мире поэта
и песен, которые так бы цвели,
как нету на свете прекраснее этой,
родившей нам Пушкина, русской земли.

⟨1949⟩

Джубан Мулдагалиев

358. МАЛЫЙ ТУРКСИБ

(Поэма)

Сегодня исполнилось мне тридцать шесть.
Не хочется мне в самохвальщики лезть,
но нашей Республики быть одногодком —
большая удача, немалая честь.

Не зря для меня эти годы прошли:
они не растаяли где-то вдали,
они раскрывались, подобно тюльпанам,
как дети большого семейства, росли.

Я сути своей биографии рад.
Пусть зрелые песни сегодня звучат —
всю жизнь вспоминая, их честно слагаю,
как бывший юнец и бывалый солдат.

В степи я родился, в степи подрастал,
в степи из ребенка мальчишкою стал —
на палке своей, оседлав ее лихо,
по пояс в цветах, словно всадник, скакал.

Я знал твою землю, раздольный мой край,
учился красотам твоим невзначай.
Но были совсем неизвестны мне в детстве
ни пламенный Пушкин, ни мудрый Абай.

Минувшее детство я вспомнить готов
как детство снегов и как детство цветов, —
ведь некому было дарить мне в ту пору
крылатых машин, заводных поездов.

А впрочем, мы вправе сказать без стыда:
их нашей стране не хватало тогда —
не много летало вверху самолетов,
не часто ходили внизу поезда.

В те годы лишений и классовых битв
был Павлик Морозов врагами убит.
Недаром, как мать, это детское имя
доныне страна с уваженьем хранит.

Мой край небогатый стал краем стальным,
бегут эшелоны один за другим.
Прими же, Республика, эту поэму,
как малую дань достиженьям твоим.

1

Где горная речка и ночью и днем
ворочает камни в стремленье своем,
как девичий стан, извивается в пляске,
звенит, словно белая цепь, серебром;

где шалью зеленой весна поскорей
укрыла прямые стволы тополей;
где в солнечном мареве мог ты услышать
лишь гам ребятишек да гогот гусей, —

сегодня спешит и толчется народ,
торопится юркий пробиться вперед,
и, гомон парадной толпы покрывая,
как тот петушок, паровозик орет.

Спеша поскорее на голос гудка,
до всех доносящийся издалека,
нестройно колышатся кепки и шляпы,
торопятся ситцы, мелькают шелка.

Отцы или деды ведут малышей,
держа их ручонки в ручище своей.
Сынок мой в рукав уцепился и тянет:
«Ну, папа, иди же за мной побыстрей!»

Тут город — не жаль для детей ничего! —
построил дорогу для детства всего.
Ее окрестили мы Малым Турксибом,
как сына Турксиба большого того.

Так детскую город дорогу открыл.
И я на открытии с мальчиком был.
Со щедростью воина Павлик Морозов
ей славное имя свое подарил.

...В наполненный светом и гомоном зал,
на слет пионеров я как-то попал, —
меня, журналиста, послала газета,
чтоб я информацию краткую дал.

Я слушал, среди размышлений своих,
задорных девчурок, мальчишек лихих.
Дорогу железную — ишь вы какие! —
они предлагали построить для них.

Я думал с усмешкой: чего у них нет?
Дворцы и театры, кино и балет.
А мы в наши детские годы не знали
ни досыта хлеба, ни вдосталь конфет.

Не то позавидовал я ребятне,
не то обозлился, бурча в стороне,

но, в общем, как помнится, их предложенье
в блокнот не хотелось записывать мне.

Однако же мой молчаливый загиб,
безмолвно рожденный, бесславно погиб.
Решение вынесли люди большие:
построить для маленьких Малый Турксиб.

В тот год, замышляя большие дела,
страна моя в гору решительно шла —
огромная карта Советской России
флажками строительств покрыта была.

Наш Малый Турксиб был действительно мал.
Никто его делом большим не считал,
и в Главный Закон пятилетнего плана,
средь строек других он — увы! — не попал.

Ответьте — обида уместна ли тут?
Кипит, вдохновляемый юностью, труд.
Строители в парке казахской столицы
смолистые шпалы под рельсы кладут;

растет, поднимается детский вокзал,
уже он похожим на здание стал.
И взрослый и юноша — с радостью каждый
строительству лепту посильную дал.

Уже семафоры прямые торчат
и рельсы под утренним солнцем блестят.
Огнем пионерские галстуки вьются,
и кепки рабочие в воздух летят.

Стоит, окруженный веселой толпой,
смущенный вниманьем путеец седой.
Все знают, что строил он оба Турксиба:
для маленьких — Малый, для взрослых —
Большой.

Мужчины и мальчики рядом стоят,
наполнен у каждого радостью взгляд...
Как вдруг произнес со столба репродуктор:
«Пхеньян. Чужеземцы столицу бомбят».

И сразу, мгновенно в аллеях сквозных
веселье угасло и гомон затих.
И матери, нежно прижав ребятишек,
задумались тихо о детях чужих.

В Корее свинцовая хлещет метель,
разят пулеметчики мирную цель;
и мать, обезумев от слез, обнимает
пустую, как брошенный дом, колыбель.

В пылающем небе фугаски визжат,
мосты от прямых попаданий горят,
а возле железной дороги, в ожогах,
скелеты вагонов безмолвно лежат.

Проклятая бомба разрушила дом,
где песни писались за низким столом, —
лишь только случайно листок обгоревший
трепещет, как траурный флаг, над окном.

Наемники землю калечат и жгут,
но песню они никогда не убьют, —
недаром же красную песнь Тё Ги Чена
бойцы, словно знамя, в атаку несут.

Вы били бандитов и будете бить.
Не будут они по Корее ходить.
Наемным штыком, интервентскою пулей
народ возрожденный нельзя подавить!

Корея похожа на крепость в дыму.
Свободу она не отдаст никому.
Народ-богатырь утвердился в окопе,
сынишки подносят патроны ему.

Так думали все мы, потупивши взор,
чуть слышно прохладою веяло с гор.
И голубь, паривший над утренним парком,
спустился, как символ, на наш семафор.

2

Толпа разлилась, как весной Сырдарья,
всем встречным, без счету, улыбки даря.
Как ярмарка радости — гомон вокзала,
и льется из солнца поток янтаря.

Глядит с восхищеньем мой резвый сынок —
вокзал, по его представленьям, высок.
Но я-то, конечно, отлично заметил,
что он словно спичечный тот коробок.

И всё же он дорог мне, этот вокзал.
С годами я, видно, бесстрастным не стал:
далекая юность припомнилась сразу,
твои семафоры и рельсы, Урал.

Но вот пассажиры к вагонам идут.
Взойти по ступенькам — не маленький труд.
Иной по пути отдыхает три раза,
а все остальные томительно ждут.

Но я на ребят не гляжу свысока —
решительность их мне мила и близка:
они бы на ИЛы вскарабкались так же,
да нет для детей самолетов пока.

Слегка растерявшись от крика ребят,
старик со старухой поодаль стоят.
Но вот и они поднялись по ступенькам,
держа на руках круглолицых внучат.

Один по перрону, от страха далек,
степенно шагает мой малый сынок.
С игрушками схожи вагончики эти,
а сам паровоз-то всего с ноготок!

Девчурка с огромным букетом в руках
стоит и смеется в открытых дверях.
И алою бабочкой бант кумачовый
трепещет от ветра в ее волосах.

Но вот и дежурная с желтым жезлом
сурово шагает в убранстве своем,
и волосы детства под красной фуражкой
по-взрослому стянуты крепким узлом.

Я, право, хоть час любоваться готов
работою маленьких проводников:
с трудом поднимают они карапузов,
с почтеньем подсаживают стариков.

Звонок! Настоящий вокзальный звонок!
Перронные зрители хлынули вбок.
И громко, вовсю, закричал паровозик,
как утром, со сна, молодой петушок.

Перрон провожает нестройной толпой,
желая удачи в дороге большой —
пускай поглядят на далекие земли
и благополучно вернутся домой!

Мы едем! Свисти, паровозик, гуди!
Мои размышленья бегут впереди.
Я вовсе не мальчик, — скажи, отчего же
волнением стиснуто сердце в груди?

Ведь я в путешествиях трудных бывал,
не раз в самолетах высоких летал
и слышал походные марши оркестров,
когда еще в тесных пеленках лежал.

Я землю не только видал из окна —
тебя я изъездил, большая страна.
Мальчишкой скакал я, как всадник, на палке,
а в юности смело седлал скакуна.

Я все свои годы в движении был:
ходил на охоту, в походы ходил,
по заводям тихим и вертким стремнинам,
средь гребней кипящих размашисто плыл.

На Яике бурном, отсюда вдали,
в садах мои юные годы прошли.
Я слышал, как трактор советский заставил
забиться уснувшее сердце земли.

В далеких пределах я с армией был,
на жестких подошвах мозоли набил.
Дорожные камни, отроги Европы,
я вас и до нынешних дней не забыл...

Нельзя было нам от других отставать,
пришлось широко нам по жизни шагать.
Когда замерзали мы в зимних метелях,
к груди прижимала нас Родина-мать.

Весеннее время и грозный мороз
я вместе с народом своим перенес,
и этот пример завещаю сынишке:
хочу, чтобы он по-отцовскому рос.

...Заливисто наш паровозик свистит,
за окнами зелень неспешно бежит.
Со мною в вагоне, немного поодаль,
тот самый старик со старухой сидит.

Гляжу я любовно на старцев седых —
они молодеют среди молодых,
и меньше, мне кажется, стало морщинок
на лицах смущенно-торжественных их.

Старик-горожанин, а может, степняк,
не может насытиться счастьем никак
и часто к своим обращается внукам
с одним неизменным вопросом: «Ну, как?»

Как будто он, радуясь сердцем простым
тому, что мы лихо по рельсам бежим,
боится, что это свистящее чудо
не так, как хотелось бы, нравится им.

А возле окна черноокий джигит
с красавицей златоволосой стоит,
и что-то ей на ухо шепчет неслышно,
и только в лицо ее нежно глядит.

О чем он красавице может шептать?
Откуда об этом могу я узнать?
И кто же осмелится встать меж влюбленных,
рискуя огонь их сердец испытать?

А шумные стайки довольных детей
живут, как положено, жизнью своей:
у окон открытых нестройно теснятся
и спорят — всё громче и всё веселей.

Сквозь гул, монотонный и слитный сперва,
отдельные я различаю слова:
«Ребята! Кто эту дорогу построил?»
— «Москва!»
— «Вот придумал!»
— «Конечно, Москва!»

А вдоль полотна, ожидая с утра,
стоят пешеходы, снует детвора,
и все нам приветственно машут руками,
кидают цветы, восклицают «ура»!

3

Опять со стараньем гудит паровоз,
мелькает листва тополей и берез.
«Ребята! Кто эту дорогу построил?»
Хочу я парнишке ответить всерьез.

Совсем не намерен рубить я сплеча.
Что толку — ответить ему сгоряча.
И вот предо мною уже возникает
живое, большое лицо Ильича.

Он вместе со мною всю жизнь мою был —
всегда в своем сердце его я хранил.

Истории занавес медленно взвился —
и прошлое родины тихо открыл:

шакалами царскими Саша убит,
повешен и в землю глухую зарыт.
«К победе пойдем мы другою дорогой», —
вчерашний курчавый малыш говорит.

Ему зачинателем быть суждено.
Пускай над Россиею небо темно —
из искры одной возгорается пламя,
и вот уже землю объяло оно!

Ильич нашу партию в битвы ведет.
Он всех вдохновляет и всё создает.
О ты, Революция пятого года!
Великий Октябрь и великий народ!

Он сам, хоть опавшие щеки бледны,
стоит у кормила гражданской войны
и сам подымает тяжелые бревна
на первом субботнике нищей страны.

Я вижу, хоть времени много прошло,
как он, излучая глазами тепло,
засунув подвижные руки в карманы,
склонился над картой большой ГОЭЛРО.

А память всё дальше и дальше ведет.
Иная картина пред нами встает:
украшена скромно зеленая елка,
Ильич вместе с Крупской в гостях у сирот.

В тот вечер — хоть этого я не слыхал —
он с шумным азартом детей развлекал,
и, сидя меж ними, об этой дороге,
конечно же, он ребятне рассказал.

Тюрьма и подполье. Семнадцатый год.
Развернутый фронт всенародных работ.
От ленинской жизни, от слов Ильичевых
и эта дорога начало берет!

(1958)

С ГРУЗИНСКОГО

Николоз Бараташвили

359. МЕРАНИ

По незримой дороге летит легконогий Мерани.
Черный ворон пророчит мне раннюю гибель заране.
Мчись, Мерани, вперед, не пугаясь безмолвья и шума,
вихрю скачки сродни вихретворного всадника думы.

Разорви этот воздух, разбей эту воду, развей эти горные кручи.
Жизнь мою ускоряй до предельной последней черты.
Не пытайся укрыться от знойного солнца и плещущей тучи
и меня не щади — я вынослив не меньше, чем ты.

Я покинул родных, и собратьев, и землю родную.
Этих лиц, этих гор никогда не увижу нигде.
На привале ночном, по родимому крову тоскуя,
я отдам свою тайну кочующей дальней звезде.

Весь остаток любви, всё последнее счастье и горе
я отдам на скаку возмущенно ревущему морю.
Мчи, Мерани, меня, не шарахаясь дикого шума,
вихрю моря сродни вихретворного всадника думы.

Прах мой нищий не будет схоронен на родине милой,
и его не омоет невеста прощальной слезой.
Черный ворон мне выроет где-нибудь в поле могилу,
и ее занесет бесприютной могильной землей.

Кости странника дождь, равнодушно стекая, омоет,
причитать надо мною слетится одно коршунье.
Попирая судьбу, на земле не нашел ничего я —
лишь презренье одно к начертаньям пошлейшим ее.

Я умру одиноко, бог весть, на каком перевале.
Не страшит меня блеск упоительной вражеской стали.
Мчись, Мерани, вперед, не пугаясь злодейского шума,
вихрю смерти сродни вихретворного всадника думы.

Но она не закончилась, эта жестокая ссора.
Этот путь смельчаков я своим оставляю друзьям.
Я уверен, что вскоре, веселый, удачливый, спорый,
мой собрат пролетит по впечатанным в небо следам.

По незримой дороге летит легконогий Мерани.
Черный ворон пророчит мне раннюю гибель заране.
Мчись, Мерани, вперед, не пугаясь безмолвья и шума,
вихрю жизни сродни вихретворного всадника думы.

⟨1970⟩

С АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО

Расул Рза

360. МОРЕ И ПОЭЗИЯ

Без особых забот —
будто нету задания проще —
мягко сел вертолет
на железную площадь.

Вдалеке от земли,
над каспийской колеблемой бездной,
неподвижно стоит
этот остров железный.

Поразило меня
то, что в царстве конструкций и стали
нас цветами живыми —
живыми цветами! — встречали.

Я видал не однажды
цветы на коврах и диванах,
и на клумбах цветы,
и поляны весенних тюльпанов.

Почему же тогда
немудреные ваши букеты
осенили меня,
как открытие новой планеты?

Как негаданно тут,
на расчетливо сжатой площадке,
вы растете, цветы,
словно бы в колыбели нешаткой.

Надо думать, тогда,
в те прошедшие годы, наверно,
не стояла вода
в этих влажных огромных цистернах.

Здесь нефтяник, в тот срок
без воды задыхавшийся тяжко,
получал, как паек,
может, даже неполную чашку.

Этой нормой дневной
привозной родниковой водицы,
обделяя себя,
успевал он с цветами делиться.

Он отсчитывал их
осторожно, с улыбкою хмурой,
капли этой воды —
словно капли целебной микстуры.

И, наверно, потом
те ростки, что пробились наружу,
он своим же платком
заслонял от жары и от стужи.

Пожилой человек,
удивленно, как будто парнишка,
я отсюда гляжу
на сквозные окружные вышки.

Над моей головой,
там, где облачко белое тает,
высоко-далеко
непоспешно орлы пролетают.

У меня на груди
(аромат ваш нестроен, но тонок)
вы уснули, цветы,
как доверчивый тихий ягненок.

Я с цветами стою,
попирая подножье стальное.
. . .Пушкин как-то сказал
величаво: «Кавказ подо мною».

Мне случалось не раз
(вроде не к чему тут запираться),
многоглавый Кавказ,
на вершины твои забираться.

Мне случалось видать,
как, пространство тревогой наполнив,
не вверху, а внизу
трепетало сверкание молний.

И о том еще речь —
это тоже со мною бывало! —
что и радуга с плеч
широко, как халат, ниспадала.

Но какой же поэт —
расскажите мне, все остальные, —
строфы песни слагал,
попирая опоры стальные!

Вдалеке от земли,
до отказа меня переполнив,
эти строки пошли,
догоняя друг друга, как волны.

Словно в творческом сне,
подчинившийся силе рабочей,
это Каспий во мне
усмиренно, но сильно клокочет.

⟨1962⟩

Осман Сарывелли

361. НА БЕРЕГУ ЧЕРНОГО МОРЯ

Черное море сегодня тьмы первозданной черней.
Черная буря взыграла — страшная буря морей.

Штормом подъятые снизу,
выше скалистых громад,
пенные черные волны
в самое небо летят.

Это подводные тайны
с вечного дна поднялись
и с угрожающим ревом
ринулись в темную высь.

С дикой энергией молний —
недалеко до беды —
бьют о прибрежные скалы
снежные горы воды.
...Только лишь море взыграет, только сорвется волна,
словно сорвавшийся с места дикий разбег табуна, —

в бухты спешат пароходы,
в гнезда летят соловьи
и рыбаки выбирают влажные сети свои.

Чайки над самой водою мечутся, мчатся, кричат,
и у деревьев приморских смутно вершины шумят.

Вдруг небеса посветлели.
Средь затуманенных круч
первой вершина Ай-Петри
резко выходит из туч.

Ветер утих беспокойный.
Мирно рокочет волна,
и в успокоенном небе
тихо сияет луна.

Льет она в теплую воду
мелкий серебряный свет,
берег морской засыпая
сотнями новых монет.

...Здесь, на твоем побережье, в сказочном этом краю,
я бы хотел поселиться, жизнь подытожить свою.

Здесь, на твоем побережье,
воздух вдыхая морской,
славлю я мощное море,
ярость его и покой.

И, как орел одинокий,
сидя на гребне скалы,
слушаю пенье морское,
волны его и валы.

С шумной могучей стихией чувствуя дальнюю связь,
думаю я, что от моря жизнь на земле началась.
Долго любуюсь я морем, молча гляжусь в его гладь,
молча брожу побережьем, всё примечая вдали.
Жизни своей не жалея, рад бы ее я отдать
ради вот этой прекрасной, влажной приморской земли.

⟨1959⟩

С ЛИТОВСКОГО

Юстинас Марцинкявичус

362. СОЛНЦЕ

Отчетливо и сосредоточенно
я произношу одно слово: солнце.
И сразу же светлеют перелески и нивы, улицы
и переулки.
Спросонья человек на кровати
почесывает свою волосатую грудь и сладко зевает.
Вот он промывает водой глаза,
чтобы глядеть на солнце,
и тщательно моет большие руки,
готовясь ими обнять землю.
А солнце уже трепещет в оконных стеклах,
и дымящаяся на столе миска
полна до краев солнечным супом.

Садись, человек, и неторопливо
ешь это солнце из круглой миски —
ведь тебе самому надо
целый день светить и светиться.
Вот дровосек берет пилу и топор.
Вот пахарь, начиная борозду, понукает лошадь.
Вот машинист влезает в кабину портального крана.
Вот токарь подходит к своему станку,
и горняки, пересмеиваясь, опускаются в шахту.
А вот каменщик, весело посвистывая,
кладет кирпичную стену;

вместе со стеной он поднимается выше и выше
и наконец заслоняет солнце.
Я не вижу тебя, небесное светило,
я вижу работающего человека
и утверждаю, что сейчас он больше солнца!
...Ты помнишь, солнце, как Маяковский
однажды пригласил тебя попить чаю
и ты добрый час проболтало с поэтом?
Если каменщик во время перерыва,
вымыв запачканные раствором руки,
пригласит тебя, солнце, с ним пообедать,
не гордись и не чванься —
спускайся на землю.
Ведь у нас почти что все люди — поэты.
И каменщик этот самый уже построил
большую поэму домов и улиц.
Отпробуй его честного хлеба,
поговори с ним о стройке и свете.
Я уже вижу, как вы оба сидите на кирпичах,
с аппетитом едите хлеб
и запиваете его холодной водою.
Гляжу я на вас и не могу ответить:
кто из двоих светлее и ярче —
солнце или человек работы?

(1960)

С МОЛДАВСКОГО

Петру Заднипру

363. БОСОЕ ДЕТСТВО

Босое детство на селе
всё чаще видится и снится;
хочу в те дни и к той земле
хотя бы на день возвратиться.

Я был бы так по-детски рад
услышать снова в мирный вечер,
как колокольчики бренчат
на шеях медленных овечьих.

Я б удивиться снова мог,
в сторонке стоя осторожно,
что луч вечерний, как клинок,
уходит в сумрачные ножны.

И, глядя вверх на звездный путь,
и потаенный и знакомый,
вновь на завалинке уснуть
родного маленького дома.

Я сладко спал бы второпях
под тихим небом всей вселенной,
зипун устроив в головах,
дыша прохладою и сеном.

И встал бы снова побыстрей,
когда едва лишь засветлело
и на раките соловей
свой голос пробует несмело.

Необходимо мне сейчас,
все опровергнув возраженья,
в том роднике, как в первый раз,
свое увидеть отраженье.

Пройти бы снова для красы
по полю зябкому умело,
когда все капельки росы
поют, как сельская капелла.

Мне б одного хватило дня,
когда я жил порою вешней
и в школу бабушка меня
гнала с заманчивой черешни.

...Никто меня не держит тут,
я полной пользуюсь свободой, —
вернуться в детство не дают
мне только собственные годы.

(1968)

364. ШАГИ МАТЕРИ

Целый день она шагает,
и ночами ей не спится.
Время вышло, дорогая,
отдохнуть, угомониться.

По тропинке и дороге,
по жнивью да по пригорку
поспешают эти ноги
от прополки на уборку.

Но они уже устали
и одна другой — по слуху —
ночью жаловаться стали
на азартную старуху.

«Нету отдыха нам сроду,
мы ж теперь не в прежней силе,
и в тепло и в непогоду
сколько верст мы измесили!

Поднимаясь до рассвета,
дотемна ходя полями,
не однажды всю планету
мы промеряли шагами. . .»

Но старуха непрестанно
всё идет, шепча невнятно,
как волна по океану,
то туда, а то обратно.

Этот путь и эти сроки,
эти тихие деянья
не похожи ли на строки
легендарного сказанья!

(1969)

С ЛАТЫШСКОГО

Ояр Вациетис

365. КАВАЛЕРИЯ

Армии еще есть
и, наверное, будут,
но у ракет
нет
и не будет
жесткого и трепетного
живого хвоста,
и у танков
не вырастут
конские гривы.

Кавалерия!
ты отслужила свой срок.
Но нельзя же
расстаться с тобою безмолвно
и позволить, чтоб ты незаметно
ушла.

На гремящих тачанках
везла ты грядущее наше,
на клинках беспощадных
ты ветер свободы несла.

Кони, павшие в битвах,
простите своих конармейцев,
тех, что, руки раскинув,
валились из седел ничком.

Кони, павшие в сечах,
простите героев за то, что
не всегда они
сено умели для вас находить.

Кони! Павшие кони!
Простите нам то, что от пастбищ
в дни войны
вам пришлось
на фашистские танки идти.

Ваши всадники
сами
летели навстречу металлу;
в исторических седлах
вы красные души несли.

Впрочем, вряд ли известно вам,
кони,
что такое душа.

Мы простились.
Уходит со сцены
кавалерия наша,
королева гражданской войны.

Мы простились с тобой.
Но ты врублена шашкой навеки
в нашу память и книги
и в блещущий вечный гранит.

По весенним ночам
оживают бумага и камень,
со страниц и кладбищ
воскрешенное ржанье звучит.

Бьют копытами кони,
почуяв отталую землю,
рвутся в поле...
Им хочется
мирную землю пахать.

⟨1960⟩

С КИРГИЗСКОГО

Темиркул Уметалиев

366. АРКЫТ

Навеки проклят королевский строй,
нет красоты в короне золотой, —
зачем же ты в своем стихотворенье
сравнил Аркыт с короной, сверстник мой?

Зеленый шум его ветвистых крон
живей и чище всяческих корон.
Мой милый край, наш край высокогорный
из соловьев и листьев сотворен.

И ханы, и цари, и короли
в небытие бесславное ушли,
а ты опять цветешь, благоухая,
лесная сказка неба и земли.

Ты словно свадьба вешняя, Аркыт,
ты всем прекрасен и для всех открыт.
Трель соловьев твоих, не умолкая,
в моей душе магически звучит.

Мне по сердцу твой лиственный наряд,
естественней, чем он, — найдешь навряд.
Чужды тебе и золото, и пурпур,
продажный блеск покоев и палат.

Твой утренний стремительный ручей
журчит, как песня, в памяти моей.
Я не отдам одной зеленой ветки
за одеянья ханов и царей.

⟨1962⟩

Кубанычбек Маликов

367. ЛИРИКА

Не за бумагой и столом —
Я лириком в то время стал,
Когда взрывчаткой и кайлом
В горах дорогу пробивал.

Пусть о влюбленных день и ночь
Поэты-лирики поют,
А для меня в любом труде
Любовь и лирика живут.

Живи же, лирика моя,
Не угасай, не умирай
И вечным пламенем своим
Сердца и души согревай.

⟨1962⟩

С ТАДЖИКСКОГО

Мирзо Турсун-заде

368. ВЕКОВОЙ ДУБ

Могучий дуб, ты прожил семь веков
под сенью проходящих облаков.

Но до сих пор, как в ранние года,
твоя листва шумна и молода.

Случилось мне войти в счастливый день
под эту историческую тень.

Шумит его былинная листва,
как будто бы старинные слова,

и прошлые событья наяву
мне светятся сквозь вечную листву.

Я слушаю его рассказ о том,
как он служил Хмельницкому шатром,

как мчались в битву, выдернув клинки,
чубатые казацкие полки.

Семи столетий ты свидетель был
и ничего на свете не забыл.

Недвижный сторож неба и земли,
перед тобой столетья протекли.

Осталось семь столетий позади
с тех пор, как жил великий Саади.

Здесь расстилался утренний туман,
а там в те дни писался «Гулистан».

Могучий дуб, свидетель тех времен,
ты в будущее время устремлен.

Семьсот метельных приднепровских зим,
и всё же ты остался молодым.

Живи, шуми. И этот братский край
своим зеленым шумом украшай!

⟨1962⟩

Абдумалик Бахори

369. ВАХШСКАЯ ЗЕМЛЯ

Давным-давно, в какой-то прошлый век,
жил одинокий старый человек.

Он жил тихонько в хижине своей
под мирной сенью ивовых ветвей.

Однажды утром, покорясь судьбе,
он срезал посох ивовый себе.

И посох тот лишившемуся сил —
хотя б отчасти — юность возвратил.

Вот почему уже на склоне дней
решил старик проведать сыновей.

И тотчас же — про посох не забудь! —
отправился в благословенный путь.

Вот он уже — а путь неближним был —
на землю Вахша медленно вступил.

Вот он уже, не сразу, а с трудом,
нашел сыновний неприметный дом.

И у калитки — прям, а не сутул —
свой посох в землю вахшскую воткнул.

Гостя в кругу внимательно-родном,
он вспомнил вдруг о посохе своем.

А посох тот, хоть малый срок прошел,
за этот срок едва ли не расцвел.

Из почвы щедрой набираясь сил,
он прямо в недра корни пропустил...

Я вам изустный дедовский рассказ
переложил, как слышал, без прикрас.

Теперь пора о том повествовать,
что самому случилось увидать.

Как тот старик, не в шутку, а всерьез
затосковал я по Долине роз.

И в тот же день, собравшись поскорей,
поехал в гости к родине своей.

В краю освобожденного труда
кипела урожайная страда.

Его народ — а он совсем не мал —
на картах хлопка хлопок собирал.

Трудились тут едва ли не с зари
и героини и богатыри.

Тебя, мой край, в советский этот век
преобразил советский человек.

Отсюдова, как на осенний пир,
везут гранаты и везут инжир.

Из тех траншей, что выкопаны тут,
лимоны золотистые цветут,

Течет отсюда белая мука
и белые потоки молока.

Попробуй-ка исчислить без труда
всё, что дает привахшская страда.

Наверно, нету ни в одной из стран
такой долины, мой Таджикистан.

Она лежит на утренней земле,
как дастархан на праздничном столе.

⟨1962⟩

Шохмузаффар Едгори

370. ПОСОХ СТАРОСТИ

Шествуют куда-то напрямик
оба-два — старуха и старик.

Шествуют бок о бок, не спеша,
как одна взаимная душа.

То ли он наперсницу забот
под руку внимательно ведет;

то ли, понимания полна,
помогает спутнику она.

Смолоду на дворике села
их любовь, как яблонька, росла.

А теперь надежно служит им
обоюдным посохом одним.

⟨1962⟩

С ТАТАРСКОГО

Фатих Карим

371

Не повторяй: «Люблю, люблю», —
признания — пустяк,
а сердце первую любовь
почувствует и так.

Оно почувствует само —
ты любишь или нет.
Оно не ожидает слов,
без слов дает ответ.

Ты даже не заметишь сам,
опомнясь лишь потом,
как губы сблизятся твои
с ее безмолвным ртом.

Коль полюбил — не разлюби.
Не любит — не тоскуй...
О, буря вешняя любви
и первый поцелуй!

⟨1957⟩

372. ЗА СЧАСТЬЕ РОДИНЫ МОЕЙ

Наутро будет грозный бой.
Мне сердце говорит само,
что, может, я сейчас пишу
свое последнее письмо.

Наутро будет шквал огня.
В окошко малое сейчас
на солнце красное гляжу
я, может быть, в последний раз.

Я буду сокрушать врага
и как поэт и как солдат.
А коль погибну — жизнь мою
мои детишки повторят.

Останется весь вешний мир —
благоуханные сады,
и на полянах меж цветов
мои останутся следы.

Не надо плакать надо мной...
Ведь это словно песню спеть —
за счастье Родины своей
на поле боя умереть.

(1968)

373. МОРОСИТ И МОРОСИТ...

Беспросветно дождь осенний
моросит и моросит.
Милый друг раскинул руки,
губы стиснул и молчит.

Что погибнет мой товарищ,
я не думал, не гадал.
От немецкой вражьей пули
на разведке он упал.

От дождя намокли спины.
Все товарищи молчат.
Только скорбные лопаты
в яме глинистой стучат.

Эта страшная работа
нам куда как нелегка:
под молоденькой сосенкой
мы хороним паренька.

Молча мы могилу роем,
ветер стонет и свистит,
да осенний мелкий дождик
моросит и моросит.

⟨1968⟩

374. ДИКИЙ ГУСЬ

С любовью гляжу из окопа
на небо отчизны своей.
Летит высоко надо мною
весенняя стая гусей.

Они возвращаются с юга,
из стран, где зимою живут,
к озерам родным, на которых
тихонько кувшинки цветут.

Эй, гусь, опустись-ка пониже
и сделай, коль можешь, добро:
пошли мне оттуда в подарок
одно снеговое перо.

Я б этим пером поднебесным
сейчас любоваться не стал,
а сразу бы новую песню
народу, любя, написал.

Ведь сам я в боях и атаках
лишь тем и живу и дышу,
что жаркое сердце народа
в груди, словно солнце, ношу.

И, может быть, в подвигах ратных,
в борьбе за народную власть
мне выпадет горькая доля
на землю родную упасть.

Ты, песня, и звонкую радость
и горе мое повторишь...
По озеру плавают гуси,
шумит, не стихая, камыш.

⟨1968⟩

Сибгат Хаким

375. ДРУГ ГАРАФИ

Почти что год, как он покинул дом,
уехал из родимой стороны,
но до сих пор, скитаясь по тылам,
еще не нюхал истинной войны.

Я с ним солдатским опытом делюсь —
ох, нелегко он доставался мне:
война на праздник не похожа ведь
и всякое бывает на войне.

«Как хорошо, что я теперь с тобой», —
услышал я его глубокий вздох.
Он торопливо просит: «Объясни,
как ты себя от смерти уберег».

«Сперва прилежно каску я таскал —
и в жаркую погоду и в мороз.
Спасибо, что какой-то весельчак
ее забросил лихо под откос.

Я много верст с винтовкой прошагал,
узнал войну не по страницам книг
и видел столько крови и смертей,
что удивляться этому отвык.

Как выжил я? Не знаю, право, сам:
быть может, мой черед не наступил.
Но до сих пор ни бога, ни горздрав
я о спасенье жизни не молил.

Почетна смерть на поле боевом —
рази врага и умереть не трусь!
Но от тебя мне не к чему скрывать,
что плена я действительно боюсь.

Откуда знать, что будет впереди?
Ведь я тебе еще не рассказал,
что прошлым летом, потеряв своих,
я окруженья чудом избежал.

Вокруг меня сгустилась темнота,
последний луч безжалостно погас.
Подумал я, что он уже настал,
мой смертный срок и мой последний час.

Друг Гарафи, кто спас меня в ту ночь?
Я и теперь не приложу ума:
настойчивость, счастливая судьба
или, быть может, родина сама...»

⟨1957⟩

376. ПИСЬМО ЛЕНИНУ ОТ КРЕСТЬЯН ДЕРЕВНИ КОКУШКИНО

Это было декабрьской порой
на просторе казанских широт.
Завершается двадцать второй,
двадцать третий навстречу идет.

Ветер голода грозно метет
по замолкшим дворам деревень,
с крыш солома ободрана вся,
и разобран на топку плетень.

Серебрящимся светом луна
освещает измученный край,
над Кокушкином молча стоит
и блестит над тобой, Апакай.

Две подруги, две бедных сестры —
две деревни моей стороны,
вам бы только до солнца дожить,
дотянуть до зеленой весны.

Забирает всё круче зима,
всё сильней пробирает мороз...
Отчего ж в это время сюда
вдруг дыханье весны донеслось?

Стало вроде бы сразу теплей,
с окон словно бы стронулся лед,
и, собравшись в просторной избе,
оживился ослабший народ.

Здесь когда-то Владимир Ильич
жил в начале пути своего,
и в историю века вошла
эта первая ссылка его.

Не забыли об этой поре
деревенской земли старики,
ветви зимних склонившихся ив,
берега занесенной реки.

Да, наверно, он помнит и сам, —
быть не может, чтоб он позабыл, —
как с народом тогда толковал,
как по нашим тропинкам ходил.

Хорошо бы добраться к нему,
побеседовать с глазу на глаз:
ты свободу и землю нам дал,
помоги же нам снова сейчас.

Объявился охотный ходок,
собирается в путь второпях,
жаль, гостинца нельзя прихватить —
только ветер один в закромах.

И надежен бывалый ходок,
и дорога как раз хороша,
но в карманах крестьянских пустых
не нашлось для него ни гроша.

Приуныли сперва старики,
но потом, пораскинув умом,
рассудили — хоть в общем письме
рассказать Ильичу обо всем.

...Мы полки чужеземных врагов
разгромили оружьем своим,
и на нашу советскую жизнь
мы твоими глазами глядим.

По широкой дороге твоей
мы сознательно сами идем,
без приказа свое кулачье
осудили бедняцким судом.

(Без чинов, а по-свойски на «ты»
говорили они с Ильичем:
ведь за месяцы ссылки его
стал он вроде бы их земляком.)

В этот черный засушливый год
не видали мы вовсе дождей:
вместо хлеба и вместо овса
на полях лебеда и пырей.

Сладить с горькою этой бедой
нам одними руками невмочь —
только лошадь, лишь лошадь одна
может вызволить нас и помочь.

Слух прошел, что Советская власть
хочет в долг продавать лошадей.
Посодействуй, Владимир Ильич,
всей крестьянской земле порадей...

Наклонились над низким столом
старики в белых шапках седин.
Уважительно держит перо
грамотей деревенский один.

Вот они разошлись по домам
в ожидании лучших времен...
Мне известно, что в двух деревнях
снился им одинаковый сон:

От полян, где цветы и трава
вешним солнцем прогреты насквозь,
лошадиное ржанье сперва
еле слышно сюда донеслось.

Вот уже и дорога кипит,
кони тесно идут табуном,
вот от топота сотен копыт
вся окрестность пошла ходуном.

Вот они вереницей стоят,
красотой поражая своей,
и на утреннем солнце блестят
разномастные крупы коней.

Сам Ильич под уздцы их берет
и заводит их сам во дворы...
Сбылся сон твой, крестьянский народ,
дожил ты до великой поры.

Не воротятся те времена,
горе горькое скрылось вдали.
Широко ты шагаешь, страна,
воплотившая счастье земли!

⟨1962⟩

Яков Ухсай

377. УФИМСКИЙ БАЗАР

1

Солнца веселого утренний жар
темные тучи прогнал с небосвода.
Погреб открыт и распахнут амбар —
в нашу Уфу на колхозный базар
осень свои снаряжает подводы.

. . .Видел не раз я глазами юнца
дни отошедшие, время другое.
Злобою наши кипели сердца
в час, когда, славя богатство купца,
пел колокольчик под алой дугою.

Поле в пастушеских ярких кострах.
Мы окружали огонь осторожно,
а конокрады на наших конях,
нагло свистя, гарцевали впотьмах,
словно тузы из колоды картежной.

Стаею волчьей они налетят,
как на отару, уснувшую в поле,
целятся в лоб, кистенями грозят, —
всё у них есть, а у наших ребят
только батрацкие горсти мозолей.

Слушая ржанье своих лошадей,
мы на базаре скрипели зубами,
а конокрады оравою всей
наших при нас продавали коней,
громко божась и махая руками.

Помню базарных рядов ералаш,
пение нищих и пьяную свару,
сотни покупок и тысячи краж.
Щеки надув, оренбургский торгаш
Важно стоит посредине базара.

Глазки торговца товар стерегут;
утром и в полдень, в тумане и мраке
золото ищут, уснуть не дают, —
так за лисой золотою бегут,
пасти раскрыв, две худые собаки.

Солнце базар заливает дневной.
Жаждет торговец — такая натура! —
солнце продать и разжиться деньгой,
наши глаза напоить темнотой.
Сам ты ослепни, торговая шкура!

Деньги откуда возьмут батраки?
Мы и рубля не видали ни разу:
лапти плели и на те медяки
белые приобретали платки
и подносили своим черноглазым.

2

Деньги на грязных прилавках звенят,
полдень наполнен жарою и смрадом,
ржут жеребцы, поросята визжат.
Без передышки торговки кричат:
«Эй, покупайте — кому чего надо!»

Дяде бы лесу на избу купить,
всю бы родню пригласить на веселье.

Мне бы рубаху для праздника сшить,
брагу у дяди стаканами пить,
петь и плясать на его новоселье.

Вырос на дядину долю лесок —
срезали рощу помещичьи пилы.
Желудь, тяни свой зеленый росток, —
жаль, что, пока зашумишь ты, дубок,
дядя умолкнет под сводом могилы.

Я — для рубахи — не так чтоб давно —
семя в кармане нашарил льняное.
Рад, что нашарил, а жаль, что — одно,
жаль, что, пока разрастется оно,
сам я усну под могильной землею.

Сруба, мой дядя, тебе не видать,
не приглашать всю родню на веселье,
новой рубахи мне не надевать,
и не придется мне петь и плясать
целую ночь на твоем новоселье.

Я, поневоле замедлив шаги,
жарко дышу в человеческой давке,
вижу товары, гляжу на торги.
До смерти рад бы купить сапоги —
те, что блистают на этом прилавке.

Завтра же утром обул бы я их,
волосы щедро намазал бы салом, —
чем не красавец и чем не жених?
Плакала б ты, покидая родных,
под подвенечным своим покрывалом.

Брату купить воротник не легко,
денег на мех у него не хватает.
В зимнем сибирском лесу — далеко —
прыгают белки по веткам легко,
лисы хвостами следы заметают.

Нас, молодых сыновей, старики,
словно орлов, из гнезда отпустили;

дали нам званье свое — батраки,
дали в наследство нам по две руки,
солнцем и звездами нас наградили.

3

Солнца веселого утренний жар
темные тучи прогнал с небосвода.
Погреб открыт и распахнут амбар —
в нашу Уфу на колхозный базар
осень свои отправляет подводы.

Вот на базар из селений родных
стайкой спешат молодые подруги.
Радостно жить им в лучах золотых.
Выгнуты черные брови у них,
как бугульминские гнутые дуги.

Юным невестам привет и хвала!
Вы на полях потрудились немало.
Яркий румянец не зря отдала,
словно подарок, подругам села
красная вишня отрогов Урала.

Вот я иду, замедляя свой шаг.
Всем меня радует ярмарка эта:
щедростью наших полей на возах,
правдой в речах и весельем в глазах,
встречей с колхозником Кара-Ахметом.

«Здравствуй, умелый садовник Ахмет!»
Дружбы прекрасны старинные узы.
Это отлично — сомнения нет, —
если с читателем вместе поэт
дружно сидят, наслаждаясь арбузом.

Гордо хожу я меж яблочных гор,
между прилавками шелка и ситца.
Время богатое радует взор.
«Дай-ка, товарищ, мне этот ковер!
Сколько платить мне за эту лисицу?».

(1966)

С ЛЕЗГИНСКОГО

Сулейман Стальский

378. ПРИМУС

Тебе, наш гость, во всех краях
слова привета говорят.
Стоит в углу на трех ногах
в папахе света аппарат.

От спички он огонь берет,
он керосин пудами жрет.
И, как по морю пароход,
идет по свету аппарат.

Дороден, важен, знаменит,
во тьме он греет и блестит.
Разбейте лампы! Пусть горит
зимой и летом аппарат.

Прельщает пеньем соловей,
петух царит в семье своей.
Тебе подобных меж вещей,
конечно, нету, аппарат.

Тебя недавно в наш аул
привез чеканщик Тевекул.
С тех пор живет твой дивный гул
в душе поэта, аппарат.

Тебя зажжешь, потом уснешь,
а ты варить не устаешь.

Ах, с колесом фортуны схож
по всем приметам аппарат!

Не задирай, однако, нос,
хоть Сулейман тебя вознес,
но это не совсем всерьез,
в стихах воспетый аппарат.

⟨1948⟩

379. НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ

Затем правдивым я слыву,
Что слова в жизни не солгал.
В цветами убранном хлеву
Я всё на выставке видал.

Не рассказать за сто минут
О том, что там смотреть дают.
Телят, огромных, как верблюд,
Я сам на выставке видал.

Ягнята, видно, норовят
По весу перегнать телят:
Тулупы их по швам трещат,
Я сам на выставке видал.

Красивых, словно пенье птиц,
Как желтый сноп в руках у жниц,
Золотогривых кобылиц
Я сам на выставке видал.

Богата жизнь у нас в стране,
Полдневный свет у нас в окне,
То, что вы видели во сне,
Я сам на выставке видал.

Народ с певца не сводит глаз:
«Спой, Сулейман, еще хоть раз!
Тебе мы верим: свой рассказ
Ты сам на выставке видал».

⟨1951⟩

С ЯКУТСКОГО

Семен Данилов

380. ДЕТИ

На влажном побережье Нила,
в арабской дальней стороне,
всё непривычно-странным было,
всё показалось чуждым мне.
Тут солнце светит по-иному
и ветер не такой, как дома.

Я увидал не в старой книге,
а ощутимо, наяву
чужие тяжкие мотыги,
чужие листья и траву.
Течет тут время по-иному,
неторопливо, незнакомо.

Вдоль глинобитных низких зданий
идут поспешно по жаре
мужчины в длинных одеяньях
и жены тайные в чадре.
Здесь всё совсем не так, как дома,
всё необычно, незнакомо.

Здесь всё в ином проходит свете,
но ранним утром в школьный класс
спешат нестриженые дети,
совсем такие, как у нас.

Она такая же до боли,
ребячья шумная орда,
какую я в якутской школе
учил в недавние года.

⟨1963⟩

Иван Тарба

381. ЗЕМЛЯ

Я — житель волн и житель скал,
сын милой горной стороны.
Я много ездил и видал
мир весь почти — со стороны.

Опять по глобусу гоню,
опять кручу его — крути!
А в сердце бережно храню
всё, что увиделось в пути.

Мы все по-разному живем
на этой маленькой земле:
и на просторе полевом,
и в птичьих гнездах на скале.

Умом и сердцем не пойму,
никак не объяснят умы,
как все они разъяли тьму
и лишь едва коснулись тьмы.

Куда с высот ни поглядишь,
увидишь сразу в немоте
дома без окон и без крыш
и небоскребы в темноте.

Но время все-таки не спит,
готовя новогодний стол,
земля пылает и кипит,
как утром праздничный котел.

⟨1968⟩

382

Как в незаконченной поэме,
живут младенец и старик,
звучат в одно и то же время
предсмертный вздох и первый крик.

Века проходят величаво
над полем справедливых битв,
а тот, кто бредил вечной славой,
в чужой земле безвестно спит.

Все мы заметили воочью
и все приучены давно,
что вслед за уходящей ночью
рассвет торопится в окно.

Роняя свой убор зеленый,
могучий дуб, меняя вид,
потерянно и оголенно
на зябком зареве стоит.

У всех записано в анкете,
что положений вечных нет.
Проходит всё на белом свете,
лишь не проходит белый свет.

⟨1968⟩

С АЛТАЙСКОГО

Бронтой Бедюров

383. ПЕРВЫЕ РУССКИЕ СЛОВА

Отец мой был парторгом колхоза.
По утрам, неумело постучав в деревянную дверь,
к нему приходили мужчины в мохнатых белых шубах.
Они сильно пахли овчиной, сеном, снежной хвоей
и зимним холодом открытого неба.

Они подсаживались к отцу и говорили:
«На стоянке Ак-Кем не осталось кормов».
Или:
«Табун застоялся в верховьях Карасу.
Пока не закрыло перевал, надо коней перегнать ниже,
туда, где нет ветра и где еще стоит поздняя трава».

Они говорили:
«Бабушка Туйкандай совсем одна.
Ей надо выхлопотать пенсию
и оказать зимнюю помощь.
Отрядите парней, чтобы они привезли ей дрова.
Пошлите Бердена — пусть он застеклит ей окна».

Целый день приходили и уходили люди.
Но особенно много их бывало по утрам.
Они приходили к нам домой, потому что отец
сидел за столом со своими новенькими костылями:
неподкованный конь упал на молодом льду
и сломал отцу правую ногу.

Входившие люди казались нам, малышам,
сказочно огромными.
Это были табунщики, пастухи, охотники.
Они только раз в месяц спускались в село,
делая две остановки: у конторы и магазина.
В магазине они брали муку, соль, комковый сахар, табак.
И еще немного конфет для каких-то красавиц.
Они набивали свои переметные сумы этим товаром,
неспешно отвязывали коней
и скакали обратно.

Они ночевали прямо на земле:
под голову — седло, под бок — потник,
а одеялом служила жаркая мохнатая шуба.
На медленном небе над ними тихо кружились звезды,
освещая их усталые лица.
И только кони время от времени встряхивали головами.

Но сейчас я хочу рассказать о старике Бушалдае.

Утром холод из двери добирался до меня
и шарил у мальчишки за пазухой.
Медлительно затворялась дверь,
и в дом входил Бушалдай.
Он долго кряхтел у порога,
старательно отряхивал ноги
и только потом окончательно входил к нам.

Он в тщательно сшитых из ножек косули
мягких сапогах на крепких тесемках.
Его шуба украшена красной оторочкой,
потребовавшей бездны искусства.
Шуба его охвачена синим матерчатым поясом,
который заменяет у нас кошельки и карманы.
На правом боку у Бушалдая обязательный нож
с красивой костяной ручкой.

Лисий хвост целиком пошел на воротник его шубы.
Оттуда, из пушистого воротника,
вылезает очень морщинистая старая шея.
Его редкая бородка состоит из шести узких струек
индевелого дыма.

А из-под рысьей шапки на меня и мою сестренку
глядели добрые внимательные глаза.

«Драстый!» —
произносил он, не переставая обеими ладонями
оттирать замерзшее лицо
и отделяя сосульки со своей неказистой бородки.
Ах, это русское слово!
В нем было что-то несказанное,
напоминающее реку, известную только одному
Бушалдаю:
она стремительно неслась вниз, бушуя в распадках,
разъединяясь и сливаясь вновь.

Мы с сестренкой, ликуя, прыгали возле большой
шубы деда и теребили ее заманчивые полы.
Отец широко улыбался:
«Якши, Бушалдай!»
Потом они пили кирпичный чай,
красный, как хорошо обожженный кирпич.
Старик старательно дул на поверхность чая
и отхлебывал из чашки мелкими глотками.

Они говорили с отцом о табунах, об овсе,
о войне в Корее и атомной бомбе.
Они говорили о том, что на верхних стойбищах
не хватает соли.
Наговорившись и столковавшись,
они пожимали друг другу руки,
и старик несколько раз повторял
еще одно русское слово — «карашо».
Потом садился на мохнатого крепкого конька и уезжал.

Отец мой умер.
Ему было бы сейчас шестьдесят.
А Бушалдай жив,
ему почти девяносто.
И я, приезжая домой на каникулы,
обязательно посещаю его.

Я вхожу в его дом и с удовольствием говорю:
«Здравствуй!»
Уважаю табунщиков!

Старик, правда, теперь на пенсии,
возраст его преклонен.
Но такой человек, как он, не может сидеть сложа руки.

«Здравствуй!» — говорю я почтительно.
А потом мы пьем чай, красный, как кирпич,
и говорим о весне, об овсе, о войне во Вьетнаме.
О выходе в космос обязательно и подробно.
И еще о том, что на верхних стойбищах
не хватает транзисторов.

У меня теперь огромный запас слов.
Но я не забываю два своих первых русских слова:
«здравствуй» и *«хорошо»*.
Ведь в этих словах так много
самого главного — тепла и доброты.

На чем я и заканчиваю.

(1968)

384. ВЫПАЛ БЕЛЫЙ СНЕГ

Поздно вечером я возвращался с работы,
и мне было так хорошо, так легко, моя любимая!

Это выпал первый белый снег.

Когда я шел на работу, деревья голыми были,
а теперь они стоят, как модницы, в серебряных серьгах.
И провода, осев под тяжестью снега,
превратились в чудесные длинные ожерелья.
С крыш падали звучащие капли,
напомнившие мне шустрых воробьев.

Маленький город стал белым и просторным.

Небо подарило мне белую косулю — зимнюю ночь
любви и спокойствия.

Когда я поздно вечером возвращался с работы,
навстречу мне шел мужчина, широко распахнув
тяжелое пальто,

веселехонький, как мой брат,
когда жена родила ему сынишку.

Когда я поздно вечером возвращался с работы,
я увидел влюбленных.
Он пригнул лапчатую снежную ветвь
и бережно стряхнул чистый снег на непокрытые волосы
своей возлюбленной.
Она засмеялась,
и от этого смеха снег тотчас растаял.

Вот что происходило,
когда я поздно вечером возвращался с работы.

⟨1968⟩

С БУРЯТСКОГО

Дондок Улзытуев

385. ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА

Ресниц опустивши стрелочки,
ступает по половицам
шестнадцатилетняя девочка
величественно, как царица.

Ведь в прошлое воскресенье
парнишка в клубике местном
встал перед ней с почтением
и уступил ей место.

Туфли обувши лучшие,
ходит — не улыбается...
Вот ведь какие случаи
в жизни подчас случаются!

(1959)

С ЕВРЕЙСКОГО

Матвей Грубиан

386. МОЯ ТИПОГРАФИЯ

Не ради шутки в общем разговоре,
не для того, чтоб удивить семью,
хотел бы я на побережье моря
поставить типографию свою.

И, стоя в ней естественно и просто,
имея лишь духовный интерес,
я для набора брал бы только звезды —
светящиеся литеры небес.

Пусть эта книга пахнет не бумагой,
не клейстером невзрачной мастерской,
а только влагой, только синей влагой,
одною только влагою морской.

И вовсе нету никакой оплошки,
нет ничего от праздных небылиц
в том, что струится лунная дорожка
посередине всех моих страниц.

Обрадованный этакой манерой,
не убоясь недюжинных работ,
из валунов — подобно Гулливеру —
я сделал бы для книги переплет.

Всё соверша, измазавшись, как дети,
я сел бы там, доволен и устал...
И шумный ветер нашего столетья
мою бы книгу запросто листал.

(1962)

387. В ПАРИЖЕ

Тебе сегодня исполнилось тридцать лет,
юность всё дальше, а старость всё ближе, —
бедный больной еврейский поэт
перед витриною шляп в Париже.

На обтерханных брюках и пиджаке
столько нищенских дыр —
и рядом и врозь, —
что усталое тело и вдалеке
проглядывается насквозь.

За все эти дыры —
зачем скрывать? —
никто бы не дал тебе ни копейки,
но зато тебя можно бережно взять
и играть на тебе, как пастух на жалейке.

Но, может быть, настанет время
(оно грядет шагами большими),
когда все эти шляпы с лентами всеми
будут твоими.

Одну ты станешь носить, вставая,
в другой ты станешь болтать с друзьями,
а самая лучшая и дорогая
будет тебя венчать вечерами.

Если собака соседская злая,
та, что хромает на левую лапу,
опять на тебя по-дурацки залает,
скажи ей, чуть подняв вечернюю шляпу:

«Дорогая собака! За дерзость простите,
позвольте мне вам посоветовать лично:
такую же шляпу приобретите
и вы будете выглядеть так же прилично».

...На улице дождь начинается длинно,
и в струйках вечерних неверного света
все шляпы летят из клетки витрины
и садятся на ветви волос поэта.

⟨1966⟩

388

Я мог бы нести на плече ребенка
и сам веселее в три раза стал,
когда б он смеялся легко и звонко
и что-то прекрасное лепетал.

Я столик несу на плече неслышно,
стихи по-еврейски шепча на ходу,
и ставлю его под апрельской вишней
в дачном пригородном саду.

И песню пишу о всех вас, дети,
не вытирая отцовских слез,
о всех, которых военный ветер
безжалостно вдаль от земли унес

⟨1966⟩

389. В ПРИБАЛТИЙСКОМ ГОРОДЕ

Перед самой войною,
одержим и устал,
у ворот твоих стоя,
я тебя целовал.

Я запомнил ночные
поцелуи твои,

фонари голубые —
наважденье любви.

Я с войны возвращаюсь
в сорок пятом году
и — хоть очень стараюсь —
тех ворот не найду.

Рассказали мне, Лия,
неохотно, с трудом,
что тебя застрелили
немцы в сорок втором.

Нахожу и теряю —
нет, опять не узнал —
где той ночью тебя я
у ворот целовал.

И кладу я впервые
в этот памятный год
васильки полевые
возле каждых ворот.

Вспоминаю в июле, —
сердце, тише тоскуй! —
предрассветную пулю
и ночной поцелуй.

⟨1966⟩

390. МОРЕ

Однажды я на берегу устало
листок стихотворенья уронил,
и море — всё — еще синее стало
от синевы размывшихся чернил.

Я обратился к морю с нетерпеньем,
остановившись в шумной тишине:
«Отдай назад мое стихотворенье,
зачем оно великой глубине?!»

И мне в ответ, как в старой сказке, вскоре
заметно потемнела синева.
«Я музыку пишу, — сказало море, —
мальчишка глупый, на твои слова».

⟨1966⟩

С БОЛГАРСКОГО

Людмил Стоянов

391. НЕ МОГУ БЕЗ ЛЮДЕЙ

Летним днем по пути к перевалу
я иду непоспешно вперед.
Солнце словно бы лижет устало
теплых листьев светящийся мед.

Там в долине, внизу, на рассвете
миновал я поля и сады.
Улыбаясь, румяные дети
мне тащили в ручонках плоды.

А старик, по обличию строгий, —
я ему чуть заметно кивнул, —
пожелал мне удачной дороги
и в уснувших хлебах утонул.

Позабыть ли шалаш лесорубов,
что меня от ненастья укрыл?
Я был счастлив меж ними сугубо,
я счастливым воистину был!

Эти люди мне вроде чужие,
словно камень, песок и трава,
но остались в душе, как живые,
их повадки, движенья, слова.

Перевал перейду терпеливо
и туда опущусь налегке,
где колышутся желтые нивы
и белеет село вдалеке.

У ручья полевого присяду...
Но в моей отрешенности тут
эти образы милые кряду —
одиночество скрасить — пройдут.

Помню я все свиданья и встречи
на неближней дороге своей.
Я тянусь к человеческой речи, —
не могу, не могу без людей.

Там, где двое на поле соседнем
о заботах своих говорят,
я — хоть издали — их собеседник,
им обоим приятель и брат.

⟨1970⟩

С ВЕНГЕРСКОГО

Дьюла Ийеш

392. ПАХАРЬ

Пахарь пишет книгу жизни
в час рассвета.
Вся земля вокруг пошла
на книгу эту.

Ранним утром
борозду за бороздою
я читаю, словно
строку за строкою.

В первый раз за долгий век
батрак вчерашний
по своей, а не чужой
шагает пашне.

В первый раз идет работник
вслед за плугом,
как идут навстречу счастью
вслед за другом.

Два тяжелые быка
под солнцем мая
перед пахарем
торжественно шагают.

Два быка, как с братом брат,
шагая рядом,
огибают танк,
раскроенный снарядом.

Пусть стоит он со своей
разбитой башней,
словно память о войне,
на этой пашне.

Вольный пахарь
плугом землю подымает —
так народ свою
историю слагает.

⟨1948⟩

С МОНГОЛЬСКОГО

Сормууниршийн Дашдооров

393. ВОЗЛЕ ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ В МОСКВЕ

Каждый сквозь шум дождя,
как бы сквозь свет и тьму,
мимо него идя,
кланяется ему.

Осень — его пора.
В чудном избытке сил
осенью золотой
он очарован был.

Голову наклонив,
не поднимая глаз,
шелест ее ветвей
слушает он сейчас.

Мелкий московский дождь
медленно моросит.
Мокрый осенний лист
наискосок летит.

Счастлив я на земле
с ним под одним дождем:
дождь на его челе
и на лице моем.

⟨1966⟩

С ИСПАНСКОГО

Маркос Ана

394. ЧТО ТАКОЕ ЖИЗНЬ?

Напомни мне, как выглядит дерево,
напомни, как щебечет река,
когда над нею носятся тысячи птиц?

Расскажи мне о влажном шуме моря,
о просторном аромате полей,
о звездах, о светящемся воздухе.

Объясни мне, правда ли, что горизонт
стоит без замочной скважины и без ключей,
как хижина бедняка?

А что такое поцелуй женщины?
Произнеси хоть какое-нибудь женское имя, —
я позабыл их все.

Неужели и теперь
там, за стеною, лунные ночи
пронизаны трепетом страсти?

Или, может быть, во всем мироздании
осталась только моя камера,
ее кладбищенский сумрак
и гробовое молчание каменных плит?

Двадцать два года...
Я забыл
объем, запах и цвет вещей.
Я пишу бессмысленные слова:
«море», «поле».
Я произношу слово «лес»,
но не помню геометрии дерева.

Я беззвучно называю людей и предметы,
которые каждый день тюремщики
выталкивают из моей памяти.

(Нельзя продолжать. Идет надзиратель.
Я слышу его шаги.)

⟨1962⟩

С БЕНГАЛЬСКОГО

Бишну Де

395. НАРОД БЕССМЕРТЕН

Шли банды по нивам индийской земли,
жгли хижины наши и нас убивали.
Но волю народа они не сожгли
и душу народную
не расстреляли.

Империя! Ты не жалела свинца,
железом и сталью восставших карала, —
так стали железными наши сердца,
так наша решимость железною стала.

Вдоль рек бенгалийских — стенанье и прах,
кружится зола над наделами пашен.
Взошла и созрела на нищих полях
лишь ненависть наша, да! — ненависть наша.

Мы этот большой урожай соберем
своими руками, своими серпами,
наполним им души и грозно пойдем
под знаменем мира на битву с врагами.

Мы вольную жизнь принесем матерям,
мы двери в грядущее счастье откроем:
недаром вы пели своим сыновьям
и песни голодных, и гимны героев.

Нетленны, нетленны и ткач, и батрак,
нетленно рабочее братство народа,
бессмертен горшечник, и вечен рыбак,
и вечной любовью мы любим свободу.

(1949)

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

Последовательность вариантов соответствует порядковым номерам стихов в произведении. После номера строк указывается источник варианта; если он не указан, значит, источник тот же, что и в предыдущем случае.

2

После 28
Ог., С-1

И песня дрожит, отряхается гордо,
Она жива и тверда, как конь,
И песня лодкой плывет над городом,
Акробатом хватается за балкон.

После 88

Быт его душит, мешает жить,
Мешает вставать поутру.
Закрыты глаза: и он видит — лежит
Жены окровавленный труп,
Мухи сидят на ее лице,
(«И жизнь разбита, как пьяный бокал»).
Такой он врывается утром в цех,
Такой он ломает вал.
Он сам не свой и не наш. Он объят
Пожаром зеленой тоски.
Он кончит работу. И видит себя
В центре черной доски.
Он прется в пивную. Ошпаренный рак
Ломается, будто валик.
Он пьян, он бушует, он бесится. Так
Кончается старый ударник.
Неправда! Постой, обожди. Ерунда!
Не может этого быть,
Неправда, что выхода нет, что быт
Будет мешать всегда.

После 136
С-1

Рубахи твои будут в прачечных мыть,
В котлах, кислотою умытых.
Товарищ, иди и встречай новый быт,
Идущий на смену старому быту.

6

После 58 МГ, РиЛ-1, «Оборона», Д, С-2, Избр-3, т. 2, Счастье	Он раньше шатался, пятнистый страх, вонявший казенным вином, он бил мои зубы, кричал «ура» и звался родным отцом.

7

1—4 Ог., РиЛ-1	Ты умер. Ты, привыкший жить за сорок с лишним лет.
«За Магнитострой литературы», С-2, Счастье	Лежишь в гробу, молчишь в гробу, готовишься к земле.
После 20 Ог., РиЛ-1, С-2, Счастье	В окно врывается закат, И за окном — река. С водой и солнцем пополам приходит лирика.
После 24 Ог., РиЛ-1, С-2, Счастье	Плывет на лодках по реке московская любовь. И высоко невдалеке взлетает волейбол. По скверу розовый старик проносит карасей, бегут ребята. И летит кривая карусель.
После 48 Ог., РиЛ-1, «За Магнитострой литературы», С-2, Счастье	Твой опыт множится на нас и двигает вперед. И целый цех, и целый класс на всей земле живет.
После 56	И с ним пройдем сквозь гром и дым, учебу и войну. И выдержим. И не сдадим Нигде. И никому.

8

После 4 РиЛ-1, Ог., «За Магнитострой литературы», Д	И ветер, как будто небритый вор, влезает в форточку, а потом он бьется в окно, он стреляет в упор, он обнимает облупленный дом.

После 60 Один этот думает, изобретает,
реконструируется, растет.
В одном этом кровь молодая играет,
в одном этом вводится хозрасчет.

После 86 Вы ходите ночью, смешны и нежны,
врываясь в чужие обители.
И в это же время стране нужны
слесари и строители.

9

После 56 «Писатели — великому Октябрю»

Я слышу. И хоть мне грустно
И голос тоски высок —
Мой смех залетает в небо
И падает на песок.

Я молод. И мне не страшно,
И мне неповадно выть.
Любимая! Я не смею
Такую тебя любить.

После 84 И вечером откровенным,
В присутствии стада коров
Я слышу, как бегает в венах
Твоя настоящая кровь.

После 112 «Писатели — великому Октябрю», РиЛ-1

И муж твой, сидящий в Главкоже,
Садящийся в автомобиль,
Работой своей поможет
Твоей и моей любви.

11

После 39 ЛГ, РиЛ-1, Д, С-2

Он стоял за бочками и быстро
улыбался заспанным девчонкам,
наливая по четыре литра
чуть холодноватого огня.

15

После 16 «Литературный Донбасс»

Не для этого ты песни пела.
Для того ли пробовал запеть,
Чтоб сойти. И, ничего не сделав,
Ничего не видев, умереть.

16

После 81 С-2

Мы еще не жили,
А уж нас разводят,
А уж нам сказали:
«Пожили.
Пора».

Мне передавали,
Что с тобою ходят,
Нагло улыбаясь,
Наши фраера.

17

После 75 ЛГ, Д, С-2

Мимо церкви,
Сбоку потных
Некрасивых стариков,
Мимо сумрачных животных
И железных петухов.

После 80

Ты идешь, большой и рыжий,
Посреди косых углов,
Рядом с яблоками,
Ниже
Желтых крыш, травы на крыше,
Звезд, еще невнятных.
Выше
Огородов и лугов.

После 118

Между прочим, вечерело,
Стали лампы зажигать,
Есть картошку, обжигаясь,
Говорить
И засыпать,
Не ответив,
Одеяла
Не успев перевернуть.
Ты присел на камень.
Салом
Закусил. И снова в путь.

После 149

(Было ль время износиться
Той рубахе голубой,
Где сиреневая птица
Нарисована тобой).

После 157

Только тихо. Стали липы,
Тень висит у хомута.
Да заденет нудным скрипом
Нежилая темнота.

После 223

Мир холодный принимая
За простой и голубой,
Вышла девочка худая
И смеется над водой.
Мир осенний принимая,
Переделывая мир,
Чинит сбрую у сарая
Рыжеватый бригадир.

18

Вместо 18
ЛГ, Счастье

Там еще
Остается слева,
Годовавшая
Сыновей,
Мать Димитрова —
Параскева.
Славьте, юноши, матерей!
Но еще остается упорство
Тех,
Что злобу свою хранят.
Путь к строителям
Магнитогорска
От строителей
Баррикад.
Это мы понимаем сами.

45—48

Не заметив
Закат отверстый
И не в силах
Глядеть назад,

После 60

Мы встречаем тебя
Обетом,
Грузной музыкой
Наших дней.
Не мешают
Играть квартетам
Барабаны
Моих друзей.

После 84

Если я
По привычке давней
Не приучен в литавры бить,
Если я заикаюсь,
Когда мне
Страшно хочется
Говорить.

19

После 66
КН

Я устал. Я закончил слово.
Подымает моя рука
Чашу желтого,
Голубого —
Как мне кажется —
Коньяка.

22

После 59
Изв.

Так расти и двигайся, чудесный,
Освещая дальние края,

Город мой — сияющая песня,
Городская молодость моя.

24

После 14
«Московский альманах»

Тут одуванчик, привлекая зренье,
нас легкостью и нежностью прельщал,
но вдруг, как безвозвратное мгновенье,
как легкий вздох, навеки исчезал.

25

После 8
См.

И я, как дурак, в середине мая,
в жаре и цветах, в предвечернем дыму,
вдруг хохочу или вдруг вздыхаю,
согласно желанию твоему.

27

После 36
МГ, КЕ, С-3

Всё понимая, прошу я всё же,
чтобы была ты суровее, строже,
чтобы в любимых моих глазах
не только одна доброта стояла —
чувство времени, блеск металла,
как у воина на часах.

33

После 9
МГ

И горлом, горлом, через все желёзы,
по всем сосудам, из-за всех углов
вдруг хлынули, вдруг полонили слезы,
вдруг вырвались из давних тайников.

38

После 119
«Педвузовец»

Нет, обождите!
Разве можно сжечь
того, кто сам пожаром полыхает,
чья и доныне огненная речь
ведет живых и мертвых поднимает.

И разве можно в урну поместить
того, кто вот он — рядом и далеко —
и нету силы разом охватить,
как океан — своим ничтожным оком.

После 127
«Педвузовец»,
Зн.

Неукротимый,
яростный,
тревожный, —
сквозь годы мчась — он будет жить и жить.
Кто вам сказал, что будущее можно
в кладбищенских стенах похоронить?

41

После 40
См., КЕ

Но сегодня я в некоторой мере
всё же восстановлю справедливость.
Пусть лыжнику ветер поет над ухом,
пусть скорость свистит за его плечами,
пусть мужество, молодость, наслажденье,
за руки взявшись, летят по лыжне.

И пусть одноногий, осторожно
передвигаясь по скользкому тротуару,
чувствует рядом с собой дыханье
подлинно человеческой дружбы.

42

После 20
МГ

Что если б не нудная пляска,
не вечно толпящийся сброд,
не крашенный нищею краской
красавицы женственный рот, —
ты стала настолько бы лучше,
насколько (природе под стать)
дождем отшумевшие тучи
позволили небу сиять.

47

После 74
ЛГ

Когда же,
разбитый,
полуживой,
уйду наконец —
у волны на скате
сразу же вырастет сторожевой,
всю ночь остававшийся в море катер.

50

После 37
ЛГ

Как я свободен и как велик,
на какие вершины я поднят снизу!
Как по мраморной лестнице,
по страницам книг
я сегодня вошел в дворец коммунизма.

52

После 4
Ог.

Средь сутолоки праздничного рынка
они стоят — повадка какова! —
отставив ноги в смоляных ботинках,
зеленые расправив рукава.

После 26

Не для потехи загорались ели,
когда сыны моей родной земли
в тулупчиках, в пороховых шинелях
сквозь черный лес в молчании прошли.

После 44

Спокойны лица наших командиров.
Пусть новый год на многие года
пройдет меж нас с цветущей ветвью мира,
с эмблемою свободного труда.

62

После 4
СП

За стойками низкой ограды,
Прикрывши ресницами взгляд,
Как грозные львы, величаво
Военные бури лежат.

После 8

Рассыпались ваши шинели,
Земля и вода в сапогах,
И только армейские звезды
Блестят на простреленных лбах.

После 12

Одно у нас синее небо,
Одни мы топтали поля,
Одним материнским объятьем
Укроет нас эта земля.

Одною мы любим любовью
Туманные зимние дни,
Одни вспоминали мы сказки
И помнили марши одни.

65

После 20
Зн., КЕ

Лишь как-то обиженно жалась
и таяла в области рта
ослабшая смутная жалость,
крестьянской избы доброта.

Но этот родник ее кроткий
был, точно в уступах скалы,
зажат небольшим подбородком
и выпуклым блеском скулы...

72

После 20

Пасхальные звезды Рязани,
Туман белорусских полей,
Забытые главы сказаний,
Победные речи вождей.

84

После 20
КЕ, Ярослав Смеляков, Стихи, М., 1956, СЛ-1, Избр-1, РиЛ-2

Пусть же нива буйно колосится!
Будут этой осенью полны
нашей рожью, нашею пшеницей
все зернохранилища страны.

97

После 20
СП

И побледнел, как мальчик,
старый бог,
когда он все
молитвенники сжег.

99

После 21
Ог., «Год XXXII», Альманах второй, М., 1949

Уцепившись черными руками
за машины нового села,
к урожаям —
вслед за тракторами —
пашня всесоюзная пошла.

103

После 51
НМ

Тот,
кто ведет
экскаватор
в полтысячи сил,
старшего брата,
наверное, не позабыл.

Тот,
кто кует
сталинградский коленчатый вал,
помнит того,
кто кувалдою
в кузне ковал.

Тот,
кто приволжскую землю
вздымает ковшом,
нашу работу,
друзья,
поминает добром...

После 42 *СЛ-1*	Наши дела по строительству нашей страны в книгу Истории Партии занесены.

120

После 21 *КП*	Здесь, опустив большие веки, неспешно занялся едой Сергеев-Ценский в телогрейке, такой же статный и седой.

122

После 44 *КП*	На стройке и на марше, Среди огромных дел Он стал, конечно, старше, Но сам не постарел.

128

После 16 *Ог.*	Я это очень понимаю и в час раздумья своего с веселой грустью вспоминаю ягненка малого того.

129

После 44 *Юн.*	Десять раз переспрашивай, потому что пока он не очень-то знает по-нашему, мы не знаем его языка. Оттого-то, по-всякому изощряя умы, дружелюбными знаками объясняемся мы.

131

После 62 *Юн., РоГ, ЗЗ*	Иное за окнами время, Но так же отважно живет Одно комсомольское племя, Один комсомольский народ.

132

4

После 100 в качестве четвертой части ЛГ	Со сборами справившись рано, на берег строительный тот, минуя отвалы и краны, шел праздничный чистый народ.

Неспешно шагал и нескрыто,
рабочую чувствуя честь,
до сухости кожи побритый,
сияющий свежестью весь.

Не то чтобы там по указу,
не так чтобы кто его вел, —
шел целыми семьями сразу,
домами соседскими шел.

Шел в кепках, платочках и в майках
сюда — к перекрытью реки,
и русские — скромно — хозяйки
с едою несли узелки.

Оставив другие заботы,
не бражничать шел, не шуметь,
не шел на субботник работать,
а шел на работу глядеть.

Глядеть, как дотошный хозяин,
на то, что начнется вот-вот,
причастность свою сознавая
к всеобщему фронту работ!

Не слышно, не видно баяна.
Он будет потом, погоди:
пока еще праздновать рано,
победа еще впереди. . .

160

После 24
НМ, «Днестр»

И, покинув свой край
для далекого мира,
скачет в бурке Чапай
по дорогам Алжира. . .

174

После 32
ЛГ

Об этом не в смысле нагрузки,
не то чтоб как раз к январю, —
я нынче открыто, по-русски
в газете своей говорю.

235

После 30
ЛР, ДН, НС,
«Лауреаты
Ленинского
комсомола»,
М., 1970

Я вспомнить к случаю могу,
как в том году двадцатом
на волжском гибли берегу
литовцы и хорваты.

244

После 13 П, ДН, НС, Дкб	В церковном звоне всепрощенья она изведала потом второе зимнее крещенье нагайкой голой и штыком.

259

33—36 ДН	Хоть на минутку оживи! Я тихо подхожу к бюро, но не в чернилах, а в крови блестит хозяйское перо.

281

После 28 «Учительская газета»	И хочу для своей молодежи, на столицу глядящей окрест, чтоб на слет комиссаров похожим был бы этот учительский съезд.

290

Вместо 13—37 «Поэзия»	Души внезапное движенье сказать велело потеплей о справедливом уваженье к тебе, работнику полей. К твоей работе терпеливой, когда цветет весенний сад иль на исходе лета нивы крестьянским золотом блестят. Хоть повторяться неохота, сказать придется всё равно: у нас различная работа, а дело общее, одно.

325

После 105 С-1	Быть может, всё это не так уж плохо, Но люди, рабочие наших заводов, Люди, живущие в этих квартирах, Могут отдать и веселье клуба, И девять кружков, и работу сверх нормы (А значит — и план, и борьбу, и коммуну) За сон на широкой двухспальной кровати, За отдых на пестром арабском диване, За тихую жалобу самовара. Видишь ли — их, по-моему, тянет Домой, когда они на работе, По-моему, в этакой скушной квартире Почти ни копейки не изменила Горящая сердцем, гремящая жестью, Наша талантливая эпоха.

И так это будет, но скоро, скоро
Мы вычистим бормашиной завода,
Мы вырвем щипцами шумящего клуба
Домик, как зуб. Гниловатый и вредный.

После 148 А я молодой, я не знаю даже,
Как пахнет любимая на рассвете,
Как ровные брови лежат покорно,
Как синевой отливают руки,
Как можно ласкать эти теплые руки,
Как утром (уже уходя на работу)
Последний (еще и еще!) и последний
Взять поцелуй. Молодой и соленый.
Ты знаешь, костер, голубой и наивный,
Можно тушить (горячо и ненужно)
Водой из кишки, из ведра, из бочонка.
Потухнет. И холодно станет на сердце,
И долго надо, чтоб разгорелся
Снова. Так у меня случилось.
Да ладно! Плевать! Пустяки, обойдется.
Я вылечусь воздухом, крепким и сочным,
Я вылечусь стройной, упрямой работой,
Я подтянусь ремнем дисциплины.
И — хватит. Давай продолжать поэму.

328

⟨Ч а с т ь⟩ 1
1—4
См., СЛ-1

Предрассветного ждет луча
небо зимнее заводское.
Школа имени Ильича
расположена под Москвою.

⟨Ч а с т ь⟩ 3
После 480

И над роскошнейшим столом,
неся чужих поместий метки,
среди фарфора с хрусталем
торчат крахмальные салфетки.

⟨Ч а с т ь⟩ 4
После 756
Окт.

Той пятерней подростка-малолетки,
что, огрубев и выросши в труде,
была, как малый слепок пятилетки,
пятиугольной родственна звезде.

После 756
РиЛ-1,
«Строгая любовь. Повесть в стихах»,
М., 1959

Той пятерней подростка-малолетки,
что, загрубев и выросши в труде,
была, как малый слепок пятилетки,
пятиугольной родственна звезде.

329—335

(7)

Вместо 5—16 МГ

Всей столице издалека
очень памятна эта лепка:
чисто выбритая щека,
всероссийская эта кепка.

Высока его высота,
глаз задумчивый смотрит косо,
и погасла в скульптуре рта
грубо смятая папироса.

По-весеннему широка,
ровно плещет волна народа
за бортом его пиджака,
словно за бортом парохода.

Он в проулок свернет сейчас,
кепку плотную набок сдвинув...
Оглянись же в последний раз
на великого гражданина.

336

«Летописец Пимен» *Вместо 27—29 ЛР*

Всю ночь, как тихая лампада,
светилась лампочка моя.

30—33

Пускай читатель не заметит
моих полупоспешных строк,
но и теперь она мне светит,
как незабвенный огонек.

«Асфальтитовый рудник» *После 482 Я. Смеляков, Молодые люди, М., 1968*

Как игла по пластинке,
как жадный по женщине взгляд,
по канату из цинка
мои рукавицы скользят.

Слушай эту кантату,
мой гимн золотому труду.
Как циркач по канату,
я в дальнее время иду.

«Лесопилка» *После 486*

Когда в рабочем интересе
во мгле заутренней сырой
всю эту высь и эти вести
валили мы на шахтострой.

ПРИМЕЧАНИЯ

Литературное наследие Ярослава Смелякова широко известно. При жизни поэта было издано более тридцати его книг, в том числе несколько сборников, включающих все его основные произведения. Наиболее полным из прижизненных является издание «Избранных произведений» в двух томах (М., 1970). Два сборника, вышедшие в свет в 1973 г., после смерти Смелякова, — «Мое поколение» и «Работа и любовь» — были подготовлены к изданию и подписаны в печать самим поэтом. Вышедший в 1975 г. сборник «Служба времени. Книга новых стихотворений» составлен в основном из произведений, оставшихся в архиве и опубликованных после смерти поэта его вдовой, секретарем комиссии по его литературному наследию Т. В. Смеляковой-Стрешневой, в повременной печати. В основу настоящего издания положены перечисленные выше книги.

В 1977—1978 гг. вышло в свет трехтомное Собрание сочинений Я. Смелякова, включающее стихотворения, поэмы, переводы и прозу поэта. Ценность этого собрания состоит в том, что оно наиболее полно представляет литературное наследие Я. Смелякова. Однако принципы подготовки поэтических текстов, принятые в названном издании, в частности возвращение в ряде случаев к ранним редакциям стихотворений и поэм, отмененным автором, представляются весьма спорными. Поэтому тексты ряда поэтических произведений Я. Смелякова, вошедших в настоящее издание и трехтомное Собрание сочинений, значительно отличаются.

Некоторая часть стихотворений печатается в данном сборнике на основании авторитетных посмертных публикаций в периодике. Очень небольшое число произведений публикуется по авторизованным спискам.

Архив поэта, хранящийся у Т. В. Смеляковой-Стрешневой, содержит рукописи за последние двадцать лет работы и шесть тетрадей (альбомов) со списками стихотворений 1955—1972 гг. Стихотворения переписаны рукой Т. В. Смеляковой-Стрешневой и носят следы переделок и собственноручной правки автора. На части списков указаны дни работы над стихотворением, на остальных — дата публикации; в тех случаях, когда стихотворение до публикации коренным образом перерабатывалось, в тетрадях приводятся его варианты. Архив с 1931 по 1951 г. утрачен за исключением нескольких автографов и черновых набросков. Архив поэта еще не систематизирован. Публикация неизданных при жизни Смелякова стихотворений продолжается, постоянно обнаруживаются новые автографы и разные варианты одного и того же произведения.

Почти все произведения Смелякова были впервые опубликованы в периодике. Работа поэта над текстом после первой публикации в основном носила стилистический характер. Исключение составляют ранние произведения, подвергнутые в середине 50-х годов значительной авторской правке или даже переработанные коренным образом: почти заново переписано стихотворение «Смерть бригадира», проведена большая стилистическая правка и сделаны сокращения в других ранних стихотворениях и почти во всех изменена разбивка на строфы. Подверглись правке и стихотворения 40-х годов. Работа эта велась в продолжение многих лет — по 1970 г. включительно. Из более поздних произведений правке подверглось лишь несколько, в их числе стихотворение «Русский язык»: к отдельным, не удовлетворявшим его строкам этого стихотворения автор возвращался неоднократно. При подготовке книги «Избранные стихи» (1957) поэт значительно сократил поэму «Лампа шахтера», исключив из нее пять глав.

Общее число произведений, имеющих разные редакции, не велико. Наиболее значимые варианты стихотворений и поэм разных лет приведены в разделе «Другие редакции и варианты».

Датировка произведений Смелякова представляет значительные трудности. Свои стихотворения автор датировал далеко не всегда. Даты отсутствуют и в изданиях «Избранных произведений» (1967 и 1970) вопреки принятым в такого рода собраниях принципам. В ряде случаев авторская датировка не идентична: значительные расхождения имеются в датировке стихотворений 40-х годов; не идентична и датировка повести в стихах «Строгая любовь». Даты, имеющиеся на списках стихотворений 50—70-х годов, в прижизненных изданиях не приводились, за исключением нескольких, указанных еще в первых публикациях. Есть случаи, когда авторская датировка того или иного стихотворения в сборнике противоречит времени первой его публикации. Авторские даты, сопровождающие публикацию произведения в периодической печати или в том или ином сборнике, приводятся в соответствующей библиографической справке примечаний. Даты, установленные на основании первой публикации данного произведения, заключены в угловые скобки. Так же оформляются даты, установленные на основании косвенных данных, свидетельствующих о том, что то или иное произведение не могло быть написано позднее указанного в угловых скобках года. Даты предположительные сопровождаются вопросительным знаком.

Авторские принципы отбора и расположения произведений в различных изданиях не идентичны. В книгах большого объема поэт располагал стихотворения по тематическим группам («Газетная лира», «Маленькие портреты», «Разговор о поэзии» и т. п.) или заключал их в определенные хронологические рамки («Военное время», «Из самых первых книг», или же: «Тридцатые годы», «Сороковые годы» и т. д.), причем так же свободно переводил их из группы в группу или из одних хронологических рамок в другие: стихотворения, датированные 1935—1939 гг., помещал и в разделе «Сороковые годы» и среди стихотворений, написанных в 1931—1934 гг. — в разделе «Из самых первых книг»; фрагменты второй части «Строгой любви» располагал и непосредственно за нею и в разделе «Тридцатые годы»; стихотворения, составившие книги «День России» (1967) и «Декабрь» (1970) и почти в том же составе вошедшие в «Избранные произведе-

ния» (1970), в последующих подготовленных поэтом сборниках уже не выделяются в самостоятельные озаглавленные разделы и расположены в ином, чем в названных книгах, порядке.

Основные разделы, принятые в данном издании, — «Стихотворения», «Поэмы», «Переводы». Внутри жанровой рубрикации произведения расположены в хронологическом порядке. В том же порядке внутри подразделов, составленных по языковому принципу («с украинского», «с белорусского» и т. п.), располагаются избранные переводы Смелякова из поэтов братских республик и некоторых зарубежных авторов.

Раздел переводов составлен и прокомментирован И. В. Ханукаевой. Ею же проведена контрольная сверка текстов настоящего издания, а также библиографической и текстологической части примечаний.

В разделе «Примечания» приводятся необходимые историко-литературные сведения о каждом произведении. В библиографической части примечаний вслед за порядковым номером произведения указывается его первая публикация, затем (через точку с запятой) последующие ступени изменения текста и (после точки) источник, по которому печатается данное произведение. Ссылка на первую публикацию без дальнейшего указания на источник текста означает, что произведение печатается по первой публикации, так как его текст не перепечатывался более или перепечатывался без изменений. Простые перепечатки (в том числе и отдельные издания) в библиографическую справку не включены. Исторический комментарий, предусмотренный типом данного издания, дается по возможности кратким, так как поэт чаще всего говорит об известных широкому читателю событиях и фактах отечественной истории.

За помощь, оказанную при подготовке настоящего издания, составитель выражает свою искреннюю благодарность вдове поэта Т. В. Смеляковой-Стрешневой.

Условные сокращения, принятые в примечаниях и в разделе «Другие редакции и варианты»

Ал. — Ярослав Смеляков, Аленушка. Стихи разных лет, М., 1965 («Б-ка „Огонек“»).
Д — Ярослав Смеляков, Дорога. Стихи, М., 1934 («Б-ка „Огонек“»).
Дкб. — Ярослав Смеляков, Декабрь. Книга новых стихотворений, М., 1970.
ДМЮ — Ярослав Смеляков, Друзья Михаила Югова. Пьеса в трех действиях, изд. стеклографированное, М., 1947.
ДН — «Дружба народов».
ДП — «День поэзии», М.
ДР-1 — Ярослав Смеляков, День России. Новые стихи, М., 1967.
ДР-2 — Ярослав Смеляков, День России. Стихи, изд. 2, М., 1968.
ДР-3 — Ярослав Смеляков, День России. Книга стихотворений, М., 1974.
Зв. — «Звезда».
ЗЗ — Ярослав Смеляков, Золотой запас. Стихотворения, Алма-Ата, 1962.

Зн. — «Знамя».
Избр-1 — Ярослав Смеляков, Избранные стихи, М., 1957.
Избр-2 — Ярослав Смеляков, Избранная лирика, М., 1964.
Избр-3 — Ярослав Смеляков, Избранные произведения в двух томах, М., 1967.
Избр-4 — Ярослав Смеляков, Избранные произведения в двух томах, М., 1970.
Изв. — «Известия».
КЕ — Ярослав Смеляков, Кремлевские ели. Стихи, М., 1948.
КЗ — «Красная звезда».
КН — «Красная новь».
Кн. обозр. — «Книжное обозрение».
КП — «Комсомольская правда».
КС — Ярослав Смеляков, Книга стихотворений, М., 1964.
ЛГ — «Литературная газета».
ЛиЖ — «Литература и жизнь».
ЛР — «Литературная Россия».
МГ — «Молодая гвардия».
МКР — Ярослав Смеляков, Милые красавицы России. Стихотворения, М., 1966.
МЛ — Ярослав Смеляков, Молодые люди. Комсомольская поэма, М., 1968.
МП — Ярослав Смеляков, Мое поколение. Книга стихотворений. М., 1973.
НМ — «Новый мир».
НС — Ярослав Смеляков, Новые стихотворения, М., 1968 («Б-ка „Огонек“»).
Ог. — «Огонек».
Окт. — «Октябрь».
П — «Правда».
РиЛ-1 — Ярослав Смеляков, Работа и любовь. Стихи, М., 1932.
РиЛ-2 — Ярослав Смеляков, Работа и любовь, М., 1960.
РиЛ-3 — Ярослав Смеляков, Работа и любовь, 2-е, доп. изд., М., 1963.
РиЛ-4 — Ярослав Смеляков, Работа и любовь, 3-е, доп. изд., М., 1973.
РоГ — Ярослав Смеляков, Разговор о главном. Новая книга стихов, М., 1959.
РТ — «Радио и телевидение».
Роза Таджикистана — Ярослав Смеляков, Роза Таджикистана. Стихи и переводы, Душанбе, 1965.
СП — «Сталиногорская правда».
С-1 — Ярослав Смеляков, Стихи, М., 1932 («Б-ка „Огонек“»).
С-2 — Ярослав Смеляков, Стихи, М., 1934.
С-3 — Ярослав Смеляков, Стихи, М., 1950.
С-4 — Ярослав Смеляков, Стихи, М., 1961.
СВ — Ярослав Смеляков, Служба времени. Книга новых стихотворений, М., 1975.
Связной Ленина — Ярослав Смеляков, Связной Ленина. Старое и новое, М., 1970.
СЛ-1 — Ярослав Смеляков, Строгая любовь. Книга стихов, М., 1956.
СЛ-2 — Ярослав Смеляков, Строгая любовь. Повесть в стихах, М., 1959 («Б-ка „Огонек“»).
СЛ-3 — Ярослав Смеляков, Строгая любовь. Стихи, М., 1967.

См. — «Смена».
СС — Ярослав Смеляков, Собрание сочинений в трех томах, М., 1977—1978.
Счастье — Ярослав Смеляков, Счастье. Политическая лирика, М., 1934.
ТК — Ярослав Смеляков, Товарищ комсомол. Стихи разных лет, М., 1968.
ХДЛ — Ярослав Смеляков, Хорошая девочка Лида. Стихи, М., 1963.
Юн. — «Юность».

СТИХОТВОРЕНИЯ

1. Окт., 1931, № 1, с. 148. Печ. по РиЛ-1, с. 20. Первое опубликованное Смеляковым в Москве стих. История его публикации рассказана в автобиографической заметке «Несколько слов о себе» (Избр-4, т. 2, с. 371). После РиЛ-1 в прижизненные издания не включалось. *Турксиб* — название сооруженного в 1927—1930 гг. основного участка Туркестано-Сибирской ж. д. *Сакковский плуг* имел широкое распространение в дореволюционной России, выпускался в Германии на заводе Р. Сакка.

2. Ог., 1931, № 35, с. 8 (др. ред.); С-1; С-2. Печ. по Избр-3, т. 2, с. 85. Во всех последующих изданиях опечатка в ст. 84 (безгласые). О пародировании Смеляковым романтической баллады ужасов см. в кн.: Ст. Рассадин, «Ярослав Смеляков», М., 1971, с. 114. *Страшны и опасны безглазые песни* — уничижительное определение, повторяющееся в стих. 4. *Товарищ, выйди встречать новый быт.* Новые формы быта настойчиво пропагандировались в печати тех лет. Незадолго до публикации данного стих. было опубликовано стих. Смелякова «Идет быт» (Ог., 1931, № 28-29, с. 19. См.: СС, т. 1, с. 37).

3. С-1, с. 24 с посвящ. «Моей и твоей мамаше», с датой: 11 сентября 1931; РиЛ-1 с посвящ. «Матери», в разделе: 1931. Август — декабрь; С-2. Печ. по Избр.-4, т. 2, с. 47.

4. С-1, с. 16; РиЛ-1. Печ. по Избр-4, т. 2, с. 36, где помещено в разделе: 1931. Август — декабрь.

5. С-1, с. 6 с подзаг. «Вариант»; РиЛ-1. Печ. по С-2, с. 28. В первой публикации загл. «Посевная ночь в типографии» объединяло два стих. — публикуемое (с подзаг. «Вариант») и стих. «Стандартная полночь легла под окном...» (см.: СС. т. 1, с. 26). После С-2 в прижизненные издания не включалось. В отчете о занятиях литературного актива при журнале «Огонек» сказано: «...некоторые члены актива... переключаются на конкретное художественное творчество. Одних голых «громоподобных восклицаний», как заметил тов. Смеляков... становится меньше, а художественно-обобщенных фактов и живых черт — больше» («Призыв рабочих-ударников в литературу. На еженедельниках „Огонька“». — Ог., 1931, № 18, с. 15). После четырехмесячного обучения машинному набору в полиграфической школе Смеляков работал в московской типографии № 14.

6. МГ, 1932, № 7, с. 87; РиЛ-1 в разделе: 1932. Январь — август; «Оборона. Литературно-художественный сборник», Свердловск — Москва, 1933; Д; С-2; Счастье. Печ. по Избр-4, т. 2, с. 27.

7. Ог., 1932, № 22, с. 5 (др. ред.); РиЛ-1 в разделе: 1932. Январь — август; Отрывок: «За Магнитострой литературы», 1933, № 1, без ст. 5—16, 21—24, 37—69; С-2; Счастье; С-3 без строф 10, 17, с датой: 1933. Печ. по Избр-1, с. 12. *За типографии окном* — см. примеч. 5. *Реал* — открытый шкаф, на полках которого находятся кассы с шрифтами для ручного набора.

8. Ог., 1932, № 9, с. 10 (др. ред.); РиЛ-1; «За Магнитострой литературы», 1933, № 1; Д. Печ. по Избр-1, с. 8.

9. «Писатели — великому Октябрю», Сб. 1, М., 1932, с. 634 без загл., с датой: февраль — июнь 1932 (др. ред.); РиЛ-1 в разделе: 1932. Январь — август; Д; Избр-1 с датой: 1932. Печ. по РиЛ-4, с. 308. Ср. это стих. с поэмой Н. Асеева «Лирическое отступление» (1924). *Реал* — см. примеч. 7. *Чемберлен* Остин (1863—1937) — английский государственный деятель; с 1924 по 1929 г. — министр иностранных дел. Ответствен за разрыв английским правительством дипломатических отношений с СССР в 1927 г. Карикатурное изображение Чемберлена — постоянная мишень в стрелковом тире 20-х годов.

10. Ог., 1932, № 25, с. 3; РиЛ-1. Печ. по С-2, с. 19. Стих. открывало РиЛ-1 и как программное было выделено в особый раздел, озаглавленный «Линия». О Смелякове тех лет К. Симонов вспоминал: «...кто-то из моих товарищей, ходивших вместе со мной на занятия в литературную консультацию Гослитиздата, шепнул: «Это Смеляков», — показав глазами на спускавшегося навстречу нам по лестнице невысокого худощавого молодого человека в мешковато и как бы даже чуть косовато сидевшем на нем пиджаке, с решительным и серьезным лицом и крепко и словно бы немного насмешливо зажатой в углу рта папиросой...» (Константин Симонов, О двух поэтах. — П, 1973, 9 марта).

11. ЛГ, 1932, 17 октября; Д под загл. «Семь часов вечера»; С-2. Печ. по РиЛ-2, с. 183.

12. КН, 1933, № 10, с. 24 под загл. «Дом № 31»; ЛГ, 1933, 5 ноября под загл. «Рассказ о том, как одна старуха умирала в доме № 31 по Б. Молчановке»; Д под загл. «Дом № 31 по Большой Молчановке». Печ. по РиЛ-2, с. 190. В доме № 31 на Большой Молчановке с середины 20-х годов Смеляков жил с матерью, старшим братом и сестрой. «Стихи были очень прочно привязаны к быту и обстоятельствам Большой Молчановки... Все, что он с бесстрашной наивностью вводил в поэзию, жило вокруг нас. Комната смеха, высмеянная им, находилась по соседству — на Никитском бульваре; беспартийный инвалид с гитарой постоянно околачивался около ворот его дома; «застенчивый вор» действительно однажды забрался к нему через квадратную форточку; бригада его стала хозрасчетной, и это новое слово дважды прозвучало в стихах; женщина, которую он любил, жила в Бауман-

ском районе, он считал необходимым сообщить об этом всему миру» (Евг. Долматовский, Было. Записки поэта, М., 1975, с. 108—110). *Птичка вежливо присела* и т. д. — ср. с интонацией Заболоцкого в «Столбцах» (1926—1933). В статье, появившейся в газете сразу же после публикации стихотворения, сказано: «Его сначала (во времена господства рапповских поэтических канонов и догм) страстно бранили и отрицали как «боковую линию» советской поэзии. Его затем «поднимали на щит» как яркого представителя именно пролетарской поэзии. Вокруг него, как это ни забавно, создалась даже некоторая группа подражателей „учеников“» (Е. Усиевич, О новой лирике. — ЛГ, 1933, 11 декабря).

13. «Рост», 1933, № 14, с. 10; С-2. Печ. по КС, с. 317.

14. С-2, с. 7. Печ. по Избр-3, т. 2, с. 127. *Баскунчак* — озеро Арало-Каспийского бассейна, известное большими запасами соли.

15. «Литературный Донбасс», 1933, кн. 9, с. 8 под загл. «Июнь 1933 года»; Д; С-2; КС. Печ. по Избр-3, т. 2, с. 50. *Михаил Семенович Голодный против сложной рифмы восстает.* По всей вероятности, имеется в виду стихотворение Михаила Голодного «Марш под марш» (1928).

16. Д, с. 30 под загл. «Любка Фейгельман»; С-2; КС. Печ. по МКР, с. 62. Ритмическая основа стихотворения — популярная в то время песенка «Любка». История создания этого пародийного стихотворения рассказана в кн. Евг. Долматовского «Было. Записки поэта» (М., 1975, с. 108—110). *Фейгельман* Л. С. — советская писательница, псевдоним — Л. Руднева. *Вертинский* А. Н. (1889—1957) — артист эстрады, поэт и композитор; с 1919 по 1943 г. находился в эмиграции. *«Здравствуй, моя Любка», «До свиданья, Люба!»* — полуцитата; ср. в песенке: «Здравствуй, моя Любка, ты моя голубка. Здравствуй, моя Любка, и прощай! . .»

17. ЛГ, 1934, 12 февраля (др. ред.); Д; С-2; РиЛ-3. Печ. по РиЛ-4, с. 317. В статьях 1933 г. стих. упоминается как опубликованное, найти эту публикацию не удалось. *Цилиндрическую воду к рукомойникам несут.* Смеляков писал: «Когда-то я прошел школу эпитета у Эдуарда Багрицкого. Он учил нас ставить в строчку один точный и емкий эпитет. . .» («Заметки на полях рукописи». — ЛГ, 1971, 20 января).

18. ЛГ, 1934, 1 марта под загл. «Счастье»; Счастье; С-3 в подборке «Стихи, посвященные Г. М. Димитрову», с датой: 1934; «Москва — София», М., 1968, без строфы 5. Печ. по Избр-4, т. 2, с. 86. *Димитров* Георгий Михайлович (1882—1949) — деятель болгарского и международного коммунистического движения. В 1933 г. был арестован в Берлине по ложному обвинению в поджоге рейхстага. Как «свидетель» обвинения на *Лейпцигском процессе* выступил *Геринг*, бывший тогда премьер-министром Пруссии и председателем рейхстага. Беспочвенность его обвинений была блестяще доказана Димитровым. *Над высокой немецкой крышей подымается самолет* и т. д. После того как правительство Болгарии лишило Димитрова возмож-

ности вернуться на родину, Президиум ЦИК СССР принял решение признать Димитрова и его товарищей-коммунистов Бл. Попова (1902—1968) и В. Танеева (1897—1941) советскими гражданами. В годовщину поджога рейхстага, 27 февраля 1934 г., Димитров и его товарищи были освобождены и в тот же день прилетели в Москву. Стихотворение написано, по-видимому, в день прибытия Димитрова в СССР.

19. КН, 1934, № 3, с. 70. Печ. по КС, с. 351.

20. Изв., 1934, 14 апреля; КП, 1934, 14 апреля (без строфы 3). Печ. по Счастье, с. 24. *Шмидт* Отто Юльевич (1891—1956) — советский ученый, исследователь Арктики; возглавлял экспедицию парохода «Челюскин», получившего задание пройти за одну навигацию из Мурманска во Владивосток по трассе Северного морского пути. В феврале 1934 г. «Челюскин» был раздавлен льдами в Чукотском море. Летчикам, участникам спасения челюскинцев, было впервые в стране присвоено звание Героя Советского Союза. Сборник новых стихотворений «Счастье. Политическая лирика» (1934), куда вошло и это стихотворение, — последнее издание Смелякова, вышедшее в 30-х годах. По словам современников (Е. Д. Зозули, М. И. Алигер), в конце 1934 г. Смеляков готовил к изданию однотомник, включавший все основные произведения, написанные им к тому времени.

21. Печ. по записи со слов автора, относящейся к 1934 г. Запись хранится у Е. С. Фохт (Коваленковой). Полный текст стихотворения (оно состояло из двух главок) утрачен.

22. Изв., 1934, 11 декабря; «Московская правда», 1963, 22 декабря; «Москва», 1964, № 1 с датой: 1934, в подборке под загл. «Стихи разных лет». Печ. по Избр-3, т. 2, с. 120. Публикация в «Москве» предварялась авторской заметкой: «Эти стихотворения, кроме одного, были написаны в разные годы, начиная с 1934, но по разным причинам и обстоятельствам до сих пор не печатались. У меня пропали даже черновики. Недавно я узнал, что в библиотеке моего покойного друга — критика и редактора Анатолия Тарасенкова есть перепечатанная на машинке и переплетенная им самим книжица моих стихотворений, в которую он — спасибо ему — включил и те, которые я предлагаю вниманию читателей. . .» Среди опубликованных в журнале и не входивших в сборники стихотворений разных лет были также стих. 62, 78, 98.

23. «Московский альманах», М., 1939, с. 88 в подборке без загл. Печ. по Избр-1, с. 24. Можно предположить, что указанная в источнике публикации дата (1935) неточна.

24. «Московский альманах», М., 1939, с. 87 под загл. «Воспоминанье», в подборке без загл. Печ. по Избр-3, т. 2, с. 125. Дата (1935) в источнике публикации, по-видимому, неточна.

25. См., 1940, № 5-6, с. 20; КЕ. Печ. по Избр-3, т. 1, с. 124. *А может, и в облако превращусь* — намек на строку Маяковского: «не мужчина, а — облако в штанах» из поэмы «Облако в штанах».

26. Зн., 1975, № 3, с. 73 в подборке «Стихи разных лет. Из неопубликованного наследия». В августе 1940 г. был подготовлен к изданию сборник поэта, включавший в себя стихотворения, написанные во второй половине 30-х годов и начале 1940 г., в том числе данное стих. Издание не состоялось. В библиографической справке к Избр-2 это издание указывается: «Стихи», М., изд-во «Советский писатель», 1940.

27. МГ, 1939, № 7, с. 103 в подборке под загл. «Три стихотворения»; С-3 под загл. «Мать», с датой: 1938; СЛ-1 с датой: 1938. Печ. по Избр-3, т. 1, с. 101. *Мать* — Ольга Васильевна Смелякова (1878—1952).

28. «30 дней», 1939, № 8-9, с. 87 (др. ред.). Печ. по Избр-1, с. 33. *Джамбул* Джабаев (1846—1945) — казахский народный поэт-акын. Смеляков переводил его стихи (см. стих. 350, 351).

29. МГ, 1939, № 7, с. 104, в подборке «Три стихотворения»; ЗЗ. Печ. по РиЛ-3, с. 224. *Как поют, как сияют твои соловьи* — перефразированные строки Блока: «Валентина, звезда, мечтанье! Как поют твои соловьи...» (Стих. «Черный ворон в сумраке снежном...»).

30. МГ, 1940, № 7, с. 26 в подборке под загл. «Стихи»; Избр-1 без загл. Печ. по РиЛ-2, с. 164.

31. Ог., 1939, № 17, с. 13 в подборке «Три стихотворения». В прижизненные издания не включалось.

32. Ог., 1939, № 17, с. 13 в подборке «Три стихотворения». В прижизненные издания не включалось.

33. МГ, 1939, № 7, с. 105 под загл. «Е. Ф.», в подборке «Три стихотворения». Печ. по СВ, с. 20. В прижизненные издания не включалось. *Е. Ф.* — Елена Феликсовна Усиевич (1893—1968), советский литературный критик, в 30-х годах часто выступала со статьями о поэзии, не раз писала о стихах Смелякова. Усиевич принимала участие в революционном движении, находилась в эмиграции, вернулась в Россию с группой большевиков, возглавляемой В. И. Лениным, была участницей Октябрьской революции и гражданской войны.

34. МГ, 1939, № 10-11, с. 154. Это стих. и стих. № 35, 36 написаны в связи с открытием в Москве в августе 1939 г. Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

35. МГ, 1939, № 10-11, с. 156; КЕ с подзаг. «Из стихов о Всесоюзной сельскохозяйственной выставке», без строф 5, 6; «Литературно-художественный сборник», Л., 1949; С-3 без строф 5, 6, с датой: 1939; Избр-1 без строф 5, 6, с датой: 1939. Печ. по Избр-3, т. 1, с. 50.

36. Избр-3, т. 1, с. 51.

37. Зн., 1939, № 10-11, с. 12 с эпиграфом: «Вечером 18 сентября войска Красной Армии заняли Луцк». Печ. по КЕ, с. 75. Я. В. Смеляков родился 8 января 1913 г. в *Луцке*, Волынского уезда. С начала первой мировой войны семья Смеляковых выехала в деревню, а затем в Воронеж, где жила до 20-х годов. С 1924 г. Смеляков стал жить в Москве.

38. «Педвузовец», 1940, 14 апреля под загл. «Владимир Маяковский» (др. ред.); См., 1940, № 4, ст. 1—46; Зн., 1940, № 4-5. Печ. по Избр-3, т. 2, с. 108.

39. МГ, 1940, № 7, с. 23 под загл. «На Октябрьском вокзале», в подборке «Стихи»; КЕ; Избр-1 с датой: 1939. Печ. по РиЛ-2, с. 109.

40. МГ, 1940, № 7, с. 23 под загл. «Памятник», в подборке «Стихи»; КЕ с посвящ. С. Диковскому и Б. Левину; Избр-1 с ошибочной датой: 1939. Печ. по Избр-3, т. 1, с. 134. Сергей Владимирович Диковский (1907—1940) и Борис Михайлович Левин (1898—1940) — советские писатели, погибли на финском фронте в бою под Суоми-Сальми.

41. См., 1940, № 5-6, с. 22 под загл. «Из блокнота» (др. ред.); КЕ без загл. Печ. по ХДЛ, с. 34.

42. МГ, 1940, № 7, с. 25 под загл. «Ты всё молодишься», в подборке «Стихи». Печ. по Избр-1, с. 45.

43. Избр-3, т. 1, с. 82.

44. КН, 1940, № 7-8, с. 46 в подборке «Крымские стихи»; С-3, с датой: 1940. Печ. по Избр-3, т. 2, с. 109.

45. «30 дней», 1940, № 5-6, с. 37 в подборке «Крымские стихи». Это и следующее стих. в прижизненные издания не включались.

46. «30 дней», 1940, № 5-6, с. 37 в подборке «Крымские стихи».

47. ЛГ, 1940, 10 июня в подборке «Новые стихи», с датой: 1940. Печ. по РиЛ-3, с. 229.

48. МГ, 1940, № 7, с. 25 без строфы 3, в подборке «Стихи». Печ. по ХДЛ, с. 59. *«Я к вам пишу — чего же боле? ..»* и т. д. — строки Пушкина («Евгений Онегин», гл. 3. «Письмо Татьяны к Онегину» и гл. 4, XII).

49. МГ, 1940, № 7, с. 24 без загл., в подборке «Стихи». Печ. по РиЛ-2, с. 176.

50. ЛГ, 1940, 10 июня с датой: 1940, в подборке «Новые стихи»; РиЛ-3. Печ. по Избр-4, т. 1, с. 81.

51. Зн., 1945, № 12, с. 107 в подборке «Шесть стихотворений»; КЕ; С-3 с датой: 1940; СЛ-1 с датой: 1940; См., 1965, 27 октября

в подборке без загл.; «Нева», 1967, № 9 под загл. «Млечный Путь впереди...», без строфы 3, с нотами; «Три века русской поэзии», М., 1968 с датой: 1940, в подборке без загл. Печ. по Избр-4, т. 1, с. 51.

52. Ог., 1940, № 36, с. 1 под загл. «В преддверье сорок первого» (др. ред.); КЕ. Печ. по С-3, с. 47, с датой: 1941.

53. ЛР, 1963, 1 января, с. 8 под загл. «Стихотворение», в подборке без загл.; РиЛ-3; ДР-1 без загл. Печ. по Избр-3, т. 1, с. 77.

54. Зн., 1946, № 4, с. 81 в подборке «Стихи»; КЕ без строфы 4; РиЛ-3 без последней строфы. Печ. по Избр-3, т. 1, с. 98.

55. В кн.: В. Дементьев, «Ярослав Смеляков. Сильный как терн», М., 1967, с. 74, без загл. Печ. по СВ, с. 94. В. Дементьев, со слов поэта, датирует стих. октябрем 1941 г. Я. В. Смеляков был призван в армию весной 1941 г., в составе строительного батальона Второй легко-стрелковой бригады находился в Карелии. Служивший в том же батальоне молодой поэт Борис Смоленский в письме к родным писал: «Мой сосед по котелку, боец одного со мной отделения — Ярослав Смеляков. Сегодня вечером мы собираемся читать друг другу стихи и переводы... Здесь весь младший и частично средний комсостав назначен прямо из ребят, так, например, Смеляков — ком. взвода...» («Строка, оборванная пулей», М., 1976, с. 559).

56. ЛР, 1964, 22 мая, с. 8 под загл. «Пейзаж», в подборке «Стихи Ярослава Смелякова», с датой: 1944. Печ. по Избр-4, т. 1, с. 108. *Над терриконом шахты темно-серым.* В 1944 г. Я. В. Смеляков работал в Мосбассе, на шахте № 13, в поселке Донском.

57. ЛР, 1964, 22 мая, с. 8 в подборке «Стихи Ярослава Смелякова», с датой: 1944.

58. ЛР, 1964, 22 мая, с. 8 в подборке «Стихи Ярослава Смелякова», с датой: 1944; Избр-3, т. 1. Печ. по ТК, с. 53.

59. Зн., 1945, № 12, с. 105 без загл., в подборке «Шесть стихотворений»; Кн. обозр., 1970, 8 мая, с датой: 1942. Печ. по Избр-4, т. 1, с. 96. *Когда людей на Страшный суд* и т. д. Имеется в виду евангельская легенда о воскресении мертвых в Судный день и о божьем суде над их делами и мыслями.

60. «Вымпел», 1948, № 5, с. 17 под загл. «Вьются кудри...»; КЕ под загл. «Вторая песня»; Избр-1 с датой: 1944. Печ. по РиЛ-3, с. 174.

61. Зн., 1947, № 2, с. 101 в подборке «Стихи», с датой: 1945; КЕ. Печ. по С-3, с. 52.

62. СП, 1945, 13 ноября под загл. «На могиле героев» (др. ред.); КЗ, 1964, 8 января; КС. Печ. по Избр-4, т. 1, с. 209. См. примеч. 22. Начиная с 1945 г. Я. В. Смеляков работал в редакции городской

газеты «Сталиногорская правда» (Сталиногорск, ныне — Новомосковск). В 1948 г. он вернулся в Москву.

63. Зн., 1945, № 12, с. 107 без загл., в подборке «Шесть стихотворений»; С-3 без строф 7, 9, с датой: 1945; РиЛ-3; КС. Печ. по Избр-3, т. 1, с. 150.

64. Зн., 1945, № 12, с. 105 без загл., в подборке «Шесть стихотворений»; КЕ; С-3 с датой: 1945; СЛ-1 с датой: 1945. Печ. по Избр-1, с. 71.

65. Зн., 1945, № 12, с. 105 без загл., в подборке под загл. «Шесть стихотворений»; КЕ; СЛ-1. Печ. по РиЛ-2, с. 116. *Как красный колпак санкюлота.* Имеется в виду головной убор якобинцев и санкюлотов во время Великой французской революции — символ свободы; красный колпак носили освободившиеся рабы Древнего Рима.

66. Зн., 1945, № 12, с. 106 в подборке «Шесть стихотворений»; КЕ под загл. «Вот опять ты мне вспомнилась, мама»; С-3 без строфы 2, с датой: 1945; СЛ-1; «В мире книг», 1967, № 2 под загл. «Мама». Печ. по Избр-3, т. 1, с. 144. По словам Смелякова, исправления и сокращения, сделанные в С-3, не были вызваны художественными соображениями.

67. Зн., 1946, № 4, с. 82 в подборке «Стихи»; Роза Таджикистана. Печ. по Избр-4, т. 1, с. 62. *Не в садах Перро* и т. д. Имеется в виду сказка «Золушка» французского поэта Ш. Перро (1628—1703).

68. ЛР, 1967, 17 ноября, с. 3 в подборке «Новые стихи»; НС; Дкб.; Избр-4, т. 1; РиЛ-3. Печ. по МП, с. 198. «Как-то между делом у меня написался этот стишок, имеющий к Вам непосредственное отношение. Сначала я забросил его, а потом нашел, решил переписать и послать его Вам не как литературное произведение, а просто так, как письмо в ответ на Ваши милые открытки», — писал автор Елизавете Сергеевне Фохт 1 августа 1945 г. *Манон Леско* — героиня повести французского писателя А.-Ф. Прево, аббата (1697—1763), «История кавалера де Грие и Манон Леско». *Ты меня просила где-нибудь эту книгу старую достать.* Речь идет о выпущенном издательством «Academia» в 1932 г. переводе повести под сокращенным загл. «Манон Леско». Публикуя стих. в 1967 г., автор сделал стилистические исправления и дописал две заключительные строки. В автографе 1945 г. шесть заключительных строк:

И похож до странного на мой
голос этот, нежный и глухой.

Переполнен радостию слов
угловой аптеки автомат,
где стоит, меж сосок и духов,
невысокий старенький аббат.

69. Зн., 1975, № 3, с. 74 в подборке «Стихи разных лет. Из неопубликованного наследия».

70. Печ. по машинописной копии.

71. СП, 1946, 27 октября; НМ, 1947, № 2: КЕ под загл. «Первая песня»; С-3 с датой: 1947; КС; МКР; СЛ-3; ТК. Печ. по Избр-4, т. 1, с. 98.

72. Зн., 1946, № 4, с. 80 в подборке «Стихи»; КЕ. Печ. по Избр-1, с. 69.

73. Зн., 1946, № 4, с. 80 в подборке «Стихи». Печ. по Избр-4, т. 1, с 101. Смеляков, видимо, отталкивался в данном случае от одноименного стих. Н. Ушакова «Кладбище паровозов» (1923).

74. НМ, 1946, № 10—11, с. 46 под загл. «Марсиане»; КЕ; СЛ-1 с датой: 1946. Печ. по Избр-1, с. 61.

75. «Дружные ребята», 1946, № 11—12, с. 7 без последней строфы; Зн., 1947, № 2, с. 100 в подборке «Стихи», с датой: 1946. Печ. по КЕ, с. 57.

76. ДП, 1956, с. 76 без загл., с датой: 1946. Печ. по РиЛ-2, с. 178.

77. Зн., 1947, № 2, с. 100 в подборке «Стихи», с датой: 1946; КЕ без строф 6, 7, 8; РиЛ-2; С-4 с датой: 1946; РиЛ-3. Печ. по КС, с. 55.

78. «Москва», 1964, № 1, с. 11 в подборке «Стихи разных лет», с датой: 1946. Печ. по Избр-4, т. 1, с. 107. См. примеч. 22. *Атлантический вал* — система военных укреплений, созданная немецко-фашистскими оккупантами в 1940—1944 гг., после разгрома Франции, вдоль европейского побережья Атлантики, от Дании до испанской границы, для предотвращения вторжения англо-американских войск на континент.

79. НМ, 1973, № 8, с. 97 в подборке «Стихи разных лет». *Всадников из корпуса Белова.* Сталиногорск (Новомосковск) был освобожден в декабре 1941 г. гвардейским кавалерийским корпусом генерала П. А. Белова. В рейде этого корпуса участвовал и поэт П. Шубин (см. примеч. 272).

80. НМ, 1973, № 8, с. 96 без строфы 2, в подборке «Стихи разных лет», с датой: 1945. Печ. по СВ, с. 96. *Словно Башни Химии... башни комбината.* В Новомосковске, где в те годы работал поэт, находится Бобриковский химкомбинат.

81. «Поэзия», 1974, кн. 12, с. 8 в подборке «Всегда в пути». При жизни Смелякова не печаталось.

82. СП, 1947, 15 июня под загл. «Верность»; ДМЮ; НМ, 1948, № 7 под загл. «Стихи Алеши Новикова (Из пьесы)», в подборке под загл. «Три стихотворения». Печ. по КЕ, с. 26. Стих. вошло в пьесу «Друзья Михаила Югова», см. примеч. 88.

83. «Труд», 1947, 9 мая под загл. «Слово победителя»; НМ, 1947, № 7 в подборке «Два стихотворения»; СП, 1950, 24 сентября в подборке «Из книги»; С-3 с датой: 1946. Печ. по Ал., с. 5.

84. НМ, 1947, № 7, с. 4 в подборке «Два стихотворения»; КЕ. Печ. по РиЛ-3, с. 190.

85. ЛГ, 1947, 5 ноября. Печ. по РиЛ-3, с. 188.

86. НМ, 1947, № 11, с. 129; КЕ. Печ. по РиЛ-3, с. 201.

87. КЕ, с. 31. Печ. по Избр-1, с. 75.

88. ДМЮ, с. 71 без загл.; КЕ, с. 36 под загл. «Лампа старого шахтера»; «Москва», 1964, № 1 в подборке «Стихи разных лет», с датой: 1947; КС. Печ. по Избр-3, т. 1, с. 43. См. примеч. 22. В 1946—1948 гг. в период работы над пьесой «Друзья Михаила Югова» и поэмой «Лампа шахтера» Смеляков написал несколько стихотворений и песен о шахтерах. В сезон 1947—1948 гг. пьеса шла на сцене театра Махачкалы.

89. НМ, 1948, № 2, с. 82 без загл., в подборке «Три стихотворения»; ЗЗ. Печ. по Избр-3, т. 1, с. 193. *В Миссолунгской низине.* В 1823 г. Байрон принимал участие в национально-освободительной войне греческого народа. Умер в г. Миссолунги в 1824 г. Память Байрона была отмечена в Греции национальным трауром. *Пулеметными трассами освещена* и т. д. В 1947—1948 гг. греческое правительство вело крупные наступательные операции против партизан.

90. НМ, 1948, № 2, с. 83 в подборке «Три стихотворения»; КЕ. Печ. по РиЛ-3, с. 212.

91. НМ, 1948, № 3, с. 7 под загл. «Сигнальте бой...»; КЕ без загл. Печ. по РиЛ-3, с. 216. Это и стих. № 95 написаны в период подъема демократического движения в Испании.

92. «В мире книг», 1974, № 5, с. 61. В 60-х годах стих. было обнаружено среди других забытых стихотворений в архиве А. К. Тарасенкова. При жизни автора не публиковалось. В рабочей тетради над списком стих. загл. «Отступление» и помета «1-й вариант „Кремлевских елей“». Загл., как можно предполагать, указывает на то, что данный текст является фрагментом незавершенного или утраченного произведения. Тема истории России возникала в творчестве Смелякова неоднократно, еще с начала 30-х годов (см. примеч. к стих. № 22, 218, 234). Некоторые образы стих. навеяны, по-видимому, картинами В. И. Сурикова (1848—1916) «Утро стрелецкой казни» и «Боярыня Морозова».

93. Юн., 1973, № 12, с. 3 в подборке «Из неопубликованного».

94. НМ, 1948, № 7, с. 120 в подборке «Три стихотворения». Печ. по С-3, с. 35.

95. НМ, 1948, № 7, с. 117 в подборке «Три стихотворения».

96. СП, 1948, 18 июля; НМ, 1948, № 9 с подзаг. «Легенда»; «Славим отечество», М., 1950; С-3 с датой: 1948; СЛ-1 с датой: 1948; Избр-1 без строфы 9, с датой: 1948. Печ. по РиЛ-2, с. 101.

97. СП, 1948, 21 ноября; РиЛ-3 без строф 10, 11. Печ. по Избр-3, т. 1, с. 26.

98. «Москва», 1964, № 1, с. 12 в подборке «Стихи разных лет», с датой: 1948. См. примеч. 22.

99. Ог., 1949, № 10, с. 21; «Год XXXII», Альманах второй, М., 1949 в подборке «Три стихотворения»; СП, 1950, 24 сентября в подборке «Из книги»; С-3 с датой: 1949. Печ. по Избр-3, т. 1, с. 29. Эпиграф — из стих. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных. . .».

100. СП, 1949, 5 июня без строфы 5; НМ, 1949, № 6; КП, 1957, 10 февраля без загл. и без последней строфы. Печ. по РиЛ-2, с. 111. Написано к 150-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

101. ЛГ, 1949, 6 июля под загл. «Наш друг»; С-3 в подборке «Стихи, посвященные Г. М. Димитрову», с датой: 1949. Печ. по Избр-1, с. 89. Георгий Михайлович *Димитров* умер 2 июля 1949 г. в санатории под Москвой, где находился на отдыхе. *Я помню ту общую гордость* и т. д. См. стих. № 18 и примеч.

102. «Год XXXII», Альманах второй, М., 1949, с. 131 под загл. «В музее Ленина», в подборке «Три стихотворения»; С-3 под загл. «В музее В. И. Ленина», с датой: 1949; Связной Ленина с подзаг. «Стихотворение из музея». Печ. по РиЛ-4, с. 241. По свидетельству современника, в 1933 г. Смеляков начал писать поэму о Ленине (Е. Зозуля, Кадры. — ЛГ, 1933, 11 июня). Можно предположить, что Е. Д. Зозуля говорит в данном случае о фрагменте «Из стихов о Ленине» (С-2, с. 52 — см. СС, т. 1, с. 98), текст которого в последующие годы автор подверг правке, но работа эта, насколько можно судить по авторской правке, сделанной в сборнике 1934 г., не была доведена до конца; в настоящее издание фрагмент не включен. Ленинская тема нашла отражение в повести в стихах «Строгая любовь» (№ 328) и в стих. № 238, 239, 296, 299.

103. НМ, 1951, № 8, с. 110 (др. ред.) в подборке «Стихи о дружбе»; СЛ-1 в виде вступления к поэме «Строгая любовь», без загл. Печ. по Избр-1, с. 11, с датой: 1950. Стих. было написано не позднее 1951 г. как вступление к уже тогда задуманной автором поэме о комсомольцах 30-х годов. *Стройка Челябинска, Бобрики и Днепрострой.* Перечисляются стройки первых пятилеток: Челябинской ГРЭС, Челябинского ферросплавного завода и Челябинского тракторного завода, Бобриковского химкомбината (см. примеч. 80) и Днепровской гидроэлектростанции.

104. НМ, 1973, № 8, с. 98 в подборке «Стихи разных лет». Сохранился автограф стих. (др. ред.).

105. Зв., 1956, № 3, с. 40 без загл.; 33. Печ. по РиЛ-3, с. 116.

106. НМ, 1956, № 4, с. 65 в подборке «Маленькие праздники»; Избр-1. Печ. по СЛ-3, с. 92.

107. НМ, 1956, № 4, с. 64 в подборке «Маленькие праздники». Печ. по Избр-1, с. 124.

108. НМ, 1956, № 5, с. 5.

109. ЛГ, 1957, 31 января без строфы 3. Печ. по РоГ, с. 20. В начале 30-х годов поэт прожил несколько месяцев в Магнитогорске, на металлургическом комбинате, где тогда еще продолжалось строительство. Он участвовал в работе литературного объединения и журнала магнитогорцев «За Магнитострой литературы», был основным автором печатавшейся в журнале переписки в стихах между Магниткой и Днепрогэсом.

110. ЛГ, 1957, 4 апреля под загл. «Маленькое чудо». Печ. по РоГ, с. 62. *Поэта, погибшего на той войне.* Смеляков перевел стихи татарского поэта Фатиха Карима (1909—1945), погибшего в боях в Восточной Пруссии (см. стих. № 371—374).

111. НМ, 1957, № 5, с. 99 в подборке без загл.; ЗЗ. Печ. по РиЛ-3, с. 61.

112. КП, 1957, 31 мая.

113. НМ, 1957, № 11, с. 186 в подборке «Три стихотворения». Печ. по РоГ, с. 64.

114. КП, 1957, 6 октября под загл. «Спутник огромной земли», без строфы 3; ДП, 1957 в подборке без загл. Печ. по РоГ, с. 35. *Об этом звезда со звездою по-русски сейчас говорит* — перифраз строки из стих. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...».

115. НМ, 1957, № 11, с. 187 в подборке «Три стихотворения»; РиЛ-3. Печ. по КС, с. 117. В 1957 г. поэт ехал в одном эшелоне с добровольцами-москвичами, отправлявшимися на строительство Братской ГЭС. Впечатления, полученные в этой поездке, легли также в основу стих. № 116, 131, 177.

116. НМ, 1957, № 11, с. 188 под загл. «Безбилетный», без строф 7, 8, в подборке «Три стихотворения»; Ал. Печ. по Роза Таджикистана, с. 41.

117. ЛГ, 1957, 28 сентября; ЗЗ под загл. «Алма-Атинский сад»; РиЛ-3. Печ. по КС, с. 159.

118. ДП, 1957, с. 104 в подборке без загл. Печ. по РоГ, с. 77.

119. ЛГ, 1958, 1 января; РоГ. Печ. по Избр-3, т. 1, с. 304.

120. КП, 1958, 25 января; РоГ. Печ. по ЗЗ, с. 100.

121. ЛГ, 1958, 25 февраля.

122. КП, 1958, 15 апреля. Печ. по РоГ, с. 30. См. примеч. 115.

123. ЛиЖ, 1958, 18 апреля. Печ. по РоГ, с. 6. В архиве поэта хранится первая редакция стих., написанная в начале 50-х годов как глава для повести в стихах «Строгая любовь» и озаглавленная «Наборный цех». В этой редакции содержится дополнительно еще 11 строф, в том числе следующие:

Стремясь в сегодняшнюю даль,
в свои газетные скрижали,
два только слова — хлеб и сталь —
как два начала мы вписали.

Не калачи и кренделя,
а с долей примеси немалой,
такой же черный, как земля,
что этот хлеб для нас рожала.

Своей эпохи гражданин,
стоящий в убежденьях крепко,
я и сегодня перед ним
охотно сбрасываю кепку.

Мне на него стихов не жаль,
нужней, чем он, найдешь едва ли,
но это хлеб, а вот про сталь
еще мы слова не сказали.

Встречаться муза стала мне — нарочитый параллелизм с пушкинской строкой «Являться муза стала мне» («Евгений Онегин», 8, I). *Юнгштурмовка* — одежда полувоенного образца, принятая в 20-х годах в молодежной среде.

124. КП, 1958, 1 мая.

125. КП, 1958, 20 июня без строф 7, 8; РиЛ-3 без строфы 11. Печ. по КС, с. 166.

126. Ог., 1958, № 34, с. 8 в подборке «Из новых стихов». Печ. по РиЛ-3, с. 104.

127. Ог., 1958, № 34, с. 8 в подборке «Из новых стихов». Стих. «Несколько слов о Циолковском» и «Спутник» (№ 114) возникли как отклик на запуск в 1957 г. первого искусственного спутника Земли.

128. Ог., 1958, № 34, с. 8 в подборке «Из новых стихов». Печ. по РоГ, с. 89.

129. Юн., 1958, № 9, с. 3. Печ. по РоГ, с. 52.

130. КП, 1958, 18 ноября под загл. «Дела отцовские творим», без посвящ. Печ. по РоГ, с. 8. *Вот это и предвидел Ленин* и т. д. Речь идет о статье В. И. Ленина «Великий почин» (1919).

131. Юн., 1958, № 10, с. 2; РоГ; Кн. обозр., 1968, 24 августа, с. 8, строфы 1, 8—11; «Смена» (Смоленск), 1968, 28 декабря в подборке «Ярослав Смеляков (Стихи из книг «Избранные стихи» и «Разговор о главном»)»; ТК. Печ. по Избр-4, т. 1, с. 144.

132. ЛГ, 1959, 1 января; РиЛ-2, ст. 29—60 без загл.; РиЛ-3 с подзаг. «Из стихотворного очерка»; КС. Печ. по Избр-3, т. 1, с. 243. См. стих. № 190, написанное уже в 1966 г., также по впечатлениям поездки в Сибирь.

133. ЛиЖ, 1959, 29 марта под загл. «Мальчуган». Печ. по РоГ, с. 90.

134. ЛГ, 1959, 16 апреля.

135. Зн., 1959, № 5, с. 95 под загл. «Татьяна», в подборке «Два стихотворения». Печ. по РоГ, с. 68. Стихотворение посвящено Татьяне Валерьевне Смеляковой-Стрешневой.

136. Зн., 1959, № 5, с. 94 в подборке «Два стихотворения». Печ. по Избр-3, т. 1, с. 293.

137. П, 1959, 7 июня под загл. «Паровоз Ов 7024», без ст. 69—70; «На страже социалистической родины», М., 1960 с сокращенным посвящ.; РиЛ-2 под загл. «Паровоз ОВ-7024»; С-4 под загл. «Паровоз О8-7024», с датой: 1959; РиЛ-3 с сокращенным посвящ.; ХДЛ под загл. «Паровоз ОВ-7024», с сокращенным посвящ.; КС; Изв., 1967, 1 июня под загл. «Паровоз ОВ 7024», без ст. 69—80, с датой: 1959; «Труд», 1969, 13 апреля, ст. 1—12, 21—32, 37—40, 45—52, 61—68, 81—84, 89—92; «Октябрьские страницы», ч. 2, М., 1971 под загл. «Паровоз ОВ-7024», без ст. 69—70, с датой: 1959. Печ. по РиЛ-4, с. 229.

138. Ог., 1959, № 51, с. 12 в подборке «Путевые записи». Печ. по РиЛ-2, с. 25.

139. Ог., 1959, № 51, с. 13 в подборке «Путевые записи»; «Советская Белоруссия», 1961, 12 августа без последней строфы. Печ. по РиЛ-3, с. 75.

140. Ог., 1959, № 51, с. 13 под загл. «Ода», в подборке «Путевые записи». Печ. по Избр-3, т. 1, с. 159. *В старой крепости* — в Брестской. *Редюиты* — внутренние укрепления, последний оплот оборонявшегося в крепости гарнизона.

141. Ог., 1959, № 51, с. 12 в подборке «Путевые записи»; «На страже Родины», 1959, 13 декабря. Печ. по РиЛ-2, с. 19. *«Ты сегодня мне принес»* и т. д. — популярная песенка 50-х годов, автор текста О. Фадеева.

142. Ог., 1959, № 51, с. 13 под загл. «Разговор машинистов», в подборке «Путевые записи». Печ. по РиЛ-2, с. 38.

143. «Иллюстрированная газета», 1959, № 23. Стих. написано по просьбе редакции «Иллюстрированной газеты» для номера, целиком посвященного одной советской семье; глава семьи, 80-летняя Анна Васильевна Зернова, вырастила девять сыновей и дочерей и многих внуков и правнуков.

144. РиЛ-3, с. 126. *Решетов* Александр Ефимович (1909—1971) — советский поэт. В 30-е годы, которые вспоминает здесь Смеляков, участвовал в работе литературной группы при журнале «Резец». *Юбиляр почтенный.* Стих. написано к пятидесятилетию А. Е. Решетова.

145. РоГ, с. 73. *Мадам Ланская* — Наталья Николаевна Пушкина, во втором браке — Ланская. *Толкалась ты на верхних хорах.* «На хоры не езди — это место не для тебя», — писал Пушкин Наталье Николаевне в декабре 1831 г. *Мелкий шепот старой сводни.* «...Вы отечески сводничали вашему сыну... подобно бесстыжей старухе...» — из письма Пушкина барону Геккерену от 25 января 1837 г. (А. С. Пушкин, Собр. соч., 1962, т. 10, с. 85 и 340).

146. РоГ, с. 70 без строфы 14. Печ. по РиЛ-3, с. 134. Стих. начато в 1945 г., завершено в конце 50-х годов.

147. НМ, 1960, № 3, с. 35 в подборке «Новые стихотворения».

148. НМ, 1960, № 3, с. 36 без строфы 3, в подборке «Новые стихотворения». Печ. по РиЛ-2, с. 30. «Когда мы ездили вместе в Узбекистан и там в роскошном саду колхоза-миллионера играли с маленьким избалованным джейраном, Смеляков, единственный из нас, обратил внимание на беспородную дворовую собаку, забито державшуюся в тени грациозно прыгающей знаменитости... Ипподромные скакуны тоже были для него лишь фоном для того, чтобы написать о рабочей ломовой лошади», — вспоминает Евг. Евтушенко («...Глядя времени в лицо». — ЛГ, 1977, 18 мая, с. 6, 7).

149. Изв., 1960, 5 октября под загл. «Речь Фиделя Кастро», ст. 1—30; «Московский литератор», 1960, 8 октября. Печ. по С-4, с. 202. Имеется в виду выступление Ф. Кастро на сессии Генеральной Ассамблеи ООН 26 сентября 1960 г.

150. «Москва», 1964, № 1, с. 10 в подборке «Стихи разных лет», с датой: 1960; ТК без строфы 4. Печ. по МП, с. 163. Название стих. Смелякова полемически ориентировано на пушкинское «К другу стихотворцу». *«Мо»* (франц.) — острое словцо.

151. ЛГ, 1960, 27 декабря, с. 2. *В желанье славы и добра* — отголосок стих. Пушкина «Желание славы» и строки «В надежде славы и добра...» («Стансы»).

152. ЛГ, 1960, 27 декабря, с. 2; С-4 с датой: 1960; РиЛ-3; Избр-3, т. 1. Печ. по ДР-2, с. 86. *Корнилов* Борис Петрович (1907—1938) — советский поэт. Смеляков писал: «Он был старше меня не только по возрасту, а и по мастерству, по знанию языка, по признанию; его уже тогда шумно принимали слушатели переполненных аудиторий и высоко ставили знатоки литературы. Я ходил и ездил вместе с ним, как младший брат, и не однажды мое мальчишеское сердце сжималось от бескорыстной зависти, когда я слушал на литературном вечере или за дружеским столом его стихи или когда разворачивал страницы газет и журналов, где были напечатаны строки Корнилова» (Избр-4, т. 2, с. 401). См. также стих. № 241 и примеч.

153. НМ, 1961, № 2, с. 6 в подборке «Из новых стихотворений».

154. НМ, 1961, № 2, с. 4 в подборке «Из новых стихотворений»; Избр-3, т. 1 под загл. «Ромашка Венесуэлы». Печ. по СЛ-3, с. 67.

155. НМ, 1961, № 2, с. 5 в подборке «Из новых стихотворений». *Гуахира* — крестьянка.

156. НМ, 1961, № 2, с. 3 в подборке «Из новых стихотворений»; РиЛ-3 без строф 4, 10. Печ. по КС, с. 217. В рукописном тексте первая строфа читается:

Тот — от работы, тот — от водки
(винить за это их нельзя),
с земли уходят одногодки:
полузнакомые, друзья.

157. Окт., 1961, № 3, с. 87 под загл. «Россия братается с Кубой»; ЗЗ; Избр-3, т. 1 без строфы 3. Печ. по СВ, с. 78.

158. «Московский литератор», 1961, 6 апреля под загл. «Мараты»; НМ, 1961, № 4 в подборке «В очереди за газетами». Печ. по Я. Смеляков, Стихотворения, М., 1967, с. 60. *Марат* Ж.-П. (1743—1793) — деятель Великой французской революции, известный своей непримиримостью к врагам революции и нетерпимостью. *И гибли вы не в серной ванне.* Марат был убит в ванне ударом кинжала в сердце проникшей в его квартиру дворянской контрреволюционеркой Шарлоттой Корде.

159. НМ, 1961, № 4, с. 4 в подборке «В очереди за газетами».

160. НМ, 1961, № 4, с. 4 в подборке «В очереди за газетами». Печ. по РиЛ-3, с. 24.

161. НМ, 1961, № 4, с. 5 в подборке «В очереди за газетами». Печ. по Избр-4, т. 1, с. 230.

162. НМ, 1961, № 4, с. 3 под загл. «Под фонарем на перекрестке...», в подборке «В очереди за газетами». Печ. по РиЛ-3, с. 6.

163. П, 1961, 21 мая; ХДЛ. Печ. по КС, с. 203.

164. Изв., 1961, 13 декабря под загл. «Столица края»; ЗЗ под тем же загл. Печ. по РиЛ-3, с. 12.

165. «Сибирские огни», 1962, № 3, с. 29 под загл. «Нынешняя конница»; ДН, 1962, № 8 в подборке «Из новой книги»; ЗЗ под загл. «В казахской степи». Печ. по РиЛ-3, с. 36. В рукописном тексте еще две заключительные строфы:

От всего от этого в сторонке,
старая и грустная на вид,
возле общей кухни лошаденка
с тихой обреченностью стоит.

Вряд ли ей послужит утешеньем,
что она, двужильна и мила,
хоть как единица измеренья
в нынешнюю технику вошла.

166. ДН, 1962, № 8, с. 34 в подборке «Из новой книги». Печ. по Избр-3, т. 2, с. 21.

167. ЛГ, 1962, 12 июля, с. 3 в подборке «Новые стихи». См. также стих. № 275.

168. ЛГ, 1962, 12 июля, с. 3 под загл. «Ода», в подборке «Новые стихи»; ДН, 1962, № 8; «Казахстанская правда», 1962, 14 октября под загл. «Старший брат», без строфы 10; «День поэзии Таджикистана», Душанбе, 1962; ХДЛ; Роза Таджикистана; «Наш старший брат», Душанбе, 1967 без строфы 10. Печ. по ДР-1, с. 79. *Где Вахш клубится и ревет.* Речь идет об ирригационной системе на р. Вахш. *Шурпа* — таджикское национальное блюдо, род похлебки. *Дехканин* — крестьянин.

169. ДН, 1962, № 8, с. 26 в подборке «Из новой книги»; РиЛ-3. Печ. по КС, с. 242.

170. ДН, 1962, № 8, с. 27 в подборке «Из новой книги»; КС под загл. «Платок». Печ. по ДР-2, с. 72.

171. ДН, 1962, № 8, с. 28 в подборке «Из новой книги».

172. ДН, 1962, № 8, с. 33 под загл. «Алексею Фатьянову», в подборке «Из новой книги». Печ. по ДР-1, с. 130. *Фатьянов* Алексей Иванович (1919—1959) — советский поэт, автор известных песен, родился в с. Малое Петрино Владимирской области.

173. ЛГ, 1962, 27 октября, с. 3 без строфы 5. Печ. по РиЛ-4, с. 126.

174. ЛГ, 1962, 29 декабря, с. 1 под загл. «Слово русского»; РиЛ-3 под загл. «Монолог»; Печ. по МП, с. 49.

175. РиЛ-3, с. 122.

176. ЛГ, 1963, 26 февраля, с. 3 под загл. «Ответственность»; ХДЛ под загл. «Мальчики»; РТ, 1967, № 6 без строф 1, 2, в ответе на анкету «Молодой человек». Печ. по КС, с. 207.

177. См., 1963, № 20, с. 22. Печ. по МКР, с. 31.

178. ЛР, 1966, 4 марта, с. 9 в подборке «Новые стихи»; Избр-3 без загл. Печ. по ДР-2, с. 151. *Т. С.* — Татьяна Валерьевна Смелякова-Стрешнева.

179. ЛР, 1964, 22 мая, с. 8 в подборке «Стихи Ярослава Смелякова», с датой: 1964. Печ. по ДР-1, с. 122. *Некрасова* Ксения Александровна (1912—1958) — советская поэтесса. В отзыве о ее первом сборнике «Ночь на баштане» (1955) М. Светлов писал, что в нем нет «ни одного стихотворения, в котором читателю не явилось бы что-то необыкновенно светлое и чистое. А пейзажи иногда просто поражают, — в них природа не только переливается своими необыкновенными красками, в них еще видно непосредственное и подкупающее нас отношение к этим краскам» (Михаил Светлов, Собр. соч., т. 3, М., 1975, с. 173). Второй ее сборник «А земля наша прекрасна!» вышел посмертно, в 1958 г.

180. ЛР, 1964, 22 мая, с. 8 в подборке «Стихи Ярослава Смелякова», с датой: 1964. В 1931 г., весной, начало работать литературное объединение при журнале «Огонек», в которое пришел и молодой Смеляков. В числе участников объединения были: С. А. Васильев, Е. А. Долматовский, А. А. Коваленков, С. В. Михалков, Л. И. Ошанин и несколько позже пришедшая в объединение М. И. Алигер. На перебеленном в тетради тексте стих. указано, что оно посвящено Е. Долматовскому.

181. ЛР, 1964, 22 мая, с. 8 в подборке «Стихи Ярослава Смелякова»; Избр-3, т. 1, без загл. Печ. по ДР-2, с. 62.

182. ЛГ, 1964, 10 октября, с. 2 под загл. «Приезжают в столицу»; ТК. Печ. по Избр-4, т. 1, с. 276.

183. «Советская Молдавия», 1964, 15 октября; Юн., 1964, № 10; СЛ-3. Печ. по ДР-2, с. 97. Смеляков не раз обращался к образу Лермонтова. В том же 1964 г., в Лермонтовские дни в Пятигорске, было написано стих. «Михаил Лермонтов» (№ 287), завершенное в 1968 г. и впервые включенное в Дкб. В статье о Лермонтове Смеляков писал: «...что такое труд гения? Гений молниеносен. Бумага дымится под его раскаленным пером. Оно прожигает ее, как тяжелая слеза Демона прожгла камень, лежавший возле монастырской кельи» (Избр-4, т. 2, с. 378).

184. Избр-3, т. 2, с. 32.

185. ДН, 1974, № 1, с. 11 в подборке «Стихи разных лет».

186. П, 1965, 29 августа в подборке «Под общим солнцем». В интервью, данном ЛГ 3 июля 1965 г., Смеляков говорил: «...перед гла-

зами стоит замечательный опыт Владимира Луговского, Николая Тихонова и других русских писателей, объездивших в свое время нашу Среднюю Азию и написавших о ней нестареющие книги. Хотелось хоть в слабой, хоть в отдаленной степени продолжить их работу на современном материале. Хочется не упускать из рук эту плодотворную нить традиции».

187. П, 1965, 29 августа в подборке «Под общим солнцем». Печ. по Роза Таджикистана, с. 23. *Хамза* Хаким-заде Ниязи (1889—1929) — зачинатель новой узбекской поэзии, драматург и общественный деятель. Был убит толпой разъяренных религиозных фанатиков в кишлаке *Шахимардан* (ныне Хамзаабад).

188. ДН, 1974, № 1, с. 14 в подборке «Стихи разных лет». Весной 1965 г. в Душанбе, на даче, о которой говорится в этом стих., были написаны стих. «Роза Таджикистана» (№ 186) и «Хамза» (№ 187).

189. Юн., 1966, № 7, с. 24 в подборке без загл. Печ. по ДР-1, с. 12.

190. П, 1966, 27 февраля; ДН, 1966, № 5 без строфы 23, в подборке «День России. Книга стихов и переводов». Печ. по МП, с. 136. *Лет пять назад* и т. д. Поэт ездил в Сибирь в 1958 г., тогда же написал среди других и стих. № 132 — по-видимому, начало задуманного им, но оставшегося незавершенным произведения. Первый вариант стих. «Один день», озаглавленный «Очерк одного дня», был написан через пять лет — в 1964 г. Окончено стихотворение в 1966 г. *Молился ссыльный протопоп. Аввакум* Петрович (1620 или 1621—1682) — протопоп, один из основателей русского старообрядчества, писатель; был сослан в острог Пустозерска и заточен в земляной сруб.

191. ЛР, 1966, 4 марта, с. 9 в подборке «Новые стихи». Печ. по РиЛ-4, с. 144. «Стихотворение об Иване Грозном — «Кресло» — легло на бумагу в этом году, а был я в его опочивальне вместе с Володей Солоухиным лет пять назад», — писал Смеляков («Езда в незнаемое». — ЛГ, 1966, 2 августа).

192. ЛР, 1966, 4 марта, с. 9 с посвящ. «В. Лифшицу», в подборке «Новые стихи»; ДР-1. Печ. по Избр-4, т. 1, с. 206. Владимир Александрович Лифшиц (р. 1913) — русский советский писатель.

193. ЛР, 1966, 4 марта, с. 9 в подборке «Новые стихи».

194. ЛР, 1966, 4 марта, с. 8 в подборке «Новые стихи»; ДН, 1966, № 5 под загл. «Старик», в подборке «День России. Книга стихов и переводов». Печ. по ДР-1, с. 19.

195. ЛР, 1966, 4 марта, с. 9 в подборке «Новые стихи»; НС без строфы 5. Печ. по ДР-2, с. 113. *Теперь уже не помню даты* и т. д.

Имеется в виду стих. «Натали» (1959), вызвавшее упреки критики и ряд полемического характера стихотворений о Наталье Николаевне Пушкиной (см. стих. № 145 и примеч.).

196. ЛР, 1966, 4 марта, с. 8 в подборке «Новые стихи»; «Советский воин», 1966, № 12; Избр-3, т. 2 под загл. «Патрис Лумумба». Печ. по Избр-4, т. 1, с. 223. *Лумумба* П.-Э. (1925—1961) — герой национально-освободительного движения, премьер-министр республики Конго (ныне Республика Заир). После военного переворота был убит в Катанге.

197. ЛР, 1966, 4 марта, с. 8 в подборке «Новые стихи»; ДН, 1966, № 5 под загл. «Командармы», в подборке «День России. Книга стихов и переводов»; РТ, 1966, № 4; СЛ-3. Печ. по НС, с. 13.

198. ЛГ, 1966, 22 марта, с. 2 в подборке «Из новой книги стихов „День России“»; ДН, 1966, № 5 в подборке «День России. Книга стихов и переводов». Печ. по ДР-1, с. 35. *Меншиков* Александр Данилович (1673—1729) — русский государственный и военный деятель, сподвижник Петра I. *И дочь твоя в императрицы уже почти проведена.* Меншиков пытался породниться с царским домом, обручив в мае 1727 г. свою дочь Марию с Петром II. Но вскоре, 8 сентября 1727 г., был арестован по обвинению в государственной измене и хищении казны и сослан с семьей в Березов, где и умер. *Полудержавен и хорош* — намеренная перекличка со строкой Пушкина: «Полудержавный властелин» («Полтава»).

199. ЛГ, 1966, 22 марта, с. 2 в подборке «Из новой книги стихов „День России“»; ДН, 1966, № 5; ДР-1; НС без строфы 4; СЛ-3. Печ. по ДР-2, с. 13. Стих. начато в 1945 г. (черновые наброски опорных строк), завершено в 1966 г. В хранящемся в авторском архиве автографе стих. после строфы 2 — еще одна, не включавшаяся в печатный текст строфа. *Кольцов* Алексей Васильевич (1809—1842) — русский поэт. *Курбский* Андрей Михайлович (1528—1583) — князь, политический деятель, писатель.

200. ЛР, 1966, 4 марта, с. 8 с подзаг. «Жестокий романс», в подборке «Новые стихи». Печ. по Избр-4, т. 1, с. 263.

201. П, 1966, 15 апреля, под загл. «Поэт», в подборке «Из книги „День России“»; ДН, 1966, № 5 в подборке «День России. Книга стихов и переводов». Печ. по МП, с. 119. *Калита Иван* Данилович — князь Московский (с 1325), великий князь Владимирский (1328—1340). Положил начало возвышению Москвы и собиранию вокруг нее русских земель. За богатство прозван Калитой — денежным мешком.

202. П, 1966, 15 апреля в подборке «Из книги „День России“». *Зорге Рихард* (1895—1944) — советский разведчик, журналист, казнен в Японии 7 ноября 1944 г. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза.

203. Изв., 1966, 24 апреля. *«Жомини да Жомини»* — строка из стих. Дениса Давыдова (1784—1839) «Песня старого гусара». *Вас*

учителем назвал. На вопрос одного из современников, как Пушкин «не поддался тогдашнему обаянию Жуковского и Батюшкова и даже в самых первых своих опытах не сделался подражателем ни того, ни другого», поэт ответил, что «этим он обязан Денису Давыдову, который дал ему почувствовать еще в Лицее возможность быть оригинальным» («А. С. Пушкин в воспоминаниях современников», т. 2, М., 1974, с. 109). В первой редакции еще одна, не включавшаяся в печатный текст строфа:

Разрешите, право слово,
осадите на скаку,
дайте высказать хоть слово
вашему ученику.

204. Изв., 1966, 24 апреля; ДН, 1966, № 5 в подборке «День России. Книга стихов и переводов». Печ. по ДР-1, с. 50. *Маркос Ана* (р. 1921) — испанский поэт, коммунист. Был приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. В тюрьме начал писать стихи. В 1962 г. под давлением мировой общественности был освобожден. Смеляков перевел стих. Маркоса Ана «Что такое жизнь?» (№ 394). *Конгресс* — Всемирный конгресс за всеобщее разоружение и мир (Москва, 1962).

205. КП, 1966, 29 апреля в подборке «Новые стихи». Печ. по ДР-1, с. 142. *Нико* Пиросманашвили (*Пиросмани*, 1862?—1918) грузинский художник-самоучка, «примитивист». Материалы, использованные Пиросмани, — клеенка, жесть, картон.

206. КП, 1966, 29 апреля в подборке «Новые стихи».

207. КП, 1966, 29 апреля. Печ. по ДР-1, с. 26. *Ибаррури Долорес* Гомес (р. 1895) — председатель Коммунистической партии Испании. Слова, которыми Ибаррури заканчивала свои речи: *«Но пасаран!»* («Не пройдут!»), были боевым лозунгом бойцов республиканской армии в период национально-революционной войны 1936—1939 гг. *Сын* — Ибаррури Рубен (1920—1942), с 1936 г. — солдат республиканской армии Испании; погиб в годы Отечественной войны в Сталинграде; Герой Советского Союза (посмертно).

208. ЛГ, 1966, 9 мая, с. 4; ДН, 1966, № 10, строфы 10—13. Печ. по ДР-1, с. 93. *Чапек* Карел (1890—1938) — чешский писатель. Во время поездки в Чехословакию в 1966 г. Смеляков побывал в загородном доме-музее Чапека.

209. ДН, 1966, № 5, с. 9 в подборке «День России. Книга стихов и переводов»; «Советский воин», 1966, № 12 под загл. «Молодая Белоруссия», в подборке без загл. Печ. по ДР-1, с. 28. Журналом «Дружба народов» опубликовано в составе группы новых стихотворений, за которую Я. В. Смелякову была присуждена Государственная премия 1967 г. Из оригинальных произведений в нее входили стих. № 199, 190, 197, 196, 201, 209, 214, 193, 198, 191, 195, 194, 203, 210, 204,

212, 205, 215, 202, 211, 213. *Из этих стихотворений 14 впервые были* опубликованы весной того же года в центральных газетах и еженедельнике ЛР. Перечисленные выше стих. легли в основу книги «День России», второе прижизненное издание — 1968. Кроме них в книгу вошли почти все стихотворения, написанные в 1966 г., и большинство из написанных в 1960—1965 гг. (всего 63). Книгу открывает «Вступительное стихотворение»:

Я стихи писать не буду
из-за всякой ерунды;
что мне ссуды, пересуды,
алиментные суды.

Пусть читают наши люди,
веселясь и морща лбы,
эту книгу многих судеб
и одной — моей — судьбы.

210. ДН, 1966, № 5, с. 16 в подборке «День России. Книга стихов и переводов»; Избр-3, т. 2 без строф 5, 6. Печ. по ДР-2, с. 145.

211. ДН, 1966, № 5, с. 21 в подборке «День России. Книга стихов и переводов». Печ. по ДР-1, с. 157. Поводом для «Камерной полемики» послужило стих. Риммы Казаковой «Ночью» («На Ленинском чинят дорогу. . .», 1962). В целом высоко оценивая поэзию Казаковой, Смеляков в статье «Молодая поэзия нового времени» писал: «Я считаю нужным выступить против одного из ее стихотворений. Оно называется «Ночью». Не знаю, кто как, а я всегда испытываю ощущение страшной неловкости, когда вижу русских женщин, работающих на трамвайных рельсах или вдоль железной дороги с ломами и лопатами в руках. Я думаю, что наша советская поэзия должна была решительно выступить против этого» («Москва», 1962, № 12, с. 219). Об этой полемике Римма Казакова вспоминает в статье «Всё на равных» (ЛР, 1976, 19 ноября, с. 3).

212. ДН, 1966, № 5, с. 18 в подборке «День России. Книга стихов и переводов». Печ. по ДР-1, с. 125. *В батальоне трудовом.* См. примеч. 54. *Как Успенский пред Венерой.* Имеется в виду очерк Г. И. Успенского «Выпрямила» (1885).

213. ДН, 1966, № 5, с. 22 в подборке «День России. Книга стихов и переводов». Печ. по ДР-1, с. 160. Источник эпиграфа не установлен. *Дмитраки* — кишиневский знакомый Пушкина, в ресторане которого в 1822 г. поэт часто обедал.

214. ДН, 1966, № 5, с. 11 в подборке «День России. Книга стихов и переводов». Печ. по ДР-1, с. 67.

215. ДН, 1966, № 5, с. 20 в подборке «День России. Книга стихов и переводов». Печ. по ДР-1, с. 91.

216. ЛР, 1966, 17 июня, с. 9 в подборке «Из новой книги „День России“». Печ. по ДР-1, с. 133. *Кузмин* Михаил Алексеевич (1875—1936) — русский поэт, прозаик, драматург, соратник Ахматовой по «Цеху поэтов»; автор предисловия к первой книге Ахматовой «Вечер» (1912). *Все прегрешенья и грехи* и т. д. — отголосок строк Ахматовой: «Поэтам вообще не пристали грехи...» («Поэма без героя», 1940—1962). «Об Анне Ахматовой я начал писать в Москве, когда узнал о ее смерти. Два раза дополнял, переделывал эти стихи, а закончил лишь в ту минуту, когда вошел в Никольский морской собор, где отпевали поэтессу по ее завещанию», — писал Смеляков («Езда в незнаемое». — ЛГ, 1966, 2 августа).

217. ЛР, 1966, 17 июня, с. 9 в подборке «Из новой книги „День России“». Печ. по ДР-1, с. 168. *Меня, как громом, оглушили полузабытые черты.* Ср. у Тютчева: «С давно забытым упоеньем смотрю на милые черты» («Я встретил вас — и все былое...»). Об отпечатке поэтики пушкинской поры и «полуцитатах» в «Элегическом стихотворении» см. в кн.: Ст. Рассадин, «Ярослав Смеляков», М., 1971, с. 103—104, 107.

218. ЛР, 1966, 17 июня, с. 9 в подборке «Из новой книги „День России“». Печ. по ДР-2, с. 61. *Соловьев* Сергей Михайлович (1820—1879) — русский ученый, автор труда «История России». В тексте ЛР первая строка читается: «История не терпит славословья...» В архиве поэта есть более ранний вариант этого пятистишия и запись о том, что оно заключало утраченное стих. 1940 г. Пятистишие в этом варианте начинается строкой: «Не ожидай слепого словословья...»

219. ЛР, 1966, 17 июня, с. 9 в подборке «Из новой книги „День России“». Вместе с народным поэтом Азербайджана Сулейманом Рустамом в апреле 1964 г. Смеляков на машине совершил поездку по Азербайджану, проехал от Баку до Астары, города, разделенного пополам государственной границей. *Государственный мост* — через пограничную реку Аракс. Смеляков переводил на русский язык стих. Рустама (см. СС, т. 2, с. 418—444).

220. П, 1966, 27 июля. Печ. по ДР-1, с. 176. В бумагах поэта сохранилось оставшееся незаконченным другое стих. под тем же загл., написанное им по тому же поводу в 1964 г. в Душанбе.

221. Юн., 1966, № 7, с. 24 под загл. «Стихи, написанные ненароком», в подборке без загл. Печ. по Избр-3, т. 2, с. 19. На перебеленном тексте указано, что стих. посвящено Е. Винокурову (ср. стих. Винокурова «Пьют пиво», 1961).

222. Юн., 1966, № 7, с. 24 в подборке без загл. Печ. по ДР-1, с. 153.

223. Юн., 1966, № 7, с. 24 в подборке без загл. *Вертер* — романтический юноша, герой романа Гете «Страдания молодого Вертера».

224. ЛР, 1967, 1 января, с. 6 под загл. «В нашем поселке», в подборке «Дома и за границей». Печ. по РиЛ-4, с. 92.

225. ЛР, 1967, 1 января, с. 6, под загл. «В болгарском городе», в подборке «Дома и за границей», с пометой: «Габрово». Печ. по НС, с. 28. Это первое стих., написанное поэтом после подготовки им осенью 1966 г. сборника «День России». 50 новых стихотворений, написанных в конце 1966, в 1967 и 1968 гг. (23 из них включены в НС), составили затем изданную в 1970 г. книгу «Декабрь» — последнюю вышедшую при жизни автора книгу новых его стихотворений. Данное стих. связано с поездкой Смелякова по Болгарии и посещением г. Габрово. *Манишек блеск и скатертей... не по симпатии моей.* Тема, намечавшаяся еще в «Юношеской поэме» (см. стих. № 325 и примеч.), два десятилетия спустя возникла в «повести в стихах» «Строгая любовь» (гл. 3; фрагмент «Буфет», см. стих. № 329—335) и варьируется в стих. № 120 и 215.

226. ЛР, 1967, 1 января, с. 6 в подборке «Дома и за границей». Не исключено, что пометы под этой группой стихотворений в первой публикации («Теплоход «Туркмения», рейс «Иокогама — Находка») указывают и на момент возникновения данного стих. На списках этих стих. другие пометы: «В болгарском городке» и «Прощальная лента» написаны в ноябре и начале декабря под Москвой, «Возвращение» — в Москве, в декабре 1966 г.

227. ЛР, 1967, 1 января, с. 6 в подборке «Дома и за границей». Печ. по Дкб., с. 63.

228. ЛР, 1967, 1 января, с. 6 в подборке «Дома и за границей», с пометой «Монголия, Дархан». Печ. по Дкб., с. 70.

229. Зн., 1975, № 3, с. 76 в подборке «Стихи разных лет. Из неопубликованного наследия».

230. Зн., 1975, № 3, с. 72 в подборке «Стихи разных лет. Из неопубликованного наследия». Печ. по СВ, с. 34.

231. ЛГ, 1967, 7 июня, с. 4; «Гудок», 1969, 6 июня. Печ. по Дкб., с. 22.

232. П, 1967, 8 июня, с. 4 под загл. «Михаилу Светлову», с эпиграфом: «Гренада, Гренада, Гренада моя...». Печ. по РиЛ-4, с. 68. *Но горсть земли из-под Гренады.* Ср. стих. М. Светлова «Гренада» (1926), — переведенное на многие языки мира, оно стало любимой песней бойцов интернациональных бригад республиканской Испании.

233. П, 1967, 15 ноября в подборке «Из новой книги».

234. П, 1967, 15 ноября, с. 6 в подборке «Из новой книги»; ДН, 1968, № 3 в подборке «Декабрь. Новая книга»; НС. Печ. по Дкб.;

с. 9. Стих., по-видимому, было начато очень давно: опорные строки, варианты первых строф и последней строфы записаны в тетради среди стихотворений 50-х годов и отдельных строк из непубликовавшихся стихотворений предшествующих лет. *Блюхер* В. К. (1889—1938) — советский военный деятель, герой гражданской войны; участвовал в борьбе с Колчаком и Врангелем. *Колчак* А. В. (1873—1920) — один из руководителей белогвардейского движения; в 1920 г. расстрелян в Иркутске. *Балчуг* — небольшая улица неподалеку от Москворецкого моста.

235. ЛР, 1967, 17 ноября, с. 3 в подборке «Новые стихи»; НС; ТК без строфы 8; «Лауреаты премии Ленинского Комсомола», М., 1970 в подборке без загл. Печ. по Дкб., с. 106. *Гевара* де ла Серна *Эрнесто* (*Че*, 1928—1967) — латиноамериканский революционер, один из руководителей Кубинской революции. Созданный им в Боливии партизанский отряд был разгромлен правительственными войсками в октябре 1967 г.; раненый Гевара был захвачен в плен и убит.

236. П, 1967, 10 декабря в подборке «Из новой книги», с датой: декабрь 1967. Печ. по РиЛ-4, с. 48. Эпиграф — из стих. Б. Пастернака «Зимняя ночь». Этой полемической вариацией, в которой все время слышен отголосок «Зимней ночи», Смеляков вновь противопоставил тему общественного характера личной теме.

237. Ог., 1968, № 3, с. 22 в подборке «Декабрь. Из новой книги». Печ. по Дкб., с. 83. Заглавие, вероятно не без полемической цели, заимствовано у Сельвинского из его экспериментальных стихов (1922). *Как будто «Цыган» черновик.* Имеется в виду поэма Пушкина «Цыганы».

238. П, 1967, 10 декабря под загл. «Портрет В. И. Ленина», в подборке «Из новой книги»; ДП, 1969, под загл. «Портрет», в подборке без загл.; Связной Ленина. Печ. по Избр-4, т. 2, с. 103. *Фотографический снимок.* Речь идет о фотографии В. И. Ленина в его кабинете в Кремле (1918).

239. ЛР, 1968, 1 января, с. 3 в подборке без загл., с датой: 8—9 декабря 1967.

240. ЛР, 1968, 1 января, с. 3 в подборке без загл., с датой: 10 декабря 1967. *Голубка* — рисунок П. Пикассо «Голубь мира» (1949), ставший символом движения за мир между народами.

241. ЛР, 1968, 5 января, с. 17 в подборке без загл., с датой: 10 декабря 1967. Печ. по Дкб., с. 114. *В городе Семенове неславном* и т. д. Борис Петрович Корнилов родился в 1907 г. в с. Покровском Семеновского уезда Нижегородской губ. В 1922 г. семья перебралась в Семенов. Ср. в стих. Корнилова «Из автобиографии»: «Я родился в деревне Дьяково, от Семенова полверсты». *Впрочем, я писал уже об этом.* В 1960 г. Смеляков написал стих. «Борис Корнилов» (см. № 152).

и. в связи с изданием в 1963 г. книги стихотворений и поэм Корнилова (М., 1963), — «лирическую рецензию» («Москва», 1963, № 12, с. 206—207; см. также Избр-4, т. 2, с. 401—404). Дополнительная строфа в тексте ЛР:

Юности безумное начало
навсегда осталось где-то там.
Нас тогда носило и качало
по журналам всем и кабакам —

перекликается со стих. Корнилова «Качка на Каспийском море» (1930).

242. ЛР, 1968, 1 января, с. 3 с датой: 12 декабря 1967, с пометой: «Боткинская больница», в подборке без загл.; ДН, 1968, № 3, с. 12 под загл. «Жантил», в подборке «Декабрь. Новая книга», в разделе «Стихи из больницы»; ТК. Печ. по РиЛ-4, с. 66. См. примеч. 252.

243. ЛР, 1968, 1 января, с. 3 в подборке без загл., с датой: 15—16 декабря 1967 и пометой: «Боткинская больница». Печ. по Дкб., с. 54. См. примеч. 252.

244. П, 1968, 1 января в подборке «Три стихотворения». Печ. по Избр-4, т. 2, с. 101.

245. П, 1968, 1 января в подборке «Три стихотворения»; ДН, 1968, № 3 в подборке «Декабрь. Новая книга», в цикле «Муза дальних странствий». Печ. по НС, с. 22.

246. ЛР, 1968, 1 января, с. 3 в подборке без загл., с датой: декабрь 1967; ДН, 1968, № 3 в подборке «Декабрь. Новая книга»; «Москва — София», М., 1968; ТК под загл. «Свадьба в Болгарии». Печ. по МП, с. 202.

247. ЛР, 1968, 5 января, с. 17 под загл. «П. Г. Антокольскому», в подборке без загл., с датой: 17—18 декабря 1967 г. Печ. по Дкб., с. 102.

248. «Поэзия», 1968, кн. 1, с. 22 в подборке без загл. Печ. по РиЛ-4, с. 22.

249. П, 1968, 1 января без строф 5 и 6, в подборке «Три стихотворения»; ДН, 1968, № 3, с. 5 в подборке «Декабрь. Новая книга»; НС; «Семь голосов», М., 1969 в подборке без загл.; ДП, 1969 в подборке без загл. Печ. по Дкб., с. 20. *И в гимнастерках фронтовых.* Сооружение гидроэлектростанции на порогах реки Волхов было начато в 1918 г. во время гражданской войны.

250. ДН, 1968, № 3, с. 16 в подборке «Декабрь. Новая книга». Печ. по РиЛ-4, с. 45. Эпиграф — из стих. Маяковского «Разговор с фининспектором о поэзии» (1926).

251. Ог., 1968, № 3, с. 22 с подзаг. «Токио», в подборке «Декабрь. Из новой книги»; ДН, 1968, № 3 в подборке «Декабрь. Новая книга». Печ. по Дкб., с. 78.

252. ДН, 1968, № 3, с. 11, под загл. «Пейзаж из окна», в подборке «Декабрь. Новая книга» в разделе «Стихи из больницы». Печ. по Дкб., с. 52. В ДН вошло в группу стихотворений под общим загл. «Стихи из больницы», включающую в себя девять стихотворений: «Первый день» с эпиграфом: «„Забинтованный лежу на больничной койке“. Сергей Есенин» и стих. № 252, 253, 255, 242, 243, стих. «Позитивная программа» и стих. № 261, 254 (стих. № 242 под загл. «Жантил из Бразилии» и стих. № 243 были опубликованы также в ЛР, 1968, 1 января). В Д и Избр-4, т. 2 эта группа вошла в другом составе: исключены стих. «Позитивная программа» и «Первый день» и стих. № 261; на место стих. «Первый день» поставлено позднее написанное стих. № 269, стих. № 242 переведено в раздел «Маленькие портреты», изменен порядок внутри группы; изменены заглавия стих. № 252 и 254, в стих. № 252 сделаны существенные исправления. Отдельные стихотворения из этой группы — также в НС, ТК, МП, РиЛ-4. В наст. изд. из этой группы включены стих. № 242, 243, 252, 253, 254, 255, 261, 269.

253. ДН, 1968, № 3, с. 11 в подборке «Декабрь. Новая книга» в разделе «Стихи из больницы». См. примеч. 252.

254. ДН, 1968, № 3, с. 14 под загл. «Последний день» с эпиграфом: «„Я убежал от эскулапа...“. Александр Пушкин» в подборке «Декабрь. Новая книга», в разделе «Стихи из больницы»; «Семь голосов», М., 1969, в подборке без загл. Печ. по Дкб., с. 59. См. примеч. 252. *Я на всю честную Русь* и т. д. Имеется в виду стих. № 51.

255. ДН, 1968, № 3, с. 12 в подборке «Декабрь. Новая книга» в разделе «Стихи из больницы». Печ. по Дкб., с. 57. См. примеч. 252.

256. «Московская правда», 1968, 30 августа. Печ. по Дкб., с. 35.

257. ДН, 1968, № 3, с. 10 в подборке «Декабрь. Новая книга»; НС. Печ. по Дкб., с. 44. Эпиграф — вольный пересказ Гейне: «Кто хвалится, что сердце его осталось целым, тот признается только в том, что у него прозаичное, далекое от мира, глухое закоулочное сердце. В моем же сердце прошла великая мировая трещина, и именно поэтому я знаю, что великие боги милостиво отличили меня среди многих других и признали меня достойным мученического назначения поэта» (Г. Гейне, Луккские воды, гл. 4. — В кн.: Генрих Гейне, Собрание сочинений в 10-ти тт., т. 4, Л., 1957, с. 247).

258. Ог., 1968, № 3, с. 22 без строфы 3, в подборке «Декабрь. Из новой книги»; ДН, 1968, № 3 в подборке «Декабрь. Новая книга». Печ. по Дкб., с. 75.

259. ДН, 1968, № 3, с. 18 в подборке «Декабрь. Новая книга» в разделе «Муза дальних странствий». Печ. по Дкб., с. 64. *Вапцаров*

Никола Йонков (1909—1942) — болгарский поэт, коммунист; расстрелян немецко-фашистскими оккупантами. Эпиграф из стих. Н. Вапцарова «Не, сега не е за поезия» (5 июля 1941. «Теперь мне не до поэзии. . .» — пер. Л. Мартынова). *Уже прошло немало лет* и т. д. Первое издание стихов Н. Вапцарова в русских переводах вышло в 1952 г., второе — в 1959 г. (вступ. статья А. А. Суркова).

260. ДН, 1968, № 3, с. 8 в подборке «Декабрь. Новая книга». *Что-то вроде предисловья* и т. д. В 1965 г. Смеляков написал заметку о Светлове, под загл. «Вместо предисловия», предваряющую изд.: Светлов М., Избранные произведения в 2-х тт., т. 1, М., 1965, с. 5—8. Светлову посвящены также стих. № 232 и оставшееся незавершенным стих. «Трудно мне — да нет, не это слово. . .» (см. СС, т. 3, с. 411). «Много я видел смертей, но смерть Светлова меня потрясла до самого дна. Он, когда я еще не знал его лично, был моим учителем. Он впервые напечатал мое стихотворение в журнале «Октябрь». Он на протяжении многих лет был моим наставником, а затем старшим товарищем, с мнением которого я всегда считался», — писал Смеляков (ЛГ, 1964, 29 сентября).

261. ДН, 1968, № 3, с. 14 в подборке «Декабрь. Новая книга», в разделе «Стихи из больницы». См. примеч. 252. Первоначальная редакция стих., начинавшаяся ст. «Я понял этим самым годом. . .», написана зимой 1958—1959 г. (20 строк). К работе над текстом автор вернулся в декабре 1965 г. и завершил ее в декабре 1967 г. В прижизненные издания не включалось. *Равель* Морис (1875—1937) — французский композитор; в последние годы жизни страдал тяжким заболеванием мозга. *И гениального мальчишку* и т. д. Имеется в виду М. Ю. Лермонтов.

262. ДН, 1968, № 3, с. 3 под загл. «Декабрь», в подборке «Декабрь. Новая книга». Печ. по Избр-4, т. 2, с. 97.

263. Зн., 1975, № 3, с. 76 в подборке «Стихи разных лет. Из неопубликованного наследия». Стихотворение написано, по-видимому, в 1967 г., в Риге.

264. ДН, 1974, № 1, с. 18 в подборке «Стихи разных лет». При жизни поэта не публиковалось. *Квантунский генерал.* Квантунская армия — главная группировка сухопутных войск империалистической Японии, разгромлена Советской Армией в 1945 г.

265. Юн., 1968, № 3, с. 66 в подборке без загл. Стих. начато весной 1966 г., закончено — зимой 1968-го. В авторские сборники не входило.

266. Юн., 1968, № 3, с. 66 в подборке без загл.

267. ДН, 1968, № 3, с. 19 с эпиграфом «Жизнь прожить — не поле перейти», в подборке «Декабрь. Новая книга», в цикле «Муза дальних странствий». Печ. по НС, с. 15.

268. Юн., 1968, № 3, с. 66 в подборке без загл. Печ. по НС, с. 14. *Ведь колокольчики Валдая* и т. д. — измененная цитата из народной песни «Тройка».

269. ЛР, 1968, 15 марта, с. 4 в подборке «Из книги „Декабрь“». См. примеч. 252.

270. ЛР, 1968, 15 марта, с. 4 в подборке «Из книги „Декабрь“». Печ. по Дкб., с. 31. *Лев у дворца сторожевой.* Ср. в «Медном всаднике» Пушкина: «С подъятой лапой, как живые, Стоят два льва сторожевые».

271. ЛР, 1968, 15 марта, с. 4 в подборке «Из книги „Декабрь“». Печ. по Дкб., с. 101. Поэт *Николай* Гаврилович *Полетаев* (1889—1935) поддержал молодого Смелякова в дни разноречивых критических оценок его работы. О выступлении Полетаева на творческом вечере Смелякова в газетном отчете сказано так: Полетаев... приветствует Смелякова как молодую смену» (ЛГ, 1932, 21 октября).

272. ЛР, 1968, 15 марта, с. 4 в подборке «Из книги „Декабрь“». В авторские сборники не включалось. *Шубин Павел* Николаевич (1914—1951) — советский поэт. *Не однажды, Россию спасая.* В годы Великой Отечественной войны Шубин находился в рядах Советской Армии, сотрудничал во фронтовой печати Волховского, Карельского и, после разгрома гитлеровской Германии, Дальневосточного фронтов. Награжден орденами и медалями.

273. ЛР, 1968, 15 марта, с. 4 в подборке «Из книги „Декабрь“». *Олеша Юрий* Карлович (1899—1960) — советский писатель.

274. П, 1968, 4 апреля в подборке «Из новых стихов».

275. П, 1968, 4 апреля в подборке «Из новых стихов». Печ. по Дкб., с. 97. Юрий Алексеевич *Гагарин* погиб при тренировочном полете на реактивном самолете 27 марта 1968 г. 30 марта был похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.

276. ЛГ, 1968, 1 мая, с. 7 в подборке без загл.

277. ЛГ, 1968, 1 мая, с. 7 в подборке без загл. Печ. по Дкб., с. 93. Стих. написано к 140-летию со дня рождения Л. Н. Толстого.

278. ЛГ, 1968, 5 июня, с. 2 в подборке «Калмыцкие стихи». Печ. по Дкб., с. 28.

279. ЛГ, 1968, 5 июня, с. 2 под загл. «Девятое мая», в подборке «Калмыцкие стихи». Печ. по Избр-4, т. 2, с. 110. В первоначальной редакции еще одно, заключительное шестистишие:

Летал над нами пух лебяжий,
стекал с ладоней жир говяжий,

и на эстраде у стола,
на эшафоте деревянном,
ты вся, с улыбкой полупьяной,
как лебедь белая, плыла.

280. ЛГ, 1968, 5 июня, с. 2 в подборке «Калмыцкие стихи». Печ. по Дкб., с. 30. *Прощай, любезная калмычка* — цитата из стих. Пушкина «Калмычке».

281. «Учительская газета», 1968, 2 июля; ДП, 1969 в подборке без загл. Печ. по Дкб., с. 18. В московской школе № 48, где с четвертого класса учился Смеляков, преподавал литературу Вениамин Михайлович Горбачевский. Запись беседы о нем с Я. Смеляковым см.: СС, т. 3, с. 359—364.

282. ДП, 1968, с. 105 в подборке без загл.

283. ДН, 1974, № 1, с. 16 в подборке «Стихи разных лет». Сохранился автограф (др. ред.).

284. ЛР, 1968, 20 декабря, с. 5 без загл. Печ. по Избр-4, т. 2, с. 159. *Казин Василий Васильевич* (р. 1898) — советский поэт, редактировал первые сборники стихов Смелякова (РиЛ-1, С-2). Смеляков писал: «Когда я слышу имя Василия Казина, мне всякий раз вспоминается школа-семилетка начала 20-х годов и напечатанные в хрестоматиях его стихотворения «Рабочий май» и «Ручной лебедь»... Жаль, что теперешней молодежи, нынешним ребятам, они почти неизвестны» (Избр-4, т. 2, с. 392). *Отец — водопроводчик, а дядюшка — портной.* Ср. стих. Казина «Мой отец — простой водопроводчик...» (1923) и строку из его стихотворения «Дядя или солнце?» (1921): «Он очень мил, мой дядюшка-портняжка...». *С Лениным снимался на карточке одной.* Речь идет о фотографии, запечатлевшей В. И. Ленина на Красной площади у Кремлевской стены во время первомайской демонстрации трудящихся в 1919 г.; среди участников демонстрации и В. В. Казин. *Заметил Луначарский.* А. В. Луначарский содействовал тому, чтобы первая книга стихов Казина «Рабочий май» вышла в свет (эта книга имеется в библиотеке В. И. Ленина). С. А. *Есенин* был дружен с Казиным, состоял с ним в переписке.

285. ДП, 1968, с. 104 в подборке без загл.; Дкб. Печ. по Избр-4, т. 2, с. 117.

286. ДП, 1968, с. 104 в подборке без загл. Ср. стих. Маяковского «Кофта фата», имевшее в первой публикации (1914) загл. «Желтая кофта».

287. Дкб., с. 91. См. также стих. № 183 и примеч.

288. ДН, 1974, № 1, с. 15 в подборке «Стихи разных лет». При жизни поэта не публиковалось.

289. ЛГ, 1969, 5 ноября, с. 4 в подборке без загл. *Назым Хикмет Ран* (1902—1963) — турецкий поэт и общественный деятель, коммунист. С 1921 по 1928 г. и после 1951 г. жил в СССР. *Не год, а десять*

с лишним лет — измененная автоцитата из стих. «Назым Хикмет в Москве», написанного после встречи писателей Москвы с Назымом Хикметом в 1951 г. (см. СС, т. 1, с. 268). Смеляков перевел стих. Хикмета «Сердце мое не здесь» (см. СС, т. 2, с. 597). *Дастан* — народное эпическое произведение, основанное на легендах и преданиях.

290. ЛГ, 1969, 5 ноября, с. 4 в подборке без загл.; «Поэзия», 1973, кн. 10 под загл. «Мы вышли все из сельской двери» (др. ред.), в подборке без загл. Печ. по МП, с. 134.

291. ЛГ, 1969, 5 ноября, с. 4 в подборке без загл. Печ. по РиЛ-4, с. 18. *Береста* — берестяные грамоты. Письма и документы XI—XV вв. на березовой коре. Открыты при раскопках древнерусских городов. *Второе русское крещенье.* Имеется в виду победоносная битва за Днепр в августе — декабре 1943 г. (Крещение Руси произошло ок. 989 г. в Киеве на Днепре).

292. Изв., 1969, 7 ноября без строфы 5. Печ. по Избр-4, т. 2, с. 11.

293. ДН, 1974, № 1, с. 17 под загл. «Четверым друзьям», в подборке «Стихи разных лет». Печ. по СВ, с. 53.

294. Изв., 1969, 31 декабря (новогодний выпуск) под загл. «Размышления возле новогодней елки» без строфы 11; ЛГ, 1970, 1 января, с. 7 под загл. «Размышления на новогодней елке»; «Отчизна», 1970, № 12 под загл. «Размышления на новогодней елке», без строфы 7; ДП, 1970 под загл. «Размышления возле новогодней елки», без строфы 11; Связной Ленина; «День поэзии России», М., 1972 в подборке без загл. Печ. по РиЛ-4, с. 11. Эпиграф — из стихотворения Ф. С. Шкулева (1868—1930) «Кузнецы» (1906). *У Ленина на елке.* В 1923 г., «в новогодний вечер для детей, живущих в Горках, была устроена елка» (Владимир Ильич Ленин. Биография, изд. 5, М., 1972, с. 681). *Вифлеемская звезда* — см. примеч. 336. *Сестра* — Мария Ильинична Ульянова. *Они недаром, Серп и Молот, над вами реяли тогда.* Ср. стих. Шкулева «Под серпом и молотом» (1920).

295. ЛГ, 1970, 22 июля, с. 7 без загл., с посвящ. «Посвящается Акопу Салахяну». Печ. по Избр-4, т. 2, с. 18. *Салахян* Акоп Ншанович (1922—1969) — советский литературовед и критик; в 60-х годах Смелякова связывала с Салахяном совместная работа в ДН, где Смеляков вел отдел поэзии, а Салахян был заместителем главного редактора. *Баруздин* Сергей Алексеевич (р. 1926) — советский писатель, главный редактор ДН.

296. Ог., 1970, № 8, с. 2. Печ. по Связной Ленина, с. 40. Под загл. «Связной Ленина» в 1970 г. вышел небольшой сборник стихотворений и переводов, включивший в себя стихи разных лет и переводы.

297. Изв., 1970, 8 ноября под загл. «Красный цветок». Печ. по СВ, с. 12.

298. Связной Ленина, с. 39. Печ. по Избр-4, т. 2, с. 14.

299. НМ, 1971, № 1, с. 3 под загл. «Народному другу»; ДП, 1971. Печ. по СВ, с. 7.

300. ДН, 1974, № 1, с. 12 в подборке «Стихи разных лет». При жизни автора не публиковалось.

301. Юн., 1973, № 12, с. 2 в подборке «Из неопубликованного». *Последнее это свиданье* и т. д. «18 октября 1923 года Владимир Ильич решил побывать в Москве. Вместе с ним поехали Надежда Константиновна и Мария Ильинична. Настроение у него во время поездки было самое хорошее; когда подъезжали к городу, он снял кепку и приветственно помахал ею. ...Это был последний приезд Владимира Ильича Ленина в Москву» (Владимир Ильич Ленин. Биография, изд. 5, М., 1972, с. 681).

302. ДН, 1974, № 1, с. 14 в подборке «Стихи разных лет». При жизни автора не публиковалось.

303. СВ, с. 47.

304. ДН, 1974, № 1, с. 15 в подборке «Стихи разных лет». При жизни автора не публиковалось. *В твоих конторских записях, Донбасс, вписал конторщик Павла Иванова.* Беспощадный (псевд., настоящая фамилия — Иванов Павел Григорьевич, 1895—1968) — советский поэт, был в 1907—1917 гг. рабочим Донбасса; основная тема его стихов — труд шахтеров. В первой половине 30-х годов Смеляков не раз выступал вместе с Павлом Беспощадным на литературных вечерах в Донбассе.

305. НМ, 1973, № 8, с. 99 в подборке «Стихи разных лет», с датой: 1972. При жизни поэта не публиковалось. *Овидий* — Публий Овидий Назон (43 до н. э. — 17) — древнеримский поэт.

306. СВ, с. 41. *Я даже и не с тем поэтом* и т. д. Речь идет о стих. Б. Слуцкого «Физики и лирики», впервые опубликованном в ЛГ, 1959, 13 октября и вызвавшем оживленную полемику. Оно начинается словами:

Что-то физики в почете,
Что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчете,
Дело в мировом законе.

См. также примеч. к стих. № 337.

307. ЛГ, 1973, 5 декабря, с. 7 без строф 9, 10, в подборке «Из неопубликованного». Печ. по СВ, с. 49.

308. ЛГ, 1972, 22 марта, с. 7 в подборке «Новые стихи». В 1972 г., в последний год жизни Я. В. Смелякова, появились две большие публикации его новых стихотворений — в ЛГ и в Юн. «Первые месяцы нынешнего года оказались для меня временем активной работы: я

написал половину новой книги стихов. Этому предшествовал, как всегда бывает у меня, длительный период накопления материала, чтения книг, размышлений... Стихотворения, которые я предлагаю читателям... не являются циклом. Циклов я никогда не писал. Я стремлюсь к тому, чтобы каждое отдельное стихотворение было тематически законченным, не требующим непременного продолжения...» (ЛГ, 1972, 22 марта, с. 7). По свидетельству Т. В. Смеляковой-Стрешневой, последнее стихотворение, написанное поэтом, — «Колыбель человечества» (№ 324). Другие, также относимые ею к 1972 г., оставались в черновиках и были опубликованы посмертно. Публикации 1972 г. и забытые стихотворения разных лет, нашедшиеся в периодике, вместе со стихотворениями, посмертно опубликованными в 1973—1975 гг., составили СВ. *То исполнение стихов, как исполненье предсказанья.* Намек на стих. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».

309. ЛГ, 1972, 22 марта, с. 7 в подборке «Новые стихи».

310. ЛГ, 1972, 22 марта, с. 7 в подборке «Новые стихи».

311. ЛГ, 1972, 22 марта, с. 7 в подборке «Новые стихи». *ЦСУ* — Центральное статистическое управление. *Они с моею старшею сестрой.* Сестра поэта — Зинаида Васильевна Смелякова (1899—1971). Первое опубликованное поэтом стихотворение «Баллада о числах» (1931, см. стих. № 1) было, по-видимому, навеяно и теми впечатлениями, о которых он рассказал уже в 1972 г., в стих. «Сотрудницы ЦСУ».

312. ЛГ, 1972, 22 марта, с. 7 в подборке «Новые стихи».

313. ЛГ, 1972, 22 марта, с. 7 в подборке «Новые стихи».

314. ЛГ, 1972, 22 марта, с. 7 под загл. «Благодарность», в подборке «Новые стихи». Печ. по СВ, с. 61. *Сюда пришел Сергей Есенин* и т. д. По-видимому, имеется в виду стих. Есенина «Зеленая прическа...».

315. ЛГ, 1972, 22 марта, с. 7 в подборке «Новые стихи».

316. Юн., 1972, № 5, с. 2 в подборке без загл.

317. Юн., 1972, № 5, с. 2 без загл., в подборке без загл. Печ. по ДП, 1972, с. 36.

318. НМ, 1973, № 8, с. 99 с датой: 1972, в подборке «Стихи разных лет». При жизни автора не публиковалось.

319. Юн., 1973, № 12, с. 3 в подборке «Из неопубликованного».

320. Юн., 1973, № 12, с. 2 в подборке «Из неопубликованного».

321. ДН, 1974, № 1, с. 13 в подборке «Стихи разных лет».

322. НМ, 1973, № 8, с. 97 с датой: 1972, в подборке «Стихи разных лет». При жизни автора не публиковалось.

323. Зн., 1975, № 3, с. 75 в подборке «Стихи разных лет. Из неопубликованного наследия».

324. ЛГ, 1972, 22 марта, с. 7 в подборке «Новые стихи». *Колыбель человечества.* Имеется, по-видимому, в виду высказывание К. Э. Циолковского: «...Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели» (цит. по кн.: А. А. Космодемьянский, «Константин Эдуардович Циолковский (1857—1935)», М., 1976, с. 186). См. примеч. 308.

ПОЭМЫ

325. С-1, с. 27 (др. ред.) под загл. «Искренность», без разделения на главки: ст. 1—23 под загл. «Первое вступление в поэму. (Когда еще неизвестен ее запах)», ст. 24—387 под загл. «Второе вступление в поэму. (Когда поэма кажется ясной)»; С-2 под загл. «Начало поэмы», без ст. 37—49; КС без ст. 37—49, 278—280, 292, 293; Избр-3, т. 2. Печ. по Избр-4, т. 2, с. 251. В С-1 публикуемый текст является своеобразным прологом к поэме, два фрагмента которой помещены там же: первый — под загл. «Из поэмы», второй — под загл. «Первый кульминационный пункт поэмы». Впоследствии автор отказался, по-видимому, от этого замысла и публиковал пролог как самостоятельное произведение. Для поэмы Смелякова характерна некоторая близость к поэме Л. Лаврова «Нобуж» (т. е. «Наука об уплотнении жизни», 1929). Отводя от Смелякова упреки в подражательности и эклектичности, раздававшиеся в критике 30-х годов, поэт Н. Ушаков писал: «Он меньше всего открыватель новых путей или изобретатель, но найденное Л. Лавровым (раньше Светловым и другими) он делает настолько органически своим, что приходится говорить не о подражании, а о самостоятельной переплавке заимствованных приемов» (Н. Ушаков, Поэт третьего призыва. — «Художественная литература», 1934, № 8, с. 27). Сам Смеляков писал о разнохарактерных влияниях, испытанных им в начале творческого пути, о преодолении их и выборе своих учителей в поэзии в статье «Как возникают стихи» (ЛГ, 1971, 30 июня, с. 8).

⟨Глава⟩ 7. *Давиденко* Александр Александрович (1899—1934) — советский композитор, автор музыки для хоров на революционные темы; широко бытовали его песни «Море яростно стонало...», «Конная Буденного», «Винтовочка». *Бульвар, от которого даже Пушкин* и т. д. Памятник Пушкину работы А. М. Опекушина сооружен в Москве в 1880 г. и находился на Тверском бульваре. В 1950 г. перенесен на противоположную сторону площади Пушкина.

⟨Глава⟩ 10. *Юнгштурм* — см. примеч. 123. *Рик* — районный исполком. *Семенов* Г. М. (1890—1946) — атаман Забайкальского казачьего войска; в период гражданской войны (1918—1920) с помощью японских милитаристов установил в Забайкалье военную диктатуру («семеновщина»). *Чемберлен* — см. примеч. 9.

326. Ог., 1940, № 17-18, с. 16. Печ. по Избр-3, т. 2, с. 192. В первой публикации излагалось (от редакции) краткое содержание всей поэмы, по-видимому, так и не завершенной Смеляковым.

327. НМ, 1949, № 2, с. 3 в составе 11-ти глав: 1. Золотой огонек. 2. Отцы и деды. 3. Машина. 4. В комсомольском общежитии. 5. В кабинете парторга. 6. Свидание. 7. Третья смена. 8. Стоит комсомолец в забое. 9. Говорите с Москвой. 10. Возле братской могилы. 11. Послесловие; С-3 (в том же составе). Печ. по Избр-3, т. 2, с. 179. Разрозненные публикации глав, в том числе исключенных из окончательной редакции, в качестве самостоятельных стих.: Избр-1 (главы «Золотой огонек», «Отцы и деды», «Машина», «В комсомольском общежитии», «Возле братской могилы», «Послесловие») в составе цикла «Стихи о Мосбассе». Во второй половине 40-х годов автор, по-видимому, одновременно работал над поэмой «Лампа шахтера» и пьесой «Друзья Михаила Югова» (см. примеч. 88), написанной на ту же тему долга и следования революционным и боевым традициям; в основу ее положен тот же, что и в поэме, жизненный материал.

Золотой огонек. СП, 1948, 29 октября под загл. «Главы из поэмы. 2. Шахтерская лампа» (др. ред.); С-3, с. 109. *Джокьякартский батрак.* Город Джокьякарта был временной столицей Республики Индонезии в период национально-освободительной войны 1946—1949 гг.

Отцы и деды. СП, 1948, 29 октября под загл. «Главы из поэмы. 1. Родословная». С-3, с. 113.

Третья смена. НМ, 1949, № 2, с. 14 в подборке «Лампа шахтера»; С-3, с. 133.

Возле братской могилы. НМ, 1949, № 2, с. 17 в подборке «Лампа шахтера»; С-3, с. 140. *Истпарт* — Научно-исследовательский институт истории партии. С 1931 г. — институт Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК КПСС. *Двадцать шесть комиссаров* — революционные деятели Закавказья, расстрелянные 20 сентября 1918 г. английскими интервентами и их пособниками эсерами в Закаспийских степях. *Турксиб* — см. примеч. 1. *Бригады Магнитной горы* — строители Магнитогорского металлургического комбината, строительство которого было начато в 1929 г. на Урале. В 1932 г. по заданию Оргкомитета Союза писателей поэт ездил в Магнитогорск, принимал участие в работе Магнитогорского литературного объединения; в 1956 г. он написал об этом времени и о своей работе в Магнитогорске стих. «Магнитка» (№ 109). *Фучик* Юлиус (1903—1943) — чешский писатель, национальный герой ЧССР. В 1943 г. казнен в фашистской Германии. *Талалихин* Виктор Васильевич (1918—1941) — летчик-истребитель; в 1941 г. впервые произвел таран в воздушном бою, Герой Советского Союза. *Комсомольцы Триполья* — комсомольский отряд, героически сражавшийся в 1919 г. с бандой кулацкого атамана Зеленого в местечке Триполье на Украине.

Братья. «Труд», 1948, 20 августа без строф 6, 12, 16; «Год XXXII», Альманах второй, М., 1949 без строф 5, 6, в подборке «Три стихотворения»; С-3, с. 104 с датой: 1946.

328. Отрывки (ст. 1—192) — См., 1955, 15 декабря с подзаг. «Отрывок из поэмы». Впервые полностью: Окт., 1955, № 12, с. 89. С разно-

чтениями: СЛ-1 с датой: 1953—1955 и подписью в конце: «Конец первой части»; Избр-1 с датой: 1953—1955; СЛ-2; РиЛ-2. Печ. по РиЛ-4, с. 331 с восстановлением по ряду прижизненных публикаций ст. 29—32. В отрывках: С-4 с подзаг. «Главы из повести в стихах» (ст. 1—192, 529—760) с датой: 1953—1955; ЗЗ; КС; МКР; Избр-3, т. 2; Связной Ленина (ст. 149—192) под загл. «Пальто». Сохранился автограф — полный текст поэмы, относящийся к началу 50-х годов (г. Инта). «Классовая борьба, мировая революция, сталь и хлеб, ударная работа — вот чему мы отдавали себя без остатка. Эту духовную атмосферу, этот коллективный пафос молодого ополчения индустрии я и хотел воскресить в стихотворной повести «Строгая любовь», написанной двадцать лет спустя с тех пор, когда была окончена моя фабричная школа. И я был счастлив каждой удаче, когда слагал свою повесть изустно, как акыны, по нескольку строчек в день», — писал позднее Смеляков («Дорогая школа». — ЛГ, 1970, 4 ноября, с. 5). Первая публикация поэмы вызвала целый поток статей и рецензий. Для обсуждения «Строгой любви» созывались читательские конференции, проводились вечера в библиотеках и заводских клубах. «Комсомол — это моя извечная тема, и я был бы счастлив, если бы когда-нибудь написал поэму такого же высокого качества, как „Строгая любовь“», — говорил Михаил Светлов («Спасибо поэту!». — «Москва», 1957, № 3, с. 190).

⟨Глава⟩ 1. *Школа имени Ильича.* В 1930 г. по направлению биржи труда подростков Смеляков поступил в Центральную полиграфическую школу Мосполиграфа. «...Я был принят в школу фабрично-заводского обучения имени Ильича, в цех машинного набора. Мне было семнадцать лет, и я, как, впрочем, и сейчас, не представлял себе жизни без стихов и Советской власти... С тех пор во мне живет повышенно почтительное отношение к печатному слову, и я всегда как бы взвешиваю на руке свою или чужую стихотворную строчку» («Дорогая школа». — ЛГ, 1970, 4 ноября, с. 5). *Магнитострой* — см. примеч. 327. *Днепровские зори.* Имеется в виду строительство в 1927—1932 гг. первенца социалистической индустрии Днепровской гидроэлектростанции.

⟨Глава⟩ 2. *Чемберлен* — см. примеч. 9. *МОПР* — Международная организация помощи борцам революции, существовала в 1922—1947 гг., активно участвовала в борьбе против наступления фашизма и войны. *Охматмлад* — Общество охраны материнства и младенчества, функционировало в 20-х годах. *Прямая, как штык, синеблузная роль.* Программы «Синей блузы» — театральной самодеятельности 20-х годов — составлялись из обозрений на злободневную производственную тему; о своем участии в подобного рода самодеятельном коллективе — агитбригаде — поэт рассказал в автобиографической заметке «Несколько слов о себе» (Избр-4, т. 2, с. 371). *Муций Сцевола* — римский юноша, который, по преданию, положил правую руку на пылающий жертвенник и тем выказал силу духа римлянина. *«Допрос коммунистов»* (1933) — картина художника Б. В. Иогансона. *«Броненосец „Потемкин“»* (1925) — кинофильм С. М. Эйзенштейна.

⟨Глава⟩ 3. *Диффузор* — радиорепродуктор («тарелка»). *Конвент* — национальное собрание, высший правительственный орган в период Великой французской революции. *Марат* — см. примеч. 158. *На роялистского агента.* Роялисты — сторонники монархии Бурбонов.

В первоначальном (рукописном) варианте 3-й главе предшествовало вступление, не вошедшее в печатный текст:

Не захалтуренным пером,
не прибедняясь, не вещая, —
я главку эту целиком
одной девчурке посвящаю.

Пусть возражает критик мой, —
решил я твердо и спокойно,
что этой чести небольшой
она, конечно же, достойна.

Не зря в том трудном далеке,
в то время хлеба и металла
на красной все-таки доске
ее фамилия стояла.

И, оглушительно крича,
жмя, так сказать, на все педали,
собранья школы Ильича
не зря ей премию вручали.

Не только нам, заставе всей
была приятельски знакома
подружка юности моей,
душа субботников райкома.

Пожалуй, кто-нибудь чужой,
какой-нибудь знаток спесивый,
за острый нос и рот большой
ее назвал бы некрасивой.

Но мы-то вовсе не за ту,
хотя и юношами были,
а за иную красоту
свое сокровище любили.

От ранней зорьки до огней
она без отдыха кружила,
и вился штопором за ней
благоуханный запах мыла.

Едва почуяв запах тот,
невольно радовались все мы...
Но пусть она сама войдет
в мою правдивую поэму.

⟨Глава⟩ 4. *...как возле двери рая, среди аптечных банок и зеркал* — измененная автоцитата из первоначального (рукописного) варианта стих. «Манон Леско» (см. примеч. 68): «...угловой аптеки автомат... меж сосок и духов». *И поздними влюбленными звонками мне некого и незачем будить.* Ср. у Маяковского («Из неокончен-

ного»): «Я не спешу И молниями телеграмм мне незачем тебя будить и беспокоить».

⟨Глава⟩ 5. *Кавалерии легкой тройка* — одна из форм общественного контроля в 20-х годах.

329—335. Все фрагменты впервые — МГ, 1956, № 1, с. 77—83 в подборке «„Строгая любовь". Из поэмы». Печ. по РиЛ-4, с. 366.

⟨1⟩. *Днепрострой* — см. предыдущее примеч. *Магнитка* — см. примеч. 327.

⟨3⟩. *Беспартийной звезды волхвов* и т. д. — ироническое переосмысление евангельской легенды о звезде, загоревшейся в небе Вифлеема и приведшей волхвов к яслям, где родился Иисус Христос.

⟨7⟩. МГ, 1956, № 1, с. 83; РоГ; РиЛ-2. *Счастлив я, что его застал* и т. д. «Мне еще удалось увидеть его самого четыре раза: на вечере в Политехническом, на чтении «Бани» в Доме печати, на закрытии его собственной выставки, на Тверской улице», — вспоминал Смеляков («Слово — оружие». — П, 1968, 19 июля).

336. Отдельные главы: Призывник — НМ, 1957, № 5, с. 98 в подборке без загл.; РиЛ-2; С-4 с датой: 1957; КС; Избр-2; Роза Таджикистана; СЛ-3. Утренняя глава — ЛГ, 1960, 27 декабря, с. 2 под загл. «Утреннее стихотворение», в подборке «Новые стихи». Давних дней героини — П, 1965, 17 декабря. Чухновский — П, 1968, 4 апреля в подборке «Из новых стихов». Смоленск и Пирушка в Испании — ЛГ, 1968, 1 мая, с. 7 в подборке без загл. Испытательный срок — П, 1968, 5 августа в подборке «Из „Комсомольской поэмы"». С неба падает снег зимы — Кн. обозр., 1968, 6 ноября, с. 11. Впервые как поэма (не полностью): гл. 1—3, 5, 8—13, 15, 18, 21, 26 — ЛР, 1968, 14 июня, с. 2 под загл. «Комсомольская поэма». Отдельные главы (14, 16, 17) — Ог., 1968, № 30, с. 12 под загл. «„Комсомольская поэма". Новые главы». Главы 1, 9, 10, 16, 22, 23 — в кн.: «Лауреаты Ленинского комсомола», М., 1970, с. 109 под загл. «Молодые люди. Комсомольская поэма», в числе других стих. Я. Смелякова, в подборке без загл. Впервые полностью — «Работница», 1968, № 9, 2-я с. обл.; отд. изд. под загл. «Молодые люди»; ТК. Печ. по Избр-4, т. 2, с. 209. Поэма написана весной и летом 1968 г. в Риге. Как отдельные главы в нее включены три стихотворения из сборников предшествующих лет: «Призывник», «Утренняя глава», «Давних дней героини». В поэму вошли также три фрагмента, написанные в начале 50-х годов в г. Инта для повести в стихах «Строгая любовь»: «Комсомольская школа», «Огонек», «Баллада 30-го года». «Новая поэма — своеобразное продолжение «Строгой любви».... Наряду с похвалами я иногда слышу и упреки в однообразии. Но я не принадлежу к тем людям, которые могут писать то об этом, то о том, то так, то этак. Тема рабочей молодости «сама выбрала» меня, и всем лучшим я обязан ей», — писал Смеляков в статье «Товарищ комсомол» (ЛГ, 1968, 30 октября, с. 2). За поэму «Молодые люди» Я. В. Смелякову была присуждена премия Ленинского комсомола 1968 г.

Летописец Пимен. *Пимен* — персонаж драмы Пушкина «Борис Годунов».

Сергей Есенин. *Визжал, как та визжала сука* и т. д. Имеется в виду стих. Есенина «Песнь о собаке» (1915). *Задрав штаны, за комсомолом* и т. д. — перифраз строки из стих. Есенина «Русь уходящая» (1924). *Дышали рыхлые драчены* и т. д. — измененная строка из стих. Есенина «В хате» (1914).

Губернская Рязань. Зимой 1928—1929 гг. Смеляков работал в Рязани сотрудником редакции «Деревенской газеты». *Демьян* — советский поэт Демьян Бедный (1883—1945).

Чуховский. *Чуховский* Борис Григорьевич (1898—1975) — полярный летчик; в 1928 г. командовал летной группой на ледоколе *«Красин»*, участвовал в спасении членов экипажа дирижабля *«Италия»*, потерпевшего аварию в экспедиции на Северный полюс.

Комсомольская школа. *Я в типографию попал.* См. примеч. 328 (глава 1) и автобиографию Смелякова, наст. изд., с. 51. *Шахтинский процесс.* В 1928 г. в Москве шел судебный процесс по Шахтинскому делу (Шахтинский — название района в Донбассе) над антисоветски настроенными специалистами, проводившими вредительскую деятельность в каменноугольной промышленности Донбасса. *Над Мавзолеем деревянным.* В 1930 г. по решению Советского правительства временный деревянный Мавзолей В. И. Ленина, сооруженный в 1924 г. по проекту академика А. В. Щусева, был заменен постоянным, воспроизводящим деревянный в граните, мраморе, лабрадоре, порфире.

Нюра Ершова. *Как сорок тысяч юных братьев* — измененные слова Гамлета из одноименной трагедии Шекспира в русском переводе.

Мастер. *Лишь я один твое ученье* и т. д. «...Заметив, что я набираю не академический оригинал с листа, а собственные стихи по памяти (было так заманчиво увидать только что написанное стихотворение в наборе!), тяжело вздохнул и негромко сказал мне: „Двумя делами сразу заниматься нельзя. Выбирай то или другое“», — вспоминал Смеляков («Дорогая школа». — ЛГ, 1970, 4 ноября, с. 5).

«Огонек». *Зозуля Ефим* Давыдович (1891—1941) — советский писатель, был заместителем редактора «Огонька», вел, начиная с 1931 г., занятия литактива журнала; в 1931—1934 гг. неоднократно писал о Смелякове, редактировал его первые сборники, изданные в Библиотеке «Огонька». *Кольцов* Михаил Ефимович (1898—1942) — советский писатель, был основателем и редактором «Огонька». *Известны наши имена.* См. автобиографию Смелякова, наст. изд., с. 53.

Баллада 30-го года. Рассказ поэта о его товарищах по фабрично-заводской школе и о первоначальном замысле «Строгой любви» и ее прототипах записан критиком А. С. Елкиным («Повесть о стихах и их судьбах», М., 1969, с. 19—20). Основываясь на этой записи, можно сделать предположение, что первоначальный замысел «Строгой любви» в какой-то мере отразился в «Балладе 30-го года». При этом надо иметь в виду, что запись Елкина в той части, где говорится о прототипах «Строгой любви», не совпадает с тем, что позднее, в статье «Дорогая школа», написал сам поэт о прототипах этого произведения.

Асфальтитовый рудник. *Асфальтиты* — твердые природные битумы, скопляющиеся в местах выходов нефти.

З и м н я я с к а з к а. *Матэ Залка* (1898—1937) — венгерский писатель, участник гражданской войны; в описываемое время работал в аппарате ЦК ВКП(б).

П и р у ш к а в И с п а н и и. *Матэ Залка* под именем генерала Лукача командовал 12-й Интернациональной бригадой в Испании, Михаил *Кольцов* освещал в «Правде» ход событий национально-революционной войны; в 1933 г. вышел «Испанский дневник» Кольцова.

З о я. В 1945 г. Смеляков начал писать поэму о *Зое* Космодемьянской (1923—1941). В рассказе поэта, записанном в 1969 г. Б. И. Аниным, есть упоминание этой работы: «Поэма о Зое так и не осуществилась, но от многих раздумий остались... наброски строк и четверостиший» (Б. Анин, Учитель в моей жизни, М., 1977, с. 130).

Т и п о г р а ф и я. *И отдал ей, как шуба Орше дарилась с царского плеча.* Имеются в виду строки об Иоанне Грозном — «Он дал ему в веселый миг Соболью шубу с плеч своих» — из юношеской поэмы Лермонтова «Боярин Орша».

У т р е н н я я г л а в а. *Легендарная четверка.* Весной 1960 г. четверо советских военнослужащих, А. Зиганшин, И. Федотов, А. Крючковский и Ф. Поплавский, на барже, унесенной штормом, сорок девять дней дрейфовали в океане.

ПЕРЕВОДЫ

С УКРАИНСКОГО

Максим Рыльский

Максим Фаддеевич Рыльский (1895—1964) — украинский советский поэт, ученый, общественный деятель. Я. Смеляков перевел ряд стихотворений М. Рыльского.

337. П, 1960, 10 января. *Дискуссия об искусстве* развернулась в 1959 г. на страницах КП. Она открылась статьей И. Эренбурга «Ответ на одно письмо» (КП, 1959, 2 сентября). 11 октября в газете была помещена большая подборка дискуссионных материалов под загл., взятым из письма студентки, на которое отвечал Эренбург: «Человеку и в космосе нужна будет ветка сирени...» В числе прочих материалов было письмо инженера И. Полетаева, отрицавшего необходимость существования искусства в век НТР. Затем дискуссия перешла на страницы ЛГ и ЛиЖ, где в нее включились поэты и критики. Среди них: Б. Слуцкий (стих. «Физики и лирики» — ЛГ, 1959, 13 октября. Отклик на него — стих. Смелякова № 306), А. Павловский («Остается ли луна спутником поэзии?» — ЛиЖ, 1959, 9 декабря), П. Антокольский («Поэзия и физика» — ЛГ, 1960, 21 января), К. Зелинский («Камо грядеши?» — ЛГ, 1960, 5, 10 марта), А. Салиев («Физике — свое, поэзии — свое» — ЛГ, 1960, 2 июля).

338. ДН, 1962, № 3, с. 154 под загл. «Тодось», в подборке «Новые переводы». Печ. по Избр-3, т. 2, с. 215. Перевод стих. «Тодось».

Саксаганский Панас (псевд. Тобилевича Афанасия Карповича, 1859—1940) — украинский советский актер, режиссер, педагог, народный артист СССР. *Копач* — персонаж пьесы украинского драматурга Карпенко-Карого (псевд. Тобилевича Ивана Карповича, 1845—1907) «Сто тысяч». *Стерны.* Стерн Лоренс (1713—1768) — английский писатель. *Чемберлен* — см. примеч. 9. *Самоед* — старое название народов, говорящих на самодийских языках, — ненцев, энцев, нганасан, селькупов. *Хунхуз* — участник шайки бандитов, грабителей (в феодально-буржуазном Китае). *Когда из черной глубины Цусимы.* Имеется в виду морское сражение 14—15 (27—28) мая 1905 г. у островов Цусимы между русской эскадрой и японским флотом во время русско-японской войны 1904—1905 гг.; закончилось поражением русской эскадры. Война была проиграна царской Россией, что дало толчок развитию первой русской революции 1905—1907 гг. *Эсдек* — социал-демократ. *Карла Маркса с петербургским путал издателем.* Маркс Адольф Федорович (1838—1904) — русский издатель и книгопродавец. *Энгельгардт* (Георг-Рейнгольд, Егор Антонович, 1775—1862) — писатель и педагог, с 1816 по 1823 г. состоял директором Царскосельского Лицея. *Бербанк* Лютер (1849—1926) — американский селекционер-дарвинист, ученый-самоучка. *Словом тихим и не злым.* Намек на последние строки стих. Т. Г. Шевченко «Завещание»: «Не забудьте, помяните незлым, тихим словом».

339. ДН, 1962, № 3, с. 157 в подборке «Новые переводы». Перевод стих. «Осінній Київ».

Андрей Малышко

Андрей Самойлович Малышко (1912—1970) — украинский советский поэт. Смеляков перевел ряд стихотворений А. Малышко. Часть переводов вошла в С-3 и Избр-4, т. 2.

340. Зн., 1949, № 9, с. 4 в подборке «Малышко А. Из „Весенней книги"». Перевод стих. «Дівоча». *Криница* — родник, колодец. *Стерня* — сжатое поле, жнивье. *Буерак* — небольшой овраг.

341—342. ДН, 1961, № 3, с. 40.

⟨1⟩. Перевод стих. «Хотів би я стати явором в полі. . .». *Явор* — белый клен. *Кос-Арал* — форт в устье реки Сырдарьи.

⟨2⟩. Перевод стих. «От прийшов бы ти, невмирующий, через ночі і через гори. . .». *Катерина* — героиня одноименной поэмы Т. Г. Шевченко.

С БЕЛОРУССКОГО

Аркадий Кулешов

Аркадий Александрович Кулешов (1914—1978) — белорусский советский писатель.

343. НМ, 1948, № 4, с. 83 в подборке «Четыре стихотворения Аркадия Кулешова». Перевод стих. «Балада пра вестку».

344. НМ, 1948, № 4, с. 84 в подборке «Четыре стихотворения Аркадия Кулешова». Печ. по С-3, с. 153. *Перевод стих. «Навагодняя елка».*

345. Зн., 1948, № 6, с. 48. Печ. по С-3, с. 151.

С КАЗАХСКОГО

Абай Кунанбаев

Абай Кунанбаев (1845—1904) — казахский поэт-просветитель, родоначальник новой письменной казахской литературы. Стихи Абая включены в роман М. О. Ауэзова (1897—1961) «Путь Абая» (1952—1956).

346—349. В кн.: Ауэзов Мухтар, Путь Абая. Роман в 2-х кн. Пер. с казахского, кн. 2, Алма-Ата, 1958. Печ. по кн.: Ауэзов Мухтар, Путь Абая, т. 2, М., 1971, с. 493, 495, 385, 456, 457.

Джамбул

Джамбул Джабаев (1846—1945) — казахский народный поэт-акын. Смеляков перевел ряд стихотворений Джамбула. Часть переводов вошла в КЕ, ЗЗ, Избр-3, т. 2, Избр-4, т. 2.

350. В кн.: Джамбул, Избранные песни. Пер. с казах., М., 1946, с. 160.

351. ЛГ, 1958, 20 декабря.

Абдильда Тажибаев

Абдильда Тажибаев (р. 1909) — казахский советский поэт и драматург. Смеляков перевел ряд стихотворений А. Тажибаева. Часть переводов вошла в ЗЗ, Избр-3, т. 2, Избр-4, т. 2.

352. «Москва», 1957, № 9, с. 68 в подборке «Из казахской лирики». *Самим великим Гейне* и т. д. Имеется в виду «Книга песен» (1827) Г. Гейне (1797—1856), цикл стихотворений «Опять на родине». *Немало у Тараса днепровских есть стихов.* См., например, стихи Т. Г. Шевченко «Порченая» (1837), «Сестре» (1859), «Над днепровской водою. . .» (1860) и др.

353. Изв., 1957, 22 августа под загл. «Молодость земли». Печ. по Избр-4, т. 2, с. 288.

Гали Орманов

Гали Орманов (р. 1907) — казахский советский поэт. Переводы из Орманова вошли в ряд изданий Смелякова, в том числе в Избр-4, т. 2.

354. В кн.: Орманов Г., Глазами мысли, Алма-Ата, 1958, с. 64. Печ. по Связной Ленина, с. 45.

355, 356. В кн.: Орманов Г., Глазами мысли, Алма-Ата, 1958, с. 103, 63.

Халижан Бекхожин

Халижан Бекхожин (р. 1913) — казахский советский поэт.

357. НМ, 1949, № 6, с. 14 в подборке «А. С. Пушкину»; ЗЗ. Печ. по Избр-3, т. 2, с. 230. *Абай... поэзию Пушкина нам подарил.* Абаю Кунанбаеву (см. о нем с. 730) принадлежат высокохудожественные переводы из Пушкина, Лермонтова, Крылова, которые были его любимыми русскими поэтами.

Джубан Мулдагалиев

Джубан Мулдагалиев (р. 1920) — казахский советский поэт.

358. НМ, 1958, № 12, с. 151 — сокращенный вариант с подзаг. «Из поэмы»; ЗЗ — ст. 1—36 с подзаг. «Вступление к поэме»; Связной Ленина — ст. 263—306 с подзаг. «Из поэмы». Печ. по Избр-4, т. 2, с. 296. *Но нашей Республики быть одногодком.* В 1920 г. была образована Киргизская АССР в составе РСФСР, в 1936 г. — преобразована в Казахскую ССР. *Абай* — см. о нем с. 730. *Турксиб* — см. примеч. 1. *Тё Ги Чен* — писатель КНДР, поэт и прозаик. *Яик* — река Урал. *Из искры одной возгорается пламя.* «Из искры возгорится пламя» — цитата из стих. поэта-декабриста А. И. Одоевского (1802—1839), написанного в Сибири в ответ на стихотворное послание А. С. Пушкина, обращенное к сосланным на каторгу декабристам («Во глубине сибирских руд...», 1826). Строка «Из искры возгорится пламя» поставлена эпиграфом в заголовке газеты «Искра» (1900—1903), организатором и идейным руководителем которой был В. И. Ленин. *Ильич вместе с Крупской в гостях у сирот.* 19 января 1919 г. В. И. Ленин и Н. К. Крупская побывали на празднике в лесной школе под Москвой (см.: Н. К. Крупская, Воспоминания о Ленине, изд. 2, М., 1972, с. 419).

С ГРУЗИНСКОГО

Николоз Бараташвили

Николоз Бараташвили (1817—1845) — грузинский поэт-романтик.

359. ЛГ, 1970, 25 марта, с. 7. *Мерани* — крылатый вороной конь; популярный образ грузинской мифологии и древней поэзии, близкий античному Пегасу.

С АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО

Расул Рза

Расул Рза (псевд., наст. имя — Расул Ибрагим оглы Рзаев, р. 1910) — азербайджанский советский поэт.

360. Ог., 1962, № 12, с. 14. Печ. по Избр-4, т. 2, с. 274. *«Кавказ подо мною»* — из стих. Пушкина «Кавказ».

Осман Сарывелли

Осман Сарывелли (псевд., полное имя — Осман Абдулла оглы Курбанов, р. 1905) — азербайджанский советский поэт.

361. ЛиЖ, 1959, 29 мая в подборке «Стихи азербайджанских поэтов».

С ЛИТОВСКОГО

Юстинас Марцинкявичус

Юстинас Мотеяус Марцинкявичус (р. 1930) — литовский советский писатель.

362. ЛиЖ, 1960, 15 мая в подборке «Дни литовской поэзии». *Ты помнишь, солнце, как Маяковский* и т. д. См. стих. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» (1920).

С МОЛДАВСКОГО

Петру Заднипру

Петру Заднипру (р. 1927) — молдавский советский поэт.

363. «Советская Молдавия», 1968, 15 декабря; ДН, 1969, № 3, с. 111 в подборке под загл. «Заднипру Петру. Новые стихи». Печ. по Избр-4, т. 2, с. 323.

364. ДН, 1969, № 3, с. 111 в подборке под загл. «Заднипру Петру. Новые стихи».

С ЛАТЫШСКОГО

Ояр Вациетис

Ояр Вациетис (р. 1933) — латышский советский поэт.

365. ДН, 1960, № 2, с. 155. Печ. по Избр-3, т. 2, с. 276.

С КИРГИЗСКОГО

Темиркул Уметалиев

Темиркул Уметалиев (р. 1908) — киргизский советский поэт.

366. ДН, 1962, № 1, с. 149 под загл. «Аркыту», в подборке «Поэты сегодняшней Киргизии». Печ. по Избр-3, т. 2, с. 272.

Кубанычбек Маликов

Кубанычбек Маликов (р. 1911) — киргизский советский поэт и драматург.

367. ДН, 1962, № 1, с. 152 в подборке «Поэты сегодняшней Киргизии».

С ТАДЖИКСКОГО

Мирзо Турсун-заде

Мирзо Турсун-заде (1911—1977) — таджикский советский писатель и общественный деятель.

368. Ог., 1962, № 45, с. 12 в подборке «Мирзо Турсун-заде. Лирика». Печ. по Роза Таджикистана, с. 76. *Хмельницкий* Зиновий Богдан Михайлович (ок. 1595—1657) — гетман Украины, выдающийся государственный деятель, полководец и дипломат, руководитель освободительной войны украинского народа за воссоединение с Россией в 1648—1654 гг. *Саади* (между 1203—1210—1292) — персидский писатель и мыслитель. «Гулистан» (1258) — книга рассказов-притчей Саади.

Абдумалик Бахори

Абдумалик Бахори (р. 1927) — таджикский советский писатель.

369. В кн.: День поэзии Таджикистана. 1962, Душанбе, 1962, с. 16. *Карты хлопка* — посевы хлопчатника. *Дастархан* — скатерть; иносказательно — обильное угощение.

Шохмузаффар Едгори

Шохмузаффар Едгори (р. 1940) — таджикский советский писатель.

370. ДН, 1962, № 9, с. 134 в подборке «Молодые поэты Таджикистана».

С ТАТАРСКОГО

Фатих Карим

Фатих Карим (1909—1945) — татарский советский поэт. Смеляков перевел ряд стихотворений Карима. Часть переводов вошла в Избр-4, т. 2. См. также стих. № 110.

371. В кн.: Карим Ф., Избранные стихи и поэмы. Пер. с тат., Казань, 1957, с. 92.

372, 373, 374. В кн.: «Пять обелисков. Стихи поэтов, павших на Великой Отечественной войне», М., 1968, с. 113, 107, 109.

Сибгат Хаким

Сибгат Хаким (наст. фамилия — Хакимов, р. 1911) — татарский советский поэт и общественный деятель.

375. В кн.: Хаким С., Волнения и тревоги. Пер. с тат., Казань, 1957, с. 91.

376. «Наш современник», 1962, № 2, с. 83. *Кокушкино* — деревня в Казанской губернии, в 24 км от Казани (ныне — с. Ленино-Кокушкино Пестречинского р-на Татарской АССР), где с 7 декабря 1887 г. по октябрь 1888 г. находился в ссылке В. И. Ленин. Письмо крестьян деревень Апакаево *(Апакай)* и Кокушкино было послано В. И. Ленину 22 декабря 1922 г. Текст письма опубликован в журн. «Коммунист Татарии» (1958, № 4, с. 28).

С ЧУВАШСКОГО

Яков Ухсай

Яков Гаврилович Ухсай (р. 1911) — чувашский советский поэт.

377. ДН, 1966, № 5, с. 25 в подборке «Смеляков Я. День России. Книга стихов и переводов». Печ. по Избр-3, т. 2, с. 284.

С ЛЕЗГИНСКОГО

Сулейман Стальский

Сулейман Стальский (1869—1937) — лезгинский советский поэт-ашуг.

378. КЕ, с. 106; в кн.: Стальский С., Избранное. Пер. с лезгин., М., 1949; С-3. Печ. по Избр-4, т. 2, с. 352.

379. В кн.: «Поэты Дагестана. Сборник стихотворений», М., 1951, с. 27.

С ЯКУТСКОГО

Семен Данилов

Семен Петрович Данилов (р. 1917) — якутский советский поэт.

380. Ог., 1963, № 14, с. 11 в подборке «Земной горизонт».

С АБХАЗСКОГО

Иван Тарба

Иван Константинович Тарба (р. 1921) — абхазский советский писатель.

381, 382. ДН, 1968, № 4, с. 103, 104 в подборке «Тарба И. Мост. Из новой книги стихов». Печ. по Избр-4, т. 2, с. 353, 354.

С АЛТАЙСКОГО

Бронтой Бедюров

Бронтой Бедюров (р. 1948) — алтайский советский поэт.

383, 384. ДН, 1968, № 8, с. 139, 141 в подборке «Бедюров Б. Песни алтайских хребтов. Из 1-й книги стихов». Печ. по Избр-4, т. 2, с. 355.

С БУРЯТСКОГО

Дондок Улзытуев

Дондок Улзытуев — бурятский советский поэт.

385. ЛГ, 1959, 3 декабря.

С ЕВРЕЙСКОГО

Матвей Грубиан

Матвей Михайлович Грубиан (р. 1909) — еврейский советский поэт.

386. ДП, 1962, с. 199.

387, 388, 389. ДН, 1966, № 5, с. 28, 29, 30.

390. Изв., 1966, 15 мая. Печ. по Избр-4, т. 2, с. 359.

С БОЛГАРСКОГО

Людмил Стоянов

Людмил Стоянов (псевд., наст. имя — Георги Стоянов Златаров, 1888—1973) — болгарский писатель, общественный деятель.

391. В кн.: «Болгарская поэзия. Антология в 2-х тт.», т. 2, М., 1970, с. 13. Печ. по Избр-4, т. 2, с. 366.

С ВЕНГЕРСКОГО

Дьюла Ийеш

Дьюла Ийеш (р. 1902) — венгерский поэт.

392. ЛГ, 1948, 8 мая.

С МОНГОЛЬСКОГО

Сормууниршийн Дашдооров

Сормууниршийн Дашдооров (р. 1935) — монгольский поэт и прозаик.

393. ЛР, 1966, 5 августа, с. 15 в тексте статьи Я. Смелякова «Страна синих горизонтов». Печ. по ДН, 1967, № 8, с. 128.

С ИСПАНСКОГО

Маркос Ана

Маркос Ана (псевд., наст. имя — Фернандо Макарро Кастильо, р. 1921) — испанский поэт. Ему посвящено стих. Смелякова «Коммунист» (№ 204).

394. ДН, 1962, № 9, с. 221.

С БЕНГАЛЬСКОГО

Бишну Де

Бишну Де (р. 1909) — индийский поэт, критик и искусствовед.

395. НМ, 1949, № 7, с. 21.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис.* Я. В. Смеляков. Фотография Н. Кочнева. 1966 г.
2. *Между с. 128 и 129.* Я. В. Смеляков. Фотография 1938 г.
3. *На обороте.* Я. В. Смеляков. Фотография 1947 или 1948 г. Новомосковск.
4. *Между с. 160 и 161.* Я. В. Смеляков. Фотография Н. Кочнева. 1959 г.
5. *На обороте.* Я. В. Смеляков, Т. В. Смелякова-Стрешнева и Б. А. Ручьев среди пионеров. Ош (Киргизская ССР), декада русской литературы. Фотография 1962 г.
6. *Между с. 320 и 321.* Я. В. Смеляков. Фотография 1964 г.
7. *На обороте.* Я. В. Смеляков. Фотография Ал. Лесса. 1966 г.
8. *Между с. 352 и 353.* Я. В. Смеляков. Фотография 1967 г.
9. *На обороте.* А. Т. Твардовский и Я. В. Смеляков. Фотография Ал. Лесса. 1969 г.
10. *С. 433.* Автограф стихотворений «Полевые цветы» и «В гудки индустрии поверя. . .».
11. *С. 441.* Автограф стихотворения «Ленинский связной».
12. *С. 447.* Автограф стихотворения «Назым» и машинопись начала стихотворения «Прощание с Москвой».
13. *С. 503.* Автограф одной из страниц поэмы «Строгая любовь». Инта. 1952—1953 гг.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПОЭМЫ

ПЕРЕВОДЫ

С УКРАИНСКОГО

Максим Рыльский

Андрей Малышко

С БЕЛОРУССКОГО

Аркадий Кулешов

С КАЗАХСКОГО

Абай Кунанбаев

Джамбул

Абдильда Тажибаев

С ЛАТЫШСКОГО

Ояр Вациетис

С КИРГИЗСКОГО

Темиркул Уметалиев

Кубанычбек Маликов

С ТАДЖИКСКОГО

Мирзо Турсун-заде

Абдумалик Бахори

Шохмузаффар Едгори

С ТАТАРСКОГО

Фатих Карим

Сибгат Хаким

С ЧУВАШСКОГО

Яков Ухсай

С ЛЕЗГИНСКОГО

Сулейман Стальский

С ЯКУТСКОГО

Семен Данилов

С АБХАЗСКОГО

Иван Тарба

С АЛТАЙСКОГО

Бронтой Бедюров

С БУРЯТСКОГО

Дондок Улзытуев

С ЕВРЕЙСКОГО

Матвей Грубиан

С БОЛГАРСКОГО

Людмил Стоянов

С ВЕНГЕРСКОГО

Дьюла Ийеш

С МОНГОЛЬСКОГО

Сормуунирщийн Дашдооров

С ИСПАНСКОГО

Маркос Ана

С БЕНГАЛЬСКОГО

Бишну Де

Ярослав Васильевич Смеляков
СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1979, 768 стр.
План выпуска 1980 г. № 440

Редактор *Л. С. Гейро*
Художник *И. С. Серов*
Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн. редактор *В. Г. Комм*
Корректор *Ф. Н. Аврунина*

Сдано в набор 16.08.79. Подписано к печати 28.11.79. М 07213. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага типогр. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 40,84. Уч.-изд. л. 36,38. Тираж 40 000 экз. Заказ № 916. Цена 3 р. 80 коп.

Издательство «Советский писатель», Ленинградское отделение, Ленинград, Невский пр., 28.
Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.

По вине типографии на странице 177 во 2-й строке сверху допущена ошибка. Вместо: «не запоет солдат,» следует читать: «двери не застучат,».